Индекс 70127



ISSN 0321—1878



1

1991

ИЗ УСТАВА ЖУРНАЛА «ЗВЕЗДА»

Журнал публикует произведения любых литературных жанров, имеющие, по мнению редакции, актуальный читательский интерес.

Журнал выступает в защиту прав человека, равноправия народов, высокого престижа культуры, духовной свободы всех граждан.

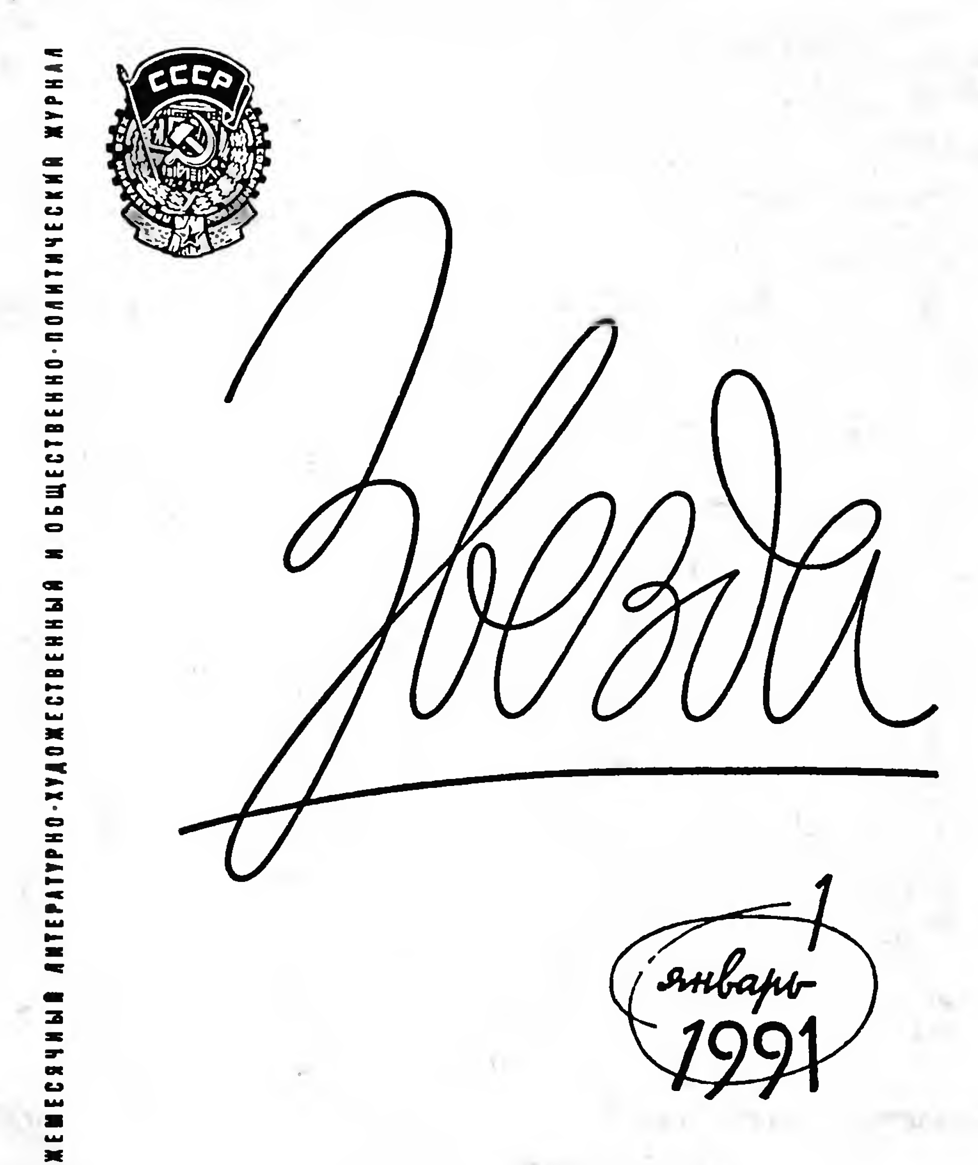
Журнал независим от политических партий и массовых движений.

Главный редактор журнала избирается раз в пять лет на конкурсной основе коллективом редакции, редколлегией и авторским активом.

В своей деятельности редакция руководствуется исключительно Законом о печати, авторским и издательским правом и интересами развития общечеловеческой культуры.

Принимая или отклоняя предлагаемые ей произведения, редакция не обязана их рецензировать или иным путем мотивировать свое решение. Она обязана лишь довести его до сведения автора в установленные законом сроки.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



НЕЗАВИСИМОЕ ИЗДАНИЕ

ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1924 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ:

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ЛЕНИНГРАД

УЧРЕДИТЕЛЬ: СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ СССР ИЗДАТЕЛЬ: РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ЗВЕЗДА»

Главный редактор Г. Ф. НИКОЛАЕВ

Редакционная коллегия:

А. Ю. АРЬЕВ (зам. главного редактора), Л. Э. ВАРУСТИН, Я. А. ГОРДИН, В. С. ДЯКИН, В. В. КАВТОРИН (зам. главного редактора), Ю. Ф. КАРЯКИН, В. Н. КУЗНЕЦОВ, И. С. КУЗЬМИЧЕВ, А. С. КУШНЕР, Н. К. НЕУЙМИНА, А. А. НИНОВ, М. М. ПАНИН, Н. Н. СКАТОВ, Б. Н. СТРУГАЦКИЙ, С. С. ТХОРЖЕВСКИЙ, А. А. ФУРСЕНКО, М. М. ЧУЛАКИ

Ответственный секретарь А. С. ЩЕГЛОВ

Корректоры: О. А. Назарова, Л. А. Привалова Технический редактор В. Т. Молоткова

Адрес редакции: 191028, Ленинград, Моховая, 20

Телефоны: главный редактор — 272-89-48, заместитель главного редактора — 273-52-56, 273-74-91, 273-76-92, ответственный секретарь — 272-71-38, зав. редакцией — 273-37-24, отдел прозы — 272-18-15, отдел публицистики — 279-33-74, отдел критики — 273-74-91, отдел поэзии — 279-30-41

Сдано в набор 15.09.90. Подписано к печати 17.11.90. Формат 70×108[1]/16. Бумага газетная. Печать высокая. 18,2 усл. печ. л. 18,9. усл. кр.-отт. 24,86 уч.-изд. л. Тираж 141 360 экз. Заказ № 752. Цена 1 р. 80 к. (по подписке 1 р. 60 к.).

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР
197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

К 70-летию А. Д. Сахарова

Андрей Сахаров

ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛИСТАМ РАЗНЫХ СТРАН

Этой подборкой журнал «Звезда» начинает публикацию интервью А. Д. Сахарова, данных им западным корреспондентам в различные годы. Первое в жизни интервью Андрей Дмитриевич дал в конце октября 1972 года, а до этого с иностранными корреспондентами в Москве практически не общался.

В тот вечер мы поздно вернулись в Москву из Ногинска, где проходил суд над Кронидом Любарским [1], усталые после целого дня стояния у здания суда и угнетенные его исходом. А. Д. позвонил корреспонденту журнала «Ньюсуик» Джею Аксельбанку, который приехал буквально через несколько минут и ужинал вместе с нами. Потом почти до двух часов ночи шла беседа: А. Д. и я старались как можно подробнее рассказать дело Любарского, Аксельбанк настаивал на своих вопросах — по более общим проблемам. И нам казалось, что судьба Кронида его совсем не интересует. Через неделю, когда Джей принес журнал, А. Д. очень расстроился. Все казалось ему неточным, потерявшим оттенки и потому неправильным. Несколько дней он переживал это и даже говорил, что Джей плохой журналист и мы совершили ошибку, позвав именно его. Пройдет немного времени, и А. Д. привыкнет к тому, что в интервью «всегда все неверно». И однажды удивленно скажет, что интервью Аксельбанка получилось очень хорошим.

После первого интервью западные журналисты, до того редко и робко по телефону просившие о встрече, стали обрывать наш телефон или без предупреждения появляться в доме. Интервью во всю последующую жизнь было много. В острые периоды А. Д. иногда давал несколько в день. Но вообще он не любил «устный жанр», предпочитал написать статью или заявление или, на худой конец, дать письменные ответы на заранее письменно же поставленные вопросы. Последний способ интервью особенно часто использовался, когда А. Д. находился в Горьком.

Многие интервью никогда нигде не публиковались по-русски, а выходили в той только газете, которой давались: чаще всего в США, Франции, ФРГ, Англии — по-испански, по-итальянски, по-арабски, на хинди, японском, португальском, скандинавских языках. Они мной пока не разысканы, и этот большой труд только предстоит. Единственный год, за который собраны почти все интервью,— 1977-й. Мы не знаем почему, но в тот год на Западе стали усиленно циркулировать слухи, что Сахаров почти прекратил свою правозащитную деятельность. А. Д. и мы все к подобным слухам были безразличны — они не

[1] Кронид Любарский, главный редактор журнала «Страна и мир», в 1977 году выехал из СССР. Издает бюллетень «Вести из СССР».

однажды появлялись и до этого и после,— но в тот год были какие-то очень уж упорные, так что создавалось впечатление, будто кто-то в них заинтересован.

И мужу моей дочери Ефрему Янкелевичу пришла в голову идея собрать книгу, отражающую один год общественной деятельности Андрея Дмитриевича Сахарова. Так родилась книга «Тревога и надежда» — не та, что выпущена в СССР издательством «Интер-Версо» весной 1990 года, а изданная в издательстве «Хроника» в Нью-Йорке в 1978 году,— именно из нее взяты интервью, которые сегодня представляет читателям журнал «Звезда». Как во всяком интервью, в них отражается что-то временное — сиюминутные заботы, надежды, опасения и дела. Но в каждом из них присутствует то, что отличает все общественные выступления Сахарова, составляет главную линию его позиции,— это неразрывная связь защиты прав человека с защитой мира на Земле.

5 июля 1990 года

Елена Боннэр

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ИНОСТРАННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА

1. Улучшилось ли Ваше положение, после того как Вы получили Нобелевскую премию Мира?

Прошлогоднее решение Нобелевского комитета, как я говорил и писал год назад и глубоко убежден и сейчас, имеет большое значение долговременного характера. Оно явилось большой радостью, честью и поддержкой для меня и моих друзей, в том числе для находящихся в заключении и для тех, кто только в душе сочувствует нам, не решаясь проявить это явно. Это решение подкрепляет важнейший, с моей точки зрения, тезис о неразрывной связи гражданских свобод, прав человека с международной безопасностью и прогрессом.

К сожалению, я не могу сказать ничего отрадного об изменении позиции властей в отношении меня лично, моих друзей и близких, моей общественной деятельности и условий, в которых она протекает.

Меня, как и моих друзей, все так же не пускают в залы заседаний политических судебных процессов. Не проявляют власти и большего уважения к моим обращениям и письмам, попросту не отвечая на них. Мои телефонные и почтовые связи с Западом все так же полностью блокированы (телефонные разговоры прерываются с первых слов, что свидетельствует о постоянном подслушивании органами КГБ, почта не только вскрывается теми же органами, но часто просто перехватывается). Во всем этом я вижу проявление неуважения советских властей к авторитетным международным организациям — Нобелевскому комитету и Международной лиге прав человека, недавно избравшей меня своим почетным вице-президентом.

Новой формой давления за истекший год явились нападки на мою жену, начавшиеся еще во время ее пребывания за рубежом и продолжающиеся до сих пор.

Условия, в которых я и мои близкие вынуждены жить и работать, остаются совершенно неудовлетворительными. Мой зять Ефрем Янкелевич с первого января 1976 года — безработный, и нет надежд на выход из этого положения. Моссовет отказывается утвердить предоставление мне какой-либо жилой площади, даже самой маленькой. Без его санкции я не могу также купить не только квартиру, но даже комнату. Вот уже девять месяцев у меня нет прописки, что в советских условиях делает меня во многих отношениях бесправным.

2. Что произошло в движении за права человека за последний год, какие внутренние события Вас особенно беспокоят?

Каждое проявление нонконформизма требует в наших условиях незаурядной смелости, готовности к лишениям и жертвам и вместе именно поэтому очень важно. Восхищение вызывают ненасильственный нонконформизм верующих,

защищающих свободу совести; ненасильственное сопротивление людей, защищающих свою национальную культуру; многообразное по методам движение за свободу эмиграции. В последнее время внимание привлекли выступления неортодоксальных художников, организация неофициальных научных семинаров, музыкальных вечеров и т. п. Но особенно важно, как я убежден, то движение, которое можно назвать «общедемократическим» или, еще точней — «движением за права человека». Полней всего дух этого движения отразился, по-моему, в жестоко преследуемом КГБ самиздатском журнале «Хроника текущих событий». Это — самоотверженное, основанное на глубоком внутреннем убеждении стремление к гласности и объективности, к ненасильственной защите прав человека во всех серьезных конкретных случаях нарушения. В тоталитарном, закрытом обществе, проникнутом страхом перед государством и зависимостью от него, проникнутом произволом и эгоизмом, появление такого движения при всей его малочисленности и материальной слабости — явление исторического значения. Движение за права человека в СССР важно для всего мира, потому что тоталитаризм и закрытость общества — это и есть наибольшая угроза для будущего человечества.

Именно по этому направлению были нанесены в последнее время сильные удары. Арест и осуждение Ковалева и Твердохлебова, фабрикация дела и почти равносильное смертному приговору осуждение Джемилева, усиление внутрилагерных репрессий — пытки голодом, холодом, непосильным трудом — все это звенья одной цепи.

Я пользуюсь этим интервью, чтобы привлечь внимание мировой общественности к борьбе за изменение варварского режима Владимирской тюрьмы и специальных (тюремных) психиатрических больниц, к борьбе за перевод тяжелобольного Ковалева в Ленинградскую тюремную больницу для сложной операции, за немедленное освобождение из ссылки тяжелобольного Марченко, за освобождение политзаключенных женщин и всех больных.

Все сильней (темные, непроверенные, но не опровергаемые) слухи, что в отдельных случаях КГБ прибегает к политическим убийствам и бандитским нападениям для запугивания тех или иных категорий лиц (например, верующих, не признающих вмешательства властей в дела их церкви, или нонконформистских деятелей культуры). Мне известно несколько трагических случаев, происшедших в последний год и требующих тщательного беспристрастного расследования в этом смысле (гибель баптиста Библенко, литовского католика инженера Тамониса, литовской католички, работницы детского сада Лукшайте, поэта-переводчика Богатырева, избиение молодого диссидента Крючкова, избиение академика Лихачева). Год назад погиб безработный юрист Евгений Брунов, через несколько часов после того, как он посетил меня и просил помочь ему встретиться с иностранными корреспондентами. Есть свидетельства, что Брунов был сброшен на ходу с ночной электрички. На мои неоднократные запросы в органы МВД об обстоятельствах его гибели я не получил никакого ответа.

И я, и многие другие диссиденты постоянно встречаются с угрозами физического насилия, в особенности в отношении их близких. Вот типичные примеры. Беременной жене грузинского диссидента З. Гамсахурдиа неоднократно звонили по телефону с угрозой: «Готовь два гроба, для себя и для ребенка». Восьмидесятилетней матери ненавидимого КГБ поэта Александра Галича (он два года назад выехал на Запад) к новому, 1976 году прислали по почте машинописную записку со словами: «Принято решение убить Вашего сына Александра». Есть много аналогичных примеров. Сама форма многих из этих угроз и способ сообщения адресату практически исключают непричастность к ним органов власти (например, кто еще может изъять посланное мне из-за границы письмо и вложить в тот же конверт новое письмо с угрозами моей жене?).

В последние месяцы вновь имело место усиление давления властей на крымских татар, стремящихся вернуться в Крым, откуда они были депортированы в 1944 году. Участились судебные преследования за вынужденное нарушение правил прописки, высылки, избиения, ночные нападения, выбрасывание из домов вместе с маленькими детьми, снос домов бульдозерами и уничтожение имущества, пищевых продуктов, огородов и садов.

К числу положительных событий истекшего года я хотел бы отнести опреде-

ленные успехи, достигнутые в отношении привлечения внимания общественного мнения на Западе к положению религии.

Крупным положительным событием истекшего года была также организация Группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений. Несмотря на некоторые шероховатости, допущенные в организационный период, в особенности при формировании состава Группы, ее информационная деятельность обещает быть исключительно полезной и разносторонней. Я призываю все международные организации, имеющие отношение к гуманитарным аспектам Хельсинкских соглашений, тесно сотрудничать с группой. Особенно важно сотрудничество прессы и других средств массовой информации.

3. Какие международные события истекшего года вызывают у Вас особое беспокойство?

Странам Запада за этот год все еще не удалось сделать решающего шага в направлении выработки единой долгосрочной стратегии отношений с социалистическим миром и миром развивающихся стран. В частности, европейские страны, как мне кажется, все еще страдают предрассудком антиамериканизма, который является одним из препятствий на этом пути.

Опасная медлительность переговоров о разоружении — прямое следствие отсутствия такой стратегии. Ведь СССР использует в целях создания односторонних преимуществ любое разногласие, любую неопределенность позиций другой стороны.

В мире царят война и насилие. Трагедия Ливана — наглядный пример того, как легко еще недавно такая благополучная и процветающая страна оказывается втянутой в кровавый кошмар насилия, убийств и разрушений, как заразительна эта болезнь.

Осуждая политический авантюризм, антисемитизм и международные преступления палестинских экстремистов, мы все в то же время не имеем права допустить геноцида палестинского народа, кто бы его ни осуществлял. Несколько недель назад мои жена и я выступили с открытым обращением в защиту женщин, детей и раненых в осажденном палестинском лагере Тель-Заатар, и эта наша тревога распространяется на всех страдающих от военных действий. В Анголе — партизанская борьба населения против победителей в гражданской войне, мародерство голодных кубинских солдат, разгул карателей. Чревата ужасной трагедией ситуация во всей Южной Африке. Советский Союз здесь опять, как на Ближнем Востоке и во многих других горячих точках, против компромисса, против реальных вариантов мирного урегулирования. Неужели мир опять не сумеет найти в себе силы противостоять хаосу?

Через полтора года после окончания войны во Вьетнаме нельзя забывать о миллионах людей, оказавшихся за железным занавесом. Больше миллиона людей, как предполагают, погибло в Камбодже. Никто толком не знает, что происходит в бывшем Южном Вьетнаме,— ясно лишь, что там не все благополучно; не случайно ежемесячно сотни беженцев идут на смертельный риск, чтобы вырваться из этой страны. Западная общественность, активно добивавшаяся прекращения войны во Вьетнаме, сейчас должна проявить беспокойство за судьбу людей в этом районе мира.

Все большее число стран ощущает на себе расширение международного терроризма, самым опасным образом нарушающего международную стабильность и основные законы человеческой морали. Я не могу не вспомнить тут о том восхищении, которое вызвала фантастическая спасательная операция израильских коммандос в угандийском аэропорту Энтебе.

Но говоря о терроризме, я не могу умолчать также о своем осуждении действий тех еврейских экстремистов, которые совершали террористические акты против советских организаций в США и других странах (хотя я вполне разделяю их возмущение некоторыми аспектами советской политики). Становясь на путь террора, эти люди на самом деле наносят большой ущерб и советским евреям, и всей борьбе за права человека, которая последовательно и принципиально сосредоточивается в рамках ненасильственных методов.

Другой вопрос, который я хочу затронуть,— это поступающие сообщения о кампании в Израиле против помощи тем людям, которые намереваются эмигрировать из СССР не в Израиль. Учитывая обстановку с эмиграцией из СССР, историю борьбы за право на эмиграцию, положение проблемы эмиграции в общем комплексе проблем прав человека, я отношусь к этой кампании с опасениями.

4. Советская власть говорит, что инакомыслящие Сергей Ковалев[1] *и Андрей Твердохлебов*[2] *осуждены потому, что они нарушили советский закон. Можете ли Вы сказать о советской законности?*

Юридической культуры, беспристрастности и независимости судей, стремления к справедливости не хватает всей советской юридической системе, и не только в отношении инакомыслящих. Я получаю сотни отчаянных писем от осужденных по обычным уголовным (не политическим) делам, от их родственников. Вполне учитывая заинтересованность и пристрастность моих корреспондентов, я все же не могу не приходить в ужас от открывающейся картины судебного произвола и коррупции, жестокости и отсутствия желания власть имущих исправлять допущенные ошибки и несправедливости. Не утруждая себя сбором доказательств, следователи нередко (сами или с помощью заключенных) избивают подследственных, добиваясь нужных им показаний,— об этом я читаю почти во всех письмах. Так погиб в Казахстане 19-летний мальчик Игорь Брусникин. В политических делах, к счастью, об этом сейчас не слышно. Даже такие серьезные дела, где предусмотрена смертная казнь, например, умышленное убийство, рассматриваются некоторыми судами необычайно поверхностно, с полным игнорированием противоречий в деле и требований защиты. Дело расстрелянного в январе 1976 года после почти двухлетнего пребывания в камере смертников рабочего татарина Рафката Шаймухамедова — страшный пример того, как безжалостно и несправедливо работает иногда наша судебная машина (прокурор и, по-видимому, «автор» дела — Бекбоев).

И вот в *такой* суд попадает политическое дело, по которому желаемый приговор заранее определен высокими чинами КГБ, и участники процесса точно знают, что любая «вольность» повредит их карьере. Переодетые агенты той же организации бдительно охраняют зал от проникновения любых нежелательных слушателей судебного спектакля. Можно ли ждать в этих условиях обоснованного приговора?

Ковалев и Твердохлебов, как и многие до них, осуждены по статьям 70 и 190-1 Уголовного кодекса РСФСР. Содержащиеся в этих статьях понятия — антисоветская агитация и пропаганда, клеветнические измышления, наличие цели подрыва или ослабления советского государственного и общественного строя — никак не определены юридически. Ложность тех заявлений и публикаций, которые инкриминировались обвиняемым, не могла быть доказана судами просто потому, что речь в них идет о тех самых нарушениях прав человека, которых так много у нас. Поэтому чистая демагогия — утверждение появившихся в советской печати статей, согласно которым Ковалев и Твердохлебов осуждены не за убеждения, а за «конкретные преступные клеветнические действия». Столь же нелепо обвинение в наличии цели подрыва советского строя. Цели ненасильственной борьбы за права человека, за гласность и справедливость, за открытость советского общества являются не подрывными, а конструктивными, не политическими, а гуманными и социальными. В осуществлении этих целей заинтересовано все человечество.

5. Советский Союз не раз говорил, что он будет исполнять все обязательства Хельсинкского Заключительного акта. Считаете ли Вы, что он исполняет все гуманитарные обязательства?

Требования свободы информационного обмена, свободы передвижения людей (зарубежных поездок, эмиграции) составляют неотъемлемую часть Хельсинк-

---

[1] С. Ковалев — ныне член Верховного Совета РСФСР, председатель Комитета по правам человека Верховного Совета РСФСР.

[2] А. Твердохлебов выехал в США 22 января 1980 года.

ского акта. Именно то, что в Акте подчеркнута неразрывная связь этих требований с международной безопасностью, делает его важным историческим документом. До сих пор советская сторона почти ничего не изменила в своей практике в отношении свободного обмена информацией и передвижения людей. Отдельные уступки, большей частью в отношении эмиграции или поездок, тоже важны, но они пока не в состоянии кардинально изменить общую картину.

По-прежнему советскому гражданину недоступна бо́льшая часть той информации по политическим, историческим, социальным, экономическим, религиозным и культурным вопросам, которая существует на Западе. По-прежнему вопросы зарубежных поездок и эмиграции решаются трудно, с огромным произволом и безо всякого права обжалования, по-прежнему десятки тысяч людей переживают глубочайшую трагедию.

Даже такое простое и естественное, на западный взгляд, дело, как свидание матери с дочерью, не разрешается иногда на протяжении многих лет. Я напоминаю здесь о деле доктора Веры Ливчак, о котором я уже писал и говорил неоднократно.

6. *Не можете ли Вы объяснить, почему у Вас нет почти никакой поддержки от Ваших коллег по советской науке?*

Я не считаю себя вправе упрекать моих коллег в СССР за недостаточную поддержку. Жизнь каждого, кто решается на свободное выступление по общественным вопросам, немедленно становится неимоверно трудной, причем не только для самого диссидента, но и для его близких. Совершенно естественно, что на это решаются только единицы. Более того, для человека, имеющего призвание к науке, неизбежно очень существенны и вполне реальны опасения быть отстраненным от нее.

Я очень ценю поддержку, оказанную мне такими известными учеными, как Турчин [1], Орлов [2], Мельчук [3], но я не могу одновременно забыть, что все они после этого лишились работы. С 1971 года без работы Татьяна Ходорович [4], без работы математик Юрий Гастев [5] и другие. Возвращаясь к моим академическим коллегам, все же я хочу сказать, что не ощущаю себя среди них одиноким и постоянно чувствую безмолвную поддержку и симпатию некоторых из них.

7. *Как Вы считаете, имеет ли общественное мнение на Западе сейчас больше влияния на Советский Союз, чем раньше?*

Увеличение контактов с Западом — экономических, технических, научных, культурных — приводит к большим потенциальным возможностям. Однако на практике мы видим, что, несмотря на то, что тысячи людей просили об освобождении Буковского [6], Винса и Мороза [7], Глузмана [8], Сергиенко, Кузнецова [9], Штерна и других политзаключенных, разрешения на эмиграцию Слепаку [10], Лернеру [11], Левичу [12],— советские власти продолжают упорствовать в своих отказах. По-видимому, недостаточная координация в проведении таких кампаний снижает их эффективность, но самое главное — недостаточное вовлечение в них тех людей и организаций, которые непосредственно осуществляют контакты

---

[1] В. Турчин выехал в США в 1977 году.
[2] Ю. Орлов живет в США, выслан в 1986 году.
[3] И. Мельчук живет в Канаде.
[4] Т. Ходорович выехала в ноябре 1977 г., живет во Франции.
[5] Ю. Гастев выехал в июне 1981 г., живет в США.
[6] В. Буковский — обменен на Луиса Корвалана в декабре 1976 года.
[7] Г. Винс и В. Мороз — обменены в 1979 году.
[8] С. Глузман, врач. Живет в Киеве.
[9] Э. Кузнецов обменен в 1979 году.
[10] В. Слепак выехал в Израиль в 1987 году.
[11] А. Лернер выехал в Израиль в 1988 году.
[12] В. Левич, член-корреспондент АН СССР, выехал в Израиль в 1978 году.

с СССР, в особенности правительственных и законодательных органов, организаций бизнеса, научных, технических и культурных организаций. Я уверен, что объединение всех этих сил совершенно необходимо и принесет конкретные результаты.

8. *Какие планы у Вас сейчас? Предугадываете ли Вы обстоятельства, при которых Вы будете вынуждены просить о поездке за границу или даже об эмиграции?*

До сих пор мое положение, так же как и положение моих близких, прогрессивно ухудшается с каждым годом. Возможно, что оно будет продолжать ухудшаться и в дальнейшем. Я надеюсь, что международная общественность найдет эффективные методы давления и предупредит такое развитие событий. Я не рассчитываю как на возможный выход для себя лично на эмиграцию и на временную поездку за границу.

30 октября 1977 года

КОММЕНТАРИЙ:

13 сентября 1975 г. **Иван Васильевич Библенко,** 47 лет, член Криворожской общины евангельских христиан-баптистов, отправился в город Днепропетровск на праздник Жатвы и по дороге исчез.

16 сентября мать и жена Библенко приступили к его розыскам. Однако Библенко не удалось найти в больницах Днепропетровска и Кривого Рога, и о нем ничего не знали в милиции и автоинспекции. (Автоинспекция утверждала, что на дороге Днепропетровск — Кривой Рог 13 и 14 сентября не происходило каких-либо транспортных происшествий. В милиции родственникам Библенко сообщили, что ведут за ним наблюдение как за верующим и что он уехал на праздник Жатвы.)

22 сентября, после безуспешных поисков, родные Библенко обратились в прокуратуру Кривого Рога.

О том, что 17 сентября он был доставлен с проломом лобной кости в Днепропетровскую больницу имени Мечникова, где через неделю скончался (причина смерти — застойная пневмония и кровоизлияние в оболочку и вещество мозга), родные узнали только через день после его смерти. 26 сентября они были извещены о ней телеграммой, а затем получили больничную справку, в которой утверждалось, что черепно-мозговая травма получена Библенко 13 сентября «при дорожно-транспортном происшествии».

Заявление 29 членов Криворожской общины баптистов о гибели их единоверца опубликовано в 27-м выпуске «Бюллетеня Совета родственников узников Евангельских христиан-баптистов».

Авторы заявления полагают, что Библенко «избили определенные люди до такой степени, что стало ясно — жить он больше не будет. Затем отправили в больницу на постепенное умирание. А родственникам заживо не дали встретиться с ним, чтоб он не рассказал всего и не вскрыл злодеяния».

Ранее Библенко находился в заключении, будучи осужден по одной из «религиозных» статей Кодекса («нарушение закона об отделении церкви от государства» и «покушение на права граждан под видом исполнения религиозных обрядов»). Всего же 12 членов Криворожской общины были осуждены за свою религиозную деятельность.

Баптистские круги сообщают о гибели еще двух своих единоверцев осенью 1976 г.

9 сентября 1976 г. в селе Каличевка Черниговской области на автобусной остановке убит преследовавшийся местными властями и подавший заявление на выезд из СССР 57-летний баптист **Николай Николаевич Дейнега.**

Его жена, Дейнега Евдокия Степановна, и дети живут в селе Ивановка Черниговской области.

В октябре в городе Хабаровске погиб 18-летний солдат **Ярослав Иванович Шкраба,** о чем его родители были извещены частной телеграммой. Тело сына они получили после настойчивых требований, обращений к Брежневу и в прокуратуру. Получили в цинковом гробу с приказом гроб не вскрывать, но, ослушавшись, увидели изуродованное тело, ожоги, следы ударов по голове.

Командование военной части № 64571 просило отца подтвердить, что их сын утонул в реке, и прекратить дальнейшее расследование причин его гибели.

Известно, что Ярослав Шкраба отказался принять присягу. Сведения об избиениях и пытках баптистов, отказывающихся от принятия военной присяги, подтверждаются, например, свидетельством Александра Моисеевича Дмитринского, которого пытались таким образом принудить к принятию присяги осенью 1972 г. Живет в селе Подлужное Костопольского района Ровенской области.

Составителю ничего не известно о расследованиях обстоятельств гибели Библенко, Дейнеги и Шкрабы.

35-летний Миндаугас **Тамонис**, кандидат технических наук, был найден мертвым вблизи железнодорожных путей в ноябре 1975 г. В апреле 1974 г., отказавшись принять участие в работе по восстановлению памятника «Красной Армии — освободительнице», заявил, что не признает нынешнего статуса Литвы, потребовал реализации прввв на самоопределение в форме периодических референдумов и введения многопартийной системы («Хроника Литовской Католической Церкви», № 10). В том же году подвергся принудительному лечению в психиатрической больнице — шоковой терапии («Хроника ЛКЦ», № 12). В июне 1975 г., за три месяца до своей гибели, обратился в ЦК КП Литвы с письмом об угрозе неосталинизма и о необходимости развития христианской культуры и был незамедлительно водворен в Вильнюсскую психбольницу. Через два дня после принудительной госпитализации Тамониса скончалась от инфаркта его мать. Тамониса продержали в больнице около двух месяцев («Хроника текущих событий», выпуск 38).

По-видимому, официальная версия гибели Тамониса — самоубийство. Похоронен в Вильнюсе 10 ноября.

Стасе Лукшайте, 58-ми лет, в прошлом монашенка монастыря «Ширдеттес», работая в детском сваду, готовила детей к первому причастию. Ранним утром 30 октября 1975 г. в г. Каунас у переправы черв Неман найдена с многочисленными ранами на теле. Скончалась 5 ноября в больнице; придя перед смертью в сознание, сказала, что прощает убийцу. На следствии сестре покойной было заявлено, что «...здесь как будто произошел весчастный случай — она сама, шагая по ступенькам, поскользнулась и ушиблась» («Хроника ЛКЦ», № 23).

Зимой 1974 г. сын народного артиста СССР **Николай Николаевич Крючков** добивался выезда из СССР. 2 апреля Крючков отправил в Президиум Верховного Совета заявление: «Прошу лишить меня советского гражданства и разрешить выезд в Соединенные Штаты Америки».

Крючков не получил ответа на свое заявление, но 22 мая, к приезду Никсона в Москву, был насильственно помещен в психиатрическую больницу им. Кащенко. «Причина госпитализации — желание выехать из СССР» — было нвписано в сопроводительной путевке («Хроника текущих событий», № 35).

11 ноября 1975 г. в квартиру Крючкова проникли трое грабителей: связали и избили хозяина и унесли деньги, вещи и личные записи Крючкова. Только поздно к вечеру Крючкову удалось выползти из квартиры и позвать на помощь. Два месяца Крючков провел в больнице.

По утверждению следствия, все трое — бежавшие утром того же дня пациенты 5-й городской психиатрической больницы (станция Столбовая).

Однако ни человек, назвавший себя слесарем, ни один из его подручных, которого «слесврь» затем впустил в квартиру, не были опознаны Крючковым по фотографиям.

Согласно ходатайству, написанному адвокатом Крючкова, «Крючков Н. Н. утверждает, что граждане Л. и С. ...не принимали участия в разбойном нападении на него, но по не известным ему причинам самооговаривают себя, тем свмым выгораживают действительных виновных».

Данные дактилоскопической экспертизы и показания некоторых свидетелей, повидимому, также не говорят о том, что найдены истинные виновники преступления. Сомнение вызывают некоторые обстоятельства дела, связанные с установлением даты побега.

Все трое определением суда переведены в специальные психиатрические больницы МВД.

«**Дмитрия Сергеевича Лихачева**, крупнейшего советского литературоведа, академика, заведующего сектором древнерусской литературы Пушкинского домв, определенные западные круги хотели превратить в диссидента. Это заявил сотрудник КГБ секретарю пврткома Пушкинского дома Хватову.

Осенью 1975 г. на лестничной площадке около квартиры Лихачева на него напал молодой человек и жестоко избил его (сломал ребро).

В ночь с 1 на 2 мая 1976 г. неизвестные пытались поджечь квартиру Лихачева. После того как сработала местная сигнализация и появились соседи, неизвестные скрылись, оставив на лестничной площадке канистру с горючей смесью и шланг, который они пытались просунуть под дверь. При этом дверь квартиры была сплошь замазана пластилином. Прибывший по вызову соседей наряд милиции почему-то первым делом принялся соскабливать пластилин.

Спустя месяц следственные органы заявили (как и в случае с избиением), что дело изза отсутствия улик прекращено.

Д. С. Лихачеву 70 лет. В конце 20-х — начале 30-х годов он несколько лет провел на Соловках и Беломорканале. Известно, что он отказался подписать письмо академиков против А. Д. Сахарова. Лихачев многократно выступал в защиту уничтожаемых памятников русской культуры». («Хроника текущих событий», выпуск 41, из раздела «В Пушкинском доме».)

Евгений Викторович Брунов, 37-ми лет, юрист по образованию, погиб в ночь с 5 на 6 ноября 1975 г., возвращаясь из Москвы домой в Клин. Его тело было найдено между станциями Поварово и Радищево Октябрьской железной дороги возле железнодорожного пути. При нем была найдена смятая фотография А. Д. Сахарова. Смерть зарегистрирована в Клинском загсе 11 ноября. Причина смерти: открытая черепно-мозговая травма. Мать погибшего утверждает, ссылаясь на слова свидетелей, что ее сын был выброшен на ходу из дверей электрички неизвестными людьми. По ее же словам, Е. Брунов с 1968 г., т. е. с тех пор, как написал протест против оккупации Чехословакии, подвергался преследованиям со стороны КГБ, 12 раз принудительно помещался в психбольницы Клина, Дмитрова, Талдома, Москвы (после письма обозревателю Ю. Жукову, перед «выборами», к приезду Никсона и т. д.).

Игорь Брусникин, житель поселка Саян Джезказганской области. Арестован 27 мая 1975 г., через два дня после одной из традиционных стычек между казахской и русской молодежью. Скончался через месяц после ареста, по-видимому, вследствие пыток — на фотографии видны руки, покрытые колотыми ранами; по словам матери, такие же раны на всем теле. После допросов Брусникина вносили в камеру на руках, как утверждает его мать, Брусникина Галина Петровна, ссылаясь на слова его сокамерников Полиенко и Чеверда.

Можно предположить, что Брусникина пытались заставить подтвердить следственную версию начальника отделения милиции поселка Саян Байназарова.

25-летний **Рафкат Шаймухамедов** из города Пржевальска Киргизской ССР приговорен в мае 1974 г. к расстрелу по обвинению в ограблении продуктовой лавки и убийстве продавца.

Приговорен на основании противоречивых показаний своих постояльцев Султанова и Жаркова, указавших на Шаймухамедова как на «организатора и исполнителя». (В качестве «соучастников разбойного нападения» осуждены на 8 и 5 лет заключения.)

Доказательством вины Шаймухамедова суд счел показания свидетелей, его «опознавших», но описавших скорее приметы Жаркова. (Свидетели, в частности, «опознали» Шаймухамедова по голосу, тогда как из показаний Жаркова следует, что с ними разговаривал именно он. Любопытно отметить, что «явившийся с повинной» Султанов — он первым дал показания, которые затем легли в основу следственной и судебной версии,— не был представлен для опознания свидетелям, а Жарков — только одному из них.)

Суд, напротив, не допросил свидетелей, говоривших с умирающей, и соседей Шаймухамедова, чьи показания могли говорить о его алиби.

Существенным доказательством вины была сочтена кровь на брюках Шаймухамедова, которая, однако, по утверждению судебно-медицинской экспертизы, не была кровью убитой. Обувь и одежда его «соучастников» вообще не подвергались осмотру.

Рафкат Шаймухамедов не признал себя виновным ни на следствии, ни в суде и затем отказался писать прошение о помиловании. В камере смертников провел четырехмесячную голодовку, требуя проведения нового следствия.

Мать Шаймухамедова получила 20 стандартных ответов из Прокуратуры СССР, которая утверждала в каждом из них, что у нее нет оснований для опротестования приговора.

В инваре 1976 г. смертный приговор был утвержден заместителем Генерального прокурора СССР Маляровым и приведен в исполнение.

По утверждению матери Шаймухамедова, причиной фальсификации дела была корыстная заинтересованность прокурора Бекбоева и других участников следствия.

Хлопоты **Веры Федоровны Линчак**, и в том числе ее переговоры с начальником Отдела административных органов ЦК КПСС Альбертом Ивановым, начальником Всесоюзного ОВИРа Владимиром Обидиным, заместителем министра внутренних дел Шумилиным, по сей день безуспешны.

10 июня 1977 г. она обратилась в Комиссию конгресса США по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Прямое нарушение Заключительного акта совещания (Хельсинкское соглашение от 1/III—75 г.) и полная безнадежность добиться его выполнения заставляют меня обратиться к Вам за помощью.

Мне 72 года. Мой муж умер в 1962 г. У меня есть единственный ребенок — дочь. Она со своим мужем-евреем в 1971 г. по разрешению правительства уехала в государство Израиль на постоянное жительство. В течение 5,5 лет я прошу дать мне разрешение на временную поездку для встречи с дочерью или в Израиль, или в Австрию или дать ей разрешение на временный гостевой приезд ко мне в Москву.

Добиться этого разрешения я не смогла.

Мне отказывают с устной мотивировкой (письменных ответов у нас в ОВИРе не дают): в Израиль — „нет дипломатических отношений", в Австрию — „дочь живет в Израиле, и для свидания с ней в Австрии оснований нет"; что касается разрешения на ее временный приезд в Москву — „не та ситуация".

Вместо осуществления этого свидания мне было предложено оставить Россию, отказаться от советского гражданства и уехать на постоянное жительство в Израиль. То есть мне предложили сделать все то, за что людей, желающих уехать из России, обвиняют в „измене родине".

Я русская. Проработала без перерыва с 1919 г. по 1977 г., февраль месяц. Из них с 1926 года — врачом. За работу в 1954 г. награждена орденом. У меня тут пожилые больные братья и сестры, родные мужа и друзья. У меня тут дорогие могилы мужа и матери. Почему, за какие преступления я должна на старости лет изломать свою жизнь и все это бросить?

Я считаю, что мое человеческое право, не ломая своей жизни, увидеть свою единственную дочь. Это право было подтверждено подписью Генерального секретаря ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнева 1/VII—75 г. под Заключительным актом совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Но оно не выполняется, и мне в этом праве отказано»

Сорокалетний художник-реставратор **Александр Сергиенко** осужден в Киеве в июне 1972 г. на 7 лет заключения и 3 года ссылки.

Основное обвинение — заметки, сделанные им на рукописи книги Ивана Дзюбы «Русификация или интернационализм?». Эти заметки были квалифицированы судом как редакторская правка, т. е., по-видимому, как соучастие в «изготовлении» «антисоветской» литературы. (Сам Дзюба как автор книги был приговорен Киевским областным судом в марте 1972 г. к 5 годам лагерей строгого режима.)

Другие пункты обвинения — устные высказывания о праве Украины на самоопределение и якобы высказанный Сергиенко протест против оккупации Чехословакии.

У Сергиенко хронический туберкулез легких, возможно, диссеминированный.

Вначале Сергиенко находился в Пермских лагерях, где провел полгода во внутрилагерной тюрьме — ПКТ (помещение камерного типа). Затем, в декабре 1973 г., переведен на три года во Владимирскую тюрьму.

30 апреля 1976 г. мать Сергиенко, Оксана Яковлевна Мешко, узнав о двухнедельном заключении в карцер ее сына, обратилась к врачу-фтизиатру медуправления МВД. Тот сообщил ей, что не в силах изменить условия заключения и систему наказаний, но, по его словам, Сергиенко получает медикаментозное лечение.

Однако позднее стало известно, что ранее, в апреле, внеочередная врачебная комиссия сняла Сергиенко с диспансерного учета, т. е. не сочла более нужным считать его туберкулезным больным.

Не ясно, руководствовалась ли врачебная комиссия только медицинскими показаниями,— позднее, осенью того же года, у Сергиенко постоянно держалась повышенная температура («Хроника текущих событий», выпуск 42).

В январе 1977 г. он был возвращен обратно в 36-й Пермский лагерь строгого режима.

Врач-эндокринолог **Михаил Штерн** приговорен областным судом города Винницы 31 декабря 1974 г. к 8 годам лагерей усиленного режима. Штерн был обвинен в получении взяток, точнее, в их вымогательстве у своих пациентов. Подробный отчет о процессе журналиста Аркадия Полищука (самиздат) показывает, что у суда, по существу, не было оснований для вынесения обвинительного приговора. Более того, показания некоторых свидетелей, бывших пациентов Штерна, говорили о недопустимом давлении, оказанном на них следствием.

Ранее Михаил Штерн, вопреки желанию властей, дал формальное разрешение на выезд в Израиль своим взрослым сыновьям.

Полагают, что это явилось причиной возбуждения против него уголовного дела и его осуждения. Процесс носил достаточно демонстративный характер и, возможно, по замыслу властей должен был оказать определенное влияние на потенциальных эмигрантов в Израиль.

Штерн содержался в лагере вблизи Харькова. В 1975 г. его обследовала медицинская

комиссия областного управления лагерей и нашла, что он страдает рядом тяжелых заболеваний, в том числе туберкулезом и язвой двенадцатиперстной кишки. Однако весной 1976 г. власти отклонили просьбу Штерна помиловать его по состоянию здоровья.

В январе 1977 г. Сахаров вновь упомянул о Штерне в своем письме президенту Картеру.

Обстоятельства освобождения Штерна описаны «Хроникой текущих событий» (выпуск 44):

«На 25 марта было назначено заседание Международного трибунала по делу Штерна. Председательствовать на трибунале должен был Тэйлор, главный обвинитель от США на Нюрнбергском процессе. Председатель Верховного суда СССР Л. В. Смирнов призвал советскую Ассоциацию юристов организовать контрпропаганду. 14 марта ТАСС сообщило на Запад, что Верховный суд УССР, рассмотрев в порядке надзора дело Штерна, признал первоначальный приговор законным, но, учитывая хорошее поведение, преклонный возраст и состояние здоровья Штерна, снизил ему срок до 2 лет 9 месяцев (т. е. до отбытого) М. Ш. Штерн вышел на свободу»

ИНТЕРВЬЮ КОРРЕСПОНДЕНТУ «АССОШИЭЙТЕД ПРЕСС» ДЖОРДЖУ КРИМСКИ

6 декабря 1976 г.

(магнитозапись, небольшие редакторские изменения внесены А. Сахаровым)

Кримски: Год назад Вы получили Нобелевскую премию. Два вопроса. Какое воздействие это оказало на Вашу борьбу в демократическом движении? Ваша личная борьба в этом движении?

Сахаров: Тут противоречивая, контрастная ситуация. Долгосрочное влияние, влияние на мировое общественное мнение, по-моему, очень важное, глубокое и положительное. Я и мои друзья благодарны Нобелевскому комитету за эту высокую награду, благодарны за эту поддержку принципов нашего демократического движения. 10 декабря, год назад, во время нобелевской церемонии внимание всего мира было приковано к Осло, где выступала моя жена, и к Вильнюсу, где я в этот же самый день стоял перед дверями суда над Ковалевым. Это было внимание к нашей борьбе и к нашим трудностям.

В то же время власти как бы игнорировали изменение моего общественного положения, более того — давление на меня усилилось. Меня по-прежнему не пускали в суды — ни над Джемилевым, ни над Твердохлебовым. По-прежнему нарушены мои телефонные и почтовые связи.

Кримски: Когда это было?

Сахаров: Весь этот год.

Кримски: Когда это началось?

Сахаров: Нарушение связи началось в 74-м году, телефонная связь восстановилась частично во время пребывания моей жены за границей и сразу после инцидента в Омске, когда, очевидно, опасались больших международных протестов, но сейчас, т. е. уже больше двух лет с небольшими перерывами, я не имею никакой возможности говорить с заграницей. Каждый разговор прерывается подслушивающими операторами КГБ. И это не только мое личное дело, это огромный ущерб моей общественной деятельности. Потому что живая связь с Западом необыкновенно важна. Я думаю, что дело имеет общественное значение; это нарушение международных соглашений по телефонной связи, и я надеюсь, что протесты общественности и протесты Почтового союза наконец прекратят эти нарушения.

Я хочу сказать, что отношение властей получило логический итог вчера, во время традиционной демонстрации у памятника Пушкину. Мы пришли почтить молчанием память погибших от сталинского террора и выразить свою солидарность с политзаключенными. Но на этот раз власти организовали провокацию. Сотни специально обученных молодчиков окружили нас, толкали, некоторых били, некоторым разбили очки, мне на обнаженную мою голову высыпали из заранее подготовленных кульков из бумаги снег и грязь. Такое не могло быть сделано без санкции властей. Я это рассматриваю как действие, санкциониро-

ванное властями, и поэтому я считаю, что оно тоже должно быть предметом общественного внимания.

Кримски: Почему они выбрали это время, чтобы сделать эту провокацию? Что Вы думаете? Какова Ваша теория?

Сахаров: Я думаю, что они на протяжении многих лет считали, что им удастся справиться с растущими настроениями среди очень многих людей какими-то более спокойными способами. Но сейчас они видят, что общественное влияние движения за права человека возрастает; оно возрастает и в нашей стране, оно получило международную поддержку, более широкую; даже коммунистические партии Италии, Франции выступили за освобождение наших политических заключенных.

Возможно, они теперь решили шире использовать более резкие средства.

Кримски: Как Ваша жизнь изменилась после того, как Вы получили Нобелевскую премию?

Сахаров: Жизнь моя, если речь идет о личной жизни,— я сказал о том, как изменилось отношение властей к моим общественным выступлениям: оно никак не изменилось — то же самое относится и к моей личной жизни.

Начну с того, что я из этого года десять с половиной месяцев был лишен прописки. Сейчас, правда, мне предоставлена наконец эта прописка, но я считаю, что это какое-то вынужденное действие, еще не знаю, что за всем этим дальше последует.

Давление на нашу семью, несомненно, продолжается. Новой формой давления является выступление в прессе не только против меня, но и против моей жены. Были заявления ТАСС. Например, одно из них носило название «Антисоветский спектакль госпожи Боннэр». Другое выступление было в эмигрантской газете «Русский голос», издающейся в Соединенных Штатах. Очень неприятное по тону и лживое.

Кримски: Это «Русский голос»? Не «Новое русское слово»?

Сахаров: «Русский голос». Точное название — «Русский голос». Все так же безработным является мой зять. Это, на самом деле, форма давления на нашу семью, тесную и дружную.

Никакого прогресса нет в отношении предоставления мне жилищной площади. Сейчас я не являюсь собственником какой-либо жилой площади и живу в квартире мамы моей жены. Академия наук ссылается на то, что никакое предоставление жилой площади, какой бы то ни было,— что все это невозможно, потому что возражает Моссовет. На это ссылается Академия наук, которая обычно все эти вопросы решает очень просто и легко.

Такова моя личная ситуация, и я опасаюсь, что она может продолжать углубляться и становиться еще более тревожной, если не будет какой-то поддержки мирового общественного мнения.

Кримски: Думаете ли Вы, что давление увеличилось после того, как Вы получили Нобелевскую премию?

Сахаров: Были и другие максимумы давления, например, в 73-м году. Непосредственно перед присуждением премии было вроде какое-то затишье. Но, может быть, они не хотели привлекать внимание ко мне перед присуждением премии. Может быть, вот такое, чисто тактическое, было ослабление. Вообще, я постоянно нахожусь под достаточно сильным давлением уже много лет.

Кримски: Следующий вопрос. Существует ли прогресс в движении инакомыслящих в эпохах после Хрущева, после создания Вами Комитета прав человека, после Хельсинки? Велика ли разница?..

Сахаров: Я понял вопрос. На самом деле надо представить себе, что первые очаги инакомыслия возникли в нашей стране сразу после войны. Это была как бы психологическая реакция на чувство свободы и нужности граждан своему государству, которое возникло во время войны. В сталинское время все эти очаги подавлялись в самом зародыше, и мы очень мало знаем о судьбах их участников. Эти судьбы были всегда трагическими, и, как правило, они затерялись в море ГУЛага. Эпоха Хрущева ознаменовалась рядом очень крупных перемен в общественной жизни нашей страны, брожением умов, всеобщей переоценкой многих догм. В системе тотального подавления свободы мысли возникли бреши, и они были успешно использованы многими честными, мужественными и талантливыми людьми. Это был подъем и в литературе, и в других областях общественной жизни. Эта эпоха подготовила условия для возникновения движения за права человека, но в том виде, в каком мы его знаем сейчас, оно возникло позднее, уже в ту эпоху, которую, наверное, правильнее назвать эпохой брежневской стабилизации, в середине и конце шестидесятых годов.

Я датирую возникновение движения за права человека организацией Инициативной группы по защите прав человека в 69-м году и, несколько раньше до этого, выходом первых номеров журнала «Хроника текущих событий».

На Западе часто путают Инициативную группу и Комитет прав человека. Комитет прав человека был организован Чалидзе [1], мной и Твердохлебовым несколько позднее. И я считаю, что, так сказать, эпохальным, переломным моментом была организация именно Инициативной группы, а не Комитета. Именно в Инициативной группе и в «Хронике текущих событий» представлены те важнейшие, принципиальные моменты движения за права человека, которые характеризуют его и являются очень важными, с моей точки зрения. Это стремление к соблюдению законов страны и гласности, к объективному и точному отражению фактов нарушения прав человека, это ориентация и опора на общепринятые международные нормы политических и гражданских свобод, отраженные во Всеобщей декларации прав человека, в Пактах о правах человека, а в последнее время — в Заключительном акте Хельсинкского соглашения. Это апелляция к международному общественному мнению и понимание связи проблем прав человека со всем комплексом мировых проблем, с проблемами безопасности и прогресса. Все это основные черты движения за права человека, они присутствуют уже в деятельности Инициативной группы и лежат в основе «Хроники текущих событий».

В Инициативной группе большую роль сыграли такие выдающиеся и удивительные люди, как недавно скончавшийся Григорий Подъяпольский [2] и Сергей Ковалев, арестованный в 74-м году. Я хочу подчеркнуть значение этих двух людей, которые, по-моему, сыграли особенно большую роль в формировании основных принципов этого движения.

Вы спрашиваете, что произошло после подписания Заключительного акта в Хельсинки. Я придаю большое значение активизации несанкционированной властями и свободной культурной жизни: организации неофициальных научных семинаров, неофициальных выставок, философских семинаров, концертов на частных квартирах. В условиях нашей страны представляет собой новое и принципиально важное явление это проявление нонконформизма, которое меняет психологическую атмосферу в нашей стране. Удалось добиться большего понимания положения верующих в нашей стране, понимания притеснений религии. Это проявилось, в частности, в изменении реакции Всемирного совета церквей в Найроби. Но самым главным событием я считаю организацию Группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений, которую возглавил Юрий Орлов.

Судебные и психиатрические репрессии, нечеловеческие условия в лагерях и тюрьмах, преследование верующих, национальная дискриминация крымских татар и нарушение национальной культуры в национальных республиках, проблемы эмиграции и воссоединения семей — вот некоторые вопросы, которым были посвящены пресс-конференции Группы.

Конечно, материал о нарушениях прав человека по каждому из этих разделов исключительно велик, и он никак не исчерпывается тем, что уже отражено в документах Группы. Главная работа Группы еще впереди.

Я призываю к всемирной международной поддержке Хельсинкской группы. Особенно важно сотрудничество с ней прессы, средств массовой информации и сотрудничество официальных международных организаций и инициативных частных международных организаций, которые имеют отношение к борьбе за права человека и к контролю за выполнением Хельсинкских соглашений. Я особенно подчеркиваю исключительную важность проблемы бесперебойной связи Группы с этими организациями и с прессой. Некоторые шаги тут уже, как я знаю, предприняты, но должно быть дальнейшее усиление этого.

[1] В. Чалидзе выехал в США в 1972 году.
[2] Г. Подъяпольский умер в 1976 году.

Особое значение для защиты прав человека имеет продолжающаяся вот уже почти восемь лет самоотверженная, кропотливая информационная работа издателей «Хроники текущих событий».

Кримски: Андрей Дмитриевич, было ли сюрпризом для Вас то, что власти не разрешили группе конгрессменов, наблюдающих за выполнением решений Хельсинки, приехать сюда несколько недель тому назад?

Сахаров: Я знаю об этом. Это на самом деле обычная тактика наших органов. Это есть их способ уйти от контроля, от обсуждения острых и важных проблем, и мы привыкли к тому, что в ряде случаев наши власти идут на такие острые меры.

Это не должно ни пугать, ни расхолаживать; это, наоборот, показывает, насколько важна вся эта проблематика и какая настойчивость должна применяться для того, чтобы был достигнут успех.

Кримски: У меня есть мысль, и я хочу знать, что Вы думаете об этом. Несколько лет тому назад, пять или семь лет тому назад, западным корреспондентам было не так легко встретиться с диссидентом и говорить откровенно, как мы говорим сейчас в Вашей квартире. Что Вы думаете об этом? Это значительное или незначительное изменение?

Сахаров: Это очень важно для нас и, я думаю, не только для нас, но и для всего мира, потому что получать информацию о нашей закрытой стране — это очень важно. Это достигнуто на самом деле явочным порядком, т. е. благодаря инициативе корреспондентов и диссидентов. Несомненно, власти относятся с большим неодобрением к таким контактам, и время от времени они вымещают свое неудовольствие на отдельных корреспондентах и на тех диссидентах, которые являются почему-либо, с их точки зрения, подходящими для такой акции. Но, с одной стороны, смелость корреспондентов и решительность диссидентов, с другой стороны, некоторые изменения, связанные с эпохой разрядки, с большим числом посещений нашей страны, большей открытостью, привели к тому, что какой-то рубеж уже перейден, когда полностью прекратить такие контакты власти, видимо, сейчас не в состоянии. Мы надеемся, что возможности эти будут развиваться, хотя они неприятны нашим властям, но... они сами виноваты в том, что это им неприятно.

Кримски: Следующий мой вопрос — это прогресс после написания Вами в 1968 году статьи «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Многие из изложенных в ней идей, может быть, неосуществимы, но сейчас много думают об этих вопросах. Может быть, это является надеждой на их осуществление. Что Вы думаете об этом?

Сахаров: Действительно, я в 68-м году писал о некоторых из тех проблем, которые теперь прочно вошли в обиход политических деятелей, а частично начали решаться, но я далек от того, чтобы приписывать себе тут решающую роль. Такие проблемы, как разоружение, усиление научно-технических и культурных связей, международная торговля, сотрудничество в деле охраны среды настоятельно поставлены самой жизнью и в какой-то мере, а иногда в довольно значительной, широко обсуждались и до 68-го года. За последние годы в этом отношении произошел определенный прогресс, и это не может не радовать. Но в то же время нет никаких оснований для самоуспокоения и для иллюзий. Тоталитаризм со всеми его опасными чертами существует, и в каких-то отношениях он даже укрепил и расширил свои позиции. Очень многие важные вопросы, которые я поставил в 68-м году и в последующих работах, еще ждут своего решения и требуют непрестанного общественного внимания. Я надеюсь, что моя общественная деятельность за истекшие 8 лет продолжает привлекать внимание к этим нерешенным проблемам.

Я считаю, что разрядка так, как она происходит сейчас, это, в основном, вежливая форма холодной войны и, кроме того, она то и дело оборачивается горячей войной в отдельных районах мира. Я убежден, что дополнение разрядки в военной, экономической, технологической областях, в которых она какое-то развитие уже имеет, разрядкой идеологической — жизненно необходимо для преодоления опасной для мира напряженности. Под идеологической разрядкой я имею в виду отказ от идеологической конфронтации, свободный обмен людьми и информацией, соблюдение прав человека и открытую международную защиту

прав человека во всех случаях их нарушения в согласии с общепринятыми международными принципами. Это главный вопрос, который нуждается в решении. Я, употребляя другие термины, писал об этом уже в 1968 году, и я считаю, что это остается центральным и сейчас.

Кримски: Следующий вопрос о давлении со стороны Запада, о его эффективности. Трудно, например, сказать, что поправка Джексона — Веника имела успех. Где граница давления и когда увеличение давления уже не приносит пользы?

Сахаров: Я знаю, что этот вопрос очень горячо дискутируется и высказываются противоположные мнения. Я считаю необходимым давление на советские власти для обеспечения того минимума гражданских и политических свобод в СССР, без которых не может быть и речи об идеологической разрядке, не может быть международного доверия. То есть я определяю грань исключительно с точки зрения тех задач, которые должны быть разрешены. Я никак не могу считать ошибкой принятие конгрессом Соединенных Штатов поправки Джексона — Веника к закону о торговле и не могу считать ошибкой публичную критику нарушения гуманитарных статей Хельсинкского соглашения. Я много раз писал, что право на свободный выбор страны проживания действительно первое среди равных в числе других прав. Если гражданин нашей страны, другой социалистической страны может свободно покинуть свою страну, если он имеет в запасе этот выход, то и государство вынуждено умерять свой произвол. Я надеюсь, что конгресс США будет и в дальнейшем придерживаться своей принципиальной позиции, не уступит советскому шантажу в этом вопросе, от которого зависит весь стиль разрядки.

Когда говорят о том, что возникли определенные трудности из-за этой резолюции, то обычно преувеличивается истинный масштаб этих трудностей. В основном в расширении торговли заинтересована именно советская сторона, американская сторона может обойтись и без советской водки и других товаров, вопрос о пошлине на которые связан с принятием принципа максимального благоприятствования. Советская сторона не может обойтись без тех технологических достижений, которые она усваивает в результате американской помощи, в результате ввоза американских товаров.

Вообще, оказывая давление, надо всегда быть готовым к противодействию. Это естественно — давление есть уже острый метод, и важно эту ситуацию понимать с самого начала; для того чтобы советское противодавление не вносило полной смуты, очень важно максимальное единство Запада.

Кримски: (Просит повторить.)

Сахаров: Когда оказывается давление, то надо всегда быть готовым к противодействию. При этом очень важно понимание этой ситуации и максимальное единство стран Запада.

Трудности, которые возникли в связи с принятием закона о торговле, обусловлены тем, что на том этапе, в начале 75-го года, это единство было недостаточно полным и недостаточно эффективным. Я думаю, что вопрос о свободе эмиграции настолько принципиален, что эта проблема никак не может быть списана с повестки дня, и надеюсь на продолжение принципиальной позиции конгресса США. Тем более я уверен, что страны, которые подписали Хельсинкское соглашение, будут с максимальной решительностью добиваться выполнения Советским Союзом гуманитарных статей, которые представляют собой логически важнейшую и необходимую часть Хельсинкских соглашений.

То, что Запад признал изменение границ в результате второй мировой войны,— это в какой-то мере уступка Советскому Союзу, потому что целый ряд из этих изменений мог бы являться предметом дискуссии. Но Запад счел возможным пойти на эту уступку, стремясь к стабильности; но тогда важнейшее условие стабильности, связанное со свободным обменом людьми и информацией, тоже необходимо должно защищаться.

Кримски: Может ли усиление давления толкнуть государство к действиям против свободы передвижения, против гражданских свобод? Не предпримет ли оно эти действия из гордости, может быть?

Сахаров: Дело, по-моему, не в гордости, а дело в том, что наши власти иначе реагировать не умеют, и приходится это учитывать; но прекратив или ослабив

давление, мы рискуем потерять то, что уже достигнуто, и, наоборот, продолжая давление, мы в конечном счете добиваемся улучшения ситуации, хотя иногда это обходится и не очень дешево. Вообще, это борьба, в борьбе неизбежны трудности.

Кримски: Не думаете ли Вы, что у советских властей будет хороший пропагандистский пункт в Белграде в следующем году? Они скажут, что это вмешательство во внутренние дела и противоречит Хельсинкскому соглашению. И, конечно, так же они рассматривают поправку Джексона — Веника.

Сахаров: Этот аргумент непрерывно выдвигает советская пропаганда, выдвигают наши дипломаты в своих выступлениях и даже ответственные руководители. Но эта позиция не выдерживает критики. Она может быть опровергнута. На самом деле, еще принятие Декларации прав человека в 48-м году означало признание того принципа, что нарушение прав человека, основных человеческих свобод — это не внутреннее дело государства, это угрожает международной стабильности и безопасности и противоречит принципам Организации Объединенных Наций. Это было признано. Это подтверждено также Хельсинкской декларацией достаточно определенными выражениями и достаточно сильно аргументировано. Так что эти советские отговорки на самом деле представляют собой как бы арьергардные бои, стремление еще раз отсрочить выполнение этих необходимых обязательств.

Кримски: Следующий вопрос. Вы уже затронули его. Западному человеку трудно понять, почему нужна свобода здесь, чтоб была возможна разрядка?

Сахаров: Это в первую очередь связано со спецификой нашего строя. Он сформировался на протяжении нескольких десятилетий, сформировался как тоталитарный строй, в котором все его стороны тесно увязаны в один клубок. Я уверен, что нарушение прав человека в нашей стране, таких прав, как право на свободу убеждений, право эмиграции и поездок, право получения и распространения информации, свобода совести, такие нарушения, как судебные и психиатрические репрессии, жестокий режим в тюрьмах и лагерях,— все это внутренне связано между собой и связано с опасной мобилизационной сущностью нашего государства, с закрытостью общества, с закрытым принятием важнейших решений, которые могут угрожать и гражданам нашей страны, и среде обитания не только в нашей стране, но и во всем мире и могут угрожать международной безопасности. Я убежден также, что без распространения разрядки на идеологическую сферу в том смысле, как я говорил выше, а тем самым на сферу прав человека, напряженность между Западом и социалистическими странами неизбежно будет сохраняться. Потому что, когда мы говорим о напряженности, то это напряженность, которая непрерывным обрвзом из идеологической сферы переходит во все остальные сферы. И, пока сохраняется идеологическая напряженность, в любой момент возможны опасные повороты событий. Как это происходит, мы даже за эти несколько лет, которые называются годами разрядки, неоднократно видели. В особенности это ясно проявляется в такие острые периоды, когда в каких-то точках возникают конфликты.

Поэтому я считаю, что требования выполнения прав человека и другие гуманитарные требования, отраженные в Декларации прав человека и в Хельсинкском соглашении,— это не вопросы тактики, не вопросы какой-то дипломатической торговли. Они имеют принципиальное значение для самой осуществимости разрядки.

Кримски: Изменилась ли Ваша позиция после 68-го года? Возможна ли полная свобода, свобода мысли и действий в социалистической системе?

Сахаров: Действительно, с момента написания мною статьи в 68-м году мои взгляды претерпели определенные изменения. Но я бы хотел подчеркнуть также преемственность моих взглядов. Очень многое было заложено от моей теперешней позиции еще в 68-м году. Моя теперешняя позиция коротко может быть охарактеризована таким образом: я считаю, что в государстве, в котором осуществлена полная партийно-государственная монополия в экономической сфере, в сфере культурной, идеологической, не говоря уже о таких, как военная сфера и служба безопасности... в таком государстве невозможны свобода мысли и свобода демократических действий. Но положение изменится, если мы представим себе общество с гибридной экономикой, общество плюралистическое по своему экономическому и культурному строю. Такое общество, как я писал в 68-м году,

может возникнуть в результате процесса сближения капиталистических и социалистических стран; я надеялся на это, продолжаю надеяться и сейчас. В обществе такого гибридного, плюралистического характера, как бы его ни называть, в таком обществе свобода возможна. В таком обществе обязательно должны быть возможны проявления личной инициативы в экономической, в культурной, в идеологической жизни. Например, если говорить о средствах информации, то обязательно должны быть возможны издательства, не контролируемые государством. Если мы обратимся к программам многих западных социалистических и даже некоторых коммунистических партий, то они, насколько я знаю, предполагают возможность такой свободы. Как это обернется в жизни, это зависит от понимания опасностей, связанных с тоталитаризмом и с предельной, полной государственно-партийной монополией. Если такая монополия не будет допущена, то свобода, как я считаю, возможна.

Кримски: Кажется, у Вас есть мнение, что западные либералы, интеллектуалы наивны в отношении этой страны. Что Вы думаете об этом? Это правильно или нет? Почему?

Сахаров: Если говорить о слове «наивность», то я его старался избегать и в особенности избегаю сейчас в применении к западным либералам, западным левым. (Вероятно, второй термин в данном случае будет точнее. Потому что слово «либерал» имеет разные значения в политике. Я, может быть, его употреблял ранее в не совсем общепринятом смысле.) На Западе есть доступ к гораздо более широкой информации, чем он есть у граждан нашей страны. У граждан нашей страны есть, конечно, личный опыт жизни в социалистическом государстве. На Западе есть доступ к информации о нашей стране, о своей собственной стране, и я думаю, что если у серьезного человека есть искреннее желание разобраться в положении в нашей стране и сравнить его с положением своей страны, то у западного человека такая возможность всегда есть, было бы желание. Но мне кажется, что у многих, в особенности это относится к недавнему прошлому, у многих западных левых есть определенная узость подхода, перевес проблем местной политики, местной политической борьбы, иногда концентрирующейся вокруг вопросов, с нашей точки зрения второстепенных или же таких, по которым не следует вести борьбу, потому что это ослабляет западный мир. Западный мир несет на себе огромную ответственность в своем противостоянии тоталитарному миру социалистических стран. Но я считаю, что эта узость подхода западных либералов, западных левых, она очень досадна, она привела ко многим трагическим последствиям, но она не является органическим пороком, им присущим, потому что она исправима. И определенные симптомы того, что положение исправляется, по-моему, в последние годы мы наблюдаем.

Кримски: Возможно, западные левые думают, что это слишком легко — критиковать советское государство, что это слишком...

Сахаров: Что это слишком тривиально, что это неинтересно, а вот критиковать собственное — это интересно. Может быть. Критиковать нас легко, но это важно, потому что формирование такого единого общественного мнения, достаточно отражающего действительность,— очень важная вещь, и это находится в стадии становления. До сих пор этот процесс не завершен, но, как я уже сказал, мне кажется, что определенные сдвиги налицо.

Кримски: Это мое личное мнение, что, может быть, Ваша деятельность была более видной до присуждения Вам Нобелевской премии?

Сахаров: Была какой?

Кримски: Видной. Я хочу сказать — более заметной, более активной. Может быть, в этом году было не так много пресс-конференций, не так много заявлений. Это правильная мысль?

Сахаров: Я сейчас постараюсь ответить. Я много думал как раз об этом вопросе и постараюсь ответить. Во-первых, год на год вообще не всегда похож. Бывают случайные отличия одного года от другого. Для нашей семьи этот год был очень трудным в личном отношении, и, кроме того, я должен сказать, что усталость после многих лет общественной деятельности, для которой я психологически очень мало подготовлен... сказывается. Для меня психологически очень трудно нести бремя международной известности, встреч; многие из этих встреч бывают совершенно бесполезными для меня, но очень утомительными, люди

меня утомляют... Это все имеет место. Тем не менее мне кажется, что я не сложил руки. В этом году было две поездки в Омск на суд Джемилева, была поездка в Нюрбачан. И я очень много — я не могу сказать, больше или меньше, чем в прошлые годы; может быть, несколько меньше, но все-таки много — выпускал документов по разным вопросам (около тридцати за пять месяцев). Я пишу медленно и мучительно — я совершенно не журналист по своему складу. И каждый документ мне очень дорого обходится — иногда это несколько дней, а иногда и несколько недель работы. Некоторые из тех документов, которые я написал за это время, получили широкую известность. К числу их я отношу обращение к кандидатам в президенты США, которое получило, как я понял, большой отклик в прессе. Но в других случаях пресса мало реагировала на принадлежащие мне документы и заявления. И в особенности это относится к радиостанциям. Это частично создает впечатление уменьшения интереса.

Я приведу несколько примеров.

Я обратился с призывом к ряду организаций, в том числе к Организации Объединенных Наций,— спасти Джемилева, который находится в трагическом положении. Это заявление практически пропало. Другой пример относится к заявлению, сделанному моей женой. Моя жена ездила на свидание с Кузнецовым. Кузнецов в этот момент находился в больнице. Ей даже не сказали о состоянии его здоровья и отказались предоставить свидание, заявив, что предыдущие ее свидания тоже были якобы незаконны. На самом деле, если посмотреть в Кодекс, то они абсолютно законны, и они крайне необходимы, так как нет больше человека, который мог бы к нему ездить. И вот это заявление тоже не было опубликовано и не попало на радио. Я очень расстроен, даже в какой-то мере был выведен из равновесия историей с ответами на вопросы корреспондента одной зарубежной газеты. Было договорено, что представлю эти ответы в письменной форме, я работал над ними две недели и придавал большое значение их полной, неискаженной публикации; но еще через две недели я получил ответ, что газета заинтересована не в публикации моих ответов, а в публикации статьи ее собственного корреспондента. Я тогда забрал этот документ себе, и он остался неопубликованным.

Кримски: Когда это было?

Сахаров: Это было перед самыми выборами президента США. Но я был согласен, чтобы эта публикация была и позже, изменив там несколько фраз.

Я считаю, что я в какой-то мере ответил на этот вопрос.

С одной стороны, я и действую, с другой стороны, мне трудно, и все это почеловечески должно быть понятно, но дело, по-моему, не сто́ит.

Кримски: Можно ли спросить, как долго может продолжаться Ваша деятельность, учитывая Ваше здоровье и психологическое настроение? Продолжаться, как она продолжается сейчас.

Сахаров: Я не знаю этого, я живу в соответствии с потребностью жизни, с тем, что требует текущая жизнь. Как долго это может продолжаться, это зависит от очень многих причин — и личных, и общественных. От помощи, которая мне оказывается, от того, как более молодые люди примут на свои плечи ответственность, лежащую на мне; с другой стороны, от того, как мне будет помогать мировое общественное мнение. Зависит, конечно, от моего здоровья, от моих семейных дел.

Когда я думаю, что́ я хочу для своей семьи, для себя, то я должен сказать, что я, как всякий человек, желаю для себя и для своей семьи обыкновенного человеческого будущего, обыкновенной человеческой судьбы и жизни. Но, к сожалению, то, что происходит сейчас, та жизнь, с которой мы все сталкиваемся, оставляет мало возможностей к такому развитию событий. Как все это будет развиваться дальше — это трудно прогнозировать.

Кримски: Ваше будущее. Вы получили много приглашений посетить Запад. В прошлом Ваше мнение было: без разрешения вернуться я не хочу ехать за границу. Как Вы думаете об этом сейчас и где Вы будете, может быть, через пять лет?

Сахаров: Сейчас я попробую представить себе, описать свою оценку ситуации. Я действительно получал много приглашений, в частности для чтения лекций в Принстоне. Потом, в прошлом году, я должен был поехать для получения Нобелевской премии. Я все время считал, что я могу поехать, отказаться от

такой поездки было бы невежливо и, в случае Нобелевской лекции, совершенно недопустимо; но я, естественно, считал, что мне будет предоставлено и право вернуться в свою страну. Я вижу, что ситуация моя лично, ситуация моей семьи ухудшается с каждым годом, она может ухудшаться и дальше; но, учитывая опыт прошлых лет, учитывая свое положение, я думаю, что я не могу рассчитывать па поездку или на эмиграцию как на выход лично для себя; я думаю, что я должен думать о каких-то других судьбах для себя. Во всяком случае, лично себя.

КОММЕНТАРИЙ:

20 декабря 1974 года А. Сахаров опубликовал следующее заявление:

«В течение последних десяти дней телефон в квартире, где я живу, у матери моей жены, стал очень странно работать: звонки с Запада доходят до меня, во разговор прерывается после первых одного-двух слов. Мой телефон технически исправен и нормально работает при московских разговорах. Нарушение моих международных связей я считаю способом давления на меня и попыткой затруднить мою общественную правозащитную деятельность.

Я прошу всех, кто заинтересован в связи со мной, обратить внимание на это и приложить усилия, чтобы наладить связь, тем более что нарушение связи дает мне основание опасаться более серьезных осложнений или репрессий».

Господин Кримски был в тот час па Пушкинской площади в числе нескольких иностранных корреспондентов и фотографировал собравшихся. Однако ему не удалось стать свидетелем описываемых событий: в 17.55, за пять минут до начала демонстрации, его увели и усадили в машину КГБ, откуда не выпускали около получаса.

Через два месяца, в феврале 1977 года, выслан из СССР.

«Инциденту в Омске» посвящено заявление для прессы, сделанное А. Сахаровым вскоре после возвращения в Москву.

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ

Суд в Омске над М. Джемилевым проходил в обстановке вызывающего беззакония. Из 16 родственников и друзей Джемилева на суд были допущены лишь четверо ближайших родственников, но затем двое из них удалены из зала за мнимое нарушение порядка. Судья лишил обвиняемого последнего слова. На слушанье приговора было допущено лишь двое ближайших родственников. На все время суда была нарушева телефонная связь Омска с Москвой.

Я не буду здесь обсуждать существо судебного дела — судебной расправы над честным и мужественным человеком, стоящим на грани гибели после 10 месяцев голодовки и осужденным на основании показаний единственного свидетеля, отказавшегося на суде от своих, данных под давлением, показаний.

Но именно попытка скрыть беззаконие, которое происходило в зале суда,— главная причина всех остальных беззаконий.

Я остановлюсь лишь на инциденте столкновения моего и моей жены с работниками КГБ, переодетыми в штатское. Это, по-видимому, необходимо, так как в мировой печати допущено много неточностей при обсуждении этого инцидента.

Работники КГБ не пускали в зал судебного заседания друзей и родственников подсудимого подобно тому, как это делается на всех политических процессах, применяя при этом грубое физическое насилие. В частности, такое насилие было применено ко мне и моей жене. Я ударил по лицу одного или двух работников КГБ, а также одного работника милиции, который оттаскивал меня по приказу работника КГБ.

Я заявляю, что эти мои ответные действия не носили преднамеренного характера, так же как аналогичные действия моей жены,— это была непосредственная реакция на насилие, на издевательство над чувствами друзей и родственников, издевательство над законом, на всю трагическую обстановку этого процесса и других политических процессов в нашей стране.

В отделении милиции я написал заявление, в котором отметил беззаконие обстановки суда и извинился перед пострадавшим работником милиции, но подчеркнул, что милиция в данном случае стала на сторону нарушителей закона. Моя жена отказалась от какихлибо письменных объяснений.

На другой день, после незаконного удаления из зала судебного заседания брата и сестры Джемилева, я и моя жена требовали прекратить продолжающиеся нарушения и вновь подверглись насилию. Мы были доставлены в отделение милиции, где моя жена потребовала медицинского осмотра, выявившего обширные кровоподтеки — последствия

насильственных действий работников КГБ. В милиции к нам относились корректно, вопреки первоначальному сообщению, переданному с искажениями из-за плохой связи из Омска окольным путем.

Я не исключаю, что против меня будет возбуждено уголовное дело. В этом случае суд должен выявить первопричину инцидента, заключающуюся в нарушении законности органами КГБ и суда.

Я заявляю, что два заявления ТАСС, посвященные этому инциденту, абсолютно лживы. Ложь, что мы якобы учинили драку с возмущенными гражданами около здания суда. Но главная ложь — что мы нарушали общественный порядок внутри зала судебного заседания. Мы не могли бы этого сделать по той простой причине, что три шеренги работников КГБ даже близко не подпускали к залу нас и других друзей и родных подсудимого,— и в этом суть всего дела.

17 апреля 76 г.

Андрей Сахаров

АНТИСОВЕТСКИЙ СПЕКТАКЛЬ ГОСПОЖИ БОННЭР

Москва, 21 января (ТАСС). Завидную подготовку получила во время недавнего зарубежного вояжа госпожа Е. Боннэр, жена небезызвестного антисоветчика Сахарова! Во время длительного турне по странам Западной Европы она не только научилась униженно благодарить своих хозяев за разного рода «премии» и финансовые подачки, но и освоила азы постановки антисоветских спектаклей.

Очередной такой спектакль госпожа Боннэр намерена разыграть сегодня. В качестве сценической площадки избрана квартира Сахарова. На роль главной звезды антисоветского шоу приглашен активный сионист Ефим Давидович, специально прибывший по этому случаю из Минска. Кульминационным моментом спектакля должно стать так называемое «отречение», в ходе которого Давидовичу поручено публично перед киноаппаратами отречься от родины, от того, что она когда-то ему дала.

Роль восторженных зрителей и операторов на этой провокационной премьере отведена ряду аккредитованных в Москве западных корреспондентов. Что ж, как говорится, о вкусах не спорят, хотя не может не вызывать удивления тот факт, что иные представители западных органов пропаганды забывают о своей главной задаче — подготовке объективной информации о жизни советской страны, о том, что действительно волнует советский народ, а вместо этого, пренебрегая законами гостеприимства, предпочитают участвовать в подготовке грязных пасквилей на советскую действительность.

Что же касается режиссера спектакля, госпожи Боннэр, то ее антисоветская деятельность, за которую она с особым усердием взялась по возвращении из зарубежных далей, вполне объяснима. Ведь известно: на Западе зря доллары не платят и уж тем более зря не финансируют длительные туристические турне по Италии и другим странам. Вот и старается госпожа Боннэр отработать свои тридцать сребреников...

К ЗАЯВЛЕНИЮ ТАСС ОТ 21 ЯНВАРЯ 1976 ГОДА

1. Я не готовила «спектакль» на 21 января, иначе я обязательно, и как всегда по телефону, пригласила бы на него тех, кто во второй части заявления назван «восторженными зрителями»,— иностранных журналистов, аккредитованных в Москве.

2. Непонятно, о какой квартире академика Сахарова идет речь. В квартире, где он раньше был прописан и где не живет четыре с половиной года, я не была ни разу почти такой же срок; а там, где живу я, моего мужа не прописывают, и теперь он вообще не имеет ни квартиры, ни прописки в Москве.

3. Полковнику Давидовичу, сражавшемуся с фашизмом и награжденному за это несколькими советскими орденами, нет необходимости отрекаться от родины, где погибли его близкие. Два года назад, подав заявление о выезде в Израиль, он отрекся от советского государства, но родина и государственный аппарат — понятия не идентичные. И где бы человек ни жил, он остается родившимся там, где родился. К сожалению, в заявлении ТАСС не сказано, почему полковник Давидович до сих пор не получил разрешения на отъезд, хотя за это время его успели лишить воинского звания и пенсии.

4. Расходы на поездку, так же как и другие мои расходы, могут интересовать только моего мужа. Если бы эти деньги были приобретены незаконным путем, то меня бы привлекли за них к суду, и в таком случае ТАСС могло проявить законный интерес к процессу.

5. Более двух лет назад «Литературная газета» писала о моем муже, что он цитирует Евангелие и кокетливо помахивает оливковой веточкой; в октябре 1975 года газета «Труд», так же как и ТАСС вчера, уже называла Нобелевскую премию Мира «тридцатью сребрениками». Непонятно, почему органы печати атеистического государства так привержены к библейским сюжетам.

22 января 1976 года

Елена Боннэр

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ БЫВШЕГО ПОЛКОВНИКА СОВЕТСКОЙ АРМИИ ЕФИМА ДАВИДОВИЧА

С удивлением узнал я о том, что ТАСС уделило моему приезду в Москву большее внимание, чем визиту государственного секретаря Генри Киссинджера, сделав по моему поводу специальное заявление.

Моя беседа с академиком Андреем Сахаровым и его женой Еленой Боннэр интерпретируется ТАСС как подготовка антисоветской публичной акции отказа от своей родины. Это заявление ТАСС, не соответствующее действительности, свидетельствует только об одном непреложном факте — что аппаратура подслушивания в квартире академика Сахарова работает плохо. Других источников этой информации нет и быть не может. Эта аппаратура позволила КГБ установить сам факт нашей беседы и, по-видимому, зафиксировать отдельные слова, но смысла уловить ему не удалось. Не желая попасть впросак перед своим начальством, операторы этого московского «Уотергейта» сочинили какой-то вздор.

Я никогда не собирался отказываться от своей родины — государства Израиль, а советская родина давно уже сама от меня отказалась, зачеркнув все, что я сделал для страны в мирное время и на фронте во время войны.

Мой приезд в Москву связан с необходимостью получить квалифицированную медицинскую консультацию, которой меня лишили в Минске.

Что же касается моих публичных протестов, то их было немало в прошлом, и я их не прекращу до тех пор, пока в СССР будут незаконно и насильственно удерживать хотя бы одного еврея из тысяч, которые сейчас лишены своего неотъемлемого права на эмиграцию.

Москва, 22 января 1976 г.

Через месяц с небольшим, 1 марта, Ефим Давидович перенес пятый инфаркт, после чего еврейские активисты попытались добиться для него и его семьи разрешения на выезд в Израиль. 25 марта ОВИР отказался рассмотреть просьбу о выезде Давидовича — «по сведениям ОВИРа, Давидович чувствует себя прекрасно». Еще через месяц Давидович умер.

«24 апреля 1976 г. умер Ефим Аронович Давидович, полковник в отставке, участник Великой Отечественной войны, награжденный восемнадцатью орденами и медалями, все последние годы боровшийся за право советских евреев на выезд в Израиль.

Неравнодушный к судьбе своего народа, перенесшего в последние десятилетия страшные испытания (в Минском гетто погибло 200 тысяч евреев и среди них родители Давидовича и трое его малолетних братьев), Давидович честно и громко выступил против антисемитизма. Письма, обращения, протесты Давидовича привлекли к нему общее внимание и особенно острое внимание органов госбезопасности. В 1972 году против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде. 1 декабря 1972 года Давидович был арестован, но через сутки освобожден под подписку о невыезде. В течение полугода Давидовича допрашивали, доводя продолжительными и интенсивными допросами до обмороков, до инфарктов. После очередного допроса 21 февраля 1973 года Ефим Давидович был помещен в реанимационное отделение, жизнь его висела на волоске.

Под давлением общественности в мае 1973 г. дело против Давидовича («дело № 97») было закрыто. Но травля не прекращалась, даже усилилась. О нем публиковались тенденциозные статьи, его друзей запугивали, ему не давали ездить в Москву, силой снимали с поезда. В мае 1975 года после выступления на антифашистском митинге в районе бывшего Минского гетто Давидович был лишен звания полковника в отставке, соответствующей пенсии и медицинского обслуживания...

До последнего дня Давидович боролся с несправедливостью. Можно не преувеличивая сказать, он жил как человек, он умер как воин».

(«Памяти Ефима Давидовича» — «Хроника текущих событий», выпуск 40.)

57 советских граждан, в их числе Андрей Сахаров, выступили с заявлением, посвященным смерти Давидовича, которую они назвали убийством. «Убит за то, что самоотверженно боролся за право советских евреев эмигрировать в Израиль и, не щадя себя, защищал каждую жертву преследований».

«Русский голос» — малоизвестная просоветская газета, издающаяся в Нью-Йорке. Главный редактор — кавалер ордена «Дружбы народов» Яхонтов. Номер газеты со статьей «Мадам Боннэр — злой гений Сахарова?» был получен по почте А. Сахаровым и несколькими его коллегами по Академии наук.

Также поводом для нападок на Е. Боннэр послужил, например, отъезд из СССР Михаила Бернштама, бывшего члена Группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР.

В сообщении ТАСС для заграницы от 22 сентября 76 г., посвященном этому событию, комментатор ТАСС Борис Руйкович назвал Бернштама членом «Комитета по контролю за выполнением в Советском Союзе Хельсинкских соглашений, сколоченного стараниями мадам Сахаровой-Боннэр».

ЗАЯВЛЕНИЕ

Восемнадцатого ноября мне было отказано в краткосрочном свидании с Эдуардом Кузнецовым, осужденным на 15 лет в декабре 1970 г. в Ленинграде. Он известен мировой общественности не только в связи с этим трагическим процессом, но и как автор тюремных и лагерных дневников, опубликованных во многих странах. Меня тогда вызывали на допросы, а двум людям эта книга стоила свободы — Виктор Хаустов был осужден на четыре года лагеря и две ссылки, Габриэль Суперфин[1] — на пять лет.

Все шесть лет, которые Кузнецов находится в лагере, я ездила к нему, и мне давали свидания, потому что его мать тяжело больна и могла совершить эту трудную поездку только дважды.

Сейчас Кузнецов болен и находится в Мордовской лагерной больнице; мне же не только не дали свидания, хотя я приехала в срок, обусловленный законодательством, но и отказались сообщить, что с ним и каково его состояние.

Обеспокоенная состоянием здоровья Эдуарда Кузнецова и тем, что отказ в свидании является нарушением закона, я обращаюсь к мировой общественности.

19 ноября 1976 года

Елена Боннэр-Сахарова

В ноябре 1973 года Елена Боннэр трижды допрашивалась в Лефортовской следственной тюрьме КГБ. Она отказалась от участия в следствии. В частности, в одном из протоколов допроса она записала: «Я отказываюсь давать показания в качестве свидетеля в деле Суперфина, Хаустова и Боннэр, потому что, как сообщил мне полковник Сыщиков, я являюсь одним из соучастников этого дела».

Тогда же полковник Сыщиков угрожал ей, например, тем, что, если она не изменит своего поведения на следствии, Кузнецову может вновь грозить смертная казнь, которая в декабре 1970 года была заменена ему 15 годами лагерей особого режима.

Допросы в Лефортове описаны Еленой Боннэр в заявлении от 20 ноября, которым она публично взяла на себя ответственность за передачу на Запад «Дневников» Эдуарда Кузнецова.

В декабре 1977 года Андрей Дмитриевич Сахаров и Елена Георгиевна Боннэр приехала к Эдуарду Кузнецову и около 10 дней провели в поселке Сосновка — административном центре Мордовских лагерей, безуспешно пытаясь добиться свидания с ним. Протестуя против лишения свидания, Кузнецов объявил голодовку протеста.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТА ИТАЛЬЯНСКОЙ ГАЗЕТЫ «КОРРЬЕРЕ ДЕЛЛА СЕРА»

1. *В коммунистических странах, от СССР до стран Восточной Европы, ряды диссидентов растут. Каковы, по-вашему, причины этого?*

Я не уверен, что имеет место количественный рост, но несомненно, мы сейчас являемся свидетелями появления качественно новых явлений в борьбе за права человека. Главная причина этого — постоянное и глубокое нарушение в СССР

[1] Г. Суперфин выехал в мае 1983 г., живет в Германии.

и других странах Восточной Европы всех основных гражданских, политических и многих социальных и культурных прав, в противоречии с официально провозглашенными целями и обязательствами, в том числе в противоречии с имеющими силу закона Пактами о правах и с гуманитарными статьями Хельсинкского акта. Ненасильственная борьба за основные гражданские и политические права имеет определяющее значение для исторических судеб наших стран, для международного доверия и будущего всего человечества. Понимание этого все большим числом людей в наших странах и на Западе — вторая причина, почему движение за права человека могло развиваться и получило общественную поддержку.

2. *Каково, по-вашему, различие между диссидентами СССР и Восточной Европы? Главное отличие в различной общественной среде, на фоне которой происходит борьба за права человека в СССР и странах Восточной Европы?*

В СССР, пережившем несколько десятилетий неслыханного в истории террора и политического, гражданского унижения народа, широкие круги рабочих, крестьян, интеллигенции в основной массе пассивны, запуганы, зависимы от тоталитарной власти. Я не хочу сказать, что путь народов Восточной Европы был легче. Но все же, видимо, обстановка в этих странах отличается от обстановки в СССР. Эти страны исторически всегда были ближе к Западу с его гуманистическими и демократическими традициями, с традиционным уважением к правам личности. В некоторых из этих стран, особенно в Польше, традиционно велико и благотворно влияние церкви, и она сумела сохранить это влияние в очень трудных условиях. Наконец, немаловажным фактором является то, что страны Восточной Европы находятся в недопустимой зависимости от СССР, и естественное требование диссидентов об освобождении от этой зависимости находит отклик в самых широких слоях народа и расширяет базу движения за права человека в этих странах.

Но при всем этом я считаю, что сходство, общность целей движения за права человека в СССР и странах Восточной Европы в широком историческом плане много важней, чем все отмеченные мною отличия.

Мы все в СССР испытываем большое восхищение новым подъемом деятельности наших друзей в странах Восточной Европы — организаторов «Хартии-77» в ЧССР, Комитета защиты рабочих в Польше и других. Мы никогда не забудем той роли, которую Пражская весна 1968 года сыграла в формировании движения за права человека в СССР.

3. *Как Вы думаете, в будущем могут возникнуть связи между советскими и восточноевропейскими диссидентами?*

Одна из основных особенностей тоталитарных стран — затруднения информационного обмена как внутри страны, так и особенно с другими странами. Только огромные усилия (а иногда и жертвы) дали возможность иметь ту связь со странами Запада, которая есть сейчас; и ослабление внимания к этой проблеме в любой момент угрожает потерей того, что достигнуто. У меня и других диссидентов нет возможности снять телефонную трубку и позвонить нашим друзьям в странах Восточной Европы или написать им письмо. Конечно, мы все очень хотели бы иметь возможность личного свободного контакта, еще лучше — совместные выступления, а также иные менее формальные способы координации наших усилий. Быть может, международная поддержка когда-нибудь даст такую возможность, и это было бы очень важно не только для наших стран. Но все же мне и сейчас кажется, что и на расстоянии у нас существует определенное, пусть не полное, взаимопонимание, чувство локтя.

4. *Как Вы расцениваете «Хартию-77» и реакцию советских властей на нее?*

Я считаю «Хартию-77» историческим документом, представляющим собой новый важный шаг в борьбе за права человека не только в ЧССР, но во всех коммунистических странах. Очень важно, что «Хартия» опирается на важнейшие международные документы — Всеобщую декларацию прав человека, Пакты

о правах, имеющие силу закона, Хельсинкский акт — и констатирует их несоответствие реальному положению. Весь дух этого документа, его сдержанный пафос и сила вызывают у меня глубокую симпатию. Этот документ подписан 300 гражданами ЧССР и несомненно одобряется очень многими во всей стране, именно это вызвало ярость властей и фальшивые инсценировки народного осуждения.

Реакция советской прессы на «Хартию» очень показательна. Это угроза не только чехословацким, но одновременно и советским диссидентам. Но при этом (как всегда) сама «Хартия» не опубликована и даже не процитирована, что свидетельствует о неспособности официальной пропаганды вести честную, открытую идейную борьбу на сколько-нибудь равных условиях.

5. *Как Вы думаете, этот документ может быть принят советскими диссидентами?*

Я считаю, что может. Весь дух этого документа, несомненно, очень близок советским диссидентам. В частности, я, если «Хартия» дает это право гражданам других стран, прошу данное заявление считать подписью под «Хартией» моей и моей жены Елены Боннэр.

6. *Какого рода помощь диссиденты СССР и Восточной Европы могут ожидать от западных компартий?*

Движение диссидентов, или, точнее, движение за права человека в наших странах, не носит политического характера и в нем принимают участие люди с различным мировоззрением. Мы считаем это движение очень важным для будущего не только наших стран, но и для всего человечества. Мы рассчитываем на поддержку всех честных, гуманных и дальновидных людей во всем мире вне зависимости от их политической платформы.

Особенно мы нуждаемся в гласности, в широком и объективном освещении подлинных фактов о наших странах, не искаженных официальной пропагандой. Если коммунистическая партия будет уделять таким фактам внимание, если она, в частности, подымет свой голос в защиту политзаключенных, в защиту свободы убеждений и информационного обмена, в защиту свободы передвижения,— это будет важным вкладом в движение за права человека.

Диссиденты обычно лишаются работы. Поэтому они и их семьи, а также семьи политзаключенных нуждаются в материальной поддержке.

Я считаю, что коммунистические партии, которые декларируют идеи плюралистического коммунизма с человеческим лицом, должны еще решительней на деле отмежеваться от политики правительств и партий стран тоталитарного коммунизма, требовать от них осуществления основных гражданских и политических прав.

7. *Как Вы думаете, давление на диссидентов в последнее время усилилось?*

Я думаю, да. Одна из причин — усиление борьбы за права человека, с которой власти не могут справиться на поле честной дискуссии. Другая причина — приближение Белградской конференции. Скомпрометировать и подавить диссидентов в это время — заманчивая цель для репрессивных органов. Обыски, допросы, аресты, провокации, угрозы физического насилия и, возможно, прямые акты тайного террора — все это идет в ход. Я уже не раз писал об этом. Нерасследованное убийство поэта-переводчика Константина Богатырева [1], бывшего узника сталинских лагерей,— один из многих примеров.

Похоже, что власти хотят разгромить Группу содействия выполнению Соглашения в Хельсинки в СССР (Москва, Киев, Вильнюс) и для этого провели ряд обысков. Особенностью этих обысков были подлоги денег, порнографических изданий, что рассчитано на компрометацию участников Группы.

После взрыва в московском метро возникла опасность того, что он будет использован для усиления репрессий и, возможно, явился делом рук КГБ. Кровавое прошлое органов госбезопасности способствует возникновению таких опасений. Статья Виктора Луи сильно подкрепляет эти опасения. Желая информировать мировую общественность об этих опасениях и тем самым предупредить опасное развитие событий, я написал об этом статью, которая явилась поводом для вызова меня в Прокуратуру СССР. Мне предложили написать опровержение. Зам. Генерального Прокурора объявил мне официальное предупреждение об уголовной ответственности, если я не прекращу мою общественную деятельность. Подобное предупреждение часто является предвестником ареста. Однако в отношении своих близких и себя самого я больше опасаюсь мафиозных действий.

Один из методов борьбы с гласностью — этим единственным оружием диссидентов — блокада международных связей (телефонных и почтовых). Итальянская телефонная служба может подтвердить, что даже чисто личные телефонные разговоры, вызванные желанием моим и моей жены узнать состояние здоровья нашего большого друга, живущей во Флоренции, доктора Нины Харкевич,— оказываются абсолютно невозможными из-за деятельности операторов КГБ.

26 января 1977 года

[1] Константин Богатырев убит в 1976 году.

ИНТЕРВЬЮ ПАРИЖСКОЙ ГАЗЕТЕ «ФРАНС СУАР»

23 февраля 1977 года

1. *Как живете? Зарплата, машина, квартира, друзья, что читаете, кино, театр?*

Вопрос поставлен широко, начну с конца. В театре последний раз я был в начале лета 1975 года, зато под давлением друзей был последнее время дважды на концертах: слушал Рихтера — Баха. Оба концерта оставили неизгладимое впечатление и при нашей жизни казались путешествием в другой мир. В кино не был очень давно. Читаю мало. Нет ни времени, ни сил, но иногда перед сном вслух читаю жене английские детективы, что-нибудь во втором или третьем часу ночи мы позволяем себе такой «релакс». Зарплата у меня по советским нормам большая — 350 рублей старшего научного сотрудника и 400 как академика [1], жена получает пенсию 120 руб., теща — 85. Это наш семейный доход. Расход всегда его превышает — наша семья 7 чел. Мы живем вместе с тещей и семьей дочери жены в квартире из двух комнат, к которой я не имею никакого формального отношения, стеснив тещу и семью Тани, а последний год попросту выселив их на дачу. Это очень затруднило их жизнь — теща лишена возможности лечиться, совсем не наблюдается врачом, внук не может быть отдан в детский сад, трудно с продуктами, прачечной и многими бытовыми вещами, не говоря уже о том, что Таня и Ефрем оторваны от друзей и своего круга знакомых. Они оба не имеют работы: Ефрема никуда не берут, после того как уволили в декабре 1975 года, у Тани на руках двое малышей. И даже если бы Ефрем смог найти работу, она не смогла бы жить одна на даче с двумя малышами и тяжело больной бабушкой. Итак, наша семья — семь человек. Мой сын — студент, и я его содержу. Мой брат болен, не может работать, и единственный источник его существования — 120 рублей в месяц, которые я ему даю. Сын жены — студент, он получает стипендию 40 рублей, и мы даем ему еще столько же; иногда он прирабатывает уроками; его жена — тоже студентка и получает такую же стипендию, и у них есть годовалая дочка. Своим замужним дочерям я не помогаю регулярно. Постоянно мы помогаем друзьям, знакомым и незнакомым, и живем, как говорят у нас, «в разнос». Вот и все про зарплату, вернее — про доходы и расходы. Проблема квартиры — для нас почти проблема жизни. Мы собирались произвести обмен, с тем чтобы была возможность жить вместе всемером в четырехкомнатной квартире, однако райисполком, нарушив закон, не разрешил этот обмен. Теперь 2 марта будет городской суд, который должен решить, может ли районный суд рассматривать наш спор с райисполкомом о разрешении обмена жилплощади.

[1] А. Д. Сахаров получал 400 рублей как старший научный сотрудник и 500 рублей как академик. В своем ответе он назвал суммы после вычета налогов.

Машина? Я имею возможность в рабочие часы, кроме субботы и воскресенья, вызвать машину из гаража Академии наук. Эта возможность есть у всех академиков, и, видимо, я могу пользоваться академической машиной до тех пор, пока я академик.

2. *Опасности для Вас и Ваших близких?*

Мне трудно предугадать, какие опасности ждут меня лично, я об этом не думаю, хотя предупреждение, данное мне зам. Главного прокурора СССР Гусевым, не предвещает мне ничего хорошего. Я отказался подписать это предупреждение, так как не считаю свою деятельность антисоветской, клеветнической и делаю и говорю то, что мне подсказывает моя совесть. В своих общественных выступлениях я всегда стараюсь руководствоваться конструктивным подходом, я хочу видеть свою страну действительно миролюбивой, не опозоренной психушками и лагерями; ее правительство — действительно заботящимся об интересах своих граждан.

Все преследования последних лет больше всего касались семьи дочери жены Тани. Мне угрожали, что убьют ее мужа и годовалого сына (письмо ЦК Русской христианской партии — явно вымышленной); эта же угроза была повторена ее мужу. Ее выгоняли из университета, ее муж безработный и не имеет надежды получить хоть какую-нибудь работу. Против него была попытка сфабриковать уголовное дело. Несколько дней тому назад его вызвали на допрос, угрожая возбудить дело,— а может, оно и возбуждено уже. Самой Тане угрожает сейчас уголовное дело в связи с тем, что она была оформлена лаборантом на предприятии, где делают лечебно-диагностические сыворотки, получала 20 рублей в месяц и делала дома переводы с английского для цеха, а остальную зарплату делили между собой лаборантки, которые мыли в цехе посуду. Так делают в большинстве советских предприятий, но в данном случае прокуратура проявила не свойственную ей обычно заинтересованность, считая, что государству, хотя работа и выполнялась, нанесен ущерб. На допросе прокурор угрожал ей, что ее немедленно арестуют, несмотря на то, что дома ждут двое малышей — трех лет и одного года и больная бабушка. Чем кончится это, мы не знаем. Я часто думаю, что все тяготы и преследования, которые должны были бить по мне лично, падают на Таню и Ефрема, потому что западная общественность очень чутко реагирует на любое слово в мой адрес, но не понимает, что преследования их для меня несравнимо трагичнее, чем что-либо другое. Эта семья с двумя малышами, давно ставшая заложником в руках наших репрессивных властей, живет в непрекращающемся кошмаре, полностью пожертвовав своим домом, покоем, работой, помогая мне, чтобы я мог продолжать свою общественную деятельность.

3. *Что изменилось для Вас лично и для борьбы после письма Картера?*

Конкретно — ничего. Для меня лично — ничего. Для борьбы — я полагаю, что это вопрос времени. Те нравственные критерии, которые, как президент Картер подчеркнул в своем письме, будут основой деятельности новой администрации, очень важны не только сейчас, но и в долговременном плане. Интерес к проблеме прав человека, когда президент великой страны говорит о ней, может только возрасти, и это очень хорошо. Но мне бы хотелось и конкретных быстрых решений в тех вопросах, где это необходимо. Я писал в своем ответном письме президенту, что прошу его срочного вмешательства для перевода тяжело больного Сергея Ковалева в Ленинградскую тюремную больницу,— Сергей Ковалев еще в 36-м лагере, держит голодовку. Спасти его жизнь может только немедленный перевод в больницу. Я просил в своем письме также оказать помощь в том, чтобы больных Александра Гинзбурга [1] и Миколу Руденко [2] отдали на поруки или под залог. Семь человек, в числе которых я и моя жена, просившие прокуратуру об этом, до сих пор не получили ответа. Я писал, что все четыре члена Группы содействия Хельсинки в СССР должны быть освобождены, что Группа

[1] А. Гинзбург обменен в 1979 году, живет в Париже, член редколлегии газеты «Русская мысль».

[2] М. Руденко выехал за рубеж в 1987 году.

должна иметь возможность продолжить свою важную работу. Однако все четверо находятся в заключении. Я уверен, что решения этих трех конкретных проблем никак не могут сказаться на судьбе переговоров по СОЛТ и должны быть решены в самый краткий срок.

К сожалению, пока это не произошло, я не могу сказать, что что-либо изменилось после письма президента Картера ко мне.

4. *Что Запад может сделать?*

Мне кажется, что я, как все те, кто живет в нашей стране и в странах Восточной Европы, не можем давать советы. Западные лидеры, западные общественные деятели, просто люди лучше нас информированы, они не живут в условиях давления, гнета, преследований, отсутствия свободной прессы, почтовых и телефонных связей. Мы не можем давать советы. Мы говорим вслух, громко о том, что у нас происходит,— это очень трудно — от нас говорить правду. Своим словом мы защищаем мир и будущее. А выводы, что делать,— это должен решать сам Запад.

5. *Как Вам известно, президент Франции пока ничего не сказал; должны ли правительство и президент Франции открыто высказаться по этим вопросам?*

Проблема прав человека, гуманитарные аспекты Хельсинкского акта важны для всех участников Соглашения в Хельсинки. Выполнение всех пунктов Соглашения является гарантией мира. Я думаю, что высказывания по этим вопросам — прямой долг руководителей всех стран, подписавших Акт.

Я только что узнал об интервью зам. Прокурора СССР Гусева газете «Нью-Йорк таймс». Гусев сослался на американский закон об антиконституционных действиях и сказал, что в СССР судят людей за конкретные противозаконные действия, а к некоторым другим относятся гуманно (он имел в виду меня). Я, однако, очень хочу, чтобы «гуманное» отношение распространялось не только на меня, но и на других подвергающихся репрессиям диссидентов, которые так же, как и я, не совершили никаких антиконституционных действий. В особенности необходимо освобождение всех арестованных членов Хельсинкской группы.

КОММЕНТАРИЙ:

Здесь составитель счел уместным привести краткий очерк политики властей по «квартирному вопросу».

Весной 74-го года Академия наук предоставила Андрею Дмитриевичу Сахарову четырехкомнатную квартиру во втором этаже академического дома на углу улицы Дмитрия Ульянова и Ленинского проспекта. Однако из двухкомнатной квартиры в четырехкомнатную семья Сахарова так и не переехала — Моссовет, как сообщили Сахарову, «наложил вето» на решение академии. С тех пор все просьбы Сахарова об улучшении его жилищных условий отклонялись со ссылкой на непреклонность Моссовета, Моссовет же Сахарову и вовсе не отвечал. (Четырехкомнатная академическая квартира, шумная — с окнами на перекресток, пустует, кажется, и сегодня.)

15 января 76-го года отделение милиции Перовского района отказалось прописать А. Д. Сахарова в двухкомнатной кооперативной квартире его жены. По словам представителя милиции, ранее эту прописку разрешившего, она, милиция, не может действовать против воли общественности. Как выяснилось впоследствии, большинство жильцов кооператива ничего не знали о протесте, заявленном от их имени комендантом и секретарем партгруппы ЖСК.

Позднее Сахарову предложили вновь прописаться в квартире, где он не живет уже много лет, но он отказался и около года не был прописан нигде. Только в декабре 76-го года президент АН СССР Александров сообщил ему, что его просьба о прописке удовлетворена.

Вскоре семья А. Д. Сахарова подала заявление на обмен, в результате которого она должна была переехать из двух двухкомнатных квартир в одну четырехкомнатную. Сложный обмен, в котором приняло участие семь семей, был разрешен жилищной комиссией райисполкома 27 января, однако затем Черемушкинский райисполком во главе с председателем Асоскиным отменил это решение, сославшись на то, что одна из участниц обмена — Л. И. Кошкина — должна была переехать из комнаты площадью 16, 07 кв. м. в кооперативную квартиру площадью 16,8 кв. м. По мнению райисполкома, она не нуждалась

в таком улучшении жилищных условий. Райисполком заодно отменил «решение общего собрания ЖСК „Криптон", пр. 7 от 25 декабря 1976 г., о приеме в члены ЖСК гр. Кошкиной Л. И.».

10 февраля народный суд Черемушкинского района отказал в рассмотрении иска. 2 марта Мосгорсуд подтвердил решение районного суда, сославшись на то, что Кошкина не является членом ЖСК «Криптон». (Законность отмены райисполкомом решения общего собрания членов кооператива в суде не обсуждалась.) Утром того же дня ТАСС опубликовало статью, в которой иск участников обмена рассматривался как попытка Сахарова заявить незаконные претензии на получение дополнительной жилплощади.

2/3 ТАСС 5.31

Перевод с английского

НОВЫЙ ФАРС ГОСПОДИНА САХАРОВА

Корреспондент ТАСС Александр Исаев пишет: «Московский городской суд будет слушать сегодня дело, возбужденное господином Сахаровым. Суть его в том, что несколько месяцев назад Андрей Сахаров пытался осуществить в противоречии с советскими законами и постановлениями сложный обмен трех принадлежащих ему и членам его семьи квартир в Москве. Исполнительный комитет Черемушкинского района, перед которым был поставлен этот вопрос, отклонил требование Сахарова о существенном увеличении его площади, которая была достаточно велика без этого. Аналогичное решение также последовало от народного суда Черемушкинского района, к которому Сахаров обратился с жалобой против решения исполнительного комитета. Каковы были основания решений, принятых народным судом и исполнительным комитетом?

Как известно, жилые дома в Советском Союзе принадлежат государству, и квартиры в них предоставляют населению за очень низкую плату, которая не превосходит 3—5 % семейного бюджета. Крупное жилищное строительство осуществляется в Москве и других советских городах, но жилищная проблема все еще не полностью решена. Поэтому в Москве существует жилищная норма, составляющая 10 кв. м на человека. Что касается Сахарова, его семья уже имеет 30 кв. м на члена семьи. Сахаров имеет также двухэтажную виллу под Москвой в 30 минутах езды от центра — кроме трех квартир в Москве.

Принимая во внимание все эти обстоятельства, так же как советские законы и постановления, народный суд и исполком отклонили сахаровское требование об увеличении его жилой площади.

Кажется, все было ясно, но Сахаров показал себя неустанным сутяжником, возбудил жалобу против решения народного суда Черемушкинского района в Московском городском суде, не забыв пригласить при этом на слушание группу иностранных корреспондентов. Возникает вопрос: почему Сахаров нуждался в этом новом фарсе? Мы не думаем, что он действовал так, потому что задыхался от тесноты в своих трех квартирах и загородной вилле. Несомненно, причины этого фарса должны быть иными — по чьей-то подсказке Сахаров был вынужден вновь привлечь скандальное внимание к своей персоне части иностранной прессы и в то же время возвести клевету на советские законы».

Вскоре власти вновь продемонстрировали решимость не допускать каких-либо перемен в жилищном положении семьи А. Сахарова.

7 июля Елена Георгиевна Боннэр позвонила в бюро обмена Перовского района, где ей сообщили, что заседавшая накануне комиссия райисполкома разрешила ей и ее мужу А. Сахарову «родственный» обмен с семьей дочери, и предложили прийти за ордерами. (Следует отметить, что в этот день она впервые воспользовалась квартирным телефоном в своих переговорах об этом новом обмене.)

Однако уже назавтра, когда вся семья пришла в бюро обмена, инспектор бюро заявила, что обмен запрещен, и показала Е. Боннэр ее «обменное дело». Это «дело», которое Е. Боннэр затем отказалась вернуть, содержало в числе прочего «Решение» райисполкома «об отказе в обмене», без печати и даты, но снабженное несколькими неразборчивыми подписями.

Семья Сахарова пока не пыталась обжаловать в суде этот очередной, по-видимому, противозаконный отказ.

В январе 1977 года газета Московского обкома КПСС «Ленинское знамя» поместила статью И. Новикова «Лаборантка-призрак». И. Новиков обвинял Татьяну Ивановну Семенову в том, что она, не работая, получала зарплату лаборантки цеха диагностических препаратов НИИ имени Мечникова и незаконно училась на вечернем отделении факультета журналистики МГУ. (Т. Семенова была исключена из университета в 1972 году, после

того как приняла участие в демонстрации у ливанского посольства в Москве, последовавшей за убийством израильских спортсменов на Мюнхенской олимпиаде. Исключена в связи с протестом арабских студентов. Так, по крайней мере, заявил А. Сахарову декан факультета журналистики Ясен Николаевич Засурский. Позднее восстановлена новым ректором МГУ, ныне покойным Р. Хохловым.)

В начале апреля АПН распространило среди иностранных журналистов в Москве статью своего корреспондента Николая Воронцова «Мошенники». Статья написана в форме диалога между се автором и его «старым знакомым — корреспондентом иностранной газеты Леонардом Кауказски». (Выбор имени не случаен и очень типичен для советского жанра политического фельетона, это — «сатирический выпад» против высланного к тому времени из СССР корреспондента «Ассошиэйтед пресс» Джорджа Кримски.) Отвечая на вопросы незадачливого иностранного корреспондента, Воронцов объяснял, что, несмотря на то, что она, по словам Кауказски, «известный борец за гражданские права в СССР, как и ее мать и приемный отец», ее никто не обвиняет в «инакомыслии». Ссылаясь на «Ленинское знамя», он обвинил ее в том, что «она незаконно получала деньги в лаборатории в течение двух лет, где лишь числилась, а фактически не работала».

Воронцов отказался предсказать решение суда: «Знаю только, что сейчас идет следствие». Однако он предположил, что на Западе будет создан «Комитет» ее защиты.

С февраля по июль 77 года Татьяна Семенова допрашивалась в прокуратуре г. Красногорска в качестве свидетеля по делу о «групповом хищении государственного имущества».

ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ «НЬЮСУИК»

1. *Сколько сейчас политических заключенных в Советском Союзе? Как Вы пришли к такому заключению (т. е. как была установлена эта цифра)?*

Я полагаю, что политических заключенных в Советском Союзе сейчас 2000—2500 человек, но некоторые западные источники и некоторые советские граждане указывают цифру на порядок большую — 20 000 чел. Я придерживаюсь той цифры, которую назвал, просто суммируя те лагеря, о которых я знаю, что там содержатся политзаключенные, и добавляя, тоже очень приблизительно, некий процент находящихся в других лагерях и психиатрических тюрьмах. К сожалению, в нашей стране не публикуется статистика такого рода. Мы не знаем, сколько политзаключенных, не знаем, сколько всего заключенных в стране, не знаем, по каким статьям Кодекса люди осуждены. Однако косвенные данные позволяют сказать, что у нас в стране от 1-го до 2-х миллионов заключенных,— процент от общего числа населения чрезвычайно высокий по сравнению с другими развитыми странами. Однако официальная пропаганда уверяет, что в стране низкая преступность.

2. *Каковы нарушения медицинских условий и прав человека в отношении политических заключенных?*

Жизнь заключенных в тюрьмах и лагерях строго регламентирована Исправительно-трудовым законодательством, которое далеко не всегда соблюдается и само содержит целый ряд пунктов, нарушающих права человека. Я приведу несколько примеров. Арестованный до конца суда совершенно изолирован — он не имеет свиданий, переписки даже с самыми ближайшими родственниками; до окончания следствия к нему не допускается адвокат — а следствие может длиться и 9 месяцев и год. Уже осужденный, на том режиме, на котором содержится большинство политических заключенных, он будет иметь за год два свидания длительностью до четырех часов (часто дают только два часа) и одно свидание до трех суток (часто — одни или двое суток), он ограничен в переписке. В лагерях голодные нормы питания, а право на одну посылку в год (5 кг) заключенный получает, только отбыв половину срока. В лагерях тяжелый принудительный труд, почти бесплатный — это тоже регламентировано Кодексом. Но всех прав, гарантированных Кодексом, заключенного может лишить любой представитель лагерной администрации. Интересно отметить, что даже амнистия применяется к заключенным только по рекомендации администрации. Вообще, анализ советского Исправительно-трудового законодательства — большая тема, это

сплошные нарушения прав, и законодательство никак не соответствует международным нормам (рекомендациям ООН). Верующие заключенные (их много) не могут иметь Библию, Евангелия, Коран, Тору. Лишены возможности исполнять требы. Медицинское обслуживание на очень низком уровне. Нет медикаментов, а посылать медикаменты и даже витамины не разрешают. Мы знаем только одну приличную больницу для заключенных — в Ленинграде, но лагерная администрация не стесняясь говорит, что политических заключенных туда никогда не направляют.

Как раз сейчас мы добиваемся того, чтобы туда был переведен С. Ковалев для срочной операции.

3. *Что можно сказать в отношении прав членов семей этих заключенных?*

Формально они не должны нести ответственности, но на практике мы видим, что это не так. Многие понижаются в должности или совсем лишаются работы. Органы КГБ запугивают и терроризируют семьи. Очень трудно с детьми, особенно когда они дорастают до студенческого возраста. Путь в институт для них бывает закрыт, но не официально, а унизительным и лживым способом ставят на экзаменах неудовлетворительные оценки, и все. И если даже молодой человек сумеет поступить в институт, то на переводных экзаменах ему поставят несколько неудовлетворительных оценок и отчислят якобы за неуспеваемость. Так недавно произошло с сыном священника Василия Романюка. Материальное положение семей политзаключенных обычно тяжелое не только потому, что семья остается без отца, но на нее тяжким бременем ложатся расходы на поездки в лагерь на свидания.

4. *Что может сделать Запад, чтобы помочь этим заключенным и их семьям?*

Я думаю, что индивидуальная забота о каждой такой семье отдельных лиц или групп — это лучший способ помочь. Это могут быть денежные переводы, посылки (обязательно с оплаченной пошлиной), письма и семьям, и самим заключенным. Насколько мне известно, так работают члены «Международной амнистии». И это очень хорошо. Но нельзя забывать, что долг всех честных людей во всем мире — это борьба за всеобщую всемирную политическую амнистию. Государства, которые проведут такую амнистию, тем самым проявят свою добрую волю и ко всем тем проблемам, от которых зависит будущее всего человечества.

5. *Насколько эффективно воздействие мирового общественного мнения? Достаточно ли оно? Или Западу следует прибегнуть к таким мерам, как отказ в торговле зерном, в кредитах, в соглашениях по разоружению, до тех пор пока СССР не станет соблюдать условий Хельсинкских соглашений о правах человека?*

Выступления во всем мире в защиту прав человека в СССР и в странах Восточной Европы очень важны. Но нарушения прав продолжаются — это свидетельствует о глубоком характере вызывающих их причин, о необходимости длительной, настойчивой и терпеливой борьбы с расширением диапазона используемых средств, в том числе средств давления. Как необходима настойчивость, видно из такого примера. Летом 1976 г. Федерация американских ученых обратилась с письмом на имя министра МВД СССР Щелокова с просьбой о переводе Ковалева в Ленинградскую тюремную больницу для обследования и операции. Федерация не получила никакого ответа и, насколько мне известно, никак не реагировала на имевшее место нарушение общепризнанных норм международного общения. Сейчас Ковалев еще в худшем положении, чем полгода назад. В качестве средств давления я считаю допустимым, например, частичный бойкот научных и культурных контактов или частичное прекращение поставок некоторых видов техники. Я не считаю правильными, однако, такие меры, как полный отказ от предоставления кредитов, отказ в торговле зерном, отказ от переговоров о разоружении. Не следует забывать, что только разрядка создала возможность хотя бы минимального влияния на внутреннюю и внешнюю политику социалистических стран, заставила эти страны согласовывать свои действия с общечеловеческими интересами. Возвращение назад было бы большой бедой. Использование продовольственной помощи в политических целях я считаю недопустимым по моральным соображениям. И совершенно недопустимо обусловливать какими-либо условиями, даже такими важными, как соблюдение прав человека, переговоры по разоружению, которые должны иметь приоритет перед всеми другими проблемами. Я считаю необходимым вновь подтвердить, что такие законодательные меры, как поправка Джексона — Веника, направленная на защиту основных прав человека и не затрагивающая других аспектов разрядки, чрезвычайно важны и оправданны. Это пример морального подхода к политическим проблемам, соответствующего нравственным принципам американской демократии. Для полного успеха таких законодательных решений необходимо большее единство стран Запада.

6. *Какие конкретно предложения Запада в вопросе о правах человека Вы хотели бы видеть на конференции в Белграде?*

Конференция в Белграде должна, по моему мнению, создать гарантии для действительного, не на бумаге, выполнения гуманитарных статей Хельсинкского акта.

7. *Есть ли опасность того, что общественное воздействие со стороны Запада приведет к обратному результату, к увеличению числа арестов и к еще большему нарушению основных прав человека?*

Непоследовательность в защите прав человека, слабость, даже намек на слабость, податливость шантажу могут привести к трагическим последствиям. Решительное и все нарастающее спокойное давление общественности и официальных инстанций Запада (вплоть до самых высших), защита принципов и защита конкретных людей — могут иметь только положительное значение. Каждый случай нарушения прав человека должен стать политической проблемой для руководителей стран-нарушителей.

8. *Существует ли опасность, что путем политики арестов, высылки и запугивания советские власти смогут снизить эффективность, а затем и свести на нет так называемое движение инакомыслящих? Означают ли аресты Юрия Орлова, Александра Гинзбурга и других, что власти встали на этот путь? Могут ли они иметь успех или всегда найдутся другие, кто выступит в защиту прав человека в Советском Союзе?*

Аресты членов Хельсинкской группы Гинзбурга, Руденко, Тихого [1] и руководителя группы Орлова, по-видимому, действительно означают попытку нанести сильный удар по движению защиты прав человека. Однако это одновременно — вызов мировому общественному мнению, всем странам — участницам Хельсинки. Я полагаю, что это понимают на Западе и что такой попытке советских властей будет оказано сильное противодействие. Во всяком случае, несомненно, что, пока существуют причины, вызывающие движение за права человека в СССР и странах Восточной Европы, оно будет продолжаться.

9. *Каково было воздействие Хельсинкского соглашения на движение в защиту прав человека в СССР? Способствовало ли оно большему сознанию и более широкой потребности в соблюдении этих прав среди населения Советского Союза?*

Хельсинкское соглашение наряду с Пактами о правах в принципе открыло возможности для более эффективной защиты прав человека и бесспорно оказывает активизирующее влияние на граждан СССР и стран Восточной Европы.

10. *Является ли воздействие Запада по вопросу о правах человека вмешательством во внутренние дела СССР? Как можно опровергнуть это обвинение?*

---

[1] А. Тихий умер в лагере в 1984 году.

Не является. Международный характер защиты прав человека зафиксирован во Всеобщей декларации прав человека, пактах о правах и в Хельсинкском акте. Утверждать, что защита прав человека является вмешательством во внутренние дела какой-либо страны,— это значит отвергать эти документы.

11. *Какова связь между международным доверием и соблюдением основных прав человека?*

Нельзя доверять в международном плане государству, которое нарушает права своих граждан, гарантированные международными соглашениями, обязательными для каждого подписавшего их государства. Нельзя доверять государству, в котором, если и не за железным, то все равно за достаточно плотным занавесом, нарушаются права человека, а мир узнает об этих нарушениях только потому, что существует движение за права человека. Закрытость общества сама по себе является нарушением прав человека и в то же время создает условия для нарушения международной безопасности.

24 февраля 1977 года

КОММЕНТАРИЙ:

В начале февраля к Сергею Адамовичу Ковалеву приехали на свидание его жена и сын. (Закон предусматривает одно продолжительное свидание в год, ограничивая его сроком в 3 суток. Заключенному и родственникам предоставляется на это время специальное помещение.) Администрация лагеря разрешила ему свидание «авансом», как они заявили, поскольку он не выполняет производственный план: Ковалев за 4 дня до свидания был переведен на новую рабочую операцию. Однако уже через сутки свидание было насильственно прервано, и Ковалева увели обратно в зону, несмотря на то, что он просил продлить свидание, ссылаясь на тяжелое состояние своего здоровья.

В знак протеста Ковалев объявил бессрочную голодовку. Он заявил, что не прекратит ее до тех пор, пока свидание не будет продолжено.

1 марта он был отправлен из лагеря по «направлению к Ленинграду», как заявили ему власти, и 9-го был доставлен в Ленинградский тюремный госпиталь. Поскольку свидание ему не было обещано, он продолжал голодовку и закончил ее только на 35-й день, 11 марта, убедившись, что она делает лечение невозможным. В день окончания голодовки он весил 53 кг.

24 марта ему разрешили встретиться с женой, и на следующий день ему была сделана операция кишечника, в которой он давно нуждается. Диагноз лагерной медкомиссии, состоявшейся в ноябре (подозрение на злокачественную опухоль прямой кишки), к счастью, оказался ошибочным.

По словам главного врача госпиталя, операция прошла успешно. Через две недели он уже мог передвигаться по камере, а еще через неделю, 15 февраля, Ковалев был отправлен обратно в лагерь.

ИНТЕРВЬЮ ШВЕДСКОМУ И НОРВЕЖСКОМУ РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЮ

4 апреля 1977 года

1. *Как Вы оцениваете результаты переговоров государственного секретаря США в Москве?*

Я считаю переговоры гос. секретаря Вэнса с советскими руководителями необходимым этапом в сложном и противоречивом процессе развития отношений между нашими странами. В ходе переговоров, насколько я мог понять, появилась возможность продвижения и таких вопросах, как судьба Ближнего Востока и полное прекращение испытаний ядерного оружия и, возможно, в некоторых других вопросах. Но наиболее важно, что Вэнс передал советским руководителям предложения США по проблеме ограничения и сокращения стратегических вооружений, потенциально открывающие возможность, при дальнейшем развитии, исключения из отношений двух сверхдержав опасного для всего мира соперничества в этой области. На данном этапе советские руководители отклонили американские предложения, но считаю, что это не отменяет значение того факта, что по крайней мере одна из сторон сделала крупный шаг.

2. *Почему советское правительство ответило отказом на американские предложения по ограничению стратегических вооружений?*

Решение советских руководителей вызвало большую озабоченность во всем мире. Министр иностранных дел СССР Громыко в заявлении на пресс-конференции пытался объяснить мотивы советского отказа, выступая с контробвинениями в адрес новой администрации США. Что же имело место, по моему мнению, на самом деле? Прежде всего вовсе не «обида» на позицию США в вопросе прав человека. Причина отказа, как это следует из выступления Громыко, лежит в самом существе вопроса. Коротко: советские руководители не хотят отказаться от тех существенных стратегических преимуществ, которые зафиксированы в формулировках соглашения во Владивостоке. Как известно, основу стратегических ракетных сил СССР составляют ракеты, в два с половиной — три раза более грузоподъемные, чем аналогичные ракеты США. Это отличие, дающее СССР важное преимущество, никак не было оговорено и ничем не скомпенсировано во Владивостокском соглашении. Я думаю, что именно попытка США вернуться к этой нерешенной проблеме была главной причиной острой отрицательной реакции советских руководителей.

Вэнс предложил — ради сохранения стратегического равновесия в мире — или уменьшить в два раза число самых мощных советских ракет при одновременном равном уменьшении числа американских ракет и ограничении радиуса действия крылатой ракеты «Круиз», или сохранить основу Владивостокского соглашения при нелимитированном стратегическом использовании ракеты «Круиз» для компенсации советских односторонних преимуществ. Я не буду входить в дальнейшие подробности, но скажу, что считаю американские предложения разумными, открывающими путь к прекращению гонки вооружений. Ведь истинное разоружение возможно только тогда, когда ни одна из сторон не оставляет за собой односторонних преимуществ, а по Владивостокскому соглашению у СССР возникли такие преимущества.

3. *Как Вы оцениваете перспективы дальнейших переговоров об ограничении и сокращении стратегических вооружений?*

Соглашения по вопросам разоружения, заключенные СССР в последние годы, включая Владивостокское, в какой-то мере означали все же отход от крайних тенденций милитаризации и экспансии. Это дает надежду, что продолжение и углубление принципиальной линии новой администрации США при поддержке и единстве всех стран Запада — общественности и правительств — со временем принесет желаемые положительные результаты как в отношении разоружения, так и в отношении прав человека и других проблем. Но надо быть готовым к тому, что этот путь, по всей вероятности, не будет таким прямолинейным, как хотелось бы. В частности, не исключено, что Западу придется на какой-то период приложить дополнительные усилия для восстановления стратегического равновесия как необходимого условия для успешных переговоров о разоружении.

4. *Каково положение в борьбе за права человека в СССР и странах Восточной Европы — трудности и возможности?*

Положение чрезвычайно драматическое. Традиционные нарушения основных гражданских и социальных прав, затрагивающие самые широкие слои населения, продолжаются, несмотря на принятые правительствами наших стран недвусмысленные обязательства в отношении прав человека, в том числе и международные. Эти обязательства явились основой для возникновения новых форм борьбы в едином движении за права человека в СССР и в странах Восточной Европы, и я думаю, что сейчас есть основания, и не формальные, для употребления термина «единое движение».

Очень важным положительным фактором явилось усиление международного внимания к проблеме прав человека, к конкретным фактам их нарушений. Но параллельно появились признаки все большей активности репрессивных органов, тех кругов, которые не способны к открытой, честной дискуссии. В прессе СССР и стран Восточной Европы началась интенсивная и клеветническая кампания против всех, кто выступает в этих странах за права человека,— группы «Хартия-77», Комитета защиты рабочих, группы «Хельсинки» и других. Новым и важным фактором является то, что эта кампания поддержана и санкционирована выступлениями руководящих деятелей этих стран, что говорит о государственном направлении этой политики. Одновременно с кампанией в прессе усилились репрессии. В СССР в феврале-марте арестованы пять членов группы «Хельсинки»: Орлов, Гинзбург, Руденко, Тихий, Щаранский [1]. Защитить их (есть опасения, что они будут наказаны крайне жестоко) — долг всех честных людей во всем мире: ученых и деятелей культуры, участвующих в контактах с нашей страной, рабочих, государственных деятелей. Я призываю к самым активным действиям. Я не могу также не сказать об опасности усиления подпольной, уголовно-мафиозной деятельности репрессивных органов. Сейчас мы все переживаем критический период, исход которого важен не только для наших стран, для судьбы инакомыслящих, но и для всего мира, для всего стиля международных отношений.

5. *Какие перспективы дает Белградская конференция?*

Я не знаю ее регламента. Но я надеюсь, что все страны-участницы будут добиваться осуществления на деле, а не на бумаге, всех статей Хельсинкского акта, включая гуманитарные.

6. *Как совпадает борьба за права человека с другими движениями в обществе — молодежными, национальными и другими?*

Самостоятельные движения в тоталитарном обществе не могут быть вне рамок борьбы за права человека. Органической частью движения за права человека в нашей стране является борьба за право эмиграции (евреи, немцы и др.), движение за право жить в Крыму (крымские татары), движение за сохранение национальных культур почти во всех республиках, религиозные движения.

7. *Думаете ли Вы, что движение за права человека приведет к смягчению системы?*

Я не хотел бы оценивать действия тех, кто ведет эту борьбу, в прагматических терминах. Просто мы не можем иначе. Но я считаю, что открытые выступления в защиту прав человека, которые становятся широко известными миллионам людей благодаря передачам зарубежного радио, создают психологические предпосылки для внутреннего раскрепощения людей и тем самым — для крайне необходимых демократических изменений в стране в будущем.

8. *Каковы сейчас возможности для Вас продолжения борьбы за права человека, видите ли Вы больше трудностей?*

Единственный способ моей общественной деятельности и ее возможность — это гласность. Она постоянно затрудняется отсутствием международных телефонных разговоров и почтовой связи. Трудности все возрастают. В заключении и ссылке близкие друзья. Нарастающее давление на меня и мою семью, жизнь которой уже поставлена за грань человеческого существования.

Не так давно меня вызывал зам. Генерального прокурора СССР Гусев, или я сопровождал на допрос своего зятя, а сегодня я беседую с вами — вот мои трудности и мои возможности.

---

[1] А. Щаранский обменен в 1986 году, живет в Израиле.

ОБРАЩЕНИЕ К МИРОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Восьмого января в вагоне московского метро произошел взрыв. ТАСС сообщило, что взрыв был небольшой силы; имеются пострадавшие, которым оказана медицинская помощь. Однако сейчас очевидно, что фактически имело место гораздо более серьезное происшествие. По распространяющимся в Москве устным сообщениям очевидцев, погибло не менее четырех человек, возможно, семь или восемь, в том числе мальчик, приехавший в Москву на каникулы; десятки людей получили серьезные ранения. Сообщается также определенная версия происшествия, которая сводится к следующему: пассажиры вагона, в котором произошел взрыв, заметили двух молодых людей (по другой версии — трех и девушку), которые вышли из вагона на станции Измайловская, оставив на сиденье портфель. Через несколько минут произошел взрыв. Такая версия исключает случайность или неосторожность, а также, по моему мнению, акцию одиночки-сумасшедшего и вообще непрофессиональную акцию.

Сообщение ТАСС о взрыве было десятого января, т. е. через два дня после взрыва. И десятого же января известный ⟨...⟩ [1] Виктор Луи опубликовал в английской газете «Лондон ивнинг ньюс» статью, в которой, со ссылкой на неназванные советские официальные источники, высказывается предположение об ответственности за это ужасное преступление советских диссидентов. К сожалению, эта явно провокационная версия была затем повторена и некоторыми другими западными органами информации.

Я не знаю, каковы дальнейшие планы КГБ. Я считаю необходимым именно сейчас обратить внимание мировой общественности на некоторые важные факты, которые в их совокупности не оставляют сомнений в том, кто же фактически несет ответственность за акты террора, за провокации, подлоги, запугивания и клевету.

Последние годы ознаменовались некоторыми успехами в борьбе за права человека в СССР и странах Восточной Европы. Новые возможности в этом направлении открыло Хельсинкское соглашение. Сейчас мир больше знает о нарушениях прав человека в этом районе мира и в большей степени понимает, что без всемирной защиты этих прав не может быть международного доверия и безопасности.

Борьба за права человека в ЧССР, СССР, Польше и ГДР происходит на законном, конституционном основании. Она способствует и психологическому освобождению людей и создает предпосылки для жизненно необходимых демократических преобразований. Особенно существенно, что деятельность тех людей, которых принято называть диссидентами и которые в этих странах борются за права человека, основана на полном, принципиальном отказе от применения и пропаганды насилия. Наша главная цель и единственное оружие — гласность, правдивая и по возможности полная информация. В этой последовательной и принципиальной позиции диссидентов — основа их успеха и морального авторитета.

И именно поэтому те органы власти, которые ориентированы на подавление свободы мысли и укрепление тоталитаризма, не могут противостоять диссидентам на почве закона, в открытой и честной дискуссии. В этом, по моему убеждению, причина противоправных судов с нарушением гласности, суровых необоснованных приговоров, жестокого режима тюрем и лагерей, высылок, психиатрических репрессий, увольнений. Но моральный авторитет диссидентов продолжает расти и в наших странах, и во всем мире. В этих условиях, как можно заключить по ряду признаков, репрессивные органы власти начинают все чаще применять еще более острые, чисто уголовные методы действий, напоминающие нам не только об Италии и Германии времен фашизма, но и о нашей собственной стране тех же лет. Это — нападения, избиения, подлоги, провокации, клевета, угрозы убийства и даже, по-видимому, осуществленные акты политических убийств. За последний год при вызывающих подозрение обстоятельствах погибло по меньшей мере пять человек. Это Библенко, принадлежавший к преследуемой

---

[1] Два слова из характеристики Виктора Луи опущены издателем с согласия составителя.

властями части баптистской общины; безработный юрист Евгений Брунов, погибший через несколько часов после визита ко мне; преследовавшийся КГБ литовский инженер Тамонис; воспитательница детского сада, активная литовская католичка Лукшайте; известный поэт-переводчик Константин Богатырев, в прошлом узник сталинских лагерей, раздражавший власти своим свободным общением и дружбой с иностранцами. Важно, что во всех этих случаях мы ничего не знаем о следствии и розысках виновников. Объяснить их действиями обычных уголовных преступников, по-моему, невозможно.

Ответственность репрессивных органов станет еще более очевидной, если вспомнить, как часто они прибегают к угрозе убийством. Лишь несколько примеров: новогоднее письмо 80-летней матери Александра Галича: «Принято решение убить Вашего сына Александра»; угрозы Копелеву [1] в то время, когда Константин Богатырев лежал при смерти; угрозы беременной жене грузинского диссидента Гамсахурдиа; бесчисленные угрозы мне и моим близким (даже сегодня мы вновь получили пачку из двенадцати подобных писем, на этот раз якобы из Норвегии, но мы не получили в этом году ни одного новогоднего поздравления ни от друзей, ни из Норвегии, ни из других стран).

Не менее отвратительной является клевета на диссидентов, направленная на их дискредитацию в глазах доверчивых и неосведомленных людей в СССР и на Западе. Владимира Буковского советская пресса недавно голословно обвинила в создании террористических групп. Сегодня в этом обвинении я усматриваю внутреннюю связь с последним заявлением Виктора Луи. Неоднократно публиковалась клевета об Александре Гинзбурге, Юрии Орлове и Группе содействия Хельсинки в целом. Ложные сообщения о том, что обыски у членов группы показали их связь с НТС, были переданы ТАСС до того, как обыски были проведены. Моя жена за последний год много раз была объектом самой бессовестной клеветы в сообщениях ТАСС, в советской и зарубежной просоветской прессе и рассылаемых по сотням адресов якобы из-за границы лживых письмах.

Новым явлением стало подбрасывание во время обысков валюты, порнографических изданий и пр. Кстати, обыски и ранее несли на себе элементы уголовщины. Невозможно сосчитать, сколько пишущих машинок и магнитофонов было изъято и не возвращено владельцам без соответствующих решений судов. На последнем обыске у Александра Гинзбурга был в этом смысле поставлен рекорд — помимо обычных в таких случаях пишущей машинки и магнитофона было изъято пять тысяч рублей, предназначенных на помощь семьям политзаключенных, а также все личные деньги и даже радиоприемник.

Западные читатели привыкли к мысли, что в их странах существуют различные экстремистские организации и группы, которые нарушают закон и совершают преступления, и существуют органы власти, которые, за редкими печальными исключениями, закон защищают. И им трудно поверить и понять, что у нас дело обстоит совсем иначе. Что горсточка людей, которая каждый год пятого декабря приходит к памятнику Пушкину выразить свое уважение к закону и конституции страны,— это диссиденты, а разгоняют их представители власти. Из этого непонимания — зачастую некритическое отношение к инспирированным провокациям вроде статьи Виктора Луи.

Я не могу избавиться от ощущения, что взрыв в московском метро и трагическая гибель людей — это новая и самая опасная за последние годы провокация репрессивных органов. Именно это ощущение и связанные с ним опасения, что эта провокация может привести к изменению всего внутреннего климата страны, явились побудительной причиной для написания этой статьи. Я был бы очень рад, если бы мои мысли оказались неверными. Во всяком случае, я хотел бы надеяться, что уголовные преступления репрессивных органов — это не государственная, санкционированная свыше новая политика подавления и дискредитации инакомыслящих, создания против них «атмосферы народного гнева», а пока только преступная авантюра определенных кругов репрессивных органов, не способных к честной борьбе идей и рвущихся к власти и влиянию. Я призываю мировую общественность потребовать гласного расследования причин взрыва в московском метро 8 января с привлечением к участию в следствии иностранных экспертов и юристов. Я надеюсь, что внимание мировой общественности, понимание особенностей нашего строя, единство всех честных людей во всем мире остановят опасное развитие событий. Я призываю выступить против преступлений, провокаций, клеветы, тем самым защитив не только диссидентов СССР и стран Восточной Европы, но и политику разрядки, международное доверие и будущее всего человечества.

[1] Лев Копелев, писатель, с 1980 года живет в ФРГ.

12 января 1977 года

Андрей Сахаров,
лауреат Нобелевской премии Мира

КОММЕНТАРИЙ:

По сообщению 44-го выпуска «Хроники текущих событий», позднее на собраниях партийных активов Москвы рассказывалось, что 8 января, незадолго до взрыва в метро, на улице 25 Октября (в центре города) произошло еще два взрыва. «Хроника» умалчивает о том, на кого пало подозрение партийных руководителей Москвы, однако известно, что, например, Калининский райком партии возложил ответственность за взрыв в метро на евреев-«сионистов».

Через два с лишним месяца после публикации «Обращения» произошли события, странно напоминающие о «деле Брунова».

25 марта А. Д. Сахарова посетил Александр Федорович Яковлев, шофер из Новосибирска.

Конфликт с администрацией (он отказался ремонтировать личный автомобиль начальника гаража и был «разжалован» в слесари, а затем в мойщики) вынудил его уволиться с работы.

Товарищи, как сказал Яковлев, посоветовали обратиться к Сахарову, чтобы тот помог ему восстановить справедливость. (Люди, притесняемые начальством за неконформность или за попытки бороться со злоупотреблениями, составляют значительную часть посетителей и корреспондентов А. Д. Сахарова.)

Через несколько часов после ухода Яковлева, около 6-ти вечера, плачущая женщина пришла к Сахаровым и сказала, что ее сын, которого она ожидала неподалеку, на Курском вокзале, не вернулся.

Поиски Яковлева (в них принимал участие Сахаров) продолжались несколько дней. 1 апреля мать Яковлева известила Сахарова по телефону, что нашла тело сына в морге подмосковного города Балашихи. Как ей сообщили, он был сбит скрывшейся машиной на Садовом кольце, при нем не было найдено никаких документов и его тело было перевезено в Балашиху, куда якобы отправляют неопознанные трупы.

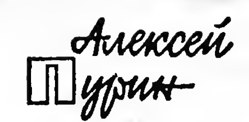
Версия, сообщенная Яковлевой, совершенно неудовлетворительна.

Днем на Садовом кольце, самой перегруженной магистрали города, не может скрыться совершивший аварию автомобиль; у Яковлева была при себе трудовая книжка, которую он показал Сахарову; по утверждению милиции, никаких транспортных происшествий в то время на Садовом кольце не происходило, и это подтверждают опрошенные продавцы уличных киосков на участке между Курским вокзалом и домом, в котором живет Сахаров.

4 апреля А. Сахарову и Е. Боннэр сообщили в Балашихинском морге, что туда никогда не доставляют тела погибших из Москвы или специально неопознанные трупы. Вечером того же дня им удалось переговорить с патологоанатомом морга, который полагал, что их сведения ошибочны, и заявил, что в эти дни в морге не происходило опознания погибшего по фамилии Яковлев.

Следует заметить, что, в отличие от «дела Брунова», в данном случае неизвестно какое-либо документальное подтверждение гибели Яковлева.

Публикация, текстологическая подготовка,
комментарии и примечания Е. Г. Боннэр



ЕВРАЗИЯ

Фрагменты

ВНУТРЕННЯЯ РЕЦЕНЗИЯ

«Автор служил два года в лесозаготовительном ВСО,
в КАССР, офицером. Ягоды и грибы.
Ведра брусники и клюквы для Самого,
для заместителей Самого. И никакой стрельбы,
кроме лишь папиросной — пачка на полчаса
(как же не дать? — индульгенция!)...
Плохо ли, хорошо ли —
трудно сказать — написано. Мрачная полоса
следует за «веселой». Выпячивание, размусоливание
собственноручной персоны.
Где (далее — список из пяти-десяти позиций)?
Сомнительны, мягко скажем,
оценки. Так, сценки. Версифицированный каприз.
Застойные годы показаны с излишним ажиотажем.
Гротеск. Смакованье частных, отдельных, еще тут и там
подчас-разве-место-имеющих-и-то-на-периферии
дефектов.
Не без умелости. Но темы! Но книжный хлам! —
Катуллы, Валгалы, Ваалы, валькирии, «Снигири» и
т. д. и т. п.
А поэтому — не веришь.
Н. Н.».
P. S.
Ну да. Не совсем при параде. Грязюкой забрызган китель.
Но все же муза — не кляуза. С надеждой на интерес
неведомого читателя,
признательный Сочинитель.

СНИГИРЬ

В самом деле, должно быть, глуповатая флейта насвистывает
птичьи эти мотивчики. Оттого и склонность такая
к побрякушкам, петличкам, погончикам, детская и неистовая,
словно к спичечным этикеткам. Подобье земного рая

или светлого будущего, оставшегося в позднем
средневековье отрочества, вроде бесполой готики...
На столетье не грех ошибиться, припоминая козни
Козимо Медичи или то, как мы с Аликом разобрали ходики —

Алексей Арнольдович Пурин (р. в 1955 г.) — поэт, эссеист. Печатается с 1980 года. В 1987 году опубликовал книгу стихов «Лыжня». Живет в Ленинграде.

в древнем эпосе как бы... Вот так же и здесь течение
времени оставлено, и нового не проплачет
ничего красногрудая флейта, и не имеет значения
смена начальников, жизнь ничего не значит.

Что с того, что твои капитанские зимние звездочки
покрупнеют в полковничьи, летние и близорукие?
Та же пташка сидит с металлическим клювом на жердочке,
те же семечки сыплются подслеповатыми звуками.

ВОДОПАД

Чудно: водочка, музычка, мясо с картошкой!..
В сальных брючках презрительно дрыгает ножкой
виночерпий, стенограф желаний, хохмач:
— «...и селедочку? все? Потерпите немножко».—
Водопад наслаждений! Алмазный «Кивач»!

Ресторанчик для занидевевших в глубинке
солдафончиков. «Девочек» дряблые спинки
лиловеют... Ау, «декабристка», мороз!..
Алкогольная нимфа!.. Как врет без запинки
Парамонов, ей в ухо засунувши нос.

Всем затылком терплю лошадиные пляски.
— «...служба тяжкая, знаете, хочется встряски,
ласки, нежности...» — Под руку двинут бедром,
рюмку выплесну...— «...что ж вы все прячете глазки?..» —
— «...хи-хи-хи!..» — И оркестра тарелочный гром.

— «...Вы уж, шеф, как хотите, а я-то — в общагу...» —
Шеф печально глядит на меня, бедолагу...
Прохожу сквозь шпицрутенный скачущий строй.
И метель серпантинную вертит бумагу:
«На перловой груди оживится герой!»

МЕРОПРИЯТИЕ

Офицерские сборы... Такой перегар
утром — в актовый зал невозможно войти!
Все никак не начнут. Десять сорок. Кошмар!
Для чего приказали прибыть к девяти?
Кто бы пива принес?.. Поминутно майор
забегает какой-то, «сейчас,— говорит,—
начинаем...» Еще полчаса. В коридор,
осмелев, покурить выползаем. Горит,
раздирает!.. Намылились, кто понаглей,
озираясь, с вещами уже выходить...
Вдруг обратно всех гонят.— «Полковник Палей
вам сейчас доведет...» — Ничего доводить
он не может. Он тоже на сборы в Москву
только что улетел... И опять беготня.
Наконец на пятнадцать минут «бу-бу-бу...».
Записали? Адью!.. И как не было дня.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

— «Ну балда! — о Мукапине все говорят,— ну дебил!»
Клички Тумба и Шайба получены им от солдат.
Говорят, что не пьет и не бьет потому-де, что бил,
насифонясь, да так, что едва не сыграл в дисцебат,
оттого завязал... Ну, не знаю... Пудовый кулак
и кошмарная ряшка. Но все же не пьет и не бьет,
Льва Толстого читает, поскольку — природный туляк,
и уставом любого нахала до слез доведет.
На разводах зимою по сорок минут говорит,
что не пьет и не бьет, что крупу не дает воровать,
что к труду приучает, что маршал поблагодарит
за отличную роту его, если здесь побывать
удосужится, что он (по-своему) тоже велик,
как Толстой (тишина!), тягомотный читает указ
в пятый раз (а мороз-то!), абзацы из тоненьких книг
о последствиях пьянства, Козлова зовет «ловелас»,
потому что пролаза Козлов и известный хитрец...
Ах, куда же, куда же, куда же я это попал?
Так от пьяниц измучился жутких. И вот наконец
посчастливилось — свой долгожданный нашел идеал!

МЕТЕЛЬ

На первой, лесной, насосной, честное слово, сам
служил бы. А уж зимою — пансионат совсем.
Кто лыжи к пяткам пришпорит? Ни «папа», ни я, ни «зам»,
ни прапорщики... Умора! К тому же сдувает в семь

меня и «зама», а «папа» тяжеловат на подъем.
И если в нас — центробежность, в нем центростремленье сильно.
Засядет запорно в роте... А мы в это время пьем
по избам бразильский кофе, глядим, развалясь, кино

по финской программе, курим. Считается, что один
из нас — в лесопильном цехе, другой проверяет все
подсобные подразделенья... Плети кружева, ватин,
все-все заноси, ворсистый товарищ, во всей красе

кружись!.. Через час в казарму заявимся — все в снегу,
осунулись от усердья, проверщиков нет верней!
Домой бы нам, дескать, сбегать, чайку бы попить?..
— «Угу...
ага... отдыхайте до завтра... еще посижу...» —
Видней,

конечно, ему. Посиди! У Касторчука — запой.
От Лермана «Гольден Стар'ом» за десять шагов разит,
бальзамчиком конспиративным... Хрустальный такой покой,
как будто здесь центр вселенной, над нашей дырой разлит!

ВЕЧЕРОМ

«Герцеговину Флор» закуришь, жаркий коньяк
в рюмку нальешь. А за слюдой — сугроб
чуть ли уже не до форточки и волосатый мрак,
хрупкий фарфор всех марок и серебро всех проб.

А если в роту пойдешь, тесный надев тулуп,
звонким, как статуэтка, сделаешься — такой
твердый мороз. И колбы дыханья от мятных губ
падают и хрустят осколками под ногой.

А в телевизоре млечном — аквариум ледяной,
зябкие содроганья, шведско-норвежский бред...
Вот где хмельной Валгаллы голубоглазый зной!
Вдрызг капитан Гвардейчик пьян. И управы нет.

А посему в его роте — крики и беготня.
Ловят кого-то. О стенку липкий разбит графин...
То ли на воспитанье им не хватает дня,
то ли совсем загрызло однообразье вин?..

Можно пройти до озера и поглазеть на насос
сломанный, можно в котельной влистый пар вдохнуть...
И хорошо! Самовольщиков нету в такой мороз.
Рыбкой себя представляешь в такую муть.

У ДВЕРИ КОТЕЛЬНОЙ

Среди ночи в котельную дверь отворяю — «Playboy»!
На крючок бы закрылись, топчан затащили б за шкаф,
потушили бы лампу!.. В одних сапогах рядовой
Бурлаков... Кладовщица, его оседлав...
Отшатнусь. Слава богу, не видят вокруг ничего
и не слышат за бульканьем, гулом... В смущении дверь
прикрываю... Да пусть. Удивляет лишь выбор его —
тридцатипятилетняя душноэамшелая тварь!
Замуж хочется, вот веды! Троих по котельным детей
нагуляла ушастых. Остыть не хватает ума.
Скоро дембель. Ликуя, пузато-обиженной, ей
из вагона помашут... Толстовские надо б тома
пролистать. Но куда там! Присоской у роты живет.
Или мужем ей кажется вся подшинельная плоть,
двухгодичная вечная юность? Тяжелый живот
плодоносит, не в силах супружеский долг побороть?

НОЧЬЮ 1

У солдат не жизнь — рахат-лукум —
за полночь, когда уйдут начальники!
Беготня, возня, шурум-бурум
в спальном помещенье, в умывальнике.
В смрадной хлеборезке — чай и плов
для особо избранного общества
земляков. Тишайший Соколов
начал адвентистские пророчества.

Телевизор финскую шизню
выдает. Лежи себе, попыхивай
папироской... Ай, какие пю!
Чуваки какие и чувихи!
Баночный намазывают сыр,
падувают шар в рекламном ролике...
Хорошо, что ночь вокруг, что мир —
ну, за исключеньем малой толики.

НОЧЬЮ 2

Перед дембелем что за наряды солдатики шьют:
с эполетами и аксельбантами, боже ты мой!
Ночью в роту зайдешь, а в бытовке — такой вот «махмуд»...
Гватемалою дунет, Гаити лиловым, тюрьмой!

То ли маршал Лон Нол, то ли, скажем, Самора Машел.
И другие, такие же, в золоте из-за угла
начинают выглядывать... И побелеешь, как мел,—
вот туркмен, и зовут его, чур меня, Хафиззула!..
Крикнешь: «Черт подери! Где дежурный по роте? Отбой!
Марш в кровати!» — Улягутся. Ты — за порог,— снова шить...
Хорошо, что хоть эти приятели между собой
фракционные споры пока не смогли заглушить.

КЛУБ

Киномеханик Мухтаров миндалевидный взор
свой на меня устремляет, и преданность в нем сквозит:
дескать, нэ бэспокойтс, тварщ лэйтэнант!.. На двор
только я выйду из клуба, завалится, паразит,
дрыхнуть, вместо того чтоб стенды красить. Окабанел!
О, каково ж мне это, как в воду-то глядя, знать!
Но и торчать не хочется, осточертели — мел,
краски. Уж третий месяц мне лень Кириленко снять...
И вообще, наш клуб средневековый Рим
напоминает и тришкин отечественный кафтан.
Пыльный могильник лозунгов. Что за рядно над ним!
Всю черепицу украли. Из батарей — фонтан.
Лучше пойду прогуляюсь. До увольненья в запас
грибов насушу чемодан. Уже и сентябрь в листве.
А к римской громоздкой цифре палочку пусть без нас
преемники пририсуют. И даже, пожалуй, две.

ВОЗДУХОПЛАВАНИЕ

Перед нарядом уставом предписано спать.
Днем! Генеральские штучки... Никак не уснуть.
Крутишься, вертишься. Плюнешь. Грибы собирать
лучше пойти. Восхитительно — кеды обуть
и трикотажный костюм невесомый надеть.
Как цеппелин, над служебным кишеньем плывешь.
Выспимся ночью. Приелось усердьем гореть.
Дела мне нет, я к наряду готовлюсь, не трожь!
Словно бы в отпуске...
Ну и разруха у нас!
Ковентри мирной эпохи. Помойка. Бомбить
нечего даже. Гигантский торчит керогаз
ржавый. Не помнит никто, чем должно было быть
это. Каким-нибудь цехом? Распалась в спирту
память, истлела, сошла, как белесый плакат...
Китель сними, и такую увидишь тщету,
непоправимый такой вавилонский закат —
дух перехватит!.. Янтарно-сухая возня.
Зуд созидательный. Труд формалиновый наш...
Нет, и не трону. Но как подмывает меня!
То-то забегают, только носочком поддашь.

1983—1985

Борис Рощин

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЮК В ПОТОЛКЕ

Роман

«Страшно впасть в руки Бога живого».
Из Евангелия

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

«Родилась новая общность людей — Советский народ».

ГЛАВА 1

1953 год. Умер Сталин.

«Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили) — верный ученик и соратник В. И. Ленина, великий продолжатель его бессмертного дела, вождь и учитель Коммунистической партии Советского Союза, советского народа и трудящихся всех стран».

(Энциклопедический словарь)

1953 год. Родилась Захарова Алевтина Захаровна.
«Вес 2 кг 700 гр., дер. Качинка».

(Из надписи на браслетке новорожденного.)

«Счастлив тот человек, кто родился в советский век».
(Советская пословица) [1]

«Каков в колыбельку, таков и в могилку».
(Русская пословица)

* * *

Алевтина заканчивала «работать» кухню третьего этажа, когда вошел прораб Анатолий Николаевич Егоров — маленький, кругленький, подвижный, с ярким склеротическим румянцем на лице. Пузырь — так звали промеж себя Анатолия Николаевича маляры.

— Что, Алевтина,— спросил Пузырь,— добиваешь?

— Заканчиваю.

— Ну и цвет у тебя... Казарма.

---

[1] Даются все по сборнику «Советские пословицы и поговорки». Горьковское книжное изд-во, 1955.

Борис Алексеевич Рощин (род. в 1935 г.) — прозаик. Окончил Военно-инженерное училище и Литературный институт. Автор книг «Мужские будни», «Тревога», «Не без добрых людей» и других. Живет в Ленинграде.

— Что даешь, Анатолий Николаевич, тем и мажем.
— Белая-то есть, могла бы подвеселить колер.
— Белой на два этажа осталось.
— На той неделе подкину.
— Когда подкинешь, тогда и веселить будем,— отозвалась Алевтина, счищая с валика краску.— Обещаниями кормишь.
— А ты, Алевтина, ничего еще,— вдруг игриво проговорил Пузырь,— фигуристая...
— С чего это ты, Анатолий Николаевич? — Алевтина даже не улыбнулась.— Взбрыкивать на меня начал.
— Куда уж мне таких жеребиц объезжать,— вздохнул Пузырь.— Полтинник скоро стукнет. После работы дай бог ноги на кровать забросить. Слезай, Алевтина, дело есть.
Пока Алевтина мыла и складывала кисти, валики, прибирала инструмент, Пузырь уложил на два перевернутых ведра доску и разложил на газете снедь: ломоть хлеба, банку иваси в томате, четверть метра ядовито-зеленого парникового огурца. Достал из кармана пиджака складные пластмассовые стаканчики, пригласил:
— Садись, Алевтина, отдохни! — И в тот же миг в руках Пузыря появилась бутылка — откупоренная, початая. Это был «фирменный» финт прораба, о котором знал весь стройтрест. Рассказывали, что Пузырь даже на пляже, будучи в одних трусах, демонстрирует приятелям этот свой финт с бутылкой, которому его обучил известный цирковой иллюзионист, снимавший у него в деревне дачу. Откуда Пузырь извлекает бутылку, самым глазастым не удавалось усмотреть.
Прежде Алевтина никогда не выпивала вот так, днем. Однако в последние годы попривыкла уже пропускать после работы рюмочку-другую, снимающую на какое-то время смуту с души.
— Что за дело у тебя? — спросила Алевтина, нарезая складным ножом хлеб.
— Дело деликатное,— отозвался Пузырь, разливая по стаканчикам водку.— К нам, так сказать, едет ревизор...
— Ну, Анатолий Николаевич, тебе не привыкать?
— Не тот случай, Алевтина. Женщина ты неболтливая, душевная, потому тебя и посвящаю. Выпьем.
Они молча чокнулись. Алевтина сделала глоток — полстаканчика, прораб стаканчик опорожнил. Проговорил, посасывая огурец:
— Приезжает строительное Лицо из обкома. Не с проверкой, а так... Для улучшения, так сказать, взаимодействия строительных звеньев и подразделений. Проще — отдохнуть.
— Ну-ну?
— Короче, надо принять по первому разряду. С царской ухой. Лицо еще молодое и перспективное. Чего-чего, а это наш начальник стройтреста за версту чует. На то у него и фамилия — Чуев!
— А ты, Анатолий Николаевич, его доверенное лицо? — Алевтина усмехнулась.
— Доверенное,— согласился прораб.
— Я-то вам зачем? — спросила Алевтина.— У вас для этих дел Алла Борисовна имеется. Пускай она и ублажает Лицо. Я под него ложиться не собираюсь.
— Какая ты, Алевтина... Алла Борисовна в отпуске, а под обкомовское Лицо никто тебя укладывать не собирается, это твое личное дело. Меня Чуев о чем просил? Чтобы был человек от народа. Естественно, женского пола, естественно, не урод. Чтобы и спеть могла, и сплясать, если надо — и в речке покувыркаться. А потом уху похлебать — и все дела.
— Нет, Анатолий Николаевич, это не для меня. И не уговаривай.
— Какая ты, Алевтина... Потому и ходишь десять лет без квартиры.
— Тринадцать. Я на стройке с семнадцати лет.
— И еще два раза по столько будешь ждать, коли не поумнеешь. Слушай меня внимательно. Выпьем.
Они выпили. На этот раз Алевтина залпом опрокинула в рот стаканчик и сразу повеселела. Развеселилась даже. Подцепила ножом комок иваси, доверительно спросила прораба:
— А этот... Лицо ваше? Он как — холостой или женатый?
— Женатый. Сыну пять лет. Жена на восемь лет младше. Музыкантша. В музыкальной школе преподает. Я тебе на него полную характеристику дам. Зовут Вениамином Тимофеевичем, фамилия — Пантюхов. Мужику еще и сорока нет, а уж камни в почках; курит, но хочет бросить, в женском вопросе скромен, но не монах. Говорят, бывали случаи. Все зависит от настроения и обстановки. Это уже, повторяю, личное дело.
— Удивляюсь, Анатолий Николаевич, как тебя Чуев возле себя терпит? У тебя язык, что у козы хвост.
— У Чуева на плечах, Алевтина, в отличие от тебя, голова, а не ведро из-под раствора. Он понимает: я только о том болтаю, о чем другие и без меня знают или узнать смогут. А где надо помолчать, я — бетон!
— Ну и чего я с вашим Лицом делать должна?
— Во-первых, Алевтина, у тебя шанс. Вениамин Тимофеевич в Смольном сидит, у него кабинет на памятник Ленину выходит. Он по нашему строительному делу второй человек в области. И скоро будет первым, Чуев чует. Если Пантюхов за тебя Чуеву слово молвит, считай, что квартиру ты уже получила.
— Ты скажешь, Анатолий Николаевич... Чего я делать-то должна? Налей-ка еще рюмочку.
— Это другой разговор. Первая твоя задача, Алевтина, сварить уху.
— Какую уху, я сроду уху не варила!
— Я помогу и подскажу. Перво-наперво надо достать курицу. Лучше две курицы.
— Курицу?! — изумилась Алевтина и вдруг зашлась в хохоте.— Курицу-то зачем? Из курицы, Анатолий Николаевич, не уха получится, а суп! Суп! — И Алевтина, продолжая хохотать, увесисто и панибратски хлопнула Пузыря ладонью по спине.— Суп!
— Быстро ты созреваешь,— проговорил прораб, взял в руки недопитую бутылку, и она вдруг так же мгновенно исчезла, как и появилась.
— Неужели он может с квартирой, Анатолий Николаевич? — мечтательно произнесла Алевтина и вздохнула.— Мне бы хоть не квартиру, а чтобы в очереди твердо шла. А то в прошлом году была триста десятой, а нынче пошла проверяться — триста одиннадцатая стою!
— Он все может, если захочет. И твоя задача, Алевтина, чтобы он захотел. Ты что же, думаешь, он из Ленинграда к нам приезжает, чтобы на тебя наброситься? Глупые вы, бабы, все к одному сводите. Человек в кабинете своем, может быть, в работе зашелся, никотином до чертиков просмолился, у него камни мочу стопорят, а ты... Он, может быть, о глотке свежего воздуха мечтает, об ухе на природе, о песне хорошей под гармонь. Он, Алевтина, из простых. Родителей нет, бабушкой воспитывался. Она у него до сих пор нянечкой в роддоме работает — в семьдесят пять лет. Так что соображай о человеке сама.
— Петь я могу, Анатолий Николаевич, и на гармошке когда-то играла. У моей тетки в деревне гармошка еще жива. У Степы есть.
— Гармошка не нужна,— перебил Пузырь Алевтину,— нужна курица. Или, на худой конец, петух. Вот тебе деньги, Алевтина...
— Ой, зачем столько?
— Да слушай меня, черт возьми! В пятницу даю тебе отгул.
— У меня нет отгулов.
— В пятницу на работу не выходишь. Езжай в деревню и купи там пару куриц или петухов. Не молодых, но и не старых. Плати столько, сколько запросят. Без курицы не возвращайся. И не вздумай купить их в магазине, все дело загубишь. Только деревенских, которых живая мама высиживала. У тебя есть холодильник?
— Откуда, Анатолий Николаевич! У меня с дочкой комната девять метров, а кухня общая шесть метров на четыре семьи.
— У кого-нибудь в квартире есть холодильник?
— У одного пьяницы есть.
— Ты можешь у него в холодильнике подержать куриц несколько часов?
— Могу, наверное.
— Значит, так, запоминай. В пятницу ты покупаешь в деревне двух живых куриц и привозишь их к себе домой.
— Живыми?
— Живыми. Обязательно живыми. До утра субботы держишь их в своей комнате, а ровно в шесть часов утра рубишь им головы.
— Ой, Анатолий Николаевич, я не могу!
— Соседа попроси, пьяницу.
— Он по утрам спать любит. Если я его в шесть часов разбужу, он мне голову заместо куриной свернет.
— Пива ему на утро возьми или водки бутылку, этих денег хватит.
— За бутылку он матери родной голову отрубит. А может, лучше с вечера...
— Алевтина! Слушай! Договорись с вечера, а разбуди его утром. Ровно в шесть — голова с плеч! Ощипи, опали, выпотроши. Не мой! Сразу положи в холодильник до девяти часов. Упаси тебя бог засунуть куриц в морозильную камеру. Только охладить на верхней полке. Все поняла?
— Поняла.
— Ровно в девять ноль-ноль я подъеду к твоему дому на «Волге». Подам сигнал. Увидишь меня в машине — бегом за курами. Завернешь их в бумагу. Только не в целлофановый мешок — в бумагу. У тебя есть чистая бумага, не газета?
— Обои есть.
— Хорошо, упакуй в обои, тыльной стороной. В сумку и бегом к машине. И чтобы сама была при параде. Купальник не забудь.
— Анатолий Николаевич, можно я с собой дочку возьму? Она у меня умница, мешать не будет.
— Какую дочку, Алевтина! — простонал Пузырь.— Я тебе целый вечер толкую: человек глотнуть воздуха приезжает! Он от семьи устал, от начальства устал, от работы

устал! Он от себя самого устал! Соображай! Кстати, мы уху планируем на Белой горе, Твоя деревня от нее по реке вроде бы недалеко. Подготовь-ка ты на всякий случай в деревне баньку. После царской ухи у человека иной раз мужицкие желания появляются. Сможешь?

— Попробую.

— Постарайся, Алевтина, не упусти свой шанс. Баба ты видная, соблазнительная, действуй по обстановке и лови что надо психологически.

— А пошел бы ты, Николаич...— буркнула Алевтина и помрачнела.

ГЛАВА 2

«Доклад Н. С. Хрущева „О культе личности и его последствиях" сделан 25 февраля 1956 года на закрытом заседании съезда КПСС».

(Из печати)

«По-новому живем, по-новому работаем».

(Советская пословица)

«По правде тужим, а кривдой живем».

(Русская пословица)

* * *

Журналист районной газеты Роман Александрович Смирнов ранним туманным утром возвращался от любовницы. Брел по каким-то пустырям и огородам, натыкался на ветхие заборы и никак не мог сориентироваться, где он: то ли в Заречном парке, то ли в зажелезнодорожной части города. Крупная рыжая голова журналиста с небольшой чистой плешью на затылке раскалывалась от вчерашнего перебора, на душе смердило, вдобавок ко всему проклятый туман...

Пробиваясь сквозь очередную ограду, Роман Александрович зацепился штаниной за колючую проволоку и долго не мог отбиться от нее. Наконец с проклятиями вырвался из проволочного капкана, оставив на ржавых колючках лоскут распоротой штанины. Утреннее солнце уже подразогнало туман, и журналист Смирнов смог рассмотреть на горизонте силуэт городского церковного собора, бездействующего.

В свое время Роман Александрович стал победителем конкурса на лучший проект сноса этой обители, уродующей лицо города. В отличие от многих безликих предложений, в основе которых лежали традиционная взрывчатка, кувалда и лом, его проект искрился оригинальностью, хотя в техническом отношении был практически неисполним. Заключался он в следующем: заполнить зимой церковь водой до самого купола, и замерзшая вода разопрет-таки стены упорно неподатливого храма, развалит их... И вот теперь, глядя на покосившийся купол, выступающий из тумана, журналист Смирнов сообразил, что находится и плутает где-то в районе кожевенного завода.

Стараясь унять ознобно-похмельную дрожь, Роман Александрович вытянул руку и посмотрел на часы — было без четверти шесть. Он уперся крутым лбом в липу-дерево, выросшее на его пути, и, свесив руки плетьми, стоял так, размышляя, куда идти? В редакцию — рано, домой?.. Вспомнив вчерашнее, Роман Александрович поморщился и покрутил головой, как бы пытаясь лбом пробуравить липу-дерево.

Что и говорить, славно они вчера посидели на ДОКе. Он так и не понял, что надо было главному инженеру деревообрабатывающего комбината от редакции, да и не в этом дело. Главное, последнюю бутылку не стоило начинать, оставить бы ее на утро. Что у него за натура, черт возьми! Ну зачем, спрашивается, надо было приглашать эту, из планового отдела... Марию Ивановну к себе домой? Знал ведь, что жена дежурит в больнице и в любой момент может подлететь на «скорой» и проверить. Вспомнив вчерашний семейный инцидент, Роман Александрович вновь поморщился и вновь забурил головой. Наверное, не случайно в сумке Марии Ивановны оказалась бутылка шампанского, и от шипучки они вконец обалдели. Спокойная и дородная Мария Ивановна пожелала вдруг исполнить на столе стриптиз. Однако успела, сидя на столе, лишь оголить свой царственный бюст. И в тот момент, когда он приник к нему устами, отворилась дверь, которую он, конечно же, забыл запереть, и на пороге предстала Антонина в белом халате. «Выключите музыку, дети спят!» — только и сказала жена и тотчас исчезла. Он было попытался помочь оробевшей Марии Ивановне продолжить сидячий стриптиз на столе, однако та засобиралась домой. Черт его дернул увязаться за ней следом! Никогда бы не подумал, что столь видная собой женщина живет в такой барачной коммунальной конуре, и как сейчас проясняется, где-то в районе кожевенного завода. Зловонный район этот пользовался у горожан столь худой славой, что многолетние бессловесные очередники отказывались порой от долгожданной квартиры, если ее предлагали в Кожевенном.

Бодаясь с деревом, Роман Александрович пытался восстановить в памяти: было у них что ночью с Марией Ивановной или не было? Ежели да, то не оплошал ли он, не уронил ли перед плановым отделом ДОКа свой мужской и редакционный авторитет? Неужто сплоховал, и Мария Ивановна распустит язычок? Тогда на деревообрабатывающем не появляйся, засмеют...

Короче, журналиста Смирнова мучили похмельные утренние страхи и всяческие угрызения совести, свойственные неиспорченным еще человеческим натурам и знакомые всякому, кто вольно или невольно иногда «перебирал». Роман Александрович прекрасно знал, чем снимаются подобные страхи, но сегодня перспектива на этот счет выглядела, как никогда, смутно. В кармане его не было ни копейки, в девять часов предстояла редакционная летучка, на которой ему необходимо присутствовать, и если к двум часам он разживется червонцем в долг, то выстоять в магазин антиалкогольную «петлю Горбачева» у него просто-напросто не хватит моральных сил. А распоротая штанина единственного его безотказно немнущегося костюма? На какие шиши штопать и где?

Между тем туман рассеялся, солнце светило уже ярко и припекало журналисту лысину. Роман Александрович оторвался-таки от дерева и явственно увидел, что справа от него в нескольких десятках метров поблескивает черным зеркалом река. Окончательно уяснив свое местонахождение, журналист с неожиданным проворством устремился к воде, азартно приговаривая: «Позагорать, позагорать!» Добравшись до берега, он разделся, аккуратно расстелил на холодном еще песке костюм с распоротой штаниной и, оставшись в одних трусах, улегся на него, свернулся калачиком. И, пригреваемый солнцем, вскоре захрапел здоровым мужским храпом.

Проснулся журналист Смирнов через два часа. Посмотрел на свои электронные — было начало девятого. Глубокий сон на природе освежил Романа Александровича, и он по-молодому вскочил на ноги. Энергично покрутил руками, поприседал, разминая коренастое, плотно сбитое тело, затем ринулся в воду. Нырнул глубоко, вынырнул далеко от берега и, блаженно распластав руки-ноги в стороны, недвижимо замер на поверхности реки. И долго лежал так, сносимый в сторону вялым течением.

После купания Роман Александрович почувствовал себя в рабочем состоянии. Держа ориентир по церковному куполу, уверенно выбирался из узких улочек Кожевенного. Единственное, что его смущало теперь, так это разорванная штанина — появляться в столь неприглядном виде в редакции Роман Александрович не позволял себе никогда. И тут на него, как всегда неожиданно, свалился Его Величество Случай. Из подворотни вылупилась невзрачная лохматая шавка и, подкатившись к ногам журналиста, звонко тявкнула на него. Роман Александрович, демонстрируя неплохую реакцию, мгновенно поддал дворняге носком ботинка под брюхо, отбросил ее к забору. Оглушенная ударом, шавка молча побежала назад и скрылась в подворотне. Романа Александровича озарила свежая мысль. С громкими, но вполне литературными проклятиями он поспешил следом за собачонкой и, открыв калитку, вошел во двор. На невысоком деревянном крыльце стояла средних лет полная женщина, чем-то похожая на Марию Ивановну, и вопросительно, с затаенной тревогой смотрела на пришельца.

— Извините меня, но вот...— Роман Александрович выразительно указал перстом на свою разорванную штанину, а затем перевел его — обвинительно — на шавку, которая робко жалась к ногам хозяйки.

— Неужели она?! Да как ты смела, Тяпа! — воскликнула женщина и, прижав руки к груди, взволнованно обратилась к журналисту: — Простите нас, никогда ничего подобного... Ну, полает иногда на прохожего, но чтобы такое...

— Я журналист Смирнов,— солидно представился Роман Александрович.— Вот мое удостоверение.— И он протянул растерявшейся женщине добротную краснокожую книжицу, на которой золотыми буквами и крупно было вытиснено: «Пресса».— Если вы читаете нашу районную газету, то, возможно, мое имя знакомо вам,— добавил Роман Александрович уже менее официально.

— Мы выписываем газету.— Женщина неловко посмотрела на документ.— Неужели она укусила вас?

— Кажется, чуть царапнула.— Роман Александрович, нагнувшись, потер щиколотку.— Надеюсь, у нее сделаны все прививки?

— За это не беспокойтесь,— заверила женщина поспешно,— мы очень аккуратные люди.

— Это хорошо,— одобрил Роман Александрович,— честно говоря, у меня нет желания идти в больницу и принимать уколы из-за чьей-то безответственности.

— Простите нас, ради бога! — Женщина вновь прижала руки к груди.— Никогда больше не выпущу ее на улицу!

— Но как быть с этим? — продолжил Роман Александрович и, выразительно приподняв ногу, потряс распоротой штаниной.— Извините, это мой единственный костюм. Мне неловко признаться, но в настоящее время я не могу сдать его в мастерскую, ваш

пес, так сказать, внес неожиданную статью расхода в мой более чем скромный бюджет.

— Конечно же, я понимаю... Само собой...— засмущалась женщина.— Сколько это будет стоить?

— Костюм производства Финляндии, совсем еще новый, стоимость — сто шестьдесят восемь рублей. Думаю, рублей за тридцать-сорок его можно отреставрировать.

— Хорошо,— покорно согласилась женщина,— подождите секундочку.

Деньги Роман Александрович принял непринужденно и просто и, не считая, сунул в карман:

— Извините, ваше имя-отчество?

— Мария Ивановна.

— Гмм...— споткнулся Роман Александрович,— извините, Мария Ивановна, нельзя ли иголку с серой ниткой? Прихвачу штанину до мастерской.

Женщина предложила свою помощь, но Роман Александрович решительно отказался и, ловко орудуя иголкой, не снимая брюк, зашил штанину. Затем, не слушая извинений и благодарностей, распрощался с хозяйкой.

На работу журналист Смирнов поспел вовремя. Все три редакционные комнаты уже опустели, голоса сотрудников гудели в кабинете редактора, вот-вот должна была начаться летучка. Пользуясь тем, что в запасе оставалось еще три минуты, Роман Александрович снял трубку и набрал свой домашний номер. Ему ответил старший сын Димка, второклассник.

— Мама с работы пришла? — спросил Роман Александрович, прикрывая трубку ладонью.

— Пришла,— пробурчал сын,— ушла в магазин.

— Чемодан у дверей стоит? — вновь задал вопрос Роман Александрович.

— Стоит.

Роман Александрович вздохнул. Значит, Антонина не привиделась ему вчера и очередной семейной тягомутьи не миновать.

— А ты опять загулял? — спросил вдруг сын.

— Загулял,— признался Роман Александрович и назидательно добавил: — Не будь таким, как я, Димка! Не пей водку, не кури и слушай маму. Будь честным, смелым и принципиальным. И никого не бойся.

— Я не боюсь,— буркнул Димка.

— Какой есть, такой уж я и есть,— сокрушался Роман Александрович.— Сам знаешь: отца и мать не выбирают. Тебя я люблю, маму люблю, братика твоего тоже люблю. А что выпиваю, в том не вина моя, а беда. Стараюсь себя обуздать, да не всегда получается. А в беде, Димка, друг другу надо помогать. Согласен?

— Да...

— Ты замолви за меня перед мамой слово, чтобы не выгоняла. Если она меня бросит и другого папку тебе приведет — чужого, не родного,— разве тебе лучше будет, а?

Что-то засопело в трубке, замычало.

— Лучше тебе будет? — повторил Роман Александрович.

— Нет...— едва слышно отозвалось в трубке.

— Ты посмотри вокруг,— продолжал Роман Александрович, возбуждаясь,— все пьют, все гуляют, только скрывают это друг от друга. А я человек открытый, я не ловчу. Признаю свою вину перед мамой, перед тобой, перед твоим братиком. И прошу у вас прощения. Я иногда даже плачу от стыда за себя! Ты видел, Димка, как я плачу?

— Видел.

— Я никогда не обижал тебя, не ловчил перед тобой, не выдавал черное за белое. Я не софист! Я просто слабый, но добрый человек. Добрый, Димка! И прошу тебя помочь мне...

Заручившись поддержкой сына, Роман Александрович в приподнятом настроении поспешил в кабинет редактора. По тому, как на мгновение смолкли голоса коллег, когда он вошел, Роман Александрович определил: говорили о нем. Сдержанно поздоровавшись со всеми, журналист Смирнов опустился на диван рядом с Ольгой Евстратовной Лелиной, заведующей партотделом. Достал из кармана блокнот, карандаш и, стараясь не опалить чуткую Ольгу Евстратовну своим дыханием, приготовился к работе.

— Начнем, товарищи, так сказать...— проговорил редактор, щуплый, бородатый и до болезненности тактичный человек.— Прошу планы на неделю по отделам. Отдел писем, пожалуйста, так сказать...

— Хочу еще раз подчеркнуть и обратить ваше внимание,— начал Роман Александрович, не поднимая головы от блокнота,— что письма трудящихся — та артерия, если можно так выразиться, которая связывает нас с народом. И я как заведующий отделом постоянно держу палец на пульсе нашего народа.

— Так сказать, пожалуйста, ближе к делу и без громких слов,— подал голос из-за стола редактор.— Ваш план на неделю?

— Не надо меня перебивать, Лев Юрьевич,— огрызнулся Роман Александрович.— Сегодня мы боимся громких слов, завтра станем бояться громких дел. Кое-кому, видимо, очень хочется, чтобы все вокруг было серым и все похожими друг на друга.

Сделав этот неопределенный намек, от которого редактор газеты Лев Юрьевич Морозов вдруг покраснел, журналист Смирнов, по-прежнему стараясь не дышать на свою соседку, продолжал:

— Основной темой писем, которые идут к нам в редакцию, остается жилищная проблема. И потому я планирую на неделю свою большую статью о жилищно-строительных кооперативах.

— Опять о кооперативах! — Лелина хихикнула.

— Да, кстати, о «личных кооперативах»,— вновь перебил редактор Смирнова.— Ваша статья о проституции в нашем городе, Роман Александрович, произвела резонанс. Я всегда ценил вас как журналиста. Вы пишете размашисто, хлестко, с детальным знанием материала. Но иногда, так сказать, мне думается, для пользы дела следует наступить на горло собственной песне. Вчера мне звонил из Ленинграда редактор нашей областной. Сказал, что в вашей интересной статье неправильно, так сказать, распределены акценты.

— Ну, расставлять акценты мы теперь имеем право и сами,— вступилась за коллегу Лелина.

— Может быть,— неуверенно согласился редактор,— но куда серьезнее выглядят аргументы вот этого письма на статью.— Редактор поднял со стола лист бумаги, приблизил его к бороде.— Читаю, товарищи, прошу, так сказать, внимания:

«Уважаемая редакция! Пишет вам работница с кожзавода. Прочитали мы с напарницей в вашей газете статью про проституток, о которых Р. Смирнов написал, и надумали тоже вам написать. Приехали бы и посмотрели, как мы живем. Общежитие бы наше посмотрели и на работе. Цельными днями тачки с кожами по грязи таскаем, а в общежитии хуже хлева. Мужики наши пьют на работе и дома, безобразничают, в двери по ночам ломятся, а после получки в иные разы и сильничают кого из нас. До милиции попробуй дозвонись, попробуй пожалуйся. Кожами провоняли, за ворота выйти не можем, люди на нас оглядываются, а помыться негде. С нами Валентина Гаварина работала, молодая, о которой вы написали, что она проститутка. Так мы и порадовались за нее. У нас ее после получки грузчик Хабаров сильничал, а теперича она по доброй воле живет с кем захочет в чистых гостиницах, в Ленинград даже ездит к иностранцам. Были бы мы помоложе и покрасивше, сами бы в проститутки пошли, чем эдакую жизнь терпеть, какая у нас на кожзаводе. А ежели бы у меня дочь была, в проститутки бы ей посоветовала пойти, чем на кожзаводе работать. Вот такой вам откровенный от нас разговор».

Редактор закончил читать, отложил лист в сторону, пояснил:

— Письмо, товарищи, без подписи — анонимка, но тем не менее наводит на размышление.

— Вот и хорошо, что мои статьи задевают людей за живое,— отозвался Роман Александрович.— Куда хуже статья без отклика.

— Слишком сочными, так сказать, мазками разрисовали вы жизнь наших «индивидуальных кооператоров»,— возразил редактор.— Настолько сочными, что статья, как видите, дает обратный эффект. Кстати, действительно, почему кожзавод выпал из поля зрения нашей газеты? Не припомню случаи, чтобы мы давали оттуда материал, так сказать.

Как ни старался Роман Александрович не дышать на «партийный отдел», тонкий и чуткий нос Ольги Евстратовны начал улавливать нелюбимый ею в мужчинах перегоревший алкогольный дух. Боковым зрением Роман Александрович видел, как Ольга Евстратовна все чаще и чаще посматривает на него, и все внимательнее. Отношения между отделом писем и партийным были в общем-то неплохие, можно даже сказать — дружеские. Однако характером Ольга Евстратовна обладала взрывным, настроение ее менялось мгновенно, и в любой момент она могла вспыхнуть от пустяка и наброситься на того, чей месячный гонорар оказывался больше ее. Роману Александровичу вовсе не хотелось сейчас пикироваться с Лелиной и привлекать к себе лишнее внимание коллег, и потому он мгновенно среагировал на обстановку:

— Как не было материалов с кожевенного?! — воскликнул он с некоторым даже негодованием в голосе.— А отчет Ольги Евстратовны с партсобрания кожевенного завода? Сколько шума в городе наделал ее материал!

Редактор Морозов, слегка смутившись, вынужден был согласиться с репликой заведующего отделом писем, а Ольга Евстратовна, порозовев от удовольствия, воскликнула:

— До сих пор мутит, как вспомню тот ужасный запах!

Роман Александрович безбоязненно уже придвинул губы к уху соседки, шепнул:

— Погудел я вчера, Ольга...

— Да уж вижу! — так же шепотом отозвалась Лелина.

— Жена застукала меня с подругой,— обезоруживал Роман Александрович «партийный отдел» откровенностью.

— Ну?!

3*

Восклицание Лелиной было столь звучным, что редактор постучал по столу карандашом, требуя внимания, и продолжил:

— Поскольку разговор зашел о строительстве, хочу сообщить вам, Роман Александрович, информацию, так сказать, к размышлению. Наш пресловутый стройтрест вновь замышляет увильнуть от жилищного строительства в городе и поправить свои дела на стороне. До меня дошли слухи, что управляющий Чуев ведет прямые переговоры с министерством о строительстве в районе озера Долгое каких-то капитальных складских хранилищ. Министерство, так сказать, богатое, с деньгами и материалами считаться не будет, и Чуеву, естественно, выгоден подобный заказ. В обкоме этот вопрос еще не решен, наше городское руководство пребывает в неведении, так сказать. Боюсь, что если мы не поднимем общественность на борьбу против плана Чуева, жилищное строительство в городе и соцкультбыт вновь будут заморожены на два-три года.

— Господи, как хорошо! — вдруг с неподдельно искренним чувством воскликнула Лелина.— Квартиру я получила, теперь мне никакой Чуев не страшен! Гори все голубым огнем!

— Так сказать, необходимо думать не только о себе, Ольга Евстратовна,— насупился редактор, но Лелина перебила его:

— А вам, Лев Юрьевич, пора бы уже приобрести чувство юмора.— И гневно выкрикнула: — Лишь одно это чувство и отличает человека от животного!

Схлопотав, таким образом, ни за что ни про что «комплимент» от своей несдержанной сотрудницы, Лев Юрьевич побледнел, однако, не удостоивая Лелину ответом, спокойно продолжал:

— Как мне стало конфиденциально известно, в субботу из строительного отдела обкома приезжает товарищ Пантюхов и встретится с Чуевым и его людьми, так сказать, в неофициальной обстановке. Хорошо бы вам, Роман Александрович, поприсутствовать, так сказать. Вы давно ведете строительную тему, и, надеюсь, у вас найдется, так сказать, индивидуальный подход к Чуеву?

— Найдется! — бодро отозвался Роман Александрович, которому задание редактора тотчас пришлось по душе.

— Так сказать, Роман Александрович, если вам удастся повлиять на мнение Пантюхова... Это было бы вашим лучшим ответом на все письма трудящихся по жилищному вопросу. Если же Чуев возьмет верх, готовьте, Роман Александрович, страстную обличительную статью. Мы поднимем общественность на серьезный разговор, так сказать. Хочу сразу предупредить, что эту работу беру под свой личный контроль. И если приглушу кое-какие яркие краски, не обижайтесь. Не хочу, чтобы статья о строителях вызвала подобные письма, как эта анонимка, так сказать. Я подписываю газету и, следовательно, отвечаю за все, что в ней опубликовано.

— А мы, выходит, за свои материалы не отвечаем?! — вспыхнула Лелина.

— Рискну напомнить вам, Лев Юрьевич, что мы живем в эпоху гласности,— Роман Александрович и сам мог постоять за себя,— в эпоху Перестройки! И делать из ярких, как вы сами сказали, наших материалов серые газетные поделки — не самое большое достоинство редактора.

Лев Юрьевич Морозов как человек деликатный и внутренне глубоко ранимый, намеки коллег-журналистов на бесцветное свое перо воспринимал вдвойне болезненно. Однако за годы редакторской работы поднаторел отбиваться и от самых языкастых.

— По крайней мере, от моих материалов никому в проститутки идти не хочется, так сказать,— возразил он, желчно покраснев.

— Может быть, вы анонимку сами и написали, откуда нам знать? — парировал журналист Смирнов, охотно ринувшись в перепалку.— Мы и не такие финты видали.

Кабинет редактора загудел голосами.

— Товарищи, товарищи, давайте о деле! — покрыл всех голос Лелиной.— У нас становится модой проводить летучки по часу. Когда же работать!..

После летучки журналист Смирнов выскочил из редакции на улицу и позвонил домой из автомата. Трубку подняла жена.

— Тоня, здравствуй, это я...— мягко и тихо проговорил Роман Александрович.

Жена не ответила на его приветствие, но и не бросила трубку, из чего Роман Александрович заключил, что Димка уже переговорил с матерью.

— Не хочу оправдываться, Тоня,— продолжал журналист все тем же тихим голосом,— но ты же медик, должна понимать... Как выпью, теряю над собой контроль. Сама знаешь: главное у меня ты, дети, моя работа. Остальное — одни рефлексы, на которые не стоит обращать внимания. Ты сама говоришь, что я больной человек.

Жена по-прежнему молчала, но в молчании ее Роман Александрович уловил какую-то долю понимания, пускай и медицинского. И решил выбросить свой главный козырь, которым пользовался крайне редко.

— Ну, хорошо, Тоня, если хочешь, поеду лечиться! — Роман Александрович повысил голос.— Согласен с тобой: мне необходимо лечиться. Черт с ним, я согласен умереть!

— Не умереть, а стать человеком,— подала наконец голос жена.

— Хорошо, я принимаю такое решение, но ты меня не торопи. Дай время настроиться на психушку. Согласись, Тоня, поставить на себе такое клеймо нелегко даже ради нашей любви. Но я обещаю тебе... Пузырь дома? — вдруг неожиданно спросил Роман Александрович.

— Какой пузырь? — опешила жена.

— Под нами который живет, со второго этажа? Анатолий Николаевич, строитель. Если увидишь его, передай: сегодня мне необходимо с ним встретиться. Есть интересное задание от редакции. Может получиться статья и для областной, и даже центральной! Целую тебя, лапушка, и прости меня, мерзавца. Обещаю тебе...— с этими словами журналист Смирнов повесил трубку.

ГЛАВА 3

«Бабы, говорят, скоро колхозникам паспорта будут давать. Неужто дожили до такого?!»

(Из разговора)

«Богата хата не углами, а трудоднями».

(Советская пословица)

«Кому сон, кому явь, кому клад, кому шиш».

(Русская пословица)

* * *

Алевтина не помнила уже, когда в последний раз была в деревне, хотя до дома ее тетки от городского автовокзала рукой подать — чуть больше получаса на автобусе.

Дом тетки Галины из толстых, почерневших от времени бревен глядел на улицу-дорогу тремя высокими окнами в белых резных наличниках. Наличники тетка подкрашивала белой краской каждую весну, и оттого дом ее выглядел нарядным даже сейчас, когда замшелая драночная крыша прогнулась, как хребет старой трудовой клячи, труба покосилась, а угол один подгнил и осел. Две молодые яблони под окнами, аккуратный ухоженный огород и банька «по-черному» на задворье возле реки, светлеющая поленницами сухих березовых дров, придавали усадьбе не только живой, но и жизнелюбивый вид. И дом, и баньку, и еще сарай с хлевом, которые тетка Галина разобрала со временем на дрова, построил после войны ее муж Леня-цыган.

Алевтина не раз слышала от матери, жившей в ту пору в соседней деревне, как появился в теткиной деревне Маяково вместе с шумным цыганским табором Леня-цыган. Был он тогда уже немолод — за сорок, и на цыгана не похож. Русским был. Но, наверное, чем-то обязан ему был табор, и потому, когда положил Леня-цыган свой глаз на первую по красоте девку в Маяково, свадьбу играли всем табором и всей деревней. Галина Лютина еще девчонкой переняла от бабки своей умение лечить травами, могла заговаривать кровь и песяки на глазах, любила гадать по руке, и многие ее предсказания сбывались. Вдобавок к этому обличьем она походила на цыганку — худая, подвижная, густые волосы, как смоль, глаза черные, нахальные, и тронуть ее языком никто не смел, отбреет так, что запомнится. Потому, наверное, табор и разукрасил невесту Лени-цыгана, как свою царицу,— в новые цветастые юбки и кофту, в мониста и бусы, а на плечи набросил ей черную шаль. До сих пор маяковские старожилы вспоминают ту первую послевоенную свадьбу — хмельную, песенную, сытную, (на свадьбу закололи цыгане молодого бычка). А когда через неделю снялся табор с места, в Маяково остался стоять новый добротный дом, срубленный цыганами.

Вопреки предсказаниям деревенских баб, что жизни у Галины с Леней-цыганом не получится (слишком неожиданно упал с неба жених), молодые два года жили душа в душу. Галина ждала ребенка, работала в поле и на скотном дворе; Леня-муж плотничал, умело и охотно выхаживал на конюшне десятка полтора тощих и бессильных, фронтовых еще, коней, ставил их на ноги. Маяковские бабы стали поговаривать теперь, что мужик у нее с головой, хозяйственный, и даже прочили его в председатели.

Но видать, позавидовал кто-то счастью Галины Лютиной и настрочил в «органы» письмо-донос. Сообщил, что Галина Лютина — пособница немецко-фашистских оккупантов, поила немцев отварами лекарственных трав и гадала по руке, что возьмут Москву и победят Россию. После великой Победы живет теперь, стерва, лучше всех — в новом доме и с мужиком. А те, которые войну на своих плечах вынесли и мужей-сыновей не дождались, те в сырых землянках еще ютятся.

На допросах у следователя Галина Лютина и не отрицала про травяной отвар. Как

было не поить, если квартировал в Маяково немецкий лошадиный обоз и главный конный лекарь заприметил в ее сарае сушеные лекарственные травы и приказал каждодневно заваривать их по своему рецепту. Поил отваром зверобоя, пустырника, чебреца, мяты не только солдат, но и свою лошадь. Обвинения же про Москву и Россию Галина отвергла начисто. Признав, однако, что вынуждена была гадать немцам про их жен и детей в Германии. Следователь спросил напрямик: понимала ли она, что своими действиями повышала морально-политический дух вражеской армии и отодвигала победу над ненавистным врагом? И Галина Лютина вынуждена была согласиться, что — да, победу она отодвигала. Хотя, конечно же, не по злому умыслу, а из страха.

В ходе следствия выяснилось и другое обстоятельство, о котором не упоминалось даже в письме-доносе: Галина Лютина сожительствовала с конным лекарем, квартировавшим у нее в бане (изба Лютиных сгорела при отступлении наших войск). Напрасно Галина убеждала, что немец добился своего силой, угрожал оружием, стращал отдать ее солдатам на поругание. Деваться ей было некуда, а на петлю духа не хватило. Может быть, и удалось бы Лютиной объяснить свое поведение во времена оккупации немолодому однорукому следователю, да помешала врожденная горячность. Не выдержала как-то на допросе и крикнула ему в лицо, что по его вине легла под немца! Бросили мужики-защитники девчонок и баб на произвол, а сами аж до Москвы без оглядки, под стены белокаменной спрятались. Теперь-то все смелые, все на юбках баб пятна рассматривать горазды, а где тогда были?! Напрасно, наверное, обидела Галина фронтовика, все же и нашивки на груди желто-красные были, но слово не воробей. Не зря бабка часто говаривала ей: «Язык мой — враг мой».

За пособничество немецко-фашистским захватчикам Галина Лютина получила семь лет. Полностью их не отсидела, после смерти Сталина вернулась в деревню по амнистии. Дом ее стоял заколоченным, и никто не знал, куда подевался Леня-цыган. Рассказали деревенские, что, после того как посадили ее и пропечатали в районной газете про сожительство с немцем, исчез он из Маяково, так же внезапно, как и появился. Сгинул муж ее невесть куда и навсегда. Хотя какой он ей муж? В сельсовете не расписывались, а повенчала их всего лишь цыганская свадьба да повязала судьбой-ребеночком жизнь. Что сталось с ним, никто не ведал. Алевтина девчонкой еще попыталась как-то выспросить у нее про ребеночка, но теткино лицо окаменело и почернело сразу на ее глазах. Тогда только поняла Алевтина, что есть вопросы, которые живым людям задавать нельзя.

«Я у тетки единственная наследница,— подумала вдруг Алевтина, открывая калитку,— не дай бог что — усадьба мне отойдет.» Подумала так и усмехнулась на себя. А когда обнялась с теткой и расцеловалась, проговорила:

— Тетя Галя, знаешь, что в голову пришло, когда на твои хоромы любовалась?

— Небось прикидывала к себе теткино гнездо? — отозвалась тетка, с прищуром глядя на племянницу.

— Ты и впрямь колдунья,— искренне удивилась Алевтина,— не зря в деревне про тебя говорят.

— Тебе уже все отписала и нотариусом заверила.

— Здорова ли? — с тревогой спросила Алевтина, вглядываясь в серое лицо тетки и зная, что лишнего о себе та не скажет.— Может, врачам показаться? Приезжай, поживи у меня, обследуйся.

Тетка лишь отмахнулась.

— Когда прижмет, письмо тебе отпишу, тогда уж не тяни. Все мое для похорон вон в том сундуке. Деньги на книжке тоже тебе отписаны. Для Насти их прибереги на черный день. С книжки-то сразу, говорят, не выдают, так меня на облигации похоронишь. В шкафу в книжке лежат — пятьсот рублей.

— Ладно, тетушка, чего тут говорить...

— Настя-то здорова?

— Здорова.

— Чего не взяла девку в деревню?

— Отдохнуть от нее хочу,— с некоторой виноватостью в голосе отозвалась Алевтина.— Учишь ее, учишь, наставляешь, вразумляешь, а все не то... Не могу я детей воспитывать. Что по радио слышу, в газетах чтаю, в кино смотрю, то и ей вдалбливаю. Сказки разные про жизнь, про любовь. Вот подрастет скоро, хлобыстнут ее люди правдой...

— А ты не ограждай ее, не дури девчонке голову. Пускай на жизнь смотрит, какая есть. Ей в школе мозги заплетут, да еще ты. Отдала бы мне Настю на лето, пускай поживет.

— Не могу, тетя Галя, тоска ведь заест. Недавно меня знаешь о чем спросила? О любви! «Чего,— говорю,— ты любовью заинтересовалась?» А она: «Любовь, мама, самое прекрасное чувство, потому и заинтересовалась».— «Да откуда ты,— спрашиваю,— знаешь, что оно прекрасное? Кто тебе сказал?» — «Сама,— говорит,— знаю, я предчувствую». Тут я не выдержала и говорю: «А не предчувствуешь ты, что встретится тебе пьяница, как твоей матери? Выйдешь ты из роддома, а его и след простыл. Закончится на этом твое прекрасное чувство, и останешься ты навечно матерью-одиночкой без своего угла даже».

— У тебя-то с квартирой как? — поинтересовалась тетка.

— А никак. Была триста десятой, стала триста одиннадцатой. В другую сторону поехало.

— В этом деле концов не найдешь. Чего ты в городе своем не видела? Жила бы со мной в деревне, экая благодать вокруг. Не ломалась бы на стройке, в колхозе копошилась да девку воспитывала.

— Не могу в деревне,— призналась Алевтина.— В городе хоть на людей посмотришь, которые по-человечески живут. По магазинам после работы побегаешь, в праздники музыку в городском парке послушаешь... Для чего живу, тети Галя, не знаю.

— Замуж тебе надо, Алевтина.

— Где его взять, «замужа»? Все бегом, все с оглядкой, все на одночасье.

— Это верно. Нынче шпиона легче поймать, чем самостоятельного мужика встретить.

— С хорошим-то мужем мне едино где жить — хоть в городе, хоть в деревне. А одна я в деревне от скуки засохну.

— Хозяйство на руках — не засохнешь.

— На кой мне, тетушка, хозяйство? — взбрыкнула Алевтина.— Работа, работа... Что я — лошадь, только о работе и думать?!

— Ладно, не хорохорься,— примирительно проговорила тетка.— Чего приехала-то? По делу или проведать?

— Где мне выбраться тебя проведать,— усмехнулась Алевтина.— По делу.

— На честном слове спасибо, племянница. За то и люблю тебя, что не врешь никогда.

— Зачем мне врать? — вздохнула Алевтина.— У меня, кроме Насти, роднее тебя тоже никого нет.

— Дело-то какое?

— Смешно говорить. За курами приехала. Лицо наше строительное из Ленинграда приезжает на этот... пикник. Уху из кур варить надумали. Вот и отрядили меня.

— Откуда в Маяково куры? — искренне удивилась тетка.— Вся деревня за ними к вам ездит. А за мясом в Ленинград.

— Как быть-то? — забеспокоилась Алевтина.— Отгул за кур дали, и строго наказано: достать только деревенских, которые с хорошим духом, без химии. За любые деньги.

— У Елисеевых вроде имеются. Не продадут они.

— За любые деньги,— повторила Алевтина.

— За любые — найдем! — заверила тетка.— А не купим — украдем! — добавила она, подмигнула племяннице и вдруг по-молодому пристукнула об пол стоптанным башмаком.— Не гульнуть ли нам сегодня? Баньку стопим, рябиновой побалуемся, под Степину гармонь споем? Ты как?

— Всегда готова! — Алевтина по-солдатски вытянулась перед теткой и вскинула руку «под козырек».

— Таскай в баню воду,— приказала тетка,— из речки не бери, из пруда носи.

— Почему,— удивилась Алевтина,— из речки всегда брали?

— Кожевенный завод ваш, сказывали, в реку цельное озеро пакости вредной плюхнул. Намедни дохлая рыба по реке косяками шла, смотреть страсть! По радио объявляли, чтоб не купались и воду не пили. Покудова, значит, не протрезвится река.

— Час от часу не легче.— Алевтина покрутила головой.— Кур деревенских нет, рыбы, выходит, в реке тоже нет? Из чего уху-то варить будут?

— Тебе забота! — фыркнула тетка.— Эвон в сенях ведра, таскай воду из пруда!

Позднее Алевтина не могла припомнить, когда ей пришла в голову мысль пригласить назавтра обкомовское Лицо в деревню. То ли после бани, когда уселись они с теткой, распаренные, за стол перед распахнутым окном и залпом опрокинули по рюмке крепкой рябиновки, то ли раньше еще, когда разогнала она себе в парной кровь двумя вениками и принялась вдруг кататься по мокрому, прохладному полу, нехорошими словами вспоминая проклятых мужиков, которых никогда нет рядом, когда они нужны, и которые скребутся в дверь, когда глаза бы на них не смотрели.

После второй стопки Алевтина намекнула тетке о человеке, с которым она хотела бы завтра погостить в деревне. Тетка Галя, слегка захмелевшая уже, охотно согласилась:

— Приезжайте. Баню истоплю, спать будете на чердаке. У меня там сена прошлогоднего накидано для духа.

— Не поняла ты, тетя! Не мужик это, а обкомовское Лицо. Понимаешь: Лицо! — пояснила Алевтина.— Его принять надо с умом. Помнишь, ты нашему инженеру камни из почек выгнала? У Лица тоже камни. Сможешь выгнать?

— Ежели сердце у него крепкое, выгоню. Лет-то ему сколько?

— Сорока еще нет.

— Господи, в самом соку мужик, а ты...

— Тетя!

— Ты его только затащи ко мне, мигом на ноги поставлю. Таким отваром напою, его от тебя арканом не оттащат.

— Ты ему для начала камни выгони, а с отваром поглядим,— отозвалась Алевтина,— может, он и не мужик вовсе. Сейчас в городе таких мужиков полно, которых на бабу не только отваром — башенным краном не поднимешь. Говорят, химия здорово на них влияет,— добавила Алевтина, подливая себе и тетке в рюмку розоватой жидкости.— А воп, кажись, и Степа твой идет!

— Верно, Степка,— подтвердила тетка,— учуял-таки рябиновку.— И, распахнув пошире оконные ставни, тетка Галина крикнула: — Степушка, здравствуй!

— Здорово! — отозвался за окном бодрый басок.— Етит твою мать!

— У тебя гармонь жива? — спросила тетка.

— Куды ей деться? Может, только мыши съели. Етит ее мать!

— Ко мне племянница приехала, Алька. Гуляем мы. Давно не пели под твою гармонь, Степушка! Неси музыку.

— Не могу, Александровна! Ты мою Наталью знаешь, етит ее мать!

— Зайди, прими для храбрости.

— Приму, Александровна, однако ж гармонь не гврантирую.

Степа — похожий на подростка со сморщенным небритым лицом — подошел к окну, принял из рук хозяйки розовую стопку, выпил неторопливо, словно бы нехотя. Отер щетинистый рот рукавом рубахи.

— Как, Степушка? — пообождав, спросила тетка.

— Захорошело, Александровна, но полной гарантии нету.

— Прими еще стопочку.

— Приму, ей-богу, приму, Александровна! — согласился Степа, оживляясь.— Хороша у тебя рябиновка, хороша, етит ее мать!

— Дядя Степа, у вас есть куры? — спросила вдруг Алевтина.

— Куры? — Степа не удивился неожиданному вопросу и, подумав, ответил: — Петухи имеются, ети их мать! Наталья с Рождества держит на мясо.

— Вот! — Алевтина хлопнула на подоконник две десятирублевки.— Три петуха надо. Живых.

По деревенским меркам Алевтина предложила хорошие деньги, и Степа живо сгреб их в карман. Однако нашел силы поторговаться:

— Полной гарантии нету, етит их мать!

После третьей рюмки заверил:

— Все сделаю, бабы, в лучшем виде. Рога Наталье собью, а вам гарантирую, ети вас мать! Пошел за гармонью!

— И петухов, дядя Степа, не забудь! — вдогонку крикнула Алевтина.— Живых!

— ...тит вас мать! — донеслось невнятное.

Вот так просто решился для Алевтины вопрос с деревенскими курами. Степа был хозяин своему слову, но, даже если его дочь Наталья и заартачится с петухами, у Алевтины оставалось в запасе еще тридцать рублей. Перед такой добавкой в цене не устоит и Наталья.

— Как у него внук-то, Сашка? — спросила Алевтина.— Не пьет?

— В армию забрали, в Афгане служит. Степан с Натальей в этот ездили... Ташкент, кажись. Сашку проведали перед отправкой. Шутка ли — на войну мальчишку. Подумать страшно. А Степка как напьется — дурак дураком. Все внука вспоминает. «Сказал,— говорит,— ему на прощание: если надо — умри за Родину!» Какая же, говорю, Степушка, Афган нам родина? У них своя жизнь, у нас своя. Мы без понятия, где и страна такая? Рассудительный был мужик, а теперича, от водки, наверное, как заклинило у него. Насмотрится про Афган по телевизору, глаза самогоном нальет и ревет про Сашку: «Умри за Родину!» Как язык-то поворачивается, Господи! А на гармошке играет, как черт! Эвон, уже идет!

В конце деревни раздались залихватские переборы гармошки, вскоре показался и Степа с гармонью на груди, идущий по середине пыльной улицы. Потряхивая редким седым чубом, он рвал меха от плеча до плеча и сипло ревел частушку:

Погулино, попито,
Похожено в набак,
Попытано у девок,
Попрошено у баб!

— Господи, чево-то у него на пузе-то?! — воскликнула тетка.— Алька, глянь!

Алевтина высунулась в окно и рассмеялась.

По бокам и на животе у Степы, привязанные к ремню лапами, болтались петухи. Свисали головами до земли, обессиленные, вяло помахивали крыльями. Казалось, что гармонист плывет в белых волнах. За Степой тянулась стайка ребятишек — детей деревенских дачников, и несколько любопытных старух. Перед калиткой дома Лени-цыгана гармонист на полуслове оборвал частушку с «картинками» и, пообождав чуток, завел вдруг жалобную послевоенную, любимую теткой Галиной:

Настежь раскрыта знакомая дверь,
Скошена набок ограда-а...
Я возвратился, я дома теперь,
Большего счастья не нада-а...

Степа прошел калитку и, продолжая играть, приблизился к распахнутому окну. Тетка Галина с помолодевшими глазами придвинулась к подоконнику, подперла острый подбородок узловатыми пальцами рук, высоким голосом подхватила:

Пусть оголенные стены стоят,
Пусть потемнел потолок,
Пусть ослепленные окна глядит,
Я не вернуться не мог...

Тетка Галина повышала и повышала голос, входила во вкус песни, Степа самозабвенно разрывал на груди гармонь, плескался в оживших петухах. Алевтина взяла в руки графин...

Возле дома Лени-цыгана начали понемногу собираться деревенские. Гармонь есть гармонь, всегда зовет к себе народ.

ГЛАВА 4

«Для иного наблюдателя все явления проходят в свмой трогательной простоте и до того понятны, что и думать не о чем, смотреть даже не на что и не стоит. Другого же наблюдателя те же явления до того иной раз озаботят, что (случается даже и передко) не в силах, наконец, их обобщить, он прибегает к другого рода упрощению и просто-напросто сажает себе пулю в лоб, чтобы погасить свой измученный ум вместе со всеми вопросами разом».

(Ф. М. Достоевский. «Дневник писателя»)

«Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме».

(Из тезисов КПСС)

«Пойдет вода Оки-реки, как хотят большевики».

(Советская пословица)

«Родился человек, а краюшка хлеба готова».

(Русская пословица)

* * *

— Мама, ты когда-нибудь выйдешь замуж? — спросила Настенька.

— Отстань, Настя,— буркнула Алевтина, кутаясь в одеяло,— спи!

— Я бы очень хотела братика...

— Нет уж, хватит.— Алевтина усмехнулась.— Дай бог тебя в люди вывести.

— Как это, вывести?

— А так! — Алевтина откинула одеяло.— Чтобы не корячилась ты на стройке с бетоном, как наши-то бабы. Чтобы все у тебя было по-людски. И квартира своя отдельная, и образование высшее, и замуж чтобы со свадебным путешествием. И чтобы дети твои нужды не знали. А для этого учись, Настя, учись! Екатерина Алексеевна опять жаловалась на тебя — стихотворение не выучила. Да, еще: ты почему не завтракаешь в школе? А, Насти?

Настя не ответила.

— Слышишь, теби спрашиваю? — Алевтина повысила голос.— Куда ты деваешь деньги на завтраки?

— Я их нищим отдаю.

— Нищим? Каким нищим?

— Которые у церкви.

— Ты ходишь к церкви? Зачем?

— Так... Смотреть. Мне интересно. Мама, а Бог есть?

— Эк тебя! — Алевтина выругалась.— Я ей о стихотворении, она мне о Боге. Нет Бога, нет! Он для дураков. Таких, как ты.

— Почему нет?

— Если бы был, все жевали бублики. А так — одному бублик, другому дырку от бублика!
— Может, и не это главное...
— Что — не это? — Алевтина приподнялась на локте, силясь рассмотреть в темноте лицо дочери.
— Ну, бублики.
— А что главное?
— Не знаю. Я недавно читала, как у одной женщины погиб сын. Утонул на подводной лодке. Он за тысячи километров находился, а она ночью проснулась, как от удара, и давай кричать, чтобы его спасали. Потом в газетах сообщили день и час, когда лодка утонула, и все сошлось. Никто из ученых людей не может такое объяснить.
— Ты что же, и в церковь заходишь? — тихо спросила Алевтина.
— Захожу.
— Чего там смотришь-то?
— Как детей крестят. Потом свадьба. Жених и невеста бывают такие красивые, и над головами у них эти держат... которые у царей... Короны! А потом покойника привозят.
— Час от часу не легче! Неужто и покойников смотришь?
— Смотрю. Так все быстро, мама... Иногда кажется, один и тот же человек — и крестится, и женится, и умирает. А потом что?
— Ой, Настя, Настя, что с тобой делать? — Алевтина не знала, как вести себя с дочерью. То ли отругать хорошенько, то ли вразумлять осторожно.— Трудно тебе будет, ой, трудно!
— Мама,— прошептала Настенька, обнимая мать за шею,— что, по-твоему, самое удивительное в жизни?
— Самое удивительное, что ты у меня такой глупой растешь. Учишь тебя, уму-разуму наставляешь, а ты все блаженная... Родитель твой виноват, пьяница несчастный. Теперь вот и мучайся с тобой. Стихотворение выучить не можешь, одна дурь в голове. Это надо же: в церковь повадилась! Чтобы больше я такого от тебя не слышала никогда.
— Мама, ты говорила, что люди бывают злые и добрые...
— Ну?
— По-моему, все люди одинаковые. Только одни верят во что-то, а другие уже нет.
— Во что верят?
— Не знаю. Я об этом все время думаю, хочу понять...
— Давай-ка, дочка, спать.— Алевтина вновь натянула одеяло до подбородка.— Завтра утром не проворонить бы дядю Петю, чтобы головы петухам отрубил. Даст твой Бог, получим отдельную квартиру, тогда заживем! Никакой коммунизм нам не нужен будет. Заведем с тобой, Настя, большую собаку. Овчарку. Чтобы никто не смел врываться к нам без разрешения. Согласна?
— Согласна.
— А завтраки ешь сама. Всех нищих нашими деньгами не накормить. И выучи завтра стихотворение.

ГЛАВА 5

«Лишь в человеческом духовном достоинстве равенство...»
(Ф. М. Достоевский. «Братья Карамазовы»)

«Потому нам хорошо живется, что дружба народов в стране ведется».
(Советская пословица)

«Ума за морем не купишь, коли дома нет».
(Русская пословица)

* * *

Никогда прежде не доводилось Алевтине общаться с человеком, от воли и желания которого зависела бы ее мечта — получить наконец квартиру. С первого взгляда на обкомовское Лицо, которое представилось как Вениамин Тимофеевич, Алевтина поняла, что человек этот действительно очень устал. У него было одутловатое, не знающее солнца лицо, прикрытое массивными роговыми очками; в бесформенные, капризно-обидчивые губы упирался слегка приплюснутый длинный нос. Тело — мясистое, рыхлое, как и у всякого здорового мужика к сорока годам, который наполняет себя без ограничения едой и сидячей работой. По всему было видно, что более всего хотелось сейчас Вениамину Тимофеевичу остаться на природе одному, выпить стаканчик и прилечь под куст. И смотреть бездумно на реку, на сосновый зверечий лес, на солнышко. И лежать так, отдыхая душой, до тех пор, пока не запросит его желудок-труженик царской ухи. А впрочем, Алевтина, конечно же, могла и ошибаться в своих наблюдениях. Позднее ей удалось рассмотреть за стеклами очков и глаза Вениамина Тимофеевича — темные пуговки, как у игрушечного медвежонка. Глаза его поразили Алевтину. Прежде всего тем поразили, что смотрели на нее с неподдельным интересом и какой-то грустной домашней внимательностью. Привыкшая к хозяйским начальственным взглядам — стеклянным или слегка разбавленным казенной участливостью, Алевтина дрогнула. Что-то защемило у нее в душе, шевельнулось. Но в следующую минуту она подумала, что, наверное, Вениамин Тимофеевич принимает ее за секретаря управляющего трестом Аллу Борисовну. Может быть, узнав, что она всего-навсего маляр, в медвежьих пуговках его тотчас погаснет интерес?

С неожиданной для себя смелой непринужденностью Алевтина подсела к сидящему поодаль от костра Вениамину Тимофеевичу, спросила:
— Извините, Вениамин Тимофеевич, вы сами на стройке работали?
— Как же, со стройки начинал.— Вениамин Тимофеевич оживился, поддернул сползающие с живота трусы.
— У нас обычно пикники Алла Борисовна обслуживает, секретарша Чуева,— пояснила Алевтина,— а сегодня вот меня попросили.
— Я так и подумал.
— Что подумали? — Алевтина насторожилась.
— Что вы не секретарша. Я строителя за версту узнаю. Могу даже профессию определить, если женщина на стройке не меньше пяти-семи лет отработала.
— И мою профессию определите?
— Вы сколько лет на стройке?
— Тринадцатый год.
— На физической работе?
— На физической.
— Как вам сказать... Вы не подсобница, ноги у вас стройные. У подсобниц коленки за два-три года работы уже выпирают. Вы не каменщица. У вас красивая, пропорционально сложенная фигура. Скорее всего — маляр.
— Ой,— воскликнула Алевтина,— угадали!
— Вы незамужняя...
— Почему так думаете?
— Сами говорите: у нас пикник. Пригласить красивую замужнюю женщину на пикник такой человек, как управляющий Чуев, вряд ли решится. Нюансы, знаете ли. Вы, наверное, не хотели сюда ехать?
— Не хотела.
— Уговорили?
— Уговорили.
— Наверное, квартиры не имеете?
— Не имею.— Алевтина вновь насторожилась, подобралась.
— Вам сказали, что от меня кое-что зависит, и вы согласились. Не обижайтесь, если не так — извините.
— Не обижаюсь, а удивляюсь,— тихо ответила Алевтина, внимательно посмотрев на Вениамина Тимофеевича,— все так и есть.
— Люди — всегда люди.— Вениамин Тимофеевич философски махнул рукой.— Не в этом дело. Ну, а как вам я? — вдруг игриво взбрыкнул Вениамин Тимофеевич, подтягивая василькового цвета трусы.— Какое впечатление произвожу?
— Как начальник? — уточнила вопрос Алевтина.
— Как руководителя меня распознать трудно,— возразил Вениамин Тимофеевич.— Сам себя не распознал как начальника. А вот как мужчина? — Вениамин Тимофеевич улыбнулся.
— Вы чем-то на нашего прораба похожи,— чуть-чуть резче, чем следовало бы, ответила Алевтина.— Вон он, уху варит. А как мужчина...— Алевтина на мгновение запнулась, понимая, что сейчас от ее ответа будет зависеть многое.— Не знаю... Я на вас смотрю как на Лицо, которое имеет отношение к квартирам.
— На большее мне нельзя и рассчитывать? — уже без улыбки спросил Вениамин Тимофеевич, и полные губы его обидчиво скуксились.
— Не знаю,— тихо отозвалась Алевтина,— поживем — увидим!
Она хотела подняться, но Вениамин Тимофеевич мягко придержал ее за руку.
— Как вас зовут?
— Алевтина.
— Если что-то не так сказал, Алевтина, не обижайтесь. Мы же с вами строители, люди простые.
— Простые,— согласилась Алевтина.
— Извините, меня зовут,— проговорил Вениамин Тимофеевич, кивнув в сторону

яркой оранжевой палатки, возле которой главный инженер треста Голик с парторгом Мансуровым расстилали на земле какую-то бумагу, а кряжистый волосатый Чуев, в одних плавках, приседал, вытягивая перед собой руки,— делал зарядку.— Такой вот пикник,— с улыбкой добавил Вениамин Тимофеевич.— Ваше руководство решило использовать для дела природу и еще кое-что.

— Царскую уху,— подсказала Алевтина.

— Не самый худший прием в решении наших дел,— произнес Вениамин Тимофеевич, поднимаясь.— Как вы сказали: поживем — увидим! — И с этими словами направился к палатке.

Настроение Алевтины вдруг резко упало. Она перевела взгляд на другую палатку, такую же ярко-оранжевую, стоящую в стороне от первой, ближе к реке. Возле палатки прихорашивались жены руководства — полные, грузные, в крупных жировых складках. Пожалуй, лишь жена Мансурова выделялась среди них хоть какой-то женственностью, и Алевтина принялась придирчиво рассматривать ее фигуру, сравнивать со своей. Хотя Алевтина и была представлена женам самим Чуевым, они не приняли ее. За все это время не обмолвились с ней ни словом, и даже переодевалась Алевтина не в палатке, куда ее пригласили, в в кустах.

«Ишь, топчутся, клуши,— думала Алевтина, неприязненно поглядывая в их сторону.— Вот отведают ваши муженьки царской ухи, а я халатик сброшу. Небось заквохчете, когда начнут на меня пялиться. А Лицо ваше драгоценное я сегодня уведу...»

— Камни ему гнать буду! — неожиданно и вслух объявила Алевтина. И совсем уже громко, чтобы слышали чопорные клуши, выдала: — Пора и выпить!

Алевтина подошла к костру, где возле котла, висевшего на треноге, хлопотал прораб. В пузырях кипящего бульона кувыркались тушки петухов.

— Ты, Алевтина, только не заводись,— мельком взглянув на нее, негромко поостерег прораб.— Наше дело — когда позовут, тогда и выпьем. Без команды с подмостьев не слезай.

— Шустри, шустри, Николаич! — огрызнулась Алевтина.— Куры бы у тебя не перепрели.

— Я тебе этих кур припомню. Где таких откопала? Ни духа, ни мяса,— и, озабоченно посмотрев на реку, добавил: — Только бы Смирнов с рыбой не подвел. Время ему быть.

— Какая рыба,— усомнилась Алевтина,— кожевенный, говорят, всю отравил. Даже купаться по радио запретили.

— Ну, Смирнов и в серной кислоте рыбку выловит, если надо. Вот, кажись, легок на помине...

Из-за крутого речного мыса на полной скорости вылетела «казанка». На корме сидел, держа одной рукой руль, по пояс голый, загорелый человек в белой кепке и черных зеркальных очках. Не сбавляя скорости, лодка подошла к берегу, и, лишь когда нос ее коснулся прибрежной травы, лихой водитель сбросил газ. Высокая нагонная волна подхватила лодку и вынесла ее на берег, едва ли не к самому костру.

— Николаич, принимай рыбу! — Человек выбросил из лодки увесистый мокрый рюкзак.— Алечка, и ты здесь, вот радость! — воскликнул он, узнав Алевтину.

— Не Алечка, а Алевтина Захаровна,— без улыбки поправила Алевтина. Ей был неприятен этот газетчик — нахрапистый и на редкость бесцеремонный, приятель Пузыря и сосед его по дому. Все в городе знали его, и он всех знал, частенько ошивался у них на стройке, одно время даже приударял за Алевтиной, но она дала ему решительный «поворот от ворот». Не лежала у нее душа к таким вот кобелистым мужикам, у которых и в глазах одно предложение: скорее в постель! Или в кусты.

— Рыбку чистим по-быстрому, Алевтина Захаровна! — Журналист Смирнов ничуть не обиделся на слова Алевтины. Выбрался из лодки, схватил мешок и поволок его к речной коряге, приговаривая: — Рыбку чистим, ушицу варим, водочку холодненькую пьем...

В этот момент с обрыва, от мужской палатки, раздался трубный голос Чуева:

— Захарова! Алевтина!

Алевтина поспешила на зов управляющего.

Она слегка растерялась, когда кружок сидящих на песке мужчин раздвинулся и Вениамин Тимофеевич пригласил:

— Садитесь с нами, Алевтина! Может быть, вы поможете решить вопрос.

Алевтина присела рядом с главным инженером, стараясь быть непринужденной.

— Какой вопрос?

— Вашему тресту очень богатый заказчик предложил прекрасный заказ,— проговорил Вениамин Тимофеевич.— Строить у вас под городом складские помещения союзной базы. Стройматериалам зеленую улицу дают, одного бетона будете укладывать эшелонами. Заработки у строителей повысятся, свой жилой дом построите.

— И ты в этом доме квартиру можешь получить,— неожиданно прогудел Чуев.

— В чем же дело? — Алевтина насторожилась.

— В том,— продолжал Вениамин Тимофеевич,— что в городе у вас запущен соцкультбыт и жилищное строительство. Если возьметесь за базу, город вновь года на полтора побоку. Как вы решили бы?

— Не знаю,— раздумчиво произнесла Алевтина.— Наверное, надо то строить, чего люди больше всего ждут. Чтобы по углам чужим не маяться и после работы в другой конец города в магазин не бегать.

— Ишь, какая сознательная, понимает! — раздраженно фыркнул Чуев.— А мы тут сидим и никак сообразить не можем.

— Потому не можете, Андрей Афанасьевич,— ответила Алевтина спокойно, но побледнев,— что в шкуре этих людей не бывали.

Алевтина хотела что-то еще добавить, но к горлу ее подступил вдруг ком, а глаза заволокло слезами. И, чтобы не показать мужикам свою бабью слабость, она рывком вскочила и с лихим гиком помчалась вниз к реке, на бегу сбрасывая халатик. Оттолкнувшись в прыжке от берега, взлетела высоко, как умела делать это в детстве, и торпедой вошла в воду. Вынырнула у противоположного берега и, фыркая, принялась кувыркаться возле тростника, наматывая на себя листья кувшинок.

— Отложим наш разговор, Андрей Афанасьевич,— проговорил Вениамин Тимофеевич, наблюдая за Алевтиной.— Ты меня на пикник пригласил, на царскую уху, а сам совещание устроил. И женщины ваши — смотрите — по ухе скучают.

Сказав так, Вениамин Тимофеевич поднялся, поддернул трусы и вдруг, совсем как Алевтина, понесся по песчаному откосу вниз. Подпрыгнул выше, чем она, а вот в воду вошел неудачно, с тучами брызг. Вынырнул, тряхнул головой и саженками, по грудь вырываясь из воды, поплыл в сторону Алевтины.

— Вениамин Тимофеевич, вам не надоело заседать? — спросила Алевтина, когда гость приблизился к ней.

— Надоело.

— Есть предложение.

— Слушаю.

— Вверх по реке моя деревня. На моторной лодке около часа. Давайте убежим от всех?

— Давайте,— несколько нерешительно согласился Вениамин Тимофеевич,— а как же уха?

— Господи,— вырвалось у Алевтины,— ну, мужики!

— Давайте,— теперь уже решительнее повторил Вениамин Тимофеевич, кружась вокруг Алевтины,— убегаем. Пропади она — уха!

— Я насчет лодки договорюсь, а вы Чуева предупредите.

— Прекрасно! — одобрил Вениамин Тимофеевич, все более загораясь.— Надо бы только бутылочку у них выкрасть.

— Чуеву намекните,— подсказала Алевтина,— или тому вон у костра, Пу... Анатолию Николаевичу. Это наш прораб.

— Вперед! — воскликнул Вениамин Тимофеевич, теперь уже нетерпеливо.

Как и ожидала Алевтина, журналист Смирнов понял ее с полуслова и охотно уступил свою лодку для высокого гостя. Доверительно проговорил:

— Ты, Алечка...

— Алевтина Захаровна.

— Ты, Алевтина Захаровна, в принципе знаешь, зачем здесь Пантюхов?

— В принципе — да.

— От его мнения будет зависеть многое. Или сотни людей в городе получат квартиры, школы, детские сады, или вы, строители, возведете еще одну рощу бетонных столбов. В таких рощах любят сейчас гулять богатые люди. Они уже все перепробовали: горы сносили, моря осушали, реки вспять поворачивали, каналы, никому не нужные, копали. А теперь вот мода на бетонные рощи. Хватит уже! Пора каждому человеку крышу над головой дать и хотя бы картошкой без химии его накормить. Согласна?

— Согласна.

— Помоги же своему городу, Алечка! — воскликнул журналист не то всерьез, не то дурачась.— Будь нашей русской Пышкой! Плыви на подвиг, я не ревную,— с этими словами журналист Смирнов принялся стаскивать лодку на воду.

У Алевтины вертелось на языке крепкое словцо для журналиста, однако она сдержалась. Не совсем ясно ей было, какую пышку он упомянул, что-то такое слышала... А впрочем, пускай себе чешут языки. Ее дело холостое.

Вениамин Тимофеевич уже сидел в лодке и опробовал мотор, когда Алевтину окликнул Чуев.

— Вот что, Захарова,— Чуев понизил голос до тихого,— я тебе про квартиру не зря сказал. Если уговоришь Пантюхова на строительство базы, через полгода будешь с квартирой. Обещаю. Партийное слово даю. А за город пускай у тебя голова не болит. Для города другие головы имеются, которые тоже зарплату получают. Подумай о моих словах, Захарова, и помоги,— заключил Чуев.

Вениамин Тимофеевич так спешил с отплытием, что едва не забыл на берегу свои вещи. Они уже сидели в лодке, когда он спохватился. Алевтина крикнула:

— Анатолий Николаевич! Принеси-ка сюда вещички,— и, выдержав паузу, добавила: — Пожалуйста!

— Да, пожалуйста, Анатолий Николаевич,— подтвердил Вениамин Тимофеевич,— если вас не затруднит.

— Один момент,— отозвался Пузырь, бросив на Алевтину косой взгляд.

Передавая гостю вещи, Пузырь шепнул:

— Квартиру зарабатываешь...

— Штаны-то Вениамина Тимофеевича не потерял? — так же тихо отозвалась Алевтина.

— Смотри, свои не потеряй,— буркнул Пузырь, отталкивая лодку.

Вениамин Тимофеевич с одного рывка завел мотор и на малом газу двинул лодку по середине реки.

— Резко газа не давайте! — крикнул им вслед журналист.— Не газуйте резко; захлебнется!

— Вениамин Тимофеевич, а вы смелый человек,— проговорила Алевтина.— На глазах у всех, даже «газеты», увозите нестарую еще женщину.

— А... Где наша не пропадала! — Вениамин Тимофеевич поправил очки и поддал газа.

Оранжевые палатки и люди на берегу стали удаляться.

— Полный вперед! — скомандовала Алевтина.

ГЛАВА 6

«Человек человеку друг, товарищ и брат».
(Из морального кодекса строителя коммунизма)

«Человек от лени болеет, от труда здоровеет».
(Советская пословица)

«Чужую пашенку пахать — семена терять».
(Русская пословица)

* * *

Над головой журналиста Смирнова потускнело солнце. С одной стороны наседала неугомонная жена-оптимистка, все еще не теряющая надежды сделать из него добропорядочного семьянина, читающего по вечерам в кругу семьи Карамзина и помогающего ей раскручивать вязанье, с другой — наседали кредиторы, с третьей... С этой-то третьей стороны Роман Александрович менее всего ожидал тучи. Не было в его многолетней журналистской практике случая, чтобы подкузьмил его какой-то бригадир пилорамы, деревенский валенок...

Тот рабочий день начался для заведующего отделом писем с вызова к редактору.

— Так сказать, Роман Александрович, черт знает что такое творится в «Заре коммунизма»,— проговорил редактор, пожимая коллеге руку.— Еще неделю назад звонили мне из совхоза и предупреждали: может произойти ЧП. На пилораме центральной совхозной усадьбы лежит на земле оголенный провод под напряжением. Ни у кого не доходят руки, так сказать, заизолировать. Я в тот же день связался с руководством хозяйства, и меня заверили, что примут меры, так сказать. И вот только что позвонил некто дачник из Ленинграда — его ударило током.

— В «Энерго» пускай звонят, а не в редакцию,— возразил Роман Александрович,— у нас своих дел невпроворот.

— Так сказать, говорят, обращались всюду, куда можно. Все валят на бригадира пилорамы, голый провод — его забота. А бригадир тот, так сказать, не просыхает и в резиновых сапогах.

— Какая безответственность,— проговорил Роман Александрович.— Выходит, они там пьянствуют в рабочее время? — добавил он с некоторой заинтересованностью.

— По всем признакам — да, так сказать. Я попросил бы, Роман Александрович, выкроить до обеда время и уточнить на месте. Люди, так сказать, в опасности, и редакцию просили помочь.

— Да, похоже, что вопрос безотлагательный,— согласился журналист Смирнов,— придется перестраивать день.

— Постарайтесь к завтрашнему утру сделать острую обличительную заметку или корреспонденцию строк на сто — сто пятьдесят. Поставим ее в номер незамедлительно, так сказать.

Через полчаса редакционная «Волга» бежевого цвета с неброской надписью на дверцах «Пресса» уже мчалась в совхоз «Заря коммунизма». На заднем сиденье машины расположился молодой и тучный фотокорреспондент Толя. В редакции он славился тем, что ему можно было доверять самые сокровенные тайны, умел держать язык за зубами. За рулем сидел Толя-шофер — немолодой, желчный и болтливый. Рядом с ним полулежал журналист Смирнов. Прикрыв глаза, Роман Александрович блаженно высовывал руку в приоткрытое боковое окно и ловил ладонью, перемазанной чернилами, теплый тугой ветер.

— Надолго в «Зарю», Рома? — спросил Толя-шофер, поигрывая баранкой. На шофера находило иногда вольное настроение, и он позволял себе панибратский тон с сотрудниками редакции, переходил с ними на «ты».

— По обстановке,— неопределенно отозвался журналист,— там видно будет.

— Понятно,— шофер оглянулся и подмигнул Толе-фотокорреспонденту,— как говорится, все зависит от того, сколько удастся зачерпнуть интересного...— на последних двух словах Толя-шофер сделал явный нажим.

Роман Александрович, хотя и полулежал с закрытыми глазами, успел из-под ресниц перехватить взгляд шофера, который тот бросил фотокорреспонденту, и он его чем-то задел.

— Как, Толя, живешь с молодой женой? — спросил журналист, продолжая ловить ладонью ветер.

— Слава Богу, живем-можем! — игриво отозвался шофер.— Как говорится, не успеваем наживлять.

— Это хорошо...— рассеянно протянул Роман Александрович,— а я недавно старую твою встретил, Васильевну...

— Ну? — насторожился Толя-шофер.

— Все о тебе рассказывала. Весь дом, говорит, подчистую выгреб и в новую нору уволок.

— Свое взял.— Толя-шофер нахмурился.— Каждая вещь моими руками заработана, она копейки в дом за двадцать лет не принесла. А что дом ей свой оставил, не рассказывала?

— Просила меня статью о тебе написать,— продолжал Роман Александрович, не открывая глаз.— Бог с ним, говорит, с барахлом, а вот зачем он дочкины ботинки с коньками забрал? Жену молодую, наверное, фигурным танцам обучать...

— Насчет коньков надо еще доказать.— Толя-шофер нервно фыркнул.— Она готова теперь на меня все валить.

— У нее свидетели есть,— словно бы нехотя возразил журналист и раздумчиво добавил: — Хорошее название для очерка: «Дочкины коньки». И, главное, черпать ничего больше не надо, одну эту деталь обыгрывай.— На слове «черпать» Роман Александрович сделал небольшой, но строгий упор.

Толя-шофер заметил, видимо, эту строгость в тоне журналиста и промолчал, возбужденно поигрывая желваками скул. А Роман Александрович забросил руки за голову и, потянувшись всем телом, доверительно проговорил, обращаясь теперь уже к фотокорреспонденту:

— Если я от жены уйду или она меня из дома выпрет, один этот костюм с собой возьму. Другого нет.

На всем дальнейшем пути до совхоза Толя-шофер обидчиво молчал и ничем не напоминал недавнего насмешника-зубоскала. Лишь на подъезде к «Заре коммунизма» сдержанно спросил:

— Сейчас сворачивать, Роман Александрович, или вдоль озера поедем?

— Давай к озеру,— решил журналист.— Искупаемся и пару часиков позагораем. Дело к обеду — ни то ни се...

— Может, провод вначале посмотреть? — подал голос фотокорреспондент.

— Дачника током стукнуло — жив-здоров! — возразил Роман Александрович.— Выходит, напряжение терпимое. После обеда и начнем работу.— И с неожиданной грустью в голосе спросил: — Много ли осталось нам еще солнечных дней?

Журналист Смирнов блестяще выполнил рядовое для себя задание. Критический материал с пилорамы совхоза «Заря коммунизма», который появился в газете за его подписью, построен был в форме интервью с потерпевшим дачником и отличался присущим Роману Александровичу динамизмом и саркастической остротой. Тут же была помещена и фотография пресловутого бригадира в полный рост — мордастый, ухмыляющийся, в резиновых сапогах и явно нетрезвый.

На следующий день бригадир этот появился в редакции. Он был трезв, чисто выбрит и возмущен.

— Хрен знает что такое! — громогласным хриплым басом и нимало не смущаясь редакционных глаз, заявил он.— Выходит, вам все дозволено?! Честного человека через газету с фотографией позорите? И кто?! Где он?! А... Это ты, Рома...

— Попрошу не «тыкать»,— строго осек развязного посетителя Роман Александрович,— иначе вызовем милицию и составим акт.

— Акт? А у меня вот — свой акт на тебя! — Розовощекий бригадир запустил руку за пазуху и вытащил сложенный бумажный лист.— Здесь все — черным по белому!

Разбуженная непривычным голосом, редакция захлопала дверьми. Из комнат выходили сотрудники, слушали посетителя, смотрели на него. Вышел из своего кабинета и редактор.

— Так сказать, в чем дело, товарищ? — спросил он розовощекого.— Кто вы?

— Вот,— посетитель ткнул в лицо редактора бумажку,— Столыпин я, бригадир пилорамы из «Зари». Требую опроаержения!

Редактор внимательно прочитал протянутую ему бумагу и с некоторой растерянностью повернулся к журналисту Смирнову. Проговорил:

— Так сказать, Роман Александрович, как же так? Это акт, что провод на пилораме заизолирован еще неделю назад. И подписи свидетелей — агронома и главного зоотехника...

— У вас все? — не отвечая редактору, спросил журналист Смирнов бригадира.— Тогда позвольте вам, товарищ Столыпин, закрыть дверь редакции с той стороны. У меня нет желания общаться с вами.

— А как же акт? — забеспокоился редактор.— Роман Александрович?

— Лев Юрьевич, вы знаете мой стиль работы,— с достоинством отозвался журналист Смирнов.— Меня потому и публикует областная печать и даже союзная, что каждое свое печатное слово я подкрепляю документально, за каждое готов нести партийную ответственность. Но я не намерен выслушивать похмельный бред этого пьянчуги, который своей расхлябанностью подвергает опасности человеческие жизни. Не мешайте мне, пожалуйста, работать! — С этими словами журналист Смирнов углубился в бумаги.

— Нет, Рома, ты того...— на щекастой физиономии бригадира проступила некоторая растерянность,— видал я кряжей, но такого... Но я тебе еще затуплю пилы, нарвешься на осколочек! Да вы спросите его,— бригадир указал рукой на Толю-фотокорреспондента, выглядыаающего из своей фотобудки,— кто рядом со мной на фотографии-то был? Ведь он нас двоих фотографировал! А потом, значит, своего отрезали, а меня в газете напечатали. Про то не написали, как этот рыжий три бутылки портвейна у меня выжрал и агроному нашу огулял. Ну ладно, попомните еще меня! До ЦК дойду, а опровержение дадите! Сейчас иду в суд. Это вам не что-нибудь, а документ! — И разгневанный посетитель потряс перед бородой редактора своим актом-бумагой.

— Так сказать, Ромвн Александрович...— редактор удивленно смотрел на журналиста,— зачем же в суд? Так сказать, самим можно разобраться...

— Как мы все боимся суда,— проговорил Роман Александрович со вздохом и отодвинул от себя бумаги. Оглядел притихших сотрудников газеты, продолжил: — Приходит какой-то прощелыга, приносит липовый акт, и вот уже все готовы верить ему, а не своему товарищу. Что-то выпил, кого-то огулял — какая пошлость! Я не знаком с юриспруденцией, но, будучи следователем, обязательно спросил бы вас, граждвнин Столыпин: как фамилия агронома — той, с которой вы связываете мое имя? Отвечайте!

— Ленка Струева, вся деревня может подтвердить про тебя.

— Так, Струева... Тогда, будь я следователем, задал бы второй вопрос: как фамилия того агронома, который подписал ваш липовый акт? Ага, вы, кажется, смущены, гражданин Столыпин? Наверное, вы, Лев Юрьевич, помните фамилию, которую только что прочитали на фиктивном акте: Струева! Таким образом меня — обличителя вертепа, в который превращена бригадиром Столыпиным совхозная пилорама, обвиняют в интимной связи с одной из покровительниц этого вертепа, имя которой упоминается в моем критическом газетном материале. Не странно ли, товарищи народные заседатели? Повторяю, я не знаток юриспруденции, но я мог бы продолжить вопросы гражданину Столыпину.

— Так сказать, действительно, товарищ Столыпин, необходимо разобраться,— голос редактора Морозова окреп,— здесь много неясного, так сказать...

— Все ясно, как божий день! — возразил журналист Смирнов.— Вот, наш фотокорреспондент и шофер могут подтвердить: на их глазах бригадир Столыпин знакомил меня с агрономом Струевой. Так, Толя?

— Так,— отозвался фотокорреспондент и исчез в фотобудке.

— Таким образом, получается,— продолжал Роман Александрович с возрастающим негодованием,— что я за вечер пребывания в «Заре коммунизма» сумел выпить три бутылки дармового портвейна, огулять, как выразился бригадир, специалиста хозяйства агронома Струеву и к утру сдать вам, Лев Юрьевич, неплохой репортаж? Не слишком ли, товарищи народные заседатели?! И что это за специалисты в хозяйстве, которых можно «огулять» после первого же знакомства? И что это за бригадир пилорамы, который поит корреспондента портвейном и за какие такие красивые глаза? И на какие деньги? На свои? Тогда это хозяйство должно называаться не «Заря коммунизма», а «Блага коммунизма». Но чтобы ни у кого не оставалось сомнений...— Роман Александрович отодвинул ящик своего письменного стола, достал какой-то фотоснимок.— Вот! Я повторяю ввм: каждое свое печатное слово подкрепляю документом! — И журналист Смирнов слегка театрально бросил фотоснимок перед собой на стол.— Смотрите!

На снимке изображена была совхозная пилорама. На фоне ее стояли два человека, в которых быстро признали специалистов районного отделения «Сельхозтехники». Под специалистами подпись: «Свидетели». Ближе к объективу расположился редакционный Толя-шофер. Он сидел на корточках перед злополучным оголенным проводом и держал в руках переноску, подключенную к этому самому проводу. Под переноской надпись: «Лампочка горит». На переднем же плане изображена была крупная и строгая физиономия журналиста Смирнова. Одной рукой Роман Александрович держал листок отрывного календаря, перстом другой указывал на него. На листке календаря легко просматривалось позавчерашнее число. Обличительный фотодокумент не оставлял никаких сомнений...

Редакция возбужденно гудела, и даже сдержанный на похвалу редактор не выдержал и воскликнул:

— Так сказать, прекрасная работа! А где же, так сказать, товарищ Столыпин?

Но, увы, бригадира Столыпина простыл и след. Пользуясь всеобщей сумятицей возле стола журналиста, он постыдно бежал, признав тем самым свою клевету на талантливое журналистское имя.

Да, то был триумф журналиста Смирнова! Ради таких вот минут и тянул он годами нелегкую лямку газетчика, перебивался скудными гонорарными заначками, отвергал заманчивые предложения должностей с солидными окладами вне стен редакции. Только он сам да, пожалуй, жена знали, сколько труда и бессонных ночей стоили ему те блистательные материалы, что появлялись порой в областной и союзной прессе. В редакции Роман Александрович создавал и поддерживал мнение, что написать проблемный очерк для него так же легко и просто, как обмочить два пальца. На самом же деле то был каторжный труд, скрытый от сторонних взглядов. В молодости Роман Александрович жил в городе Сланцы, работал в шахте — выдавал на-гора горючий камень. И теперь он часто сравнивал труд шахтера с трудом газетчика. Если бы не извечное людское стремление быть первым среди себе подобных, он давно плюнул бы на свою работу, которая обеспечивает и серым газетным поденщикам, и творческим индивидуальностям одинаково нищенское существование.

После инцидента в редакции и бесславного бегства бригадира Столыпина журналист Смирнов пытался работать так, как будто ничего не произошло. Сидел за столом напротив «партийного отдела», писал что-то, звонил на предприятия и стройки — добывал информацию для ежедневной «Вереницы новостей Перестройки», новой газетной рубрики. Ольга Евстратовна с невольным почтением посматривала на коллегу и как-то не решалась заговорить с ним. Шутливый тон был сейчас неуместен, а повода для серьезной беседы не находилось. Роман Александрович же лишь внешне оставался спокойным, внутри его бушевали страсти и требовали выхода, требовали общения...

В тот момент, когда журналист Смирнов готов был подняться из-за стола, зазвонил его телефон.

— Слушаю,— проговорил Роман Александрович,— редакция, Смирнов.

— Рома, это я, Федор. Ну, Столыпин из «Зари».

— Слушаю вас.— Роман Александрович прикрыл трубку ладонью.

— Умеешь работать, Рома...

— Стараемся не есть даром хлеб,— все тем же ровным голосом отозвался журналист.

— А даром выпить хочешь? — без обиняков спросил бригадир.— Предлагаю отметить мировую. Черт с тобой, твоя взяла! Мне сейчас...

— Когда и где? — деловито перебил Роман Александрович.

— Поехали к нам на пилораму, там все на мази. И Ленка Струева обещала. Я с мотоциклом у вокзала, подгребай. Жду.

— Консультация? — громко произнес Роман Александрович.— Хорошо. Буду через пятнадцать минут.

Журналист повесил трубку и, обращаясь к Ольге Евстратовне, пояснил:

— Звонили из КГБ, им нужна какая-то консультация. Если меня спросит Лев Юрьевич — я в «смешном доме».

Ольга Евстратовна не первый год работала бок о бок со Смирновым и потому к любому слову этого в общем-то неординарного человека относилась с понятной долей сомнения. Тем не менее всякий раз он поражал ее своей буйной фантазией и поистине мужской решительностью даже в мелочах. Она никогда не решилась бы, к примеру, вот так непринужденно: «Я в „смешном доме"». Ну, сказала бы, что пошла на «трикотажку», или на мясокомбинат, или еще куда, только не в «смешной дом» — как звали в городе небольшое двухэтажное здание с несуразными круглыми окнами с непрозрачными зелеными стеклами, высоким каменным крыльцом, на котором висел железный ящик с надписью: «Для писем и заявлений трудящихся». Она-то знала, что их пугливый мямля-редактор никогда не позвонит в этот дом по своей инициативе, если сотрудник и исчезнет из редакции на целый день.

— Боже мой, на дворе Перестройка, а кто нами руководит?! — воскликнула вдруг, и достаточно громко, Ольга Евстратовна, и полное лицо ее пошло красными гневными пятнами.— Доколе будем терпеть?!

В последние дни Лев Юрьевич раздражал ее все больше своей медлительностью, нерешительностью, неумением двух слов связать без «так сказать» и «надо, товарищи, посоветоваться». Но что прямо-таки бесило Ольгу Евстратовну, так это неуемная тяга редактора к поэзии. Она и себе не могла толком объяснить, отчего у нее такое неприятие поэзии Льва Юрьевича. Стихи были не хуже и не лучше других, которые появлялись изредка в газете. Поначалу редактор скрывал от коллег свое увлечение, подписываясь Олегом Боголюбовым. Но однажды бухгалтер проговорилась Ольге Евстратовне, что Лев Юрьевич и Олег Боголюбов одно и то же лицо. Ольга Евстратовна тут же проверила гонорарную разметку номеров и ужаснулась: за свой куцый двадцатистрочный стишок редактор начислил себе столько же, сколько ей за подвал — отчет с партийного собрания молочного завода. Тогда-то Ольга Евстратовна и закатила в редакции небывалый скандал, обвиняя редактора в том, что он просто-напросто обкрадывает своих коллег, прячась вдобавок под псевдонимом Боголюбов.

Напрасно Лев Юрьевич бормотал в ответ, что свои стихи он дает в газете не чаще одного раза в месяц, что они, так сказать, требуют большего умственного напряжения и прочей творческой энергии и потому, мол, достойны более высокой гонорарной оценки, нежели строчки повседневной газетной прозы. Ольга Евстратовна резонно возражала, что свою партийную прозу она ценит значительно выше беспартийной поэзии псевдонимца, и потребовала создания конфликтной комиссии. Ее поддержал заведующий отделом писем. Роман Александрович решительно заявил, что ежели такое дело, то отныне все свои газетные публикации будет давать в стихах. На следующий день он действительно принес репортаж о заготовке силоса, выполненный в стихотворной форме, который повеселил редакцию и как-то снял возникшее напряжение. Однако Ольге Евстратовне потребовалось потом не менее года ожесточенных схваток с Львом Юрьевичем, прежде чем тот снизил гонорарную оценку своих стихотворных строк до уровня ее прозаических.

Хотя Ольга Евстратовна и была довольна победой, однако понимала: так больше работать нельзя. Не мытьем, так катаньем Лев Юрьевич испортит ей нервную систему, и тогда не нужны будут никакие гонорары. В свое время она училась с Левой (как за глаза звала редактора) в Высшей партийной школе в Ленинграде и хорошо знала, насколько это трудный, скрыто-настырный и неуживчивый с людьми человек. А когда впервые услышала, что Леву Морозова прочат им в редакторы, она просто-напросто расхохоталась. Когда же это свершилось, всерьез подумывала подать заявление об уходе, но потом решила, что более трех месяцев Лева в редакторском кресле не усидит, в крайнем случае, продержится полгода. Но жизнь еще раз подтвердила ее мысль о том, что тащить воз гораздо труднее, нежели сидеть на возу с вожжами. Год мелькает за годом, Лев Юрьевич хотя и скрипит в кресле, но сидит и даже едет. Газета выглядит в целом неплохо, на Всесоюзном конкурсе ее отметили поощрительным дипломом, но кто ее делает? Кто тащит газетный воз? Она со Смирновым!

«Почему бы в самом деле не стать Смирнову редактором? — в который раз подумала Ольга Евстратовна.— По крайней мере, это прирожденный журналист с настоящим мужским характером. Конечно же, у него имеются переборы во многом, но у кого их нет?»

Ольга Евстратовна не могла, естественно, не примерить и себя к редакторскому креслу. На эту тему у нее думано-передумано, но, увы, дорога ложка к обеду. К чему ей, одинокой женщине, лишние хлопоты? Скоро пятьдесят, и тянуть одной редакционное хозяйство значит попросту не дорожить остатками своего здоровья. И ради чего? Престижа? Лишних двадцати рублей? Да тьфу на них! И вряд ли горкомовские мужики согласятся доверить газету ей, женщине. В этих вопросах мужская солидарность действует у них безотказно. А вот место заместителя редактора ее вполне бы устроило. С него можно и на пенсию уйти...

«Пора начинать борьбу,— мысленно произнесла Ольга Евстратовна,— под лежачий камень и вода не течет! Иначе нами всегда будут руководить ничтожества. И никакая перестройка нам не поможет. В других редакциях давно борьба, созданы оппозиционные группы руководству, а у нас какое-то застойное болото».

Поразмышляв еще, Ольга Евстратовна окончательно решила, что, да, Смирнов ее вполне устроит. Будучи его замом, она практически могла бы влиять на все редакционные дела. Но для этого необходимо сплотиться оппозиции, чтобы столкнуть с кресла Леву Морозова и выпихнуть на пенсию его зама — старого гриба Ольшанского.

Увы, как известно: человек предполагает, а Бог располагает. Именно в тот день, когда Ольга Евстратовна окончательно решила сделать ставку на Смирнова, редакцию потрясло известие, которое вечером принял по телефону из совхоза «Заря коммунизма» Лев Юрьевич: сотрудник редакции Смирнов Роман Александрович в невменяемо-пьяном состоянии отправлен с местной совхозной пилорамы в городской вытрезвитель. О происшествии на пилораме составлен акт. О случившемся уведомлены телеграммами городской комитет

партии, горисполком и областная газета «Ленинградская правда». На вопрос редактора: «Кто говорит?» — в ответ прозвучало: «Совхозный агроном Елена Струева».

Вытрезвитель для журналиста в разгар антиалкогольной кампании означает, по сути дела, конец его служебной карьеры. Ольга Евстратовна прекрасно понимала это. Узнав о трагедии Смирнова, она грустно проговорила: «На всякого мудреца довольно простоты»,— и глубоко вздохнула. Очередная пассия Романа Александровича рушила все ее планы.

ГЛАВА 7

«Посланник Великокняжеский, Димитрий, будучи в Риме и беседуя с Павлом Иовием о нравах своего отечества, сказывал ему... что нигде не имеют такого священного уважения к храмам, как у нас; что муж и жена, вкусив удовольствие законной любви, не дерзают войти в церковь и слушают обедню, стоя на паперти; что молодые, не скромные люди, видя их там, угадывают причину и своими насмешками заставляют женщин краснеться...»

(Н. М. Карамзин. «История государства Российского»)

«Появился новый тип проституток — кооперативные».

(Из печати)

«Были времена — не знали полотна, годы настали — шелка носить стали».

(Советская пословица)

«Добрые люди дня песнями не начинают».

(Русская пословица)

* * *

Каждый вечер, засыпая, Алевтина вспоминала поездку в деревню с Вениамином Тимофеевичем. Прокручивая ее в памяти, она в общем-то была довольна собой. Единственное, о чем она иногда сожалела, что слишком увлеклась...

Вениамин Тимофеевич забыл тогда совет журналиста Смирнова и переборщил с газом. Спустя четверть часа, как скрылись с глаз оранжевые палатки, у них заглох мотор. Они вылезли на берег и уселись на оголенные, отполированные водой и ветром корни коренастых приземистых сосен.

— Вы не очень жалеете, что мы уехали? — спросила Алевтина.— Как-никак, уха из деревенских петухов, царская. Я такую не пробовала никогда.

— Не очень,— отозвался Вениамин Тимофеевич, доставая из-за уха сигарету и откровенно любуясь Алевтиной.— Разве можно предпочитать уху общению с красивой женщиной...

— Вы много курите,— продолжала Алевтина,— так нельзя.

— Ничего не могу с собой поделать. Не хватает характера.

— Я могу помочь вам.

— Вряд ли...

— Моя бабушка и прабабушка были знахарками. К ним в деревню из дальних мест приезжали. Они травами лечили от многих болезней и заговоры делали.

— Да, раньше среди стариков встречались знатоки народной медицины,— согласился Вениамин Тимофеевич.— А я чего только не перепробовал. Недавно болгарский «табакс» глотал больше месяца, и никакого результата.

— Я отохочу вас курить за одну минуту. Правда, пока лишь на один день. Сегодняшний. Хотите?

— Что-то не верится,— усмехнулся Вениамин Тимофеевич, не сводя с Алевтины медвежьих пуговок и разминая пальцами сигарету.

— Но вы должны выполнить мое условие. Самое простое,— добавила Алевтина, видя, что Вениамин Тимофеевич колеблется.

— Хорошо. Какое же?

— Делать все, как я скажу, и не хитрить.

— И это все?

— Да.

— Согласен.

Алевтина поднялась с соснового корня и на цыпочках, грациозно раскинув в стороны руки (повсюду сосновые шишки), приблизилась к Вениамину Тимофеевичу. Взмахом

головы забросила густые соломенные волосы за плечи, присела перед мужчиной на корточки, отчего ее длинные и не очень полные бедра могуче и рельефно взбугрились, как на скульптурах сидящих индийских богинь.

Вениамин Тимофеевич, забыв про сигарету, поправил очки.

— Я вам нравлюсь? — просто, без жеманства, спросила Алевтина.

— Очень,— признался Вениамин Тимофеевич.

— Давайте с вами на «ты»,— предложила Алевтина,— вы не намного старше меня.

— Что вы... что ты,— поправился Вениамин Тимофеевич,— я уже старик, скоро на пятый десяток перевалит. А ты в расцвете.

— От каких еще привычек и недугов ты хочешь избавиться? — спросила Алевтина, продолжая сидеть перед Вениамином Тимофеевичем на корточках.— Только, как договорились.

— Камни в почках,— вздохнул Вениамин Тимофеевич.— Проклятая напасть, которая меня замучила.

— Сердце у тебя крепкое?

— Пока не жалуюсь.

— Постараюсь тебе помочь. Только уговор: сегодня я для тебя знахарка, иначе у нас ничего не получится.

— Чего не получится?

— Толку от моего лечения.

— Почему?

— Потому что постоянно находишься в напряжении, глядя на меня. Измотаешься, вернешься домой разбитым, а вспоминая, будешь морщиться.

— Вот как,— слегка смутившись, проговорил Вениамин Тимофеевич,— значит, мне...

— Всего-то отказаться от своего желания,— подсказала Алевтина.— Понятно?

— Не совсем,— Вениамин Тимофеевич неловко улыбался.— Запрет навсегда?

— Пока на сегодня,— Алевтина уставилась в медвежьи пуговки гостя,— но условие обязательное. Иначе нам лучше вернуться.

— Подчиняюсь,— поспешно согласился Вениамин Тимофеевич,— но оставлю себе надежду на будущее?

— Оставь. Мы с тобой живые люди, и, что станет с нами завтра, знает один Бог.

— Это верно.— Вениамин Тимофеевич вздохнул и вытащил из карманчика плавок крошечный пистолетик-зажигалку.

— Курить бросаем.— Алевтина выщипнула из его пальцев сигарету, придвинулась к Вениамину Тимофеевичу, ровным голосом приказала: — Смотри мне в глаза и делай все, что я скажу.

— Слушаюсь.

— Подними мне лифчик.

— Как?..

— Подними лифчик и освободи мне грудь,— все тем же голосом повторила Алевтина,— и в глаза, в глаза, не отводи!

Вениамин Тимофеевич стушевался, побагровел, однако ж принялся неумело высвобождать Алевтинину грудь из купального прикрытия. Высвободил наконец и вдруг облапил Алевтину за плечи, как медведь, потянулся толстыми обидчивыми губами к ее соску.

— Веня! — строго осадила его Алевтина.

Вениамин Тимофеевич кое-как отлип от Алевтины, поправил очки и, все еще огненно-багровый, предложил:

— Может быть, по рюмочке пропустим?

— Положи пальцы вот так,— Алевтина наложила толстые, как сардельки, указательные пальцы Вениамина Тимофеевича на свои соски.— Надавливай и повторяй за мной: я не буду сегодня курить. Я не хочу курить...

— Не хочу курить,— пробормотал Вениамин Тимофеевич, вдавливая крупные, темно-вишневые соски в крепкую, молочно-белую женскую грудь. Соски набухали, упруго сопротивлялись его пальцам, выскакивали из-под них.

— Я не хочу курить. Я не буду сегодня курить,— повторяла Алевтина, вонзившись взглядом в глаза Вениамина Тимофеевича.

— Не буду курить,— мычал он в ответ, не поддаваясь Алевтининому гипнозу, и норовил поймать ее соски не только пальцами, но и ладошками.

— Теперь ложись поудобнее, вот так...— Алевтина уложила голову Вениамина Тимофеевича к себе на колени, приказала: — Расслабься полностью, выбрось все мысли из головы. Еще, еще... Сейчас я сделаю тебе массаж головы. Меня учила прабабка,— и принялась мелко-мелко пощипывать седеющие уже виски Вениамина Тимофеевича, плавными, сильными движениями ребер ладоней вниз, вдоль ушей, отгонять от его затылка кровь.

Вениамин Тимофеевич лежал недвижимо, закрыв глаза, и лицо его, еще минуту назад багровое, теперь осунулось, побелело, покрылось мелкими каплями пота.

— Господи, мужики! — шептала Алевтина, массируя голову Вениамина Тимофеевича.— Что вы над собой вытворяете?! Ты же молодой мужик, а нервы у тебя, как на шарнирах...

Второй выход на берег они сделали уже неподалеку от теткиной деревни.

— Видишь ту косу? — спросила Алевтина, указывая рукой на светлую песчаную отмель.— Там на горе была моя деревня. Качинка. Давай пристанем. Мы любили с девчонками здесь купаться.

— Только с девчонками? — спросил Вениамин Тимофеевич и вдруг хихикнул. Хотел еще что-то добавить, но Алевтина резко осекла его взглядом.

Вениамин Тимофеевич стушевался, снял очки и, сбросив газ, развернул «казанку» к берегу. Помогая Алевтине выбраться из лодки, виновато проговорил:

— Извини за пошлый юмор. Никак не могу к тебе приноровиться.

— Ну что ты,— успокоила его Алевтина, спрыгивая на землю,— мы с тобой строители! У нас все просто, как в типовых проектах.

— Значит, здесь прошло твое детство? — переспросил Вениамин Тимофеевич, усаживаясь на раскаленный песок, и лирично покрутил головой по сторонам, оглядывая безлюдные речные берега, заросшие густым ивняком и корявой черной ольхой.

— Прошло,— негромко отозвалась Алевтина, сев рядом с ним.

Вениамин Тимофеевич откинулся на песок спиной, разбросал руки-ноги в стороны и с блаженным вздохом: «хорошо-то как!» принялся следить за парящей в небе птицей. Спросил:

— Кто это?

— Коршун.

— А...— и, скосив под стеклами очков глаза на Алевтину, с усмешкой поинтересовался: — Я тебе, наверное, тоже коршуна напоминаю?

— Нет,— возразила Алевтина,— скорее, инкубаторского петуха.

Вениамин Тимофеевич вдруг высоко задрал сухие волосатые ноги и, крутанувшись, уложил голову на бедра Алевтины. Вытянув губы, чмокнул ее в пупок.

— Хочешь посмотреть мою деревню? — спросила Алевтина, поглаживая широкий влажный лоб Вениамина Тимофеевича своей жесткой ладонью.— Вверх по тропинке метров триста.

— Хочу,— промычал Вениамин Тимофеевич и закатал губами.

Алевтина приподняла его голову со своих колен и вскочила на ноги. Посоветовала:

— Ботинки надень. А то гад цапнет.

Минут пятнадцать карабкались они по крутому склону, продираясь сквозь заросли кустарника и жесткой сухой травы,— Алевтина, к досаде своей, не смогла отыскать тропинку. Наконец, потные, обсыпанные корой и листьями, в тучах слепней, мух и комаров, выбрались наверх.

— Моя деревня,— тихо проговорила Алевтина.

Ни одного дома, сарая или хотя бы каменной клети не сохранилось от Качинки. Исчезла деревня, ушла в землю, остались лишь бугры фундаментов, заросшие крапивой и розовым иван-чаем. Только в одном месте торчала из травы рухнувшая крыша с клочьями уцелевшей соломы на жердях. Казалось, зеленые волны захлестывают последний тонущий корабль...

За спиной Алевтины тяжело дышал и с остервенением чесался Вениамин Тимофеевич, вскрикивая от укусов слепней, звучно обшлепывал себя ладонями.

— Иди за мной, а то провалишься в колодец,— проговорила Алевтина не оглядываясь и двинулась по зарослям — некогда деревенской улице.

Давно не бывала она в своей деревне и уже с трудом припоминала, чья крыша торчит из травы? Кажется, дяди Яши Тюнина? А может, Матрены Андроновой, двоюродной мамкиной сестры? Вот здесь, в колючем сторожевом татарнике, должен быть колодец, там — погреб. А вот и ее дом... Словно застывший травяной взрыв поднялся из земли, и над ним — кровавая сыпь ягод бузины, розовый огонь иван-чая — любителя гарей и пустырей...

— Аля, бежим назад,— взмолился Вениамин Тимофеевич, суча ногами и подпрыгивая,— не могу терпеть, зажрали, проклятые!..

У реки гулял ветерок, и Вениамин Тимофеевич, выбравшись из парных береговых зарослей, с разбега бултыхнулся в воду. Пока он нырял и фыркал, Алевтина сидела на берегу и, подобрав колени к подбородку, наблюдала за пловцом. Встреча с умершей Качинкой испортила ее хороший настрой, и теперь Алевтина решала, не улучшить ли настроение, откупорив бутылку коньяка, как уже и предлагал Вениамин Тимофеевич. Но тогда — она прекрасно понимала это — все изменится в ее взаимоотношениях с ленинградским Лицом и пойдет не так, как наметила она. В последнее время после выпивки настроение ее резко менялось, и Алевтина опасалась за свой язычок, свою несдержанность.

Несколько раз Вениамин Тимофеевич кричал ей что-то, махал рукой, приглашая последовать его примеру, но Алевтина по-прежнему сидела молча и недвижимо, на призы-

вы пловца и укусы громадных, как осы, слепней не реагировали. Муторно было на душе, мама вспомнилась, бабушка, о Насте душа заныла...

Вениамин Тимофеевич, освеженный, взбодренный купанием, вылез из воды и по-спортивному — вперед на вытянутые руки — упал рядом с Алевтиной на песок. Воскликнул:

— Хорошо-то как! Красотища какая! Спасибо, Аля, что увела меня от компании.

— Курить не тянет? — вяло спросила Алевтина.

— Ты просто колдунья! — Вениамин Тимофеевич подполз к Алевтине вплотную и, словно бы ненароком, обронил ладонь на ее колено.— Думать забыл про сигареты. Мне так хорошо с тобой, Аля, так легко. Давай по рюмашке?

— Нет,— возразила Алевтина,— до бани нельзя. Ты держишься все еще напряженно. Не поджимай живота и не ходи вокруг меня петухом, ведь мы договорились.

— Инкубаторским петухом,— напомнил Вениамин Тимофеевич, стараясь за улыбкой скрыть смущение.

— Надо, чтобы ты полностью размяк,— продолжала Алевтина,— но не от рюмочки. Расстегни мне лифчик,— неожиданно добавила она, поворачиваясь к Вениамину Тимофеевичу спиной.

Сняв лифчик, Алевтина поднялась, легко сбросила плавки купальника и предстала перед слегка растерянным ленинградским гостем в одеянии Евы.

— Аля,— пробормотал Вениамин Тимофеевич, хватаясь за очки,— ты — чудо...

— Смотришь на меня так, словно никогда не видел женщин,— усмехнулась Алевтина, начиная обретать прежнее свое хорошее настроение.

— Таких не видел.

— Раздевайся — и пойдем купаться.— Она почувствовала свою власть над этим человеком, женскую власть.— Ну, что же ты?..

Вениамин Тимофеевич принялся торопливо сдергивать с себя васильковые полусемейные трусы-плавки, но, мокрые, они липли к телу, и он избавился от них не без труда. И тотчас вытянул руки, намереваясь заключить Алевтину в объятия. Она увернулась, перехватила руку Вениамина Тимофеевича и повела его за собой к реке, упруго поигрывая недряблыми еще, молочно-белыми ягодицами. Вениамин Тимофеевич следовал за ней, как молодой бычок за телочкой,— с восставшей плотью, весь подрагивая и трепеща ноздрями. По всему было видно, что давно уже не ощущал он себя так уверенно рядом с малознакомой женщиной, так раскованно, расчудесно...

Накупавшись до озноба, они вылезли из воды и распластались на горячем песке. И вот здесь-то Вениамин Тимофеевич допустил такое, после чего с губ Алевтины едва не сорвалось в его адрес крепкое словцо.

— О чем с тобой говорил Чуев, когда мы уезжали? — спросил Вениамин Тимофеевич, подрагивая.— Наверное, хочет уговорить меня на строительство базы?

— Просил,— буркнула Алевтина, помрачнев.

— Обещал за это квартиру?

— Обещал.— Алевтина скосила охолодавшие глаза на голенького Вениамина Тимофеевича.

— И что ты?

— Что я?

— Твое мнение? Город строить или базу? Как скажешь, так и сделаю.

Не отвечая, Алевтина, лежа, дотянулась до платья, вскочила рывком на ноги и, отвернувшись от мужских глаз, принялась натягивать платье на голое тело. Обернулась — Вениамин Тимофеевич сидел уже в трусах и ждал ответа.

— Строй, Веня, квартиры людям,— ответила резко,— все остальное потом! А моя квартира — не твоя забота. И давай про это больше не будем.

— Давай не будем,— согласился Вениамин Тимофеевич, испытующе глядя на Алевтину.— Я рад...

Чему был рад ленинградский гость, Алевтина уточнять не стала. Потянула носом, спросила:

— Чуешь — дымом пахнет? Не иначе, тетка Галя баню топит. Поехали, тут до ее деревни с километр осталось.

Разговор о квартире больше не возникал. Но простившись, она затаила в сердце надежду, что с квартирой он ей поможет. По мере того как бежали дни, похожие один на другой, как кирпичи, надежда ее не только не ослабевала, но и крепла. Она уловила ее даже во взгляде управляющего Чуева, с которым случайно встретилась в конторе треста. «Умеешь жить, баба!» — сказал, казалось, усмешливо-одобрительный взгляд Чуева, обычно пустой и тусклый. Она ждала.

ГЛАВА 8

«За годы сталинских репрессий было уничтожено свыше двадцати миллионов невинных людей».

(Из печати)

«Партия есть ум, честь и совесть нашей эпохи».

(Из призывов)

«Раньше жили — слезы лили, теперь живем — счастье куем».

(Советская пословица)

«Как жили — видели, как помирать будем — увидим».

(Русская пословица)

* * *

После вытрезвителя для журналиста Смирнова наступили трудные дни. Всякий, кто когда-либо был задет его острым пером, языком или прочим действием, норовил теперь уязвить, чем только мог. Самую глубокую рану нанес ему еще в вытрезвителе капитан Каюмов, начальник этого медицинского заведения. В свое время Роман Александрович симпатизировал жене капитана (тогда еще старшего лейтенанта) Софье и имел у нее некоторый успех. И капитан Каюмов поистине с восточной изощренностью отомстил давнему сопернику: тотчас же, как только журналиста внесли в вытрезвитель, приказал его, еще бесчувственного, наголо остричь.

И вот теперь Роман Александрович почти безвыходно сидел в своей редакционной комнатухе напротив «партийного отдела», и Ольга Евстратовна, глядя на оттопыренные уши своего коллеги и его голую голубую голову, время от времени взрывалась таким хохотом, что в комнату заглядывали любопытствующие. Ольга Евстратовна, задыхаясь от смеха, выкрикивала, указывая пальцем на хмурого Романа Александровича: «Фантомас! Фантомас! Ой, нет моих сил, натуральный Фантомас!» Роман Александрович стоически терпел, избрав самый действенный вид отпора — молчание. Лишь иногда не выдерживал и с тяжелым вздохом произносил: «Эх, люди...»

По городу поползли слухи, что журналиста Смирнова скоро исключат из партии и выпрут с работы. Слухи эти, усиленные необычайной стрижкой Романа Александровича и его нежизнерадостным видом, встревожили и самых верных его кредиторов. Один из них досрочно предъявил к оплате весьма крупный вексель.

Заведующего отделом писем вызвал к себе в кабинет редактор. Там уже находились Лелина и Ольшанский.

— Роман Александрович, так сказать, вы знакомы? — Лев Юрьевич кивнул на полную женщину, сидящую на диване с опущенной головой.

— Да, конечно,— спокойно ответил Роман Александрович.— Здравствуйте, Евдокия Геннадьевна! А в чем, собственно, дело?

— Вы брали у нее, так сказать, деньги?

— Да, я занимал у нее в долг.

— Сколько?

— Это что, допрос? — Роман Александрович с удивлением оглядел собравшихся.— В таком случае лучше спросить у самой Евдокии Геннадьевны. Я могу ошибиться.

— Евдокия Геннадьевна, сколько у вас, так сказать, взято?

— Тысяча рублей,— тихо ответила женщина, не поднимая головы.

— Боже! — ахнула Ольга Евстратовна.— Полугодовая моя зарплата!

— Вы подтверждаете, Роман Александрович, так сказать...

— Конечно, подтверждаю. А что, Евдокия Геннадьевна, я дал вам повод сомневаться в моей честности? Насколько мне помнится, вы кредитовали меня до весны будущего года. Или я ошибаюсь?

— Да.

— В чем же дело? До весны еще больше полугода. Если вам срочно понадобились деньги, вы могли сказать мне. Совершенно не понимаю, зачем вы здесь? Зачем я в этом кабинете? К чему весь этот разговор с оттенком следствия?

— Такая сумма...— вновь подала голос Ольга Евстратовна.— Ваша жена, Роман Александрович, знает о долге?

— Да, да, так сказать, это очень важно,— поддержал Лелину редактор.— Знает ли она?

— Получается, что в долг можно занимать только до десяти рублей. Так, по-вашему? — ушел от прямого вопроса Роман Александрович и с некоторым уже гневом продолжал: — Лев Юрьевич, вы меня извините, я никогда не напомнил бы вам, но вы вынуждаете... Разве вы однажды не брали у меня в долг десять рублей?

На эти слова заведующего отделом писем редактор вдруг густо покраснел. Роман Александрович продолжал с возрастающим негодованием:

— В отличие от вас, Лев Юрьевич, у меня достало такта, чтобы не спросить: знает ли о вашем займе ваша жена? Не спрашивал я и о том, на что вы намерены истратить ту сумму, хотя и грудной ребенок отгадает загадку, что можно купить на десять рублей, получив потом взамен двадцать копеек.

Теперь уже редактор покраснел столь густо, что Ольга Евстратовна со внимательностью и легким удивлением посмотрела на шефа. Лев Юрьевич — примерный семьянин и совершенно непьющий человек, заботливый отец и внимательный муж, жена которого второй год болела раком,— был вне ее женских подозрений. Намеки Смирнова и явное смущение редактора Ольгу Евстратовну впервые озадачили. Роман Александрович же все более и более возбуждался.

— Если мы с вами, уважаемые коллеги, опустились в общении до базарного уровня, то извольте — я принимаю вызов! — воскликнул он.— Я расскажу, на что потратил тысячу рублей, вот, Евдокия Геннадьевна не даст соврать, а вы, Лев Юрьевич, в свою очередь, поведаете нам историю тех десяти рублей. Напоминаю, что ваш заем состоялся в тот день, когда литобъединение в нашей газете вела ленинградская поэтесса Ирина Архангельская...

Здесь Роман Александрович сделал многозначительную паузу, а редактор запустил ладонь в бороду, кусая ногти, что являлось у него всегда признаком самого серьезного волнения и напряженной работы мысли.

— Продолжать, Лев Юрьевич? — безжалостно спросил Смирнов.

Редактор молчал и выглядел не только растерянным, но и жалким. Гнетущую паузу прервал Ольшанский, ветеран редакции.

— В самом деле, товарищи, у нас взят странный тон,— примирительно проговорил он.— Роман Александрович не отрицает свой долг, срок погашения его, как подтверждает Евдокия Геннадьевна, еще не истек. Таким образом, я считаю: вопрос исчерпан. Если нет возражений, предлагаю, как говорится, прекратить прения.

Слухи о займе журналиста Смирнова гуляли по городу, фантастически разрастаясь, и создавали ему дополнительные семейные трудности — жена становилась все более агрессивной и нетерпимой. Не дремали и агроном Струева с бригадиром пилорамы Столыпиным, письменно напоминая высоким городским инстанциям о безнаказанности журналиста Смирнова, опозорившего свое высокое звание, требовали немедленного его исключения из партии и снятия с работы «за недоверие».

Реальность нависшей над ним угрозы Роман Александрович особенно остро почувствовал в тот момент, когда случайно встретился возле универмага с Кисловым, третьим секретарем горкома. С Николаем Николаевичем их связывало давнее знакомство: Роман Александрович оказывал ему кое-какие мелкие услуги еще в бытность Кислова директором спецшколы-интерната недоразвитых детей. Последняя их встреча состоялась два года назад в военном лесничестве в день открытия осенней охоты. Тогда Николай Николаевич, разгоряченный ухой у ночного костра, ухлопал на рассвете двух лебедей. Малозначительный охотничий эпизод получил неожиданный громкий резонанс в близлежащих деревнях, докатилось и до города, грозя Кислову, тогда уже секретарю по идеологии, неприятностями. Историю с лебедями подняли неформалы — «зеленые», компрометируя в глазах общественности представителя власти. Поскольку закона о дискредитации должностных лиц тогда еще не существовало, Роман Александрович самоотверженно взял случайный грех начальства на себя. Публично — через газету — заявил, что лебедей на озере Черном убил лично он, журналист Смирнов. Конечно же, по ошибке, приняв их в тумане за крупных уток. Готов нести моральную и материальную ответственность за свою ошибку. Но возложить его «лебединую вину» на секретаря горкома — есть, по его мнению, не что иное, как попытка противников Перестройки дестабилизировать морально-политическую обстановку в районе, вызвать неприязнь народа к партии.

С тех пор Николай Николаевич Кислов весьма благоволил к журналисту. Теперь же, столкнувшись с ним нос к носу возле универмага, демонстративно не ответил на приветствие Романа Александровича.

Вечером того же дня худшие предположения журналиста Смирнова подтвердились. Редактор, путаясь в своих бесконечных «так сказать», сообщил ему, что назавтра состоится партийное бюро по его персональному делу и, по всей видимости, ему придется расстаться с партией.

— Так сказать, это мнение всех членов бюро, в том числе и мое,— мужественно произнес редактор и твердо посмотрел в глаза коллеге.

— И Лелиной тоже? — спросил Роман Александрович.

— И Лелиной,— подтвердил редактор.— Более того, это мнение горкома и, в первую очередь, так сказать, Николая Николаевича Кислова. Он лично будет присутствовать.

— Основная вина моя — вытрезвитель? — спросил Роман Александрович.

— Не только. Вопрос, так сказать, принципиальный.

— Ах принципиальный?! Тогда давайте разберемся в наших принципах, Лев Юрьевич! Лучше это сделать сейчас, а не на бюро. Вы, конечно же, понимаете, что там я молчать не стану.

— Так сказать, давайте.

— Каковы претензии ко мне с точки зрения ваших партийных принципов? — Роман Александрович уселся в кресло напротив редакторского стола.— Только, пожалуйста, конкретней, по существу. Я не люблю размытых обвинительных формулировок.

— Вы, так сказать, нечистоплотны.

— В чем же?

— Хотя бы, так сказать, в женском вопросе.

— Прошу конкретнее.

— Ко мне много раз приходила ваша жена, и, мне думается, перечислять имена, так сказать, сейчас не имеет смысла. Ранее вы не отрицали свою вину в этом вопросе.

— И сейчас не отрицаю. Но, согласитесь, Лев Юрьевич, если меня собрались судить, я вправе задать вопрос: а судьи кто? Разве вы лучше меня?

— Так сказать, прошу без намеков.

— Хорошо, сразу беру быка за рога, я вижу, вы подготовились к нашей беседе... Итак, поэтесса Ирина Архангельская...

Как ни старался Лев Юрьевич сдерживать себя, из-под бороды его начала проступать краска.

— Что вы имеете в виду, так сказать?..— пробормотал он.

— Именно то, Лев Юрьевич,— журналист Смирнов не без удовольствия наблюдал за волнением редактора,— именно то. Признаюсь, я поначалу сам положил на нее глаз, хотя она и не в моем вкусе. Я ценю в женщине прежде всего скромность, отсутствие претензий. На этой же даме негде ставить клейма. Нет, нет, я не осуждаю вас, скорее — наоборот. У вас второй год больна жена, и вы живой человек, но зачем же...

— Оставьте в покое мою жену! — вдруг нервно выкрикнул редактор.— Это бесчестно!

— Зачем же предъявлять обвинения другим за то, что делаешь сам? — жестко продолжал Роман Александрович.— Или вы не ездили с Ириной Архангельской на Мшинское болото за клюквой?! — в упор спросил он редактора.— Или не вы купили на мои десять рублей то, что покупаю я в подобных поездках, а купили своей даме полпуда мармелада? Вы, наверное, забыли, что за клюквой вас возил Толя-шофер, а от его глаза не укрыться ни за какой сосенкой. Вы, конечно, рассчитывали на молчание шофера — кому хочется ссориться с шефом? Но у меня есть средство заставить Толю-шофера выступить в качестве свидетеля по этому вопросу. И я это сделаю, клянусь словом партийца! А потом я позвоню вашей, извините, больной жене и спрошу, знала ли она — нет, не о займе десяти рублей — о вашей поездке за клюквой с поэтессой критического возраста?

— Вы, так сказать, мерзавец...

— Мои связи с женщинами, Лев Юрьевич, обусловлены всегда взаимным влечением и симпатией. Эта же ваша стерва Архангельская...

— Попрошу, так сказать!

— Бросьте, Лев Юрьевич, мы с вами одни! Она вешалась вам на шею с одной целью: чтобы вы дали в газете подборку ее дерьмовых стихов, какие я могу сочинять метрами, сидя на толчке. И вы дали подборку! Вы дали этой клейменой стерве целый подвал! Не зря Лелина тогда возмутилась, но она еще не знала подноготной. Она ее узнает завтра на бюро. Но хватит о женщинах, перейдем к серьезному вопросу. Поговорим о партии, которую вы, Лев Юрьевич, обманываете так же, как и свою больную жену.

— Так сказать, выбирайте выражения, Роман Александрович.

— Чего уж тут выбирать. Вспомните, не скрываете ли вы свои побочные доходы от партийных взносов?

— Так сказать, какие доходы? — редактор явно растерялся.

— Которые вы имеете, публикуя свои стихи под псевдонимом Олег Боголюбов. Я просматривал подшивки районных газет области за прошлый год и обнаружил две ваши публикации. В том числе одно стихотворение в совместной подборке с Ириной Архангельской!

— Это же гроши, так сказать,— только и нашелся что ответить редактор.

— Вот оно — ваше подлинное лицо! — воскликнул Роман Александрович, торжествуя.— Вы измеряете свои принципы количеством рублей, количеством ездок за клюквой! Вы кормите свою умирающую жену ягодой, которую вытрясла из-под своего подола заезжая поэтесса, а меня пытаетесь выбросить за борт корабля, курс которого я двадцать лет славил своим пером! Не выйдет!

Оставив кабинет вконец деморализованного и уже безмолвного редактора, журналист

Смирнов в достаточно возбужденном состоянии направился к своей комнатухе, где сидела Лелина, пробормотав на ходу: «А тебя, старая курица, я ощиплю за пять минут».

От первых же слов Романа Александровича заведующая партийным отделом взвилась на дыбы.

— Каким тоном вы со мной разговариваете?! — вскричала Ольга Евстратовна, наливаясь гневом.— Да, я буду голосовать за исключение вас из партии! Вы недостойны этого звания! И кто вы такой, чтобы делать мне замечания? Стриженый пьянчужка из вытрезвителя! Да вас давно надо гнать из редакции, не только из партии!

Роман Александрович, сидя за своим столом, терпеливо пережидал словоблудное клокотание Лелиной, не вытерпев, осадил ее:

— Плагиатом занимаетесь, лапушка!

Ольга Евстратовна, поперхнувшись на полуслове, молча выпучила на коллегу круглые, в красных прожилках глаза. Роман Александрович спокойно продолжал:

— Все ваши проблемные статьи, Ольга Евстратовна, есть копии статей из центральной «Правды». Вы меняете в них только заголовки, фамилии действующих лиц и место действия. Раньше вы переписывали из подшивок за давние года, нынче же совсем обнаглели и берете год в год. В моем блокноте — все данные на этот счет. А вот здесь,— Роман Александрович похлопал себя по нагрудному карману,— черновик вашей анонимки на редактора Льва Юрьевича в «смешной дом». Надо быть осмотрительнее, дражайшая, чаще читать детективы. Написал — сожги, отослал — сожги. А вы забыли на столе эдакий документ! Стареете, лапушка! И, наконец, третье, что я хочу вам сказать: вы спали со слесарем! Есть свидетель!

Здесь Роман Александрович сделал, видимо, перебор. Ольга Евстратовна была одинока, и личную жизнь вела чрезвычайно строгую. За годы работы в редакции лишь однажды, готовя совместную статью для рубрики «Народный контроль действует», она сблизилась с председателем городского народного контроля Петром Петровичем Федюниным, в результате чего и забеременела. Узнав об этом, Петр Петрович прервал совместную работу над статьей и отдалился от соавтора. Ольга Евстратовна делала отчаянные попытки вернуть Петра Петровича к творческой работе, ходила к его жене и даже была по этому поводу на приеме у первого секретаря горкома Стеблова. Ничего не помогло. Петр Петрович с партийной принципиальностью уперся в своем желании никогда не расставаться с женой. Не испугала его даже ссылка в отдаленный уголок района на отстающий колхоз председателем. За три года Федюнин окончательно развалил это хозяйство, благополучно вернулся в город к жене и квартире. Был назначен директором вновь созданной организации по химизации колхозно-совхозных полей. Организация носила столь мудреное название, что Петр Петрович в течение полугода не мог запомнить его и часто путался. Однако ему довольно быстро удалось списать неплохую еще «Волгу» и самому купить ее по цене черного металлолома. Ольга Евстратовна, зорко наблюдавшая за каждым шагом бывшего соавтора, мигом нацелила на незтичное действие директора Федюнина лучшее журналистское перо редакции, снабдив Романа Александровича кое-какими дополнительными фактами о Петре Петровиче из своего личного архива. И журналист Смирнов разразился разгромно-беспощадной статьей «Куда текут „Волги"?» — аж в центральной газете. После этого скандала доступ Федюнину к руководящим должностям был временно закрыт, и он превратился в рядового специалиста сельского хозяйства, прибывавшего, однако, на работу на собственной «Волге» редкого и зарубежного цвета — голубого перламутра.

Ольга Евстратовна же, разлучившись с Петром Петровичем, побывала в роддоме и три дня потом бюллетенила, пристрастившись с тех пор повторять: «Какая это мерзость — наши больницы!» Мужчинами как таковыми Ольга Евстратовна больше не интересовалась и близко к себе их не подпускала. Но любила иногда слушать фривольные откровения Романа Александровича о его амурных похождениях и однажды в порыве откровения поведала ему, что ей предложил «переспать» слесарь-водопроводчик, которого она вызвала устранить течь в туалетном бачке. Ольгу Евстратовну возмутил не столько сам этот факт, а то, что простой слесарь, зная ее место работы и должность, дерзнул сделать подобное предложение ей — женщине с двумя высшими образованиями (партшкола и Институт культуры им. Крупской, или, как порой с оттенком иронии называла его Ольга Евстратовна, институт культуры и отдыха). Тогда Роман Александрович посочувствовал коллеге и негодовал от беспардонной дерзости водопроводного прощелыги, а вот сейчас, зная ее слабое место, ударил в него чудовищной ложью.

Ольга Евстратовна после заявления Смирнова о свидетеле ее позора, который якобы имеется у него, несколько мгновений смотрела на Романа Александровича молча. Затем голова ее в мелких блондинистых кудряшках вдруг дернулась и начала заваливаться набок, на плечо. Ольга Евстратовна пошатнулась за столом, ухватилась руками за голову и принялась выправлять ее, устанавливать в нормальное положение.

— Что с тобой, Ольга?! — всполошился Роман Александрович, переходя на «ты».— Да успокойся, успокойся! Ну, женщины! То в редактора меня прочит, то из партии выгоняет. Зачем нам с тобой ссориться? Бог с ним, с твоим слесарем, пошутил я, пошутил.

Извини, пожалуйста. Но смотри, Ольга, если завтра обидишь меня на бюро...— Роман Александрович выразительно похлопал ладонью по нагрудному карману,— зачитаю вслух! Лев Юрьевич будет меня спрашивать — я в горкоме! — С этими словами журналист Смирнов оставил все еще безмолвную Ольгу Евстратовну в кабинете одну.

Выйдя из редакции, Роман Александрович и в самом деле направился скорым шагом в сторону горкома. Он хорошо понимал, что решение бюро по его вопросу будет зависеть не столько от мнения коллег, сколько от Кислова, и торопился. Журналист знал, чем пронять секретаря, и находился в приподнятом состоянии духа, но не хватало самой малости, чтобы раскрепоститься перед серьезным объяснением. И потому Роман Александрович завернул по пути в железнодорожную столовую. Там у него был давний знакомый шеф-повар, по прозвищу Бомба. Бомба была женщиной — круглой, налитой, весом под сто килограммов. В ночные часы, когда все прочие подобные заведения закрыты, в железнодорожной столовой до самого утра светится огоньком окно — за ним перекусывают локомотивные бригады железнодорожников, пришедшие с ночных рейсов. Когда их нет, в закутках толчется бездомный и неприхотливый городской люд — по официальной терминологии «бомжи» (без определенного места жительства). Для них дежурный ночной повар Бомба — родная мать. Обанкротившихся она поит кипятком, подкармливает остатками борща или каши, а состоятельным предложит и стакан «киселя». Никто из клиентов Бомбы не знал точно рецептуры ее напитка, по слухам, в его состав входил самый низкопробный самогон, бракованная политура, толченый сухой гриб мухомор и даже, ставший дефицитом, стиральный порошок «Эра». Больше одного стакана «киселя» Бомба никому не наливала, боясь, что клиент окочурится. Стоил ее фирменный коктейль два рубля — цена для небогатых бомжей внушительная. Но истинные любители изыскивали средства — от стакана «киселя» надолго дурели самые крепкие головы.

Роман Александрович был с Бомбой в дружеских отношениях и как бы покровительствовал ее благотворительной деятельности от имени прессы. «Кисель» ее он пробовал только однажды, но потом ровно неделю голова его была как деревянная, и тогда впервые за всю свою творческую жизнь Роман Александрович не выполнил недельный план по своему отделу, не ответил ни на одно письмо трудящихся. Придя в себя, он строго-настрого предупредил Бомбу, чтобы для него был всегда в запасе традиционный русский напиток, без всяких современных выкрутас, иначе создаст ее «киселю» худую рекламу. Угроза возымела действие, и с той поры журналист всегда мог рассчитывать на внимательное к себе отношение, был в железнодорожной столовой самым почетным клиентом Бомбы, с которого она не брала даже шоколадки.

Сейчас Роман Александрович беспокоился лишь об одном: чтобы Бомба работала в дневную смену. Войдя в столовую с черного хода, он сразу увидел среди парящих кастрюль ее величественную фигуру и вздохнул облегченно. Не заходя на кухню, журналист поймал взгляд шеф-повара и выразительно полоснул себя по горлу ребром ладони, затем большим и указательным пальцем сделал крошечный «чуток». Бомба понимающе кивнула и направилась туда, где через минуту был и Роман Александрович. Без лишних слов он опрокинул в рот стограммовую стопку дурнопахнущего напитка и принял из рук хозяйки мускатный орех. Откусил кусочек, пожевал, остальное вернул. Затем еще пожевал, проглотил и широко раскрытым ртом дыхнул на шеф-повара, которая коротко определила: «Норма!» Пожав Бомбе руку, Роман Александрович продолжил свой путь к горкому в настроении уже самом боевом и решительно-бесстрашном.

Секретарь Кислов встретил журналиста хмуро. Едва заметно кивнул на бодрое приветствие газетчика, спросил:

— Зачем пожаловал?

У Николая Николаевича Кислова были могучие седеющие брови в два пальца толщиной, и до Перестройки, когда он сидел под портретом с такими же бровями, он выглядел куда внушительнее. Капитальную солидность его подкрепляла тогда и соответствующая духу времени орденская планка на груди с набором разноцветных колодок — в основном юбилейных медалей, за исключением одной — «За десять лет безупречной службы». В прошлом Николай Николаевич был кадровым офицером и уволился в запас капитаном по сокращению Вооруженных Сил. Орденская планка не являлась стандартной, купленной в магазине военторга, а исполнена была мастером на спецзаказ — все колодки уширены, удлинены, искусно проложены «воздухом», и оттого три ряда колодок (по три в каждом) создавали иллюзию пяти рядов. Теперь же, подчиняясь всеобщему антиорденскому настрою, он заменил на своей груди шикарную орденскую планку ручной работы на куцые ширпотребовские колодочки, которые выглядели ничуть не ярче «золотого пера» на лацкане пиджака Романа Александровича — значка Союза журналистов СССР.

— Ну, чего молчишь? — вновь проговорил Кислов и кивнул журналисту на стул.— Садись, рассказывай.

— Рассказывать нечего,— вздохнул Роман Александрович, присаживаясь на краешек зеленого стула,— не могу понять, Николай Николаевич, за что ко мне такая немилость с вашей стороны?

— А ты думал, тебе все дозволено? — Секретарь повысил голос.— Пьянствуешь,

в общественных местах дебоширишь, «по совместительству» на трех заводах ночным сторожем работаешь.

— На двух,— поправил Роман Александрович.

— Ты посмотри на себя в зеркало,— Кислов продолжал повышать голос,— под «нулевку» острижен, как уголовник! И это член партии, журналист! Позор! Завтра же вставляем тебе на бюро перо, и улетай из партии.

— Вот этого делать не надо,— живо возразил Роман Александрович.— У меня личное дело, Николай Николаевич, девственной чистоты. И так просто меня ликвидировать не удастся даже вам.

— Это мы завтра посмотрим.

— Вынужден буду защищаться.— Роман Александрович поплотнее устроился на стуле и продолжал: — Поскольку вопрос для моей профессиональной судьбы решающий, буду с вами, Николай Николаевич, предельно откровенен. Не подумайте, что шантажирую, но на партийном бюро мне придется рассказать все...

— Вот как? — Кустистые брови Кислова приподнялись.— Значит, ты и в самом деле... Мне говорили про тебя, Роман, что ты человек без принципов, но я не верил. Чем же ты намерен меня запугать? Лебедями, наверное? Или баней с голландским пивом? Недавно, вон, по «голосу» слышал: Ленин пиво любил. Ленин!

— Вы глубоко ошибаетесь, обвиняя меня в беспринципности,— возразил Роман Александрович, твердо глядя на брови секретаря,— я всегда разделял принципы и поддерживал линию партии, в которой состою уже двадцать лет. Не пугать я вас намерен, а предупредить. Ваших лебедей, как вы, надеюсь, помните, я взял на свою совесть, и вы всерьез не возражали. Так что принципиальности не вам меня учить. Но согласен: лебеди, сауна с артистками на турбазе и даже там цыганским хором — мелочи, для обывателя. Нынче серьезных людей этим не удивишь и тем более не взволнуешь. Сейчас на первый план выступает общественно-политическая ситуация, а вот здесь-то вы, уважаемый Николай Николаевич, дали серьезную промашку, которая может дорого вам стоить.

— Ну, ну, продолжай,— поощрительно произнес Кислов,— вразуми нас, несмышленых.

— Напрасно иронизируете, Николай Николаевич.— Журналист, освоившись на стуле, забросил ногу на ногу.— Вы, конечно, помните статью Нины Андреевой «Не могу поступиться принципами» в «Советской России»? Кто, как не вы, всеми силами старался продублировать статью в нашей газете...

— Ну?

— Не вы ли заявляли тогда, что наконец-то раздался трезвый голос. Только неожиданное сопротивление редактора Льва Морозова (на слове «Льва» Роман Александрович сделал многозначительный упор) не позволило дать перепечатку. Вы понимаете, если сейчас публично напомнить об этом эпизоде с комментариями в духе времени, все будет для вас выглядеть не так безобидно...

— И что, есть свидетели, что я положительно отзывался о статье Андреевой? — поинтересовался Кислов, беря в руки старый потертый портсигар и закуривая.

— Есть, и не один, уверяю вас словом партийца. Разрешите, Николай Николаевич...— Журналист потянулся к портсигару секретаря.

— Прошу.

— Более того,— журналист, закурив, понизил голос и оглянулся на дверь,— ваш бывший сослуживец и нынешний приятель директор горторга Карелин — член общества «Память»!

После этих слов Романа Александровича в кабинете секретаря повисла тишина, Николай Николаевич глубоко затягивался дымом, журналист по его лицу пытался определить действенность своего заявления.

— И что, тоже имеются свидетели? — спросил Кислов.

— Все у меня в блокноте. Сам видел на его пиджаке «колокол». На юбилее у Соснина Карелин перебрал и рассказывал про Румянцевский сад в Ленинграде, где собирается «Память». Он, оказывается, не раз там бывал и даже выступил однажды. Да что я вам об этом говорю, Николай Николаевич, вы друг Карелина, вам лучше про это знать.

— Про что?

— Про «Память».

— Заплетаешь ты мне мозги, Роман...

— Предупреждаю, Николай Николаевич! Мне терять нечего, без партии я себя не мыслю. Я полностью разделяю ваши с Карелиным взгляды на судьбу России и ее историческое прошлое, но ради главных своих принципов я увяжу воедино все, начиная с лебедей, цыганского хора, второй квартиры для сына и кончая статьей Андреевой и обществом «Память». С этим багажом меня охотно примут на Ленинградском телевидении, и тогда, извините, Николай Николаевич, вам как политической фигуре конец. «Колесо» раздавит вас.

Кислов тяжело и молча смотрел на журналиста. Роман Александрович входил во вкус, невольно повышая голос:

— Вы что, не чувствуете, какие ветры дуют над нашей многострадальной Россией?! Вам, наверное, кажется, что ветры все еще сибирские — с Ангарска, Братска, БАМа? Нет, уважаемый Николай Николаевич, ветер давно уже дует с Востока. И не с Дальнего. Простите меня, у вас начисто отсутствует новое политическое мышление, иначе никогда не взяли бы в свой политический багаж дружбу с «Памятью». Но если вы выкинете из партии меня, с кем останетесь в ней? Со Львом Морозовым (на имени редактора Роман Александрович вновь сделал многозначительный упор), с Олегом Боголюбовым?

— Это еще кто?

— Все он же, Лев Морозов. Псевдоним Левы...

— Ты что же, думаешь, что Морозов?..

— Уверен!

— Не похож...

— Замаскировался!

— Н-да... Что предлагаешь для себя? Небось выговор с занесением?

— «С занесением» принять не могу, Николай Николаевич, чернить мою биографию не надо.

— Но ты гусь! Что с тобой делать? Может, благодарность прикажешь объявить? Или редактором назначить?

— Это было бы самым разумным решением. Повсюду идет консолидация сил, мы же разобщены, каждый сидит в своей норе. А «они» не дремлют!

— Это верно.— Кислов вздохнул.— Если бы ты не страдал болезнью своего народа...

— Вы плохо знаете свой народ,— возразил Роман Александрович,— ради серьезного дела он способен на многое. Была бы впереди цель.

— Хватит о народе,— прервал секретарь и посуровел лицом,— поговорим о тебе. Как думаешь выкручиваться?

— Ради дела, Николай Николаевич, согласен на смертельный риск.

— Ну?

— Лечиться поеду. В психушку добровольно. Завтра же. У меня обдумано.

— Гм... Это был бы выход. А не врешь? Неужто решился?

— Только ради нашего дела.

— Что ж... Если продержишься потом годик сухим... Голова у тебя есть. И что, потянул бы газету? — вдруг с интересом спросил секретарь.

— Кто, я?! — изумился Роман Александрович.— Нашу газету? Обижаете, Николай Николаевич. Да я левой ногой!

— А Морозов?

— А что Морозов? — не понял Роман Александрович.— Морозов — аморальный тип. Партвзносы с гонораров скрывает. Жена у него при смерти, а он у поэтесс из-под подолов не вылезает.

— Ну? Вот не думал.

— Завтра на бюро убедитесь. Сегодня грозился из партии меня убрать, а едва намекнул про его делишки — в ногах валялся. Завтра на бюро они с Лелиной мне гимны будут петь.

— Ну, поскольку ты на больницу решился, бюро отменяется. Как там Лелина?

— Что вы, Лелину не знаете. Коптит небо. В работе на центральной «Правде» паразитирует, в личной жизни — одни разговоры про мужиков. Все с высшим образованием себе ищет.

— Как увижу Федюнина, Лелину вспоминаю,— признался Кислов.— Это надо же на такое чудо решиться! И рассудительный ведь мужик.

— За это человека осуждать нельзя,— вступился Роман Александрович за Федюнина,— жизнь есть жизнь.

— Небось ты про меня байки распускаешь, что я раньше брови сурьмил и начесывал, а теперь светлю и подбриваю? — неожиданно спросил Кислов.

— Побойтесь бога, Николай Николаевич! — возмутился журналист.— Не иначе — ребята из «смешного дома» вам нашептали. Им сейчас делать нечего, так они языки чешут. На картошку их надо посылать. Вон, в «Зарю коммунизма». Кстати, там у них агроном Струева с бригадиром пилорамы начисто распустились. Лес и доски пропивают, а на меня доносы строчат.

— Которые тебя в вытрезвитель отправили?

— Они. Житья нет, помогите, Николай Николаевич! Я как-никак в органе горкома работаю, доносы их косвенно и вас отчасти дискредитируют. Хорошо бы эту Струеву в «смешной дом» вызвать и причесать. Чтобы не мешала газете работать. А на бригадира я уже кое-какой материл для обазхазсаса собрал. Правда, он директора «Зари» задевает, потому и хотел с вами посоветоваться...

Беседа секретаря с журналистом принимала все более деловой и конкретный характер, ее бы Роману Александровичу продолжать и продолжать, но он вдруг почувствовал себя нехорошо. Видимо, Бомба забылась и вновь угостила его «киселем». Голова журналиста деревенела, становилась чужой, желудок неожиданно дал такой резкий спазм, что Роман

Александрович едва не выдал на стол секретарю струю. Зажал рот ладонью и, переждав спазм, поднялся со словами:

— Извините, Николай Николаевич, мне пора.

Уже возле двери журналист повернулся к секретарю и, подняв над головой крепко сжатый волосатый кулак, воскликнул:

— Космополиты не пройдут! Но пасаран!

— Мог бы хоть в горком трезвым приходить,— проворчал Кислов, придвигая потертый, армейских еще своих времен портсигар.— Эх, Россия-мать...

ГЛАВА 9

«Администрация Менделеевского химкомбината доводит до сведения, что всем работникам комбината, проработавшим на химкомбинате два года, вставляются зубы бесплатно».

(Из объявления)

«Кликали жен бабами, а теперь прорабами».
(Советская пословица)

«Хорошая жизнь ум рождает, худая и последний отбирает».
(Русская пословица)

* * *

Спустя семь месяцев после пикника на Белой горе Алевтина Захарова получила отдельную однокомнатную квартиру в девятиэтажном кирпичном доме. С балконом. На берегу реки.

Она знала, что получит скоро квартиру. Предчувствовала. Эту способность предугадывать события Алевтина переняла от прабабки. Вениамин Тимофеевич, прощаясь, ни словом не обмолвился, что поможет ей, даже не намекнул. Но Алевтина не сомневалась: он сделает все, чтобы она как можно быстрее получила квартиру. Сделает не из корысти, не из каких-то мужских видов на нее, а из желания остаться в ее глазах человеком слова. Вениамин Тимофеевич попытается даже никогда не встречаться с ней, но наверняка не выдержит. Алевтина ловила себя на мысли, что не возражает против этой встречи и даже ждет ее.

Незадолго до того как Алевтина получила приглашение из жилищного отдела горисполкома явиться за ордером, она как бы в шутку сказала прорабу Пузырю:

— Анатолий Николаевич, скоро квартиру получу.

— На новоселье не забудь пригласить,— усмехнулся прораб.

— Никого приглашать не стану,— возразила Алевтина,— надоели все ваши морды. Тетку Галю из деревни позову. Целый день с ней шампанское пить будем и музыку слушать. Высоцкого. У меня знакомый имеется с магнитофоном. Одолжит, наверное, на новоселье.

Когда же по стройтресту разлетелась весть, что Алевтина Захарова и впрямь получила квартиру, более всех удивлен и поражен был прораб Пузырь.

— Хорошо вам, бабам: легла разок под начальство — получи квартиру,— проговорил он в присутствии почти всей бригады маляров.— А тут четверть века ишачишь на стройке, из двухкомнатной вчетвером не выбраться.

Алевтина разводила с Аннушкой краску. От прораба малярам приходилось слышать и не такое, никто на него всерьез никогда не обижался. Но тут был совсем другой случай. Алевтина тотчас поняла это по возникшей тишине, по осудительно-напряженным лицам подруг. Никому из них с квартирой дорогу она не перешла и в очереди настоялась вдоволь, а вот поди же... Слова Пузыря звучали не просто грубой шуткой. Это было уже оскорбление. Оскорбление ее — Алевтины Захаровой, которая за тринадцать лет работы не унесла со стройки ни одного гвоздя, ни одного литра краски. А Пузырь?

— Во-первых, Анатолий Николаевич, ты меня за ноги не держал,— проговорила Алевтина внешне спокойно, беря в руки кисть.— Так что утверждать, легла я под кого или не легла,— не можешь. Во-вторых, и женщина безмужняя и вольна делать то, что захочу. А вот под тебя, женатого человека, кое-кто из наших замужних ложился, сама видела. И не за квартиру даже, а чтобы наряд повыгоднее закрыл. И перетаскал ты, дорогой Анатолий Николаевич, со стройки на дачу свою материалов — не одну квартиру можно построить. А рот всей бригаде заткнул полбочкой краски.

— Полегче, Алевтина...— со скрытой угрозой огрызнулся Пузырь.

— Что квартиру не можешь получить — не обижайся,— продолжала Алевтина.— Тебе на начальство обижаться нельзя. Потому что ты у начальства прихлебатель, лакей, лизоблюд. Лизоблюду только косточку надо ждать — вот так! — С этими словами разъяренная Алевтина обмакнула кисть в краску и, крикнув: «Гоп, Пузырь!» — метнула кисть в лицо прораба. Да так удачно, что угодила ему в голову. И с победным визгом ринулась на обидчика, но, перехваченная на пути сильными руками подруг, упала на пол. И отбивалась от баб руками, ногами, царапала их, кусала, рвала за космы. Наконец затихла.

Отлежавшись, поднялась. Сбила с себя пыль, привела в порядок волосы. Пузыря рядом уже не было, подруги работали на окнах, на нее не смотрели.

— Сволочи вы, бабы,— громко проговорила Алевтина, беря в руки ведро,— нашли кому завидовать.

Ничего не ответили подруги на упрек. Да и что тут скажешь? Бес попутал: и впрямь позавидовали Алевтининому счастью.

ГЛАВА 10

«И неужели сие мечта, чтобы под конец человек находил свои радости лишь в подвигах просвещения и милосердия, а не в радостях жестоких, как ныне,— в объядении, блуде, чванстве, хвастовстве и завистливом превышении одного над другим?»

(Ф. М. Достоевский. «Братья Карамазовы»)

«Хочешь жить счастливо — паши не лениво».
(Советская пословица)

«Достают хлеб горбом, достают и горлом».
(Русская пословица)

* * *

Всякий, кто знал журналиста Смирнова до его пребывания в больнице, сходились теперь в одном: перед ними другой человек. Начать с того, что Роман Александрович заметно изменился внешне — посвежел, порозовел, поздоровел в плечах, зарубцевалась рана, нанесенная ему капитаном Каюмовым, и над аккуратной заплатой-плешинкой журналиста вновь горел огненный ежик. Вдобавок ко всему Роман Александрович бросил курить, и теперь в их с Лелиной комнату никто не мог войти с папиросой.

Еще во время нахождения журналиста в больнице Толя-шофер, вернувшись из отпуска с молодой женой, клятвенно заверил редакцию, что провалиться ему сквозь землю, если он не видел в Ялте Смирнова, когда тот выходил из приморского ресторана «Волна Крыма» и садился в такси с той самой женщиной, у которой он занял тысячу рублей и которая приходила жвловаться на него в газету. Лев Юрьевич, встревоженный этим известием, позвонил в Ленинград в психиатрическую больницу, и главврач заверил его, что больной Смирнов Роман Александрович успешно проходит курс лечения и находится там, где ему и надлежит находиться,— в палате номер сорок два общего отделения. На вопрос редактора: «Можно ли его навестить от имени коллектива?» — главврач ответил: «Не надо. Пациент в легкой депрессии и никого не хочет видеть».

Понятно, что первый вопрос Ольги Евстратовны Лелиной к коллеге Смирнову, когда тот уселся за свой письменный стол напротив, был о Ялте и прочих о нем слухах. На вопросы эти Роман Александрович не отвечал, а лишь многозначительно улыбался. О чем же поведал подробно, так о дорогой антиалкогольной штучке под названием «эспераль», которая находится теперь в его теле.

— Потрогай, Ольга, в ягодицу зашили,— доверительно предложил он, отвыкнув, видимо, в больнице от женского общества.

Ольга Евстратовна на это предложение фыркнула и, мгновенно раздражаясь, отозвалась:

— Была нужда трогать. Еще чего!

— Не обижайся на меня за прошлое,— примирительно и на «ты» продолжал Роман Александрович,— вынужден был защищаться. Теперь нам с тобой ссориться незачем, мы вдвоем газету тянем. Если объединимся и будем жить дружно, нам никакой черт не страшен. Знаешь, сколько эта штучка стоит, которая у меня в заднице?

— Сколько?

— Пятьсот рублей!

— Ну-у?!

— Вот и я главврачу (кстати, прекрасный дядька) то же говорю: откуда мне столько

взять? На мой гонорар презерватива не купишь. Пораскинули мозгами и нашли выход. Ему позарез нужны были для больницы обои, какая-то иностранная делегация к нему в дурдом наметилась. Он мне условие: достанешь по-быстрому обои, за так «эспераль» воткну. Само собой — командировочные и проезд бесплатный. Ну, я и провернул дельце. С нашей опытной станции партию луковиц тюльпанов нового сорта прибалтам организовал на обойную фабрику. А они взамен дурдому машину моющихся обоев отгрузили. Теперь я с главврачом на «вась-вась», если надо — в любой момент примет. Но штуку, Ольга, он мне воткнул злую. Если выпью — каюк! Спасения практически нет. У меня состав крови для нее худой. Такая «француженка» у Высоцкого была, но у него кровь другая. А я даже пива не могу принять...

Поначалу редакционные опасались за здоровье своего коллеги, но вскоре убедились, что настрой на трезвую жизнь у Романа Александровича всерьез и надолго, и стали даже понемногу привыкать, что товарищ их наконец-то избавился от болезни своего народа.

Но, избавившись, Роман Александрович начал как бы и отдаляться от него. Эта трещина между ним и народом еще более уширилась, когда он, по примеру редактора Льва Юрьевича, пожелал взять себе псевдоним. Полностью расстаться со своей исконной фамилией не рискнул, сделал к ней псевдо-добавку и стал теперь Смирнов-Сокольский. Под этим полуродным-полузаемным именем он и нанес первый жестокий удар своему народу, не имеющему в ягодице французской «эсперали» и по старинке пьющему в железнодорожной столовой «кисель» Бомбы. Роман Александрович и ранее обращался к антиалкогольной теме, но тогда соль его выступлений сводилась к следующему: нельзя искусственно создавать очереди в магазинах, великому народу уподобляться голодным обезьянам, рвущимся к корзине с бананами. А надо исподволь, упорно и настойчиво, с младенческих лет приучать народ к жизни, наполненной иным содержанием и иными красками, которые отвлекали бы его от дурмана. Если же этих красок не хватало, нельзя отнимать от людей резко то, к чему они привыкли. Теперь же заголовок первой послелечебной статьи журналиста Смирнова-Сокольского говорил сам за себя: «Уберем с пути Бомбу!»

Трезвый образ жизни благоприятно сказывался и на семье Романа Александровича. Он перестал спрашивать по телефону сына Димку, стоит ли в прихожей чемодан, и уже не приводил ему в пример себя и свои поступки в качестве отрицательного явления, а все чаще говорил: «Я в твои годы...» Наладились и его взаимоотношения с супругой. В выходные и праздничные дни его часто можно было видеть с домочадцами в кино или гуляющим по парку под руку с женой, с аскетического лица которой, в отличие от мужнего, не исчезали морщины, а из глаз — скорбь. Прохаживаясь по старинному пейзажному парку, в котором играл духовой военный оркестр и в котором он столько темных ночей блуждал и блудил, Роман Александрович раскланивался лишь со «сливками» городского общества, простой же люд, который по обыкновению своему продолжал группами и в одиночку рыскать по парку в поисках «где дают?», как бы не замечал и отвечал на его приветствия лишь иногда и через силу.

Но более всего «эспераль» в теле журналиста Смирнова-Сокольского отразилась на его работе. Работоспособность его, и прежде чрезвычайно высокая, после больницы поднялась настолько, что коллегам по перу в пору было увольняться из редакции «по собственному». Роман Александрович вполне мог бы выпускать газету и один, даже без фотокорреспондента, так как купил фотоаппарат и быстро освоил его. На летучках Роман Александрович брал на свой отдел писем столь объемный и продуманный план на неделю, что остальные сотрудники со своими куцыми предложениями-задумками выглядели просто-напросто бездельниками. Естественно, что и гонорар журналист получал соответствующий, значительно превышающий гонорар Лелиной. Ольга Евстратовна, зная, что основной ее метод Смирновым разгадан и теперь ей терять нечего, отбросила всяческие условности и откровенно на глазах коллеги переиначивала правдинские статьи, репортажи, корреспонденции, заметки в свои. И тем не менее не могла угнаться за мужским пером Романа Александровича.

— Тебе что, больше всех надо?! — в отчаянии выкрикивала она.— Здоровье сорвешь, потом что?

— Мне здоровья теперь на сто лет хватит,— отвечал, посмеиваясь, Роман Александрович,— а гонорар карман не тянет.

Спустя полгода своей новой жизни журналист встретился случайно на базаре с Николаем Николаевичем Кисловым. Николай Николаевич с трехлитровым эмалированным бидончиком в руках прицениватся к квашеной капусте.

— Жена прихворнула, по хозяйству хожу,— пояснил секретарь, пожимая журналисту руку.— Слышал, слышал о твоих успехах. Молодец! Еще постоим за Россию!

— Но пассаран! — тихо отозвался Роман Александрович и сжал в кармане пиджака пополневший полосатый кулак.

— Черт знает что такое,— продолжал секретарь,— за килограмм квашеной капусты два рубля дерут! А килограмм государственной свинины — рубль девяносто! Все смешалось в этом мире, все с ног на голову...

В тот же день Роман Александрович завел с Лелиной необычный разговор.

— Слушай, Ольга, давай с тобой откровенно,— предложил он.— Я уменьшу свой план наполовину, но и ты помоги мне. Выдвини меня депутатом в горсовет.

— Господи, да зачем тебе? — искренне удивилась Лелина.— И всех благ там — бесплатный проезд в городском транспорте. А чтобы прибавку к пенсии получить, говорят, надо не меньше двух сроков в горсовете сидеть.

— Мне о пенсии думать рано,— возразил Роман Александрович,— мне — для души.

— Тебя же хотели из партии исключать, в горисполкоме не забыли.

— Мне не к спеху. Главное, пускай к мысли привыкают. С первого захода не пройду, на втором попробуем.

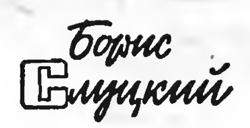
— Если так хочется — ради бога.

— Хочется, Ольга,— признался журналист.— Мне сейчас многое хочется. Наконец-то себя человеком почувствовать, силу свою по-настоящему ощутил. Из меня теперь такое прет... Не знаю, куда девать.

— А мне бы вечером — до подушки добраться,— грустно проговорила Ольга Евстратовна,— голова после работы раскалывается. Продержаться как-нибудь до пенсии, а там гори все синим огнем! Все эти Перестройки, все ваши гнусные рожи.

— Продержимся, Ольга, продержимся! — бодро заверил сникшую коллегу Роман Александрович.— Ты, главное, меня держись и по пустякам не возникай. Если плавать не умеешь, за горло спасателя не хватай. Через годик место зама тебе обещаю. Сама знаешь, я обещаниями теперь не бросаюсь. Но делай все так, как скажу.

Окончание следует



Едва только в середине 50-х годов имя и стихи Бориса Слуцкого вышли на литературную арену, тут же возникло и мнение об излишнем рационализме его поэзии. Теперь в печатных откликах на его новые и старые стихи оно уже не встречается, тем не менее живо и посейчас. Совсем недавно я вновь услышал его из уст одного московского поэта (тут же он прочитал мне два своих стихотворении, в которых от начала до конца все было расчислено вплоть до сугубой «лиричности» и намеренной «распахнутости души»).

Распространенность этого мнения меня всегда поражала. В ней — в распространенности — мне виделась уже не ошибка чьего-то отдельного восприятия (мало ли подобных ошибок в истории литературы, взять хотя бы случай Белинского—Баратынского), а то, что мы все более разучиваемся слышать чужое — да еще поэтическое — слово одновременно и умом и сердцем. Ведь в стихах Слуцкого, даже в стихах-размышлениях, всегда так выпукла страстная боль — и своя, и чья-либо, воспринятая как своя, и общенародная, которую он иначе, как свою, и не ощущал.

Иное дело, что как бы ни велика была эта боль, она никогда не затменала в нем здравого смысла, умного соображения, цепкой и точной мысли. Но от строки к строке его вели не политические, моральные и прочие доктрины, а горячее чувство, живая, в стихе рождающаяся мысль и волшебное русское слово, неведомо откуда слетающее на белый лист. Слуцкий был человеком светлого разума, но прежде всего он был поэтом.

* * *

Не при Сталине — при Адаме
это все началось и пошло,
хоть потом разрасталось с годами,
переписывалось набело.

Что валить коренное, как корни,
на сердитого на старика,
если возрасты все покорны
злу и все покорны века.

Не был он чародеем и магом
и не сам изобрел произвол —
с нарастающим ровно размахом
по тропинке истоптанной шел.

К солнцу черному лишних пятен
добавлять. А зачем? Невдомек.
Потому-то так Тацит понятен
и читабельней, чем «Огонек».

* * *

Сброшенное элитою
донашивает народ:
едучи тихой улитою,
не проглядит, подберет

пуговичку, веревочку,
кончик карандаша,
старенькую обновочку —
лишь бы держалась душа.

Если душа в ней держится,
он, как ребенок, тешится,
он друзьям говорит:
видишь, душа горит.

Старенькое, отброшенное,—
трудится снова с утра,
снова учит хорошему,
служит делу добра.

Нет, мораль не износится,
и моральный износ
только к станкам относится,
не касается нас.

РУБИКОН

Нас было десять поэтов,
не уважавших друг друга,
но жавших друг другу руки.

Мы были в командировке
в Италии. Нас таскали
по Умбрии и Тоскане —

на митинги и приемы.
В унылой спешке банкетов
мы жили — десять поэтов.

А я был всех моложе,
и долго жил за границей,
и знал, где что хранится,

в котором городе — площадь,
и башня в которой Пизе,
а также в которой музе

отсиживался Гарибальди,
и где какая картина,
и то, что Нерон — скотина.

Старинная тарахтелка —
автобус, возивший группу,
но гиды веско и грубо

и безапелляционно
кричали термины славы.
Так было до Рубикона.

А Рубикон — речонка
с довольно шатким мосточком.
— Ну что ж, перейдем пешочком,—

как некогда Юлий Цезарь,
сказал я своим коллегам,
от страха и пота — пегим.

Оставили машину,
шестипудовое брюхо
Прокофьев вытряхнул глухо,

и любопытный Мартынов,
пошире глаза раздвинув,
присматривался к Рубикону,

и грустный, сонный Твардовский
унылую думу думал,
что вот Рубикон — таковский,

а все-таки много лучше
Москва-река или Припять,
и очень хочется выпить,

и жадное любопытство
лучилось из глаз Смирнова,
что вот они снова, снова

ведут разговор о власти,
что цезарей и сенаты
теперь вспоминать не надо.

А Рубикон струился,
как в первом до РХ [1] веке,
журча, как соловейка.

И вот, вспоминая каждый
про личные рубиконы,
про преступленья закона,

ритмические нарушенья,
внезапные находки
и правды обнаруженье,

мы перешли речонку,
что бормотала кротко
и в то же время звонко.

Да, мы перешли речонку.

[1] РХ — Рождество Христово.

ПРОЦЕСС

Судили победителя и — правильно.
Пусть побеждает, соблюдая правила,
ведь, нарушая, победит любой.
Пускай теперь он лично познакомится,
как по костям людей топочет конница,
зовомая судьбой.

А победитель — бравый генерал.
Он говорил: мои войска, мои дивизии,
мой правый фланг удачно напирал!
Потерям на войне чего дивиться?

Присяжные ефрейторы запаса,
привыкшие его глазами есть,
воспламененные его запалом,
шептали: слава, мужество и честь.

Они осудят, если им велят.
Они отпустит, если только смогут.
Но навсегда запомнят этот взгляд
сверхчеловеческий,
беспрекословный опыт.

История, Евангелье, мораль,
за веком — век,
за далью — даль
судили победителя поспешно,
но для него процесс прошел успешно.

* * *

Блаженны кроткие.
Они дослышат сами
свои слова, своими голосами
произнесенные, и как замрет строка.
Да, сами! На грядущие века!

Не передоверяя ненадежным
потомкам, вкусам, новым или ложным,
не утруждая правнуков своих,
они начнут и кончат краткий стих.

Блажен, кто средства с целью соразмерил
и самолично результат проверил,
чей тембр и тенор, баритон и тон
собственноручно эхом подтвержден.

Блажен следивший в книжном магазине,
как теребил какой-нибудь разиня
дышавший типографской краской том
его! И в кассу заплатил потом.

А что потомки? Может быть, они
понять не смогут пенья лебединого.
В темпе секунд летят пред нами дни.
Давайте не упустим ни единого!

ЗАТЕСАВШЕЕСЯ СТОЛЕТЬЕ

Не машинами — моторами
авали те автомобили,
запросто теперь с которыми —
а тогда чудесны были.

Авиатором — пилота,
самолет — аэропланом,
даже светописью — фото
звали в том столетье славном,

что случайно затесалось
меж двадцатым с девятнадцатым,
девятьсотым начиналось
и окончилось семнадцатым.

* * *

Не знал никто из них,
не знал никто из нас,
никто из всех.
Особый стиль возник:
работать на износ,
на неуспех.

Работать на разрыв
сердец,
работать на авось
и наугад
и, наконец, работать
на конец,
работать на разрыв,
разлом, распад.

Зачем?
Никто не знал.
Догадывались все.
И вновь трудились, снова на износ,
и, словно магистральное шоссе,
подрагивали под тяжестью колес.

КЛАССИЧЕСКИЙ МЕТР

Неразнообразен на диво,
привычен, обычен давно,
но мне все равно, все едино:
и волны талдычут одно.

А дни, чередуясь с ночами?
Стандартные фазы луны?
Мы новое ищем вначале.
Нам новости утром нужны.

Не всякое и не любое
в стихе коренится, живет,
а ритмы сердечного боя,
и солнца закат и восход,

и топот солдатского шага,
и капли дождя или слез.
Понадобится отвага,
чтоб радоваться всерьез

тому, что не много, а мало
неслыханности, новизны
до грозного грома обвала
мы переслушать должны.

* * *

От отчаяния — к надежде
перейдем, конечно, не прежде,
как отчаясь на всю катушку,
потеряв себя до конца,
позабыв даже мать-старушку,
а не то что родного отца.

Но когда и небо с овчинку
и соломинка рвется из рук,
вдруг ничтожнейшую причинку
для надежды находим. Вдруг.

И как только причинку находим —
мы к надеждушке переходим,
и надежда все прибывает,
а отчаянье — убывает.

Убывает, как температура,
убывает зимой с каждым днем,
и привычка, вторая натура,
говорит: а что нам в нем?

Только скажет: что нам в отчаянье? —
как развяжет опять качанье.

И душа, вполне обнадеженная,
воспарившая вдруг душа,
полетится, как обезноженная,
до отчаянья. Не спеша.

* * *

Сколько ванек-встанек не вставших,
никогда не вставших, нигде,
даже между товарищей старших
столь готовых к любой беде.

Как покачивались величаво!
Как стояли! И все могли!
И какая была у них слава!
Но упали и встать не смогли.

Центры тяжести, что ли, сместились?
Отказал притяженья закон?
Во все тяжкие, что ли, пустились
без морали, преград и препон?

Или попросту — ихнее время
шло и шло и дошло до нуля,
и не хочет лишнее бремя —
не желает! —
носить земля.

* * *

Привычные воззрения,
определенность взгляда
от времени до времени
перепродумать надо.

А принципы проверенные
становятся увереннее,
как только их основы
перепроверишь снова.

И даже звезды на небе
достойны пересчета.
И даже книги гения
доступны перечету.

И верится едва
в меняющемся мире,
что даже дважды два
действительно четыре.

Вступительная заметка и публикация Юрия Болдырева

Александр Володин

Записки нетрезвого человека

Не могу напиться с неприятными людьми. Сколько ни пью — не напиваюсь. Они уже напились — а я никак. И чем больше пью, тем больше их понимаю. И чем больше понимаю, тем противней. Никогда не пейте с неприятными людьми.

Перед концом она оставила все в идеальном порядке: заплатила за свет, телефон, квартиру вперед за три месяца. Как будто для того, чтобы никто не заботился *потом*, когда ее не станет. Алеше долго говорили: «Мама упала, ушиблась и лечится в Таллинне». Предчувствовала? (Сердце.)

Не забыть этот сон.
Каменистою речкой летели.
Валуны и песчаные мели...
(Не забыть этот стон.)

Он — потом. Долетели.
Вот он —
город на возвышенье. Бревенчат.
Желтым Домом культуры увенчан...
(Не забыть этот стон.)

Город прочный, незыблемый, старый.
Правда, фабрика — наших времен.
Вход завален порожнею тарой...
(Не забыть этот стон.)

Я спускаюсь осклизлой дорожкой.
— Как красиво! — послышалось мне.
Бабы в чанах мешают окрошку.
Понимаю, что это во сне.

Тут она на меня посмотрела
сквозь венок (почему сквозь венок?!).
Посмотрела неясно, несмело.
Чан с окрошкой, мешалка у ног.

Раз венок, я подумал — простила.
Значит, ей в подземелье пустом
хорошо?.. Боль на миг отпустила.
Не забыть этот стон.

Первая часть «Записок» опубликована в книге: Александр Володин. «Одноместный трамвай». М., изд-во «Правда», 1990.

До войны, в армии, нас водили из казармы в баню, кажется, раз в две-три недели. Там, в банном непроглядном пару надо было торопиться, потому что очереди ожидало следующее подразделение. А в войну нас водили в баню только на переформирование, раза три-четыре в год. Все остальное время мы были одетые, точнее сказать — в форме.

И вот. Уже после демобилизации мы с женой оказались на пляжном берегу речки, где загорали знакомые люди.

И надо было раздеться. Но чувствую — это невозможно, это стыдно. Потому что долгие, долгие годы я не представлял, чем окажусь перед знакомыми людьми — без солдатской формы. Чем-то *неодетым*, странноватым, нечеловеческим. И вот сижу на жаре одетый. Наконец — что делать — скинул с себя все и скорей по берегу прочь, пока никто не разглядел. Когда же пришлось вернуться к загорелым, аккуратно оформленным, упитанным людям, жена мне тихонько сказала: «Вот этот (показала) увидел тебя издали и говорит: „Какой мальчик идет, а?“» А этот тридцатишестилетний, иссушенный армией и войной «мальчик» и был я. Просто тогда уже входила в моду такая вот иссушенность.

Бог мой, зачем обрек меня жить так долго? Не такой уже иссушенный, лежу на тахте — «лежанке», называю ее. И подняться с нее неохота. И плевать мне на то, какой я стал. Только вот по-прежнему по разнообразным поводам то и дело стесняюсь, все равно как будто в солдатской форме хожу.

Заезжая француженка сказала: «Нигде так много не думают о Правительстве, как в нашей стране». А как иначе? Мало где люди так зависят от Правительства, от его непостижимых ошибок и от решительного исправления этих ошибок на другие. Мало где так гадают, чего следует ждать от Правительства в будущем, что стоит за Его словами и так далее. Хорошо, когда интересы членов Правительства совпадают с нуждами страны. Это, к сожалению, случается лишь тогда, когда страна впадает в бедственное положение. И стоит с протянутой рукой. Вместе с Правительством.

Сначала были встречи. С одним человеком, с другим человеком... Потом начались расставанья. С одним человеком — ее обмотали шарфиком и куда-то увели. С другим человеком — его вдруг взяли и куда-то увезли. Расстаешься. Добро бы со знакомыми — с друзьями! Добро бы с друзьями — с любимыми! Зачем расставаться с любимыми? Ради других любимых? С которыми тоже расставаться? А с ними ради чего? Ради того, чтобы наконец расстаться со всеми вместе?

Воспоминание. Год точно не помню, но — начало дней Хрущева. Вызывают в Большой дом. Свидетелем. Кирилла Косцинского арестовали. Встречают меня несколько следователей, что ли, в военном, говорят дружелюбно, они, мол, теперь не такие, как прежде. Про разговор в небольшой компании у Кирилла, однако, при американце. Дали прочитать показания человека, который там присутствовал. И — слово в слово! Вот, думаю, память! Но я говорю, что выпил здорово и ничего не помню. А в показаниях значилось, что жена моя сказала, обращаясь к Косцинскому, *выйдя на балкон:* «Кирюша, выйди на балкон, посмотри, не кончилась ли советская власть». Это цитата из «Мандата» Эрдмана. Но балкона-то у Кирилла не было! Значит, это для достоверности, как бы ремарка. Как драматурги пишут.

Потом выяснилось, что подслушивающее устройство было в люстре. Кирилл получил пять лет, это была еще самая первая при Хрущеве посадка. Он, вообще-то, не так много сажал.

На суде я отвечал: «Не было. Не помню. Не помню. Не было». Судья не сдержался: «Как же вы работаете, если ничего не помните!» А я говорю, причем грустно и чистую правду: «Мне очень трудно работать...» На что тот рявкнул: «Пить меньше надо!»

Конечно, сказывается.
«Этот день войдет в историю как день...»

«Этот год войдет в нашу историю как год...»
А я уже забыл, какой день и какой год.
Или: «Человек Десятилетия». Какой человек — помню. А какое десятилетие, то есть с какого по какое число — забыл.

Читая книгу, в которой речь о деревне, мы, горожане, испытываем волнение, оно приходит из каких-то забытых щелей памяти. Деревня стоит непосредственно на земле, воды земли омывают ее реками и речками, травы и деревья земли растут из нее в самые страшные времена. Небо смотрит на нее пристально, как никогда не смотрит на города, оно словно тщится искупить свою вину за неполадки в погоде. Осень, зима, весна и лето здесь значат больше, чем в городе. К переменам погод в деревне приглядываются деловито, но вместе с тем незаметно принимают в душу вкрадчивую ежедневную их прелесть.

Это было еще тогда, в годы, когда я учительствовал в деревне, до войны. Изнурение после шести уроков. Соевые батончики в сельпо на полке. А по воскресеньям в тесной избе «метелица»: под ручку в одну сторону — притоп — и в другую сторону. И стихи Пастернака.

Потом довелось брести через деревни из гари, снега и войны — вмиг постаревшие, недогоревшие до конца, убитые. А сколько их теперь с тех еще, кажется, пор такими же и остались.

Действующие лица пьесы «Наталья Тарнова», очень популярной в двадцатые годы. Не могу удержаться, перепишу.

Наталья Тарнова, партийка, 28 л.
Габрух Викт. Серг., беспартийный, 30 л.
Рябьев, партиец, 29 л.
Сафо, жена Габруха, беспартийная, 26 л.
Нагайло, партийка, 35 л.
Маня, прислуга Габрухов, беспартийная, 18 л.
Анатов, партиец, 56 л.
Пьяный на улице. (Партийность не указана.)

Теперь напишу-ка то, что, может быть, и не стоит, но вдруг вспомнилось. Мой старший сын, когда уже кончил университет, сделал какое-то открытие в математической логике. Может быть, попозже сделал, а пока этим только занимался. Однако любившие его научные руководители говорили, что, мол, Володя, не забивай своей головой гвозди, это бесперспективное направление. Однако в Америке (не могу точно указать штат, примерно тот, где жили Том Сойер и Геккельбери Финн) стали понемногу публиковать некоторые его соображения, написанные непонятными человеку знаками. А наука (называлась «математическая логика») была для него главное в жизни. И он наконец решил, что раз она здесь не нужна, а там почему-то нужна, надо поехать туда и заниматься ею непрерывно. А тогда еще никого никуда не отпускали. И его не отпускали...

Теперь я приступаю к другой стороне этой истории, в которой уже и я принимал косвенное участие. Случалось, я говорил то, что было тогда подсудно. И вот однажды говорю что-то такое, как вдруг вспомнил: меня предупреждали, что при В. надо избегать таких разговоров. Поэтому, когда она вошла, я замолк. А она покраснела и убежала. Оказывается, В. была женою крупного деятеля КГБ. И при ней о недозволенном (тогда) не говорили. Нет, она была хорошая, и ее ни в чем плохом не подозревали. Но — вдруг, мало ли, неосмотрительно ляпнет что-нибудь про кого-нибудь при муже? И она, главное, понимала все это! И мою заминку в разговоре приняла на свой счет. И вот, покраснела и убежала.

И мне стало так жалко ее, что я побежал за нею, нашел, повел в буфет и стал рассказывать про Гулаг, про Пастернака и вообще о том, что тогда было подсудно. Сначала это ее немного ошеломило, потом она стала делиться со мной тем, что было известно пока только еще в КГБ, а до нас еще не дошло. И вот, это мое доверие к ней так ее удивило и тронуло, что она решила спросить:

— А твой сын правда хочет уехать в Америку?
— Хочет,— говорю. И объяснил, почему.
— А ты не думаешь, может, его не отпускают потому, что думают, что ты тоже уедешь, какой-никакой писатель, все-таки ЧП.
На что я сказал ей:
— Никогда.
И объяснил, почему, здесь повторяться не буду.
Через несколько дней она уточнила, точно ли я не уеду. И я еще раз повторил, что лучше под забором помру, но здесь. И снова объяснил, почему, но здесь долго повторять.
А через несколько недель сын получил разрешение на выезд.
Словом, думаю, что вы догадываетесь — что, как и почему.
Кстати, теперь, много лет спустя, оказалось, что та наука, которая считалась бесперспективной, стала необыкновенно перспективной. И этот сын ездит по разным странам с лекциями и даже у нас за год был уже три раза на симпозиумах по этой науке.

Теперь у телевизоров все. Консерваторы почему-то вдруг вознегодовали на члена Политбюро Яковлева. Почему бы, думается, именно на него?.. В каком-то фантастическом рассказе чудища, похожие то ли на кабанов, то ли на волков, безошибочно находили и пожирали *человека*, хотя сами были слепы. Как же находили? По излучению *мысли*. А Яковлев умный, вот в чем беда его. Удастся ли тем слепым полукабанам уничтожить постепенно всех мыслящих?

Примерно 76-го года записка:
Эти едут. И те собрались. Провожанья, прощанья, прощенья, сборы, споры в квартирах пустых... Кому — в путь, кому — снова под дых, а кому ожидание виз, получили уже разрешенье.
— Вы когда?
— Мы в четверг.
— Нам отказ. Срок истек. Подадим еще раз.
Чей-то родственник щелкал и щелкал объектива внимательной щелкой. Фото тем, кто уже собрались, у кого ожидание виз... Кто друзья? Кто сестра? Кто стукач? Эта плачет. Плачь, милая, плачь. А оттуда неясные вести, эти едут, те ждут, те на месте...
Как вдруг.
Я увидел молодую женщину. Она не плакала. Она была красива, красива, красива!
Я спросил ее:
— Вы уезжаете?
— Нет,— сказала она.
И я крикнул фотографу:
— Сфотографируйте эту женщину! И увеличьте ее портрет! И повесьте на стену дома! С надписью:
«Эта женщина не уезжает!»
А недавно я узнал, что она живет в Париже.

Пожизненная конкуренция. Люди ревниво сравнивают себя с другими. Комик Макс Линдер покончил жизнь самоубийством из-за того, что Чаплин его превзошел. Достоевский карикатурно изображал собратьев по перу Тургенева и Гоголя. Булгаков в «Театральном романе» вывел в образе завистливого писателя популярного в те времена Бориса Пильняка. Каждый выбирает себе предмет для соперничества и терзаний.
Когда Марлен Дитрих, звезду мирового экрана, спросили:
— Как вам удается не стареть?
Она ответила:
— Я хорошо сплю и никому не завидую.

— Алеша, ты видел, какой я вчера был?
Младший мой, с запинкой:
— Да...
— Ты никогда не будешь такой?
— Не знаю.
— Почему?
— Позовут в компанию, неудобно отказаться...

•

Бросаю. С завтрашнего дня. С сегодняшнего. На всем сказывается. Торможение какое-то.

Когда Алешина мама умерла (ему было пять лет), я наконец решился сказать ему об этом.
— Алеша, тебя не удивляет, что мы давно не видим маму?
Не помню, что он ответил, но оказалось, что давно уже догадывался.
Спросил:
— Мама была красивая?
— Да,— говорю.
— А ты не можешь жениться на молодой и красивой, чтобы она мне тоже понравилась?
Я обещал.
— А ты можешь жениться на Ире Алферовой?
— Алешенька, у нее уже есть муж, Саша Абдулов.
— Жалко,— печально сказал он.

Маленькие мысли, оставьте меня!.. Да что это такое, сгиньте, брысь! Я и не думаю о вас! Я думаю о той женщине, что переходит дорогу. Как хорошо, что такие переходят дорогу!.. Что, опять? Да я с ума сошел! Да я и не думаю об этом! Я думаю о море весной, о грохочущем, светло-зеленом... Сгиньте, брысь!

Каждый человек как бы соответствует городу, селению определенного масштаба. Во время войны, когда мы занимали небольшой городок — Тирасполь, Андриаполь (какое греческое название!), Великие Луки,— перед нами открывалась мощеная *белым* булыжником мостовая и заборы, над которыми нависала сирень, и окна *белых* одноэтажных и двухэтажных домиков, за которыми, наверное, скрывались девушки в белом, которые, может быть, умеют играть на пианино. Провинциальные русские города...

Она все время искала просто хорошего человека, с которым можно поделиться или провести время. Но все так привыкли казаться хорошими людьми и принимать за это плату, что она платила и платила.

Бог или что-то высшее сначала дает тебе понять, в чем твой главный грех. А следствие его все остальные. Потом дает мученье за эти грехи. А потом — некоторым! — как бы очищение, покой. А так-то грехи есть у всех, с первого грехопадения человека.

В 43-м году, на фронте, замполит наш лихо так объявляет:
— Всем взводом! Вступаем в кандидаты партии!
Тогда по действующей армии прокатился неустанной вдохновенный лозунг: «Коммунисты, вперед!» Отказываться? С чего бы! Значит, призыв «Коммунисты, вперед!» — это не ко мне, можно и назад?
Впоследствии это стало стыдом моей жизни.

Получилось так, что я первым вышел из партии в писательской организации Ленинграда.
Секретарь тяжко вздыхает.
— Что вы? — спрашиваю.— Боитесь, что последуют другие?
Как напророчил...

•

Я рано пред судом предстал. Из пионеров исключенный, на беспартийность обреченный, я виноват был, хоть и мал... Не помню, за какие вины меня извринул комсомол — таким в рядах не место, мол. Без грусти я его покинул. Судим и который раз подряд, теперь и партию покинул. И вот — свободен. И отныне ни перед кем не виноват.

Жена вспоминает: когда вернулся с войны в «гражданку», я время от времени замолкал и сосредоточивался. «Вот я с тобой говорю, а у меня в голове тупость». *Тогда* уже...

Вчера по телевизору — большой железнодорожный начальник:
— Электровозов *катастрофически* не хватает. Раньше получали из Чехословакии, теперь они сократили. Вагонов не хватает *катастрофически*. Раньше из Венгрии получали, а у них перестройка, уменьшили поставку. Да и разгружать *катастрофически* некому. Отсюда и дефицит всего.

Некогда Дождь — как в стихах Пастернака — это было Прекрасное. Теперь дождь — это надо шапку надеть. Впрочем, все, что у Пастернака, было Прекрасное.

В кашне, ладонью заслонясь,
Сквозь фортку крикну детворе:
Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?

Я почему-то считал, что кашне — это не шарфик, а какая-то странная кашня, в смысле — каша, в которой сидит Пастернак, одинокий, как зверек в норе, в перловой каше, из которой и выглядывает в форточку.

ОДА КОФЕЙНОМУ ЛИКЕРУ

Кофейный ликер я однажды попробовал на дне рождения товарища, в десятом классе. Он поразил меня соединением душистого, поэтического, женского, прекрасного.

Потом, когда я работал в деревне учителем, по воскресеньям я покупал в сельпо четвертинку водки. Кофейного ликера там не было. Правда, и закуски не было. Так что закусывать приходилось соевыми батончиками, которые почему-то были.

Но речь идет о кофейном ликере. Когда война кончилась, я о нем просто забыл. Он как бы перестал существовать вообще.

Потом началась такая сложная жизнь, что не распутать. Время от времени я заходил в магазин за углом и брал там водки или вина и всегда почему-то замечал: сверху на полке стояли пирамидкой бутылки кофейного ликера, темно-коричневые с золотым названием наискосок. Но мне и в голову не приходило взять его. Все мои друзья и вообще все люди знали, что ликер — это пошлое, глицерин, отрава.

Но недавно я зашел в магазин, чтобы взять с собой чего-нибудь, достойного моих знакомых, к которым я был приглашен в гости. Но оказалось, что ничего достойного этих знакомых в магазине не было. Были только бутылки кофейного ликера. Тогда я подумал. Зачем я пойду к этим знакомым, где надо улыбаться

в ответ на улыбки, а улыбаюсь я с трудом, где надо острить в ответ на остроты, а острю я с трудом,— и я решил не идти к знакомым, а взять бутылку кофейного ликера и вернуться домой.

Я вернулся домой и стал пить кофейный ликер. И сразу же все запутанное постепенно распутывалось по мере того, как я пил. У других не распуталось бы, я не говорю этого. Но у меня постепенно распуталось. И вспомнилось разное хорошее. У других не вспоминалось бы, я не говорю этого, но у меня вспоминалось. И жить становилось легче, несмотря на все плохое, что было в прошлом, и все тяжкое, что было в войну, и все запутанное, что сейчас. Я не говорю, что другим стало бы от этого легче. Но мне стало.

Через несколько дней я снова зашел в магазин. И сразу увидел — на верхней полке не было коричневых бутылок с золотой надписью наискосок. Не верилось, что за эти дни кофейный ликер мог вдруг исчезнуть. На всякий случай я все же попросил кофейного ликера. Но продавщица сказала, что он кончился. Я пошел в другой магазин. Но там продавщица сказала, что она не помнит, когда кофейный ликер и был. Ни в одном магазине не было кофейного ликера. И никто не знал, будет ли он когда-нибудь.

А впрочем — пить осталось так недолго...

В школе, когда я учился, было принято время от времени собирать деньги на неимущего. И вот вдруг узнаю, что собирают деньги на ботинки неимущему мне. Тогда как семья, в которой я жил на правах родственника, была вполне обеспеченная. И было стыдно. Как будто собирают по недоразумению. Правда, ботинки были нужны.

Из-за унизительного положения в доме я разнуздывался в школе. Директор однажды пригласил отца моего товарища, спросил, как ему кажется, нормален ли я психически. Позже, в армии уже, но до войны, приехавшую ко мне в воскресенье девушку (в Подольске еще, под Москвой) политрук спросил то же самое: как ей кажется, нормален ли я психически.

Тогда-то я был нормален.

Знать бы мне, что уже тогда жизнь изготовилась, занесла надо мной лапу. Верней, предоставила мне самому попасть во все капканы ее, словно сам ищу их. Но об этом писать не надо. Только одну строчку Арсения Тарковского:

Жизнь моя, что я сделал с тобой!

М. восемьдесят лет. А он работает, работает, пишет, пишет, и хорошо. Укоряет меня, что не пишу. А я не писатель! Просто некогда полюбил театр. Тот, которого уже нет. Писал же, собственно, потому, что в другом качестве я театру не понадобился.

Национальность, пятый пункт? Когда наши танки вошли в Прагу, я был чех. Сейчас, когда мы душим Литву, я литовец. Возможно, предстоит стать и грузином, и украинцем, и армянином... А по любви к Толстому, Достоевскому, Чехову, Пастернаку, к белым городкам с булыжными мостовыми, которые в войну довелось пройти сначала с запада на восток, а потом обратно... А умру только лишь русскоязычным.

В казарменной столовой до войны работала девушка неземной красоты. Я думал: за кого такая может выйти замуж? За генерала? За поэта? После войны попал в Подольск, где была тогда наша казарма. Решил сходить, посмотреть на нее, постылую. Вижу — из проходной с тяжелой кошелкой выходит — кажется, она! Но опухлая, совсем пожилая, усталая уже навсегда. Решился, спросил — глупое, а что тут умное придумаешь. Что-то вроде: «Как жизнь?» А она ответила деловито, грустно: «Жить надо...»

Как начнутся мысли о том, что пора бы,— вспоминается это: жить надо...

Да ведь глупо мучиться уже!
Как будто сто лет жить осталось!
Это теперь заклинание такое. Иногда помогает.

Старший мой сын Володя перед отъездом в Америку так и не видел своего младшего сводного брата Алешу. Тот жил у своей мамы, которая умерла молодой. И вот недавно приезжают из Стенфордского университета Володя (на какой-то научный симпозиум) и с ним жена Лена. И вот, эта жена Лена проводит с Алешей целые дни на кухне, я уж советую ей хотя бы походить по родному городу — она ни за что, говорит, что ей с Алешей интересно. Володя же в свободное время начал заниматься с ним чем-то научным. Теперь Алеша с утра стоит у окна, ожидая его возвращения с симпозиума. Я сказал об этом Володе, он говорит: «Ого, это ответственно, надо подучиться». А потом я понял: они полюбили Алешу, им представлялся он как бы довольно взрослым сыном. И Алеша полюбил их. И они стали уговаривать нас, чтобы мы отпустили Алешу жить в Калифорнию, там он будет учиться и так далее. И мы решили, как многие сейчас решают,— главное, детей куда-нибудь отправить и так далее. И вот он скоро должен поехать.

Я не стал бы рассказывать эту историю, если бы Алеша вдруг не начал поговаривать: «Мне кажется, у меня уже начинается ностальгия». Я понимал, у него здесь уйма друзей и уезжать от них тяжко. Но оказывается, я еще не все понял. Он влюбился. Да как! Спрашиваю его: «Какая она?» Говорит: «Во-первых, она очень красивая. Во-вторых, она очень умная». И так далее. Ее влияние стало сказываться и на мне. Через него, разумеется. Оказывается, например, нельзя на ночь пить коньяк и снотворное. И так далее. И вот ситуация для него трагическая. Кажется, уже и ехать не хотел бы, остался бы с Викой. Но с другой стороны, все уже оформлено, и его там ждут и любят, и с третьей стороны... Иногда, признался мне, ему приходят мысли о самом крайнем конце. Как в этом возрасте бывает.

Старшего, Володю, как-то спрашиваю по телефону:
— У тебя бывают черные мысли по утрам?
Он смеется.
— Папочка, мне некогда, я работаю!

С. Юрскому

Давно известно, что у каждого должно быть хобби,
какое-нибудь увлечение помимо профессии.
На Западе — там уже у всех есть.
Уже и у нас, почти у всех моих знакомых
было по своему хобби.
И я стал искать, какое бы хобби завести мне.
В первую очередь пришла в голову, разумеется, фотография.
Можно снимать направо и налево,
прямо на улице, детей и женщин,
которых больше никогда не увидишь.
А так они у тебя остаются.
Но это хобби у меня не получилось.
А почему не получилось — непонятно.
Тогда я придумал другое хобби:
путешествовать автостопом.
Поднял руку, остановил машину
и поехал туда, куда глаза глядят.
Но и это не вышло, никуда не поехал.
Пожалуй, потому, что это неудобно,

ни с того ни с сего остановить машину.
Мало ли, а может, ему неохота.
Так я придумывал хобби, одно другого интересней,
но ни одно не получилось.
А потом я понял, почему.
Потому что у меня уже было хобби!
Вот так, тихо и незаметно, было.
Не лучше, чем у других, и не хуже.
Оно появилось само по себе
и донольно давно уже, это хобби.
Тогда и названья такого еще не было,
и ни у кого, кроме меня, еще не было хобби,
а у меня уже было!
Это хобби — с кем-нибудь выпить.
Лучше всего с незнакомыми людьми.
Не родственники, не начальники, не подчиненные,
просто повстречались несколько человек
на одном и том же земном шаре.

Большая политика, вся из мелких хитростей, любуясь собою, шествует по миру.

Вспыхнувшая любовь двух сверхдержав.

Истовая свобода религии с партийно-телевизионными куполами и крестами.

Да что это я заполитизировался! Все, довольно.

Захожу на почту. И вдруг. За окошком сидит *немолодая* уже, подчеркиваю, женщина редкостной красоты и обаяния. Я бы описал, если бы на это не понадобилось много слов и эпитетов. И кажется, она с чувством юмора. Почему такое впечатление — тоже трудно объяснить, и надо много слов. Я решил написать ей справку. И напечатал на машинке.

Справка

дана . . . .
(проставить фамилию, инициалы)
в том, что она очень красивая и обаятельная женщина и, кажется, с чувством юмора.

Член Союза писателей,
Союза кинематографистов,
Союза театральных деятелей.

Вручил ей справку, она засмеялась и сказала, что пошлет в Управление почт.

Наверное, после долгой армии и войны женщины стали казаться много красивее.

Думаю, что Бог навсегда оставил Марию такой, какою она была, когда родила Иисуса. Не потому ли художники изображали ее как идеал красоты своего века.

Митинг на Дворцовой площади 8 апреля 1990 года.
Плакаты на митинге:
«Руки прочь от Литвы!» (таких много).
«Фабрики рабочим, земля крестьянам, коммунизм — коммунистам!»
«Воры в Кремле, танки в Литве?»
«Петербуржцы! Не дадим захлопнуть форточку в Европу!»
«Прощай, империя!»
«Главное — выдержать испытание демократией!»
«Горбачев! Снова — тотальная ложь?»
«Отменить Ленинские субботники как использование бесплатного труда!»

«Егор, ты не брал?» (о Лигачеве).
«Правительство — под суд народного трибунала!»
Как уцелели невидимые нити, привязавшие меня намертво к этой стране?

...телевизионную передачу, извинившись, перебили обращением к народу: в Ленинграде 200 детей больны лучевой болезнью, лейкемией. Просьба участвовать в сборе твердой валюты для отправки девочки Кристиночки на лечение в Америку. Стоит 50 тысяч долларов. На это отозвалась та же Америка.

Почему мы обратились за помощью одной только Кристиночке? А остальные сто девяносто девять детей? Пускай умирают?

Почему мы обращаемся к человечеству за помощью с надеждой на гуманность и сострадание, в то время когда сами экономической блокадой обрекаем литовских детей на голод и болезни?

Почему — ни слова о том, чтобы нам самим, хотя бы в далеком будущем, научиться излечивать эту, да и другие болезни, которые могут только там? Это невозможно? Никогда? Ведь умеем же делать необыкновенные ракеты с разделяющимися боеголовками? А вдруг когда-нибудь одержим победу над ними, так называемыми демократическими странами? У кого тогда будут лечиться члены правительства и работники аппарата?

Впрочем, выход найден. Посылаем детей еще и на Кубу. Там, оказывается, тоже умеют. Не придется ли посылать детей в развивающиеся африканские страны?

Почему мы так боимся отделения Прибалтики? Не потому ли (кроме всего прочего), что, отделившись, эти страны постепенно станут жить хорошо, например, как Финляндия? А мы по-прежнему плохо. Что тогда?

Но у меня есть сын, который смешно шутит, который занимается наукой, которая мне непонятна, который уже сделал какие-то открытия, которому непонятны мои терзания, забавны мои недостатки... Почему, когда он жил здесь, так редко удавалось с ним поговорить?

Почему за пять лет перестройки мы не успели утвердить закон о правах человека, тогда как после Великой французской революции Декларация о правах человека и гражданина была утверждена за месяц?

ПОЧЕМУЧКА

Почему
наши войска оказались в Венгрии, а не венгерские у нас?
Почему
наши войска оказались в Чехословакии, а не чешские у нас?
Почему?
наши войска оказались в Грузии, а не грузинские экстремисты у нас?
Почему
наши войска оказались в Афганистане, а не афганские у нас?
Почему
наши войска оказались в Эстонии, Латвии, Литве, а не их войска у нас?
Почему они добровольно присоединились к нам, а не мы — к ним?

А как хорошо начиналось! Как будто все прошлое разом ушло в прошлое, а все новое так вдохновляло!.. А сколько умных людей появилось в стране, думающих не о себе! (Что Старовойтовой — Армения?)

Воспоминание первого года войны. Как прорывались — но не на запад, а на восток. В Полоцке многие набрали в вещмешки денег из брошенных магазинных касс. А потом на берегу какой-то речки вывалили все. В деревнях молоко давали так, наши деньги были уже не нужны — другие, немецкие будут.

Какая-то полевая кухня вылила прямо на поле гороховый суп с молоденькой картошкой. Мы тянули его прямо с травы, пока не доставал минометный огонь. Оторвались, когда суп кровью подтек. Подхватили винтовочки, побежали дальше. Бегу, куда все. Сprава танк, тоже едет, куда все. Стараюсь от него не отстать. Выхлопные газы — не продохнешь, зато с одной стороны защита. Вдруг глянул — на танке белый крест, фашистский. Я — в сторону. Но они даже из пулемета не цокнули. Наверное, потешались там внутри надо мной в обмоточках.

ВОСПОМИНАНИЕ О СОРОКОВОМ ГОДЕ

Наш полк был поднят по тревоге.
Мы совершили марш-бросок.
Куда ночные шли дороги —
никто из нас и знать не мог.

На место прибыли к рассвету.
Рубеж заняли огневой.
Как в праздничные дни, котлеты
раздали с кухни полевой.

Указаны орудьям цели.
Там враг неведомый засел.
Тут мы в готовности засели.
День поднимался, тих и бел.

Приказ: открыть артподготовку
полку в одиннадцать ноль-ноль.
Отдельный дом с резным флагштоком,
лесок с отдельною сосной.

И ворошиловская лава,
царица славная полей,
покатит мощно, величаво
за шквалом наших батарей.

Но что такое? В десять тридцать
приказ: огня не открывать,
а мирно перейти границу
и без огня, едрена мать!

И перешли ее без боя.
С оркестрами. Парадный строй.
Туда, где дом стоял с резьбою
и лес с отдельною сосной.

И только на другой день мы узнали, что Эстония, Латвия и Литва добровольно влились в семью советских республик.

Те, которые ради истины и будущего идут на лагерные сроки,— обрекают себя.

Те, которые грабят народ и строят себе невиданные дачи,— обрекают страну.

Те, которые держат мир в страхе перед своим военным могуществом,— обрекают мир. Вместе с собой.

В 1939 году я должен был по повестке явиться на призывной пункт. Через пять дней. Я относился к этому равнодушно и даже с интересом. Что делать с собой, я в то время не знал, пускай делают со мной что захотят, хотя бы *там*. К тому же так вышло, что ничего дорогого здесь, в «гражданке», я не оставлял.

Как вдруг по телефону позвонила незнакомая девушка, которая про меня от кого-то все знала. (Потом выяснилось — от бывшего моего одноклассника.) В общем, телефонный розыгрыш. Но говорила она хорошо, умно. И голос. Долгий разговор был. И вдруг она предлагает встретиться. И тут я, не смейтесь, испугался. Мне представлялась девушка прекрасная и вся в белом. А я как раз через пять дней ухожу в Армию. Не судьба ли так меня наказала?

Сказал ей об этом. Но она:

— Что вы, я такое маленькое, серенькое...

Встретились — я сразу успокоился. Правда, маленькое, серенькое. Несколько дней погуляли по улицам.

И вот, сидим в грузовых машинах, еще нестриженные. Женщины кругом плачут, а она смотрит снизу и говорит:

— Видишь, какая у тебя будет бесчувственная...— и запнулась.

Моторы уже тарахтят, плохо слышно.

— Что ты сказала, не понял!

— Я сказала: видишь, какая у тебя будет бесчувственная жена?

Вот это да. Машины тронулись, она побежала вслед. Потом мотор, что ли, заглох, остановились. И она поодаль остановилась, прислонилась к водосточной трубе. Опять поехали — она опять побежала. Потом отстала. В войну переписывались. Все с кем-нибудь переписывались. Когда я попал в госпиталь, она приехала. Нянечка нас пожалела, дала обед на двоих, на кухне.

А после войны и правда поженились. Долго жили трудно. Но теперь ничего. Я уже немолод. И она немолода. Я часто устаю. Она болеет.

Посмотришь назад, на прошедшие годы и годы — как, кажется, коротко, как просто было все...

Нет памяти на хорошие подробности жизни. А ведь были же, были!

Говорят, и страна наша лет через пятнадцать, а кто говорит — через семьдесят, возродится. Но нас тогда уже не будет. И шестидесятников не будет... Может быть, дети, самые маленькие, доживут?

З. Гердту

Правда почему-то потом торжествует.
Почему-то торжествует.
Почему-то потом.
Почему-то торжествует правда.
Правда, потом.
Людям она почему-то нужна.
Хотя бы потом.
Почему-то потом.
Но почему-то обязательно.

Почему думают, что смерть — это страшно? Потому что больше не будет радостей жизни, ее удовольствий? Нет, смерть страшна не этим. А наступающим безразличием к ее радостям и наступающим интересом к ее болям, ее лишениям и разочарованиям. Разумным, правильным разочарованиям во всем... Так смерть отнимает дни у жизни. Как будто ей мало — долгая жадная смерть отнимает у маленькой щедрой жизни.

Среди очень левых неожиданно оказалось немало очень глупых.
Вот очень популярный, очень левый, а очень глупый.
Вот очень интеллигентный, очень прогрессивный, а тоже...

Отойти в сторону. От театра и кино, от вращения кинолюдей и театролюдей. Да пора уже. И вот, для начала стал работать без интереса. Напрочь бросил заботиться о том, что там делают с моими сценариями. И стало получаться именно то,

чего я добивался: очень плохо. Одна за другой стали выходить на экраны эти картины-уродцы. Думал, если быть далеко в стороне, можно и не знать, что об этом думают люди, от которых я далеко в стороне. Я их не вижу, не слышу, и мне все равно. Но, оказывается, не выходит. Спрашивают: «Неужели это по вашему сценарию? Какой ужас, мы с мужем смотрели...»

Прежде получалось, что все живут, как и я. Послевоенное снимание углов.

И я не пил! Совсем! Даже в главные революционные праздники. Обпивать семью? Жену, сына? Да и на что обпивать-то, когда денег нет. Нет денег на это!.. И вдруг. На Новый год. Жена принесла мне *четвертинку*! Это ошеломило меня. Чуть что не до слез.

Но главное — и думать не думал, что рядом, со всех сторон идет уже жизнь, полная любовных приключений, совокуплений, путешествий. И люди уже определялись по количеству стран, в которых побывали, по количеству женщин, которых имели, некоторые по нескольку штук сразу...

Годы, привычка, усталость.

А что, казалось бы,— годы. Секретарша Шкловского рассказывала, что у него был кристально чистый мозг в девяносто лет. Но если к нему приходил неприятный, надоедливый человек, он вдруг спрашивал: «Симочка, а какой сегодня год?» или «Давно не звонили Юре Тынянову (который к тому времени уже умер), надо обязательно позвонить». И гость поспешно уходил. Отсюда и слухи, что Шкловский в крутом маразме.

Мне приходилось пользоваться другим способом. Если он сидит и сидит и скорей всего никогда не уйдет, я говорю (про себя): «Этот человек не увидит меня до конца своей жизни». И правда, так и получается.

Говорят: «Почему у вас такое грустное лицо?» — и показывают рукой на окно: смотрите, мол, разве жизнь не прекрасна? Причем действительно прекрасна! Для многих.

Лидия Яковлевна Гинзбург — писательница, о таланте которой наше поколение узнало лишь в последние годы — как-то сказала мне: «Счастливый человек не может быть поэтом». А я подумал: «А Пастернак? А наш ленинградский Кушнер?»

Пастернак: «Для вдохновителей революции суматоха перемен и перестановок — единственная родная стихия... Построения миров, переходные периоды — это их самоцель. Ничему другому они не учились, ничего не умеют. А знаете, откуда суета этих вечных приготовлений? От отсутствия определенных готовых способностей, от неодаренности. Человек рождается жить, а не готовиться к жизни. И сама жизнь, явление жизни, дар жизни так захватывающе нешуточны!..»

Еще из Пастернака: «Я с детства питал робкое благоговение перед женщиной, я на всю жизнь остался надломленным и ошеломленным ее красотой, ее местом в жизни, жалостью к ней и страхом перед ней. Я реалист, до тонкости знающий землю, не потому, что я по дон-жуански часто и много развлекался с женщиною на земле, но потому, что с детства убирал с земли камушки из-под ее ног на ее дороге».

Виновен ли русский народ перед интеллигенцией, или интеллигенция виновна перед народом?
Не знаю.

Надо ли вести себя так, чтобы люди думали о тебе с уважением, или — самому все время думать о своей душе?
Не знаю.

Нынешняя молодежь умнее ли нас, когда мы были молодыми?

Да.

Будет ли она счастливей нас?
Не знаю.

Теперь вынужден разъяснить некоторые нелепости, которые читателя могут смутить. Дело в том, что хорошая женщина — редактор — на полях моей рукописи в кружочках указала, что кое-что надо «разр». Я понял, что это значит — «разработать». И, что мог, стал разрабатывать. А что не мог — вычеркивать. Отсюда и возможны непонятности. Утешает меня то, что я и сам в жизни многого не понимаю. Думаешь так, а потом оказывается наоборот.

Что же оказалось! Что кружочки эти означали не «разработать», а просто для наборщиков типографии — «в разрядку». Это примечание.

Учтите, это очень приблизительно, я, к сожалению, далек от живописи, что-то не запомнил, что-то недопонял. Картины восьмидесятых годов. Два человека с флагом и фонариком освещают дорогу с демонстрации. За ними ползет маленький динозаврик.

Другая. Белоснежный мраморный античный Сталин, окруженный летающими музами.

В абсурдное время, наверное, и следует говорить абсурдным языком?

Он был тощ, удлинен, лицо-профиль, лицо-ножик. Непонятно, где размещался его непостижимый для нас ум, его загадочная эрудиция. Он преподавал в Институте кинематографии сценарное мастерство. Мы по очереди садились к его столику и излагали ему свои сумбурные и расплывчатые замыслы. Он слушал, обратив к нам серьезное узкое лицо. Светлые глаза с навесами напоминали изображения французских просветителей. И тут же предлагал в ответ парадоксальный сюжет, безупречно прояснявший наше невнятное. Это напоминало американскую картину «Анна Каренина», где в автомат бросали монетку, внутри что-то щелкало и выскакивала свечка.

Однажды, увидев его издали, я бросился от него бежать — по стихам Пастернака: «Голоса приближаются. Скрябин. О, куда мне бежать от шагов моего божества!»

Мы знали, что у него множество патентов на технические изобретения. Мы знали, что у него гигантская картотека анекдотов. Мы знали, что он гомерически остроумен. Мы не знали, что в мрачные времена он был референтом Жданова и заведующим Отделом кино у Сталина. Однажды в его приемной он достал из кармана зажигалку, чтобы прикурить. И сразу же боковым зрением увидел летящую на него фигуру с гирькой на ремешке. Успел, однако, отклониться, и телохранитель вождя сказал ему: «Счастлив твой Бог».

Узнали об этом потом, когда он начал пить. Запрется от семьи и пьет.

Годы прошли. И вдруг во мне слабо проклюнулось это его уменье, это его щелканье. И когда ко мне обращался за советом драматург или режиссер, иной раз вдруг возникало нечто отчасти похожее — щелчок, и выскакивала свечка... Себе не могу помочь — другим получалось.

А немецкие минометы так близко, что мины только взвизгнут — сразу же разрываются. Бежали в атаку. А за мной бежали два нацмена. Как вдруг один изо всей силы стукнул меня сапогом в бок. Я свалился в черную минную воронку. А они оба — на меня. А я под ними не могу пошевелиться, да что там, дышать не могу. Наверное, здорово ударил сапогом. Я — матом на них, думаю — они решили отлежаться в воронке, пока атака кончится. А потом, когда меня вытащили из-под них, оказалось, сапогом меня никто не стукнул, просто это осколок попал в бок и увяз в легком. А они оба убиты.

Впечатлительная женщина, листая эти записки, сказала:

— Как тяжко на душе, когда читаешь это...

Чтобы хоть как-то рассеять такое впечатление, подумал: смешное, может, что-нибудь вставить?

Во МХАТ пришел новый молоденький актер.

Получил роль безмолвного гусара, что ли, из девятнадцатого века. Стоит, готовясь ступить на сцену, трясется. И тут известный шутник артист Невинный спрашивает:

— Пулемет взял?

— Нет,— помертвел дебютант.

— Бери.

И сунул ему сегодняшний пулемет. И новенький, побрякивая шашкой, повез за собой этот пулемет на сцену. Смешно? Мне смешно.

Германия, Америка, Англия, Франция, Канада, Япония, помогите нам!

Сергей Довлатов



ЛИШНИЙ

Сергей Довлатов постоянно рассказывал о людях истории, мягко говоря, героев не украшавшие. Позиция, и ангела бы превратившая в мизантропа, если не в циника, загадочным образом составила ему, тем не менее, к концу жизни репутацию едва ли не филантропа. И дело здесь даже не столько в том, что в жизни он был несомненно бессребреником. На мажорный лад настраиваают печальные — сплошь! — сюжеты его прозы. В них есть какая-то нераскрываемая на словесном уровне тайна. Лежит она, как мне кажется, в области художественной этики автора. То есть в той сфере, где искусство все никак не может совместиться с моралью. А совместившись — гибнет. Секрет довлатовского своеобразия нужно искать в этой пограничной полосе. Обаятельный секрет. Потому что там, где общественная мораль чаще всего видит в человеческом поведении умысел и злую волю, Довлатов-прозаик обнаруживает живительный, раскрыаающий и раскрепощающий душу импульс.

Если принять во внимание, что суть всякой органической, не подчиненной идеологии художественной системы незаметным для самого автора образом антиномична, то антиномиями довлатовской прозы являются понятия «норма» и «абсурд». Иногда прозаик называет мир «абсурдным», но иногда — «нормальным». Это плодотворное противоречие, ловить художника на подобных вещах можно только в спекулятивных целях. По Довлатову, жизнь человеческая абсурдна, если мировой порядок — нормален. Но и сам мир абсурден, если подчинен норме, утратил черты естественности.

Наличие ярко выраженных полюсов говорит о крепкой сердцевине. В крайности Сергей Довлатов впадал постоянно, но безусловную содержательность признавал лишь за расхожими прелестями бытия. В сфере творческой деятельности он несомненно стремился вглянуть ва прозу нашей жизни так, как если бы она и сама по себе являла образчик искусства прозы.

Эстетика Довлатова обоснована правилом пропорционального распределения вымысла и наблюдения. Проза его есть попытка воплощения недовоплощенного жизнью. Она счастливо завершилась тем, что характеры персонажей этих историй дают о себе знать с силой и блеском большим, чем это случается в повседневности. Но бытие этих характеров подчинено не воображенной интриге, а сюжету самой жизни.

Довлатов не склонен был заглядывать в романтическую пропасть, отделяющую искусство от жизни. Он направил свои художественные усилия на поиск золотой между ними середины. И удивительно даже не то, что он ее находил, а то, что в лучших его вещах она и на самом деле оказывалась золотой.

Срединный путь и в народных сказках, и в элитарных шедеврах представляется безнадежным. Довлатов выбрал именно его — самый рискованный и трудный. Полное слияние жизни с искусством прокладывает дорогу лишь в царство мертвых.

По взыскательной скромности, не отличимой у него от чувства собственного достоинства, Сергей Довлатов видел в своих историях лишь рассказы о том, *как* живут люди. Ни на что иное эти повествования претендовать были не должны, так как их автор не знал, *для чего* они живут. В этом обстоятельстве Довлатов видел разницу между собой, *рассказчиком* и классическим типом *писателя*, осведомленного о высших целях.

Из чего не следует, разумеется, что у Довлатова не было мировоззрения. Отчетливо демократическая ориентация его прозы сомнений не вызывает. Не был он и противником прислонившейся к демократической идее равенства. Хотя и знал, что осуществима она лишь через нищету. Существеннее для него был все же иной аспект: равными должны

быть люди разные, а не одинаковые. В этом он видел нравственное обоснование демократии, и это же убеждение диктовало ему выбор героев. Довлатов знал, что похожие друг на друга люди полезны всем, непохожие вызывают вражду. Но соль жизни хранят последние, «лишние».

«Лишние люди» — традиционные герои классической русской литературы — были подвергнуты остракизму и критикой, и общественным мнением. Казалось бы, навсегда. В рассказах Довлатова «лишний человек» проснулся после столетней летаргии и явил миру свое заспанное, но симпатичное лицо.

Честно говоря, Довлатов и сам был «лишним». Не чудаком, как его герои, нет. Личностью, чуждой здравого смысла и бренных желаний, его не представишь. Взгляд его нацелен не в эмпиреи, а в пьянящий, когда не пьяный, разлад нашей дурацкой действительности. Он полагал даже, что чем-то она хороша, щедра на легкомысленные сюрпризы, не чурается веселья... Что в ней есть несомненный проблеск страсти...

Печально, что этот живейший человек, виртуозный мастер слова оказался при жизни ненужным, лишним в нашей культуре. Но, полагал Сергей Довлатов, чем печальней, тем смешнее. Вывод о том, что веселье есть норма жизни, из этого обстоятельства не получается. Жизнь, увы, грустна.

Андрей Арьев

Александру Гроссу, неудержимому русскому деграданту, лишнему человеку и возмутителю спокойствия

Как обычно, не хватило спиртного, и, как всегда, я предвидел это заранее. А вот с закуской не было проблем. Да и быть не могло. Какие могут быть проблемы, если Севастьянову удавалось разрезать обыкновенное яблоко на шестьдесят четыре дольки?!.

Помню, дважды бегали за «стрелецкой». Затем появились какие-то девушки из балета на льду. Шаблинский все глядел на девиц, повторяя:

— Мы растопим этот лед... Мы растопим этот лед...

Наконец подошла моя очередь бежать за водкой. Шаблинский отправился со мной. Когда мы вернулись, девушек не было.

Шаблинский сказал:

— А бабы-то умнее, чем я думал. Поели, выпили и ретировались.

— Ну и хорошо,— произнес Севастьянов,— давайте я картошки отварю.

— Ты бы еще нам каши предложил! — сказал Шаблинский.

Мы выпили и закурили. Алкоголь действовал неэффективно. Ведь напиться как следует — это тоже искусство...

Девушкам в таких случаях звонить бесполезно. Раз уж пьянка не состоялась, то все. Значит, тебя ждут сплошные унижения. Надо менять обстановку. Обстановка — вот что главное.

Помню, Тофик Алиев рассказывал:

— Дома у меня рояль, альков, серебряные ложки... Картины чуть ли не эпохи Возрождения... И — никакого секса. А в гараже — разный хлам, покрышки старые, брезентовый чехол... Так я на этом чехле имел половину хореографического училища. Многие буквально уговаривали — пошли в гараж! Там, мол, обстановка соответствующая...

Шаблинский встал и говорит:

— Поехали в Таллинн.

— Поедем,— говорю.

Мне было все равно. Тем более, что девушки исчезли.

Шаблинский работал в газете «Советская Эстония». Гостил в Ленинграде неделю. И теперь возвращался с оказией домой.

Севастьянов вяло предложил не расходиться. Мы попрощались и вышли на улицу. Заглянули в магазин. Бутылки оттягивали наши карманы. Я был в летней рубашке и в кедах. Даже паспорт отсутствовал.

Через десять минут подъехала «Волга». За рулем сидел угрюмый человек, которого Шаблинский называл Гришаня.

Гришаня всю дорогу безмолвствовал. Водку пить не стал. Мне даже показалось, что Шаблинский видел его впервые.

Мы быстро проскочили невзрачные северо-западные окраины Ленинграда. Далее следовали однообразные поселки, бедноватая зелень и медленно текущие речки. У переезда Гришаня затормозил, распахнул дверцу и направился в кусты. На ходу он деловито расстегивал ширинку, как человек, пренебрегающий условностями.

— Чего он такой мрачный? — спрашиваю.

Шаблинский ответил:

— Он не мрачный. Он под следствием. Если не ошибаюсь, там фигурирует взятка.

— Он что, кому-то взятку дал?

— Не идеализируй Гришу. Гриша не давал, а брал. Причем в неограниченном количестве. И вот теперь он под следствием. Уже подписку взяли о невыезде.

— Как же он выехал?

— Откуда?

— Из Ленинграда.

— Он дал подписку в Таллинне.

— Как же он выехал из Таллинна?

— Очень просто. Сел в машину и поехал. Грише уже нечего терять. Его скоро арестуют.

— Когда? — задал я лишний вопрос.

— Не раньше, чем мы окажемся в Таллинне...

Тут Гришаня вышел из кустов. На ходу он сосредоточенно застегивал брюки. На крепких запястьях его что-то сверкало.

«Наручники?» — подумал я.

Потом разглядел две пары часов с металлическими браслетами.

Мы поехали дальше.

За Нарвой пейзаж изменился. Природа выглядела теперь менее беспорядочно. Дома — более аккуратно и строго.

Шаблинский выпил и задремал. А я все думал — зачем? Куда и зачем я еду? Что меня ожидает?

И до чего же глупо складывается жизнь!..

Наконец мы подъехали к Таллинну. Миновали безликие кирпичные пригороды. Затем промелькнула какая-то готика. И вот мы на Ратушной площади.

Звякнула бутылка под сиденьем. Машина затормозила. Шаблинский проснулся.

— Вот мы и дома,— сказал он.

Я выбрался из автомобиля. Мостовая отражала расплывчатые неоновые буквы. Плоские фасады сурово выступали из мрака. Пейзаж напоминал иллюстрации к Андерсену.

Шаблинский протянул мне руку.

— Звони.

Я не понял.

Тогда он сказал:

— Нелька волнуется.

Тут я по-настоящему растерялся. Я даже спросил от безнадежности:

— Какая Нелька?

— Да жена,— сказал Шаблинский,— забыл? Ты же первый и отключился на свадьбе...

Шаблинский давно уже работал в партийной газете. Положение функционера не слишком его тяготило. В нем даже сохранилось какое-то обаяние.

Вообще я заметил, что человеческое обаяние истребить довольно трудно. Куда труднее, чем разум, принципы или убеждения. Иногда десятилетия партийной работы оказываются бессильны. Честь, бывает, полностью утрачена, но обаяние сохранилось. Я даже знавал, представьте себе, обаятельного начальника тюрьмы в Мордовии...

Короче, Шаблинский был нормальным человеком. Если и делал подлости, то без ненужного рвения. Я с ним почти дружил. И вот теперь:

— Звони,— повторил он...

В Таллинне я бывал и раньше. Но это были служебные командировки. То есть

с необходимыми бумагами, деньгами и гостиницей. А главное — с ощущением пошлой, но разумной цели.

А зачем я приехал сейчас? Из редакции меня уволили. Денег в кармане — рублей шестнадцать. Единственный знакомый торопится к жене. Гришаня — и тот накануне ареста.

Тут Шаблинский задумался и говорит:

— Идея. Поезжай к Бушу. Скажи, что ты от меня. Буш тебя охотно приютит.

— Кто такой Буш?

— Буш — это нечто фантастическое. Сам увидишь. Думаю, он тебе понравится. Телефон — четыре, два нуля, одиннадцать.

Мы попрощались. Гришаня сидел в автомобиле. Шаблинский махнул ему рукой и быстро свернул за угол. Так и бросил меня в незнакомом городе. Удивительно, что неделю спустя мы будем работать в одной газете и почти дружить.

Тут медленно опустилось стекло автомобиля и выглянул Гришаня.

— Может, тебе деньги нужны? — спросил он.

Деньги были нужны. Более того — необходимы. И все-таки я ответил:

— Спасибо. Деньги есть.

Впервые я разглядел Гришанино лицо. Он был похож на водолаза. Так же одинок и непроницаем.

Мне захотелось сказать ему что-то приятное. Меня поразило его благородство. Одалживать деньги перед арестом, что может быть изысканнее такого категорического неприятия судьбы?..

— Желаю удачи,— сказал я.

— Чао,— коротко ответил Гришаня.

С работы меня уволили в начале октября. Конкретного повода не было. Меня, как говорится, выгнали «по совокупности». Видимо, я позволял себе много лишнего.

В журналистике каждому разрешается делать что-то одно. В чем-то одном нарушать принципы социалистической морали. То есть одному разрешается пить. Другому — хулиганить. Третьему — рассказывать политические анекдоты. Четвертому — быть евреем. Пятому — беспартийным. Шестому — вести аморальную жизнь. И так далее. Но каждому, повторяю, дозволено что-то одно. Нельзя быть одновременно евреем и пьяницей. Хулиганом и беспартийным...

Я же был пагубно универсален. То есть разрешал себе всего понемногу.

Я выпивал, скандалил, проявлял идеологическую близорукость. Кроме того, не состоял в партии и даже частично был евреем. Наконец, моя семейная жизнь все более запутывалась.

И меня уволили. Вызвали на заседание парткома и сказали:

— Хватит! Не забывайте, что журналистика — передовая линия идеологического фронта. А на фронте главное — дисциплина. Этого-то вам и не хватает. Ясно?

— Более или менее.

— Мы даем вам шанс исправиться. Идите на завод. Проявите себя на тяжелой физической работе. Станьте рабкором. Отражайте в своих корреспонденциях подлинную жизнь...

Тут я не выдержал.

— Да за подлинную жизнь,— говорю,— вы меня без суда расстреляете!

Участники заседания негодующе переглянулись. Я был уволен «по собственному желанию».

После этого я не служил. Редактировал какие-то генеральские мемуары. Халтурил на радио. Написал брошюру «Коммунисты покорили тундру». Но даже и тут совершил грубую политическую ошибку. Речь в брошюре шла о строительстве Мончегорска. События происходили в начале тридцатых годов. Среди ответственных работников было много евреев. Припоминаю какого-то Шимкуса, Фельдмана, Рапопорта... В горкоме ознакомились и сказали:

— Что это за сионистская прокламация?! Что это за мифические евреи в тундре?! Немедленно уничтожить весь тираж!..

Но гонорар я успел получить. Затем писал внутренние рецензии для журналов. Анонимно сотрудничал на телевидении. Короче, превратился в свободного художника. И наконец занесло меня в Таллинн...

Около магазина сувениров я заметил телефонную будку. Припомнил цифры: четыре, два нуля, одиннадцать.

Звоню. Отвечает женский голос:

— Слушаю! — (У нее получилось — «свушаю»).— Свушаю, миленький!

Я попросил к телефону Эрика Буша. В ответ прозвучало:

— Его нет. Я прямо вовнуюсь. Он дал мне свово не задерживаться. Так что приходите. Мы свавно побовтаем...

Женщина довольно толково продиктовала мне адрес. Объяснила, как ехать.

Миниатюрный эстонский трамвай раскачивался на поворотах. Через двадцать минут я был в Кадриорге. Легко разыскал полуразрушенный бревенчатый дом.

Дверь мне отворила женщина лет пятидесяти, худая, с бледно-голубыми волосами. Кружева ее лилового пеньюара достигали золотых арабских туфель. Лицо было густо напудрено. На щеках горел химический румянец. Женщина напоминала героиню захолустной оперетты.

— Эрик дома,— сказала она,— проходите.

Мы с трудом разминулись в узкой прихожей. Я зашел в комнату и обмер. Такого чудовищного беспорядка мне еще видеть не приходилось.

Обеденный стол был завален грязной посудой. Клочья зеленоватых обоев свисали до полу. На рваном ковре толстым слоем лежали газеты. Сиамская кошка перелетала из одного угла в другой. У двери выстроились пустые бутылки.

С продавленного дивана встал мужчина лет тридцати. У него было смуглое мужественное лицо американского киногероя. Лацкан добротного заграничного пиджака был украшен гвоздикой. Полуботинки сверкали. На фоне захламленного жилища Эрик Буш выглядел космическим пришельцем.

Мы поздоровались. Я неловко и сбивчиво объяснил ему, в чем дело.

Буш улыбнулся и неожиданно заговорил гладкими певучими стихами:

— Входи, полночный гость! Чулан к твоим услугам. Кофейник на плите. В шкафу голландский сыр. Ты братом станешь мне. Галине станешь другом. Люби ее, как мать. Люби ее, как сын. Пускай кругом бардак...

— Есть свадкие бувочки! — вмешалась Галина.

Буш прервал ее мягким, но величественным жестом:

— Пускай кругом бардак — есть худшие напасти! Пусть дует из окна. Пусть грязен наш сортир... Зато — и это факт — тут нет советской власти. Свобода — мой девиз, мой фетиш, мой кумир!

Я держался так, будто все это нормально. Что мне оставалось делать? Уйти из дома в первом часу ночи? Обратиться в «Скорую помощь»?

Кроме того, человеческое безумие — это еще не самое ужасное. С годами оно для меня все более приближается к норме. А норма становится чем-то противоестественным.

Нормальный человек бросил меня в полном одиночестве. А ненормальный предлагает кофе, дружбу и чулан...

Я напрягся и выговорил:

— Быть вашим гостем чрезвычайно лестно. От всей души спасибо за приют. Тем более, что, как давно известно, все остальные на меня плюют...

Затем мы пили кофе, ели булку с джемом. Сиамская кошка прыгнула мне на голову. Галина завела пластинку Оффенбаха.

Разошлись мы около двух часов ночи.

У Буша с Галиной я прожил недели три. С каждым днем они мне все больше нравились. Хотя оба были законченными шизофрениками.

Эрик Буш происходил из весьма респектабельной семьи. Его отец был доктором наук и профессором математики в Риге. Мать заведовала сектором в республиканском институте тканей. Годам к семи Буш возненавидел обоих. Каким-то чудом он почти с рождения был антисоветчиком и нонконформистом. Своих родителей называл — «выдвиженцы».

Окончив школу, Буш покинул Ригу. Больше года плавал на траулере. Затем какое-то время был пляжным фотографом. Поступил на заочное отделение Ленинградского института культуры. По окончании его стал журналистом.

Казалось бы, человеку с его мировоззрением такая деятельность противопо-

казаша. Ведь Буш не только критиковал существующие порядки. Буш отрицал саму историческую реальность. В частности — победу над фашистской Германией.

Он твердил, что бесплатной медицины не существует. Делился сомнениями относительно нашего приоритета в космосе. После третьей рюмки Буш выкрикивал:

— Гагарин в космос не летал! И Титов не летал!.. А все советские ракеты — это огромные консервные банки, наполненные глиной...

Казалось бы, такому человеку не место в советской журналистике. Тем не менее Буш выбрал именно это занятие. Решительный нонконформизм уживался в нем с абсолютной беспринципностью. Это бывает.

В творческой манере Буша сказывались уроки немецкого экспрессионизма. Одна из его корреспонденций начиналась так:

«Настал звездный час для крупного рогатого скота. Участники съезда ветеринаров приступили к работе. Пахнущие молоком и навозом ораторы сменяют друг друга...»

Сначала Буш работал в провинциальной газете. Но захолустье быстро ему наскучило. Для небольшого северного городка он был чересчур крупной личностью.

Два года назад Буш переехал в Таллинн. Поселился у какой-то стареющей женщины.

В Буше имелось то, что роковым образом действует на стареющих женщин. А именно — бедность, красота, саркастический юмор, но главное — полное отсутствие характера.

За два года Буш обольстил четырех стареющих женщин. Галина Аркадьевна была пятой и самой любимой. Остальные сохранили к Бушу чувство признательности и восхищения.

Злые языки называли Буша альфонсом. Это было несправедливо. В любви к стареющим женщинам он руководствовался мотивами альтруистического порядка. Буш милостиво разрешал им обрушивать на себя водопады горьких, запоздалых эмоций.

Постепенно о Буше начали складываться легенды. Он беспрерывно попадал в истории.

Однажды Буш поздно ночью шел через Кадриорг. К нему подошли трое. Один из них мрачно выговорил:

— Дай закурить.

Как в этой ситуации поступает нормальный человек? Есть три варианта сравнительно разумного поведения.

Невозмутимо и бесстрашно протянуть хулигану сигареты.

Быстро пройти мимо, а еще лучше — стремительно убежать.

И последнее — нокаутировав того, кто ближе, срочно ретироваться.

Буш избрал самый губительный, самый нестандартный вариант. В ответ на грубое требование Буш изысканно произнес:

— Что значит — дай? Разве мы пили с вами на брудершафт?!

Уж лучше бы он заговорил стихами. Его могли бы принять за опасного сумасшедшего. А так Буша до полусмерти избили. Наверное, хулиганов взбесило таинственное слово — «брудершафт».

Теряя сознание, Буш шептал:

— Ликуйте, смерды! Зрю на ваших лицах грубое торжество плоти!..

Неделю он пролежал в больнице. У него были сломаны ребра и вывихнут палец. На лбу появился романтический шрам...

Буш работал в «Советской Эстонии». Года полтора его держали внештатным корреспондентом. Шли разговоры о том, чтобы дать ему постоянное место. Главный редактор, улыбаясь, поглядывал в его сторону. Сотрудники прилично к нему относились. Особенно — стареющие женщины. Завидев Буша, они шептались и краснели.

Штатная должность означала многое. Особенно — в республиканской газете. Во-первых, стабильные деньги. Кроме того, множество разнообразных социальных льгот. Наконец, известную степень личной безнаказанности. То есть главное, чем одаривает режим свою номенклатуру.

Буш нетерпеливо ожидал зачисления в штат. Он, повторяю, был двойственной личностью. Мятежность легко уживалась в нем с отсутствием принципов. Буш говорил:

— Чтобы низвергнуть режим, я должен превратиться в один из его столпов. И тогда вся постройка скоро зашатается...

Приближалось 7 ноября. Редактор вызвал Буша и сказал:

— Решено, Эрнст Леопольдович, поручить вам ответственное задание. Берете в секретариате пропуск. Едете в морской торговый порт. Беседуете с несколькими западными капитанами. Выбираете одного, наиболее лояльного к идеям социализма. Задаете ему какие-то вопросы. Добиваетесь более или менее подходящих ответов. Короче, берете у него интервью. Желательно, чтобы моряк поздравил нас с шестьдесят третьей годовщиной Октябрьской революции. Это не значит, что он должен выкрикивать политические лозунги. Вовсе нет. Достаточно сдержанного уважительного поздравления. Это все, что нам требуется. Ясно?

— Ясно,— ответил Буш.

— Причем нужен именно западный моряк. Швед, англичанин, норвежец, типичный представитель капиталистической системы. И тем не менее лояльный к советской власти.

— Найду,— заверил Буш,— такие люди попадаются. Помню, разговорился я в Хабаровске с одним матросом швейцарского королевского флота. Это был наш человек, все Ленина цитировал...

Редактор вскинул брови, задумался и укоризненно произнес:

— В Швейцарии, товарищ Буш, нет моря, нет короля, а следовательно, нет и швейцарского королевского флота. Вы что-то путаете.

— Как это нет моря? — удивился Буш.— А что же там есть, по-вашему?!

— Суша,— ответил редактор.

— Вот как,— не сдавался Буш.— Интересно. Очень интересно... Может, и озер там нет? Знаменитых швейцарских озер?!

— Озера есть,— печально согласился редактор,— а швейцарского королевского флота — нет... Можете действовать,— закончил он,— но будьте, пожалуйста, серьезнее. Мы, как известно, думаем о предоставлении вам штатной работы. Это задание — во многом решающее. Желаю удачи...

Таллиннский порт расположен в двадцати минутах езды от центра города.

Буш отправился на задание в такси. Зашел в редакцию портовой многотиражки. Там как раз отмечали сорокалетие фотографа Левы Баранова. Бушу протянули стакан ликера. Буш охотно выпил и сказал:

— Мне нельзя. Я на задании.

Он выпил еще немного и стал звонить диспетчеру. Диспетчер рекомендовал Бушу западногерманское торговое судно «Эдельвейс».

Буш выпил еще один стакан и направился к четвертому пирсу.

Капитан встретил Буша на трапе. Это был типичный морской волк, худой, краснолицый, с орлиным профилем. Звали его Пауль Руди.

Диспетчер предупредил капитана о визите советского журналиста. Тот пригласил Буша в каюту.

Они разговорились. Капитан довольно сносно объяснялся по-русски. Коньяк предпочитал — французский.

— Это «Кордон бло»,— говорил он,— рекомендую. Двести марок бутылка.

Сознавая, что пьянеет, Буш успел задать вопрос:

— Когда ты отчаливаешь?

— Завтра в одиннадцать тридцать.

Теперь о деле можно было и не заговаривать. Накануне отплытия капитан мог произнести все что угодно. Кто будет это проверять?

Беседа велась откровенно и просто.

— Ты любишь женщин? — спрашивал капитан.

— Люблю,— говорил Буш,— а ты?

— Еще бы! Только моя Луиза об этом не догадывается. Я люблю женщин, выпивку и деньги. Ты любишь деньги?

— Я забыл, как они выглядят. Это такие разноцветные бумажки?

— Или металлические кружочки.

— Я люблю их больше, чем футбол! И даже больше, чем женщин. Но я люблю их чисто платонически...

Буш пил, и капитан не отставал. В каюте плавал дым американских сигарет. Из невидимой радиоточки долетала гавайская музыка. Разговор становился все более откровенным.

— Если бы ты знал,— говорил журналист,— как мне все опротивело! Надо бежать из этой проклятой страны!

— Я понимаю,— соглашался капитан.

— Ты не можешь этого понять! Для тебя, Пауль, свобода — как воздух! Ты его не замечаешь. Ты им просто дышишь. Понять меня способна только рыба, выброшенная на берег.

— Я понимаю,— говорил капитан,— есть выход. Ты же немец. Ты можешь змигрировать в свободную Германию.

— Теоретически это возможно. Практически — исключено. Да, мой папаша — обрусевший курляндский немец. Мать — из Польши. Оба в партии с тридцать шестого года. Оба — выдвиженцы, слуги режима. Они не подпишут соответствующих бумаг.

— Я понимаю,— твердил капитан,— есть другой выход. Иди в торговый флот, стань матросом. Добейся получения визы. И, оказавшись в западном порту, беги. Проси убежища.

— И это фикция. Я ведь на плохом счету. Мне не откроют визы. Я уже добивался, пробовал... Увы, я обречен на медленную смерть.

— Понимаю... Можно спрятать тебя на «Эдельвейсе». Но это рискованно. Если что, тебя будут судить как предателя...

Капитан рассуждал очень здраво. Слишком здраво. Вообще для иностранца он был на редкость компетентен. У трезвого человека это могло бы вызвать подозрения. Но Буш к этому времени совершенно опьянел. Буш ораторствовал:

— Свободен не тот, кто борется против режима. И не тот, кто побеждает страх. А тот, кто его не ведает. Свобода, Пауль,— функция организма. Тебе этого не понять! Ведь ты родился свободным, как птица!

— Я понимаю,— отвечал капитан...

Около двенадцати ночи Буш спустился по трапу. Он то и дело замедлял шаги, вскидывая кулак — «рот фронт»! Затем растопыривал пальцы, что означало — «виктори»! Победа!..

Капитан с пониманием глядел ему вслед...

На следующий день Буш появился в редакции. Он был возбужден, но трезв. Его сигареты распространяли благоухание. Авторучка «Паркер» выглядывала из бокового кармана.

Буш отдал статью машинисткам. Называлась она длинно и красиво: «Я вернусь, чтобы снова отведать ржаного хлеба!»

Статья начиналась так:

«Капитана Пауля Руди я застал в машинном отделении. Торговое судно „Эдельвейс" готовится к отплытию. Изношенные механизмы требуют дополнительной проверки.

— Босса интересует только прибыль,— жалуется капитан.— Двадцать раз я советовал ему заменить цилиндры. Того и гляди лопнут прямо в открытом море. Сам-то босс путешествует на яхте. А мы тут загораем, как черти в преисподней...»

Конец был такой:

«Капитан вытер мозолистые руки паклей. Борода его лоснилась от мазута. Глиняная трубка оттягивала квадратную челюсть. Он подмигнул мне и сказал:

— Запомни, парень! Свобода — как воздух. Ты дышишь свободой и не замечаешь ее... Советским людям этого не понять. Ведь они родились свободными, как птицы. А меня поймет только рыба, выброшенная на берег... И потому — я вернусь! Я вернусь, чтобы снова отведать ржаного хлеба! Душистого хлеба свободы, равенства и братства!..»

— Неплохо,— сказал редактор,— живо, убедительно. Единственное, что меня смущает... Он действительно говорил нечто подобное?

Буш удивился:

— А что еще он мог сказать?

— Впрочем, да, конечно,— отступил редактор...

Статья была опубликована. На следующий день Буша вызвали к редактору. В кабинете сидел незнакомый мужчина лет пятидесяти. Его лицо выражало полное равнодушие и одновременно крайнюю сосредоточенность.

Редактор как бы отодвинулся в тень. Мужчина же при всей его невыразительности распространился широко и основательно. Он заполнил собой все пространство номенклатурного кабинета. Даже гипсовый бюст Ленина на обтянутом кумачом постаменте уменьшился в размерах.

Мужчина поглядел на Буша и еле слышно выговорил:

— Рассказывайте.

Буш раздраженно переспросил:

— О чем? Кому? Вообще, простите, с кем имею честь?

Ответ был короткий, словно вычерченный пунктиром:

— О встрече... Мне... Сорокин... Полковник Сорокин...

Назвав свой чин, полковник замолчал, как будто вконец обессилев.

Что-то заставило Буша повиноваться. Буш начал пересказывать статью о капитане Руди.

Полковник слушал невнимательно. Вернее, он почти дремал. Он напоминал профессора, задавшего вопрос ленивому студенту. Вопрос, ответ на который ему заранее известен.

Буш говорил, придерживаясь фактов, изложенных в статье. Закончил речь патетически:

«Где ты, Пауль?! Куда несет тебя ветер дальних странствий? Где ты сейчас, мой иностранный друг?!.»

— В тюрьме,— неожиданно ответил полковник.

Он хлопнул газетой по столу, как будто убивая муху, и четко выговорил:

— Пауль Руди находится в тюрьме. Мы арестовали его как изменника родины. Настоящая его фамилия — Рютти. Он — беглый эстонец. В семидесятом году рванул на байдарке через Швецию. Обосновался в Гамбурге. Женился на Луизе Рейшвиц. Четвертый год плавает на судах западногерманского торгового флота. Наконец совершил первый рейс в Эстонию. Мы его давно поджидали...

Полковник повернулся к редактору:

— Оставьте нас вдвоем.

Редактору было неловко, что его выгоняют из собственного кабинета. Он пробормотал:

— Да, я как раз собирался посмотреть иллюстрации.

И вышел.

Полковник обратился к Бушу:

— Что вы на это скажете?

— Я поражен. У меня нет слов!

— Как говорится, неувязка получилась.

Но Буш держался прежней версии:

— Я описал все, как было. О прошлом капитана Руди не догадывался. Воспринял его как прогрессивно мыслящего иностранца.

— Хорошо,— сказал полковник,— допустим. И все-таки случай для нас неприятный. Крайне неприятный. Пятно на вашей журналистской репутации. Я бы даже сказал — идеологический просчет. Потеря бдительности. Надо что-то делать...

— Что именно?

— Есть одна идея. Хотите нам помочь? А мы, соответственно, будем рекомендовать вас на штатную должность.

— В КГБ? — спросил Буш.

— Почему в КГБ? В газету «Советская Эстония». Вы же давно мечтаете о штатной работе. В наших силах ускорить это решение. Сроки зависят от вас.

Буш насторожился. Полковник Сорокин продолжал:

— Вы могли бы дать интересующие нас показания.

— То есть?

— Насчет капитана Руди... Дайте показания, что он хотел вас это самое... Употребить... Ну, в смысле полового извращения...

— Что?! — приподнялся Буш.
— Спокойно!
— Да за кого вы меня принимаете?! Вот уж не думал, что КГБ использует подобные методы!
Глаза полковника сверкнули бритвенными лезвиями. Он побагровел и выпрямился:
— Пожалуйста, без громких слов. Я вам советую подумать. На карту поставлено ваше будущее.
Но тут и Буш расправил плечи. Он медленно вынул пачку американских сигарет. Прикурил от зажигалки «Ронсон». Затем спокойно произнес:
— Ваше предложение аморально. Оно идет вразрез с моими нравственными принципами. Этого мне только не хватало — понравиться гомосексуалисту! Короче, я отказываюсь. Половые извращения — не для меня!.. Хотите, я напишу, что он меня спаивал?.. А впрочем, и это не совсем благородно...
— Ну что ж,— сказал полковник,— мне все ясно. Боюсь, что вы на этом проиграете.
— Да неужели у КГБ можно выиграть?! — расхохотался Буш.
На этом беседа закончилась. Полковник уехал. Уже в дверях он произнес совершенно неожиданную фразу:
— Вы лучше, чем я думал.
— Полковник, не теряйте стиля! — ответил Буш...

Его лишили внештатной работы. Может быть, Сорокин этого добился. А скорее всего, редактор проявил усердие. Буш вновь перешел на иждивение к стареющим женщинам. Хотя и раньше все шло примерно таким же образом.
Как раз в эти дни Буш познакомился с Галиной. До этого его любила Марианна Викентьевна, крупный торговый работник. Она покупала Бушу сорочки и галстуки. Платила за него в ресторанах. Кормила его вкусной и здоровой пищей. Но карманных денег Бушу не полагалось. Иначе Буш сразу принимался ухаживать за другими женщинами.
Получив очередной редакционный гонорар, Буш исчезал. Домой являлся поздно ночью, благоухая луком и косметикой. Однажды Марианна не выдержала и закричала:
— Где ты бродишь, подлец?! Почему возвращаешься среди ночи?!
Буш виновато ответил:
— Я бы вернулся утром — просто не хватило денег...
Наконец Марианна взбунтовалась. Уехала на курорт с пожилым работником главка. Рядом с ним она казалась моложавой и легкомысленной. Оставить Буша в пустой квартире Марианна, естественно, не захотела.
И тут возникла Галина Аркадьевна. Практически из ничего. Может быть, под воздействием закона сохранения материи.
Дело в том, что она не имела гражданского статуса. Галина была вдовой знаменитого эстонского революционера, чуть ли не самого Кингисеппа. И ей за это дали что-то вроде пенсии.
Буш познакомился с ней в романтической обстановке. А именно — на берегу пруда.
В самом центре Кадриорга есть небольшой затененный пруд. Его огибают широкие липовые аллеи. Ручные белки прыгают в траве.
У берега плавают черные лебеди. Как они сюда попали — неизвестно. Зато всем известно, что эстонцы любят животных. Кто-то построил для лебедей маленькую фанерную будку. Посетители Кадриорга бросают им хлеб...
Майским вечером Буш сидел на траве у пруда. Сигареты у него кончились. Денег не было вторые сутки. Минувшую ночь он провел в заброшенном киоске «Союзпечати». Благо на полу там лежали старые газеты.
Буш жевал сухую горькую травинку. Мысли в его голове проносились отрывистые и неспокойные, как телеграммы:
«...Еда... Сигареты... Жилье... Марианна на курорте... Нет работы... К родителям обращаться стыдно, а главное — бессмысленно...»
Когда и где он ел в последний раз? Припомнились два куска хлеба в закусочной самообслуживания. Затем — кислые яблоки над оградой чужого сада. Найденная у дороги ванильная сушка. Зеленый помидор, обнаруженный в киоске «Союзпечати»...

Лебеди скользили по воде, как два огромных черных букета. Пища доставалась им без видимых усилий. Каждую секунду резко опускались вниз точеные маленькие головы на изогнутых шеях...
Буш думал о еде. Мысли его становились все короче:
«...Лебедь... Птица... Дичь...»
И тут зов предков отозвался в Буше легкой нервической дрожью. В глазах его загорелись отблески первобытных костров. Он замер, как сеттер на болоте, вырвавшийся из городского плена...
К десяти часам окончательно стемнеет. Изловить самоуверенную птицу будет делом минуты. Ощипанный лебедь может вполне сойти за гуся. А с целым гусем Буш не пропадет. В любой компании будет желанным гостем...
Буш преобразился. В глубине его души звучал охотничий рожок. Он чувствовал, как тверд его небритый подбородок. Доисторическая сила пробудилась в Буше...
И тут произошло чудо. На берегу появилась стареющая женщина. То есть дичь, которую Буш чуял на огромном расстоянии.
Вовек не узнают черные лебеди, кто спас им жизнь!
Женщина была стройна и прекрасна. Над головой ее кружились бабочки. Голубое воздушное платье касалось травы. В руках она держала книгу. Прижимала ее к груди наподобие молитвенника.
Дальнозоркий Буш легко прочитал заглавие — «Ахматова. Стихи».
Он выплюнул травинку и сильным глуховатым баритоном произнес:

Они летят, они еще в дороге,
Слова освобожденья и любви,
А я уже в божественной тревоге,
И холоднее льда уста мои...

Женщина замедлила шаги. Прижала ладони к вискам. Книга, шелестя страницами, упала на траву.
Буш продолжал:

А дальше — свет невыносимо щедрый,
Как сладкое, горячее вино...
Уже душистым, раскаленным ветром
Сознание мое опалено...

Женщина молчала. Ее лицо выражало смятение и ужас. (Если ужас может быть пылким и радостным чувством.)
Затем, опустив глаза, женщина тихо проговорила:

Но скоро там, где жидкие березы,
Прильнувши к окнам, сухо шелестят,—
Венцом червонным заплетутся розы,
И голоса незримо прозвучат...

(У нее получилось — «говоса».)
Буш поднялся с земли.
— Вы любите Ахматову?
— Я знаю все ее стихи наизусть,— ответила женщина.
— Какое совпадение! Я тоже... А цветы? Вы любите цветы?
— Это моя свабость!.. А птицы? Что вы скажете о птицах?
Буш кинул взгляд на черных лебедей, помедлил и сказал:

Ах, чайка ли за облаком кружится,
Малиновки ли носятся вокруг...
О незнакомка! Я хочу быть птицей,
Чтобы клевать зерно из ваших рук...

— Вы поэт? — спросила женщина.
— Пишу кое-что между строк,— застенчиво ответил Буш...

День остывал. Тени лип становились длиннее. Вода утрачивала блеск. В кустах бродили сумерки.
— Хотите кофе? — предложила женщина.— Мой дом совсем близко.
— Извините,— поинтересовался Буш,— а колбасы у вас нет?
В ответ прозвучало:
— У меня есть все, что нужно одинокому сердцу...

Три недели я прожил у Буша с Галиной. Это были странные, наполненные безумием дни.
Утро начиналось с тихого взволнованного пения. Галина мальчишеским тенором выводила:

Эх, истомилась, устала я,
Ночью и днем... Только о нем...

Ее возлюбленный откликался низким простуженным баритоном:

Эх, утону ль я в Северной Двине,
А может, сгину как-нибудь иначе...
Страна не зарыдает обо мне,
Но обо мне товарищи заплачут...

Случалось, они по утрам танцевали на кухне. При этом каждый напевал что-то свое.
За чаем Галина объявляла:
— Называйте меня сегодня — Верочкой. А с завтрашнего дня — Жар-Птицей...
Днем она часто звонила по телефону. Цифры набирала произвольно. Дождавшись ответа, ласково произносила:
— Сегодня вас ожидает приятная неожиданность.
Или:
— Бойтесь дамы с вишенкой на шляпе...
Кроме того, Галина часами дрессировала прозрачного, стремительного меченосца. Шептала ему, склонившись над аквариумом:
— Не капризничай, Джим. Помаши маме ручкой...
И наконец, Галина прорицала будущее. Мне, например, объявила, разглядывая какие-то цветные бусинки:
— Ты кончишь свои дни где-нибудь в Бразилии.
(Тогда — в семьдесят пятом году — я засмеялся. Но сейчас почти уверен, что так оно и будет.)

Буш целыми днями разгуливал в зеленом халате, который Галина сшила ему из оконной портьеры. Он готовил речь, которую произнесет, став Нобелевским лауреатом. Речь начиналась такими словами:
«Леди и джентльмены! Благодарю за честь. Как говорится — лучше поздно, чем никогда...»
Так мы и жили. Мои шестнадцать рублей быстро кончились. Галининой пенсии хватило дней на восемь. Надо было искать какую-то работу.
И вдруг на глаза мне попалось объявление — «Срочно требуются кочегары».
Я сказал об этом Бушу. Я не сомневался, что Буш откажется. Но он вдруг согласился и даже просиял.
— Гениально,— сказал он,— это то, что надо! Давно пора окунуться в гущу народной жизни. Прильнуть, что называется, к истокам. Ближе к природе, старик! Ближе к простым человеческим радостям! Ближе к естественным цельным натурам! Долой метафизику и всяческую трансцендентность! Да здравствует молот и наковальня!..
Галина тихо возражала:
— Эринька, ты свабый!
Буш сердито посмотрел на женщину, и она затихла...
Котельная являла собой мрачноватое низкое здание у подножия грандиозной трубы. Около двери возвышалась куча угля. Здесь же валялись лопаты и две опрокинутые тачки.

В помещении мерно гудели три секционных котла. Возле одного из них стоял коренастый юноша. В руке у него была тяжелая сварная шуровка. Над колосниками бился розовый огонь. Юноша морщился и отворачивал лицо.
— Привет,— сказал ему Буш.
— Здорово,— ответил кочегар,— вы новенькие?
— Мы по объявлению.
— Рад познакомиться. Меня зовут Олег.
Мы назвали свои имена.
— Зайдите в диспетчерскую,— сказал Олег,— представьтесь Цурикову.
В маленькой будке с железной дверью шум котлов звучал приглушенно. На выщербленном столе лежали графики и ведомости. Над столом висел дешевый репродуктор. На узком топчане, прикрыв лицо газетой, дремал мужчина в солдатском обмундировании. Газета едва заметно шевелилась. За столом работал человек в жокейской шапочке. Увидев нас, приподнял голову:
— Вы новенькие?
Затем он встал и протянул руку:
— Цуриков, старший диспетчер. Присаживайтесь.
Я заметил, что бывший солдат проснулся. С шуршанием убрал газету.
— Худ,— коротко представился он.
— Люди нужны,— сказал диспетчер.— Работа несложная. А теперь идемте со мной.
Мы спустились по шаткой лесенке. Худ двигался следом. Олег помахал нам рукой как старым знакомым.
Мы остановились возле левого котла, причем так близко, что я ощутил сильный жар.
— Устройство,— сказал Цуриков,— на редкость примитивное. Топка, колосники, поддувало... Температура на выходе должна быть градусов семьдесят. Обратная — сорок пять. В начале смены заготавливаете уголь. Полную тачку загружать не советую — опрокинется... Уходя, надо прочистить колосники, выбрать шлак... Пожалуй, это все... График простой — сутки работаем, трое отдыхаем. Оплата сдельная. Можно легко заработать сотни полторы...
Цуриков подвел нас к ребятам и сказал:
— Надеюсь, вы поладите. Хотя публика у нас тут довольно своеобразная. Олежка, например, буддист. Последователь школы «дзен». Ищет успокоения в монастыре собственного духа... Худ — живописец, левое крыло мирового авангарда... Работает в традициях метафизического синтетизма. Рисует преимущественно тару — ящики, банки, чехлы...
— Цикл называется «Мертвые истины»,— шепотом пояснил Худ, багровый от смущения.
Цуриков продолжал:
— Ну а я — человек простой. Занимаюсь в свободные дни теорией музыки. Кстати, что вы думаете о политональных наложениях у Бриттена?
До этого Буш молчал. Но тут его лицо внезапно исказилось. Он коротко и твердо произнес:
— Идем отсюда!
Цуриков и его коллеги растерянно глядели нам вслед.
Мы вышли на улицу. Буш разразился гневным монологом:
— Это не котельная! Это, извини меня, какая-то Сорбонна!.. Я мечтал погрузиться в гущу народной жизни. Окрепнуть морально и физически. Припасть к живительным истокам... А тут?! Какие-то дзенбуддисты с метафизиками! Какие-то блядские политональные наложения! Короче, поехали домой!..
Что мне оставалось делать?
Галина встретила нас радостными криками.
— Я так плакава,— сказала она,— так плакава. Мне биво вас так жавко...
Прошло еще дня три. Галина продала несколько книг в букинистический магазин. Я обошел все таллиннские редакции. Договорился о внештатной работе. Взял интервью у какого-то слесаря. Написал репортаж с промышленной выставки. Попросил у Шаблинского двадцать рублей в счет будущих гонораров. Голодная смерть отодвинулась.
Более того, я даже преуспел. Если в Ленинграде меня считали рядовым

журналистом, то здесь я был почти корифеем. Мне поручали все более ответственные задания. Я писал о книжных и театральных новинках, вел еженедельную рубрику «Другое мнение», сочинял фельетоны. А фельетоны, как известно, самый дефицитный жанр в газете. Короче, я довольно быстро пошел в гору.

Меня стали приглашать на редакционные летучки. Еще через месяц — на учрежденческие вечеринки. О моих публикациях заговорили в Эстонском ЦК.

К этому времени я уже давно покинул Буша с Галиной. Редакция дала мне комнату на улице Томпа — льгота для внештатного сотрудника беспрецедентная. Это значило, что мне намерены предоставить вскоре штатную работу. И действительно, через месяц после этого я был зачислен в штат.

Редактор говорил мне:

— У вас потрясающее чувство юмора. Многие ваши афоризмы я помню наизусть. Например, вот это: «Когда храбрый молчит, трусливый помалкивает...» Некоторые ваши фельетоны я пересказываю своей домработнице. Между прочим, она закончила немецкую гимназию.

— А,— говорил я,— теперь мне все понятно. Теперь я знаю, откуда у вас столь безукоризненные манеры.

Редактор не обижался. Он был либерально мыслящим интеллигентом. Вообще обстановка была тогда сравнительно либеральной. В Прибалтике — особенно.

Кроме того, дерзил я продуманно и ловко. Один мой знакомый называл этот стиль — «почтительной фамильярностью».

Зарабатывал я теперь не меньше двухсот пятидесяти рублей. Даже умудрялся платить какие-то алименты.

И друзья у меня появились соответствующие. Это были молодые писатели, художники, ученые, врачи. Полноценные, хорошо зарабатывающие люди. Мы ходили по театрам и ресторанам, ездили на острова. Короче, вели нормальный для творческой интеллигенции образ жизни.

Все эти месяцы я помнил о Буше. Ведь Таллинн город маленький, интимный. Обязательно повстречаешь знакомого хоть раз в неделю.

Буш не завидовал моим успехам. Наоборот, он радостно повторял: «Действуй, старик! Наши люди должны занимать ключевые посты в государстве!»

Я одалживал Бушу деньги. Раз двадцать платил за него в Мюнди-баре. То есть вел себя как полагается. А что я мог сделать еще? Не уступать же было ему свою должность!

Честное слово, я не избегал Буша. Просто мы относились теперь к различным социальным группам.

Мало того, я настоял, чтобы Буша снова использовали как внештатного автора. Откровенно говоря, для этого я был вынужден преодолеть значительное сопротивление. История с капитаном Руди все еще не забылась.

Разумеется, Бушу теперь не доверяли материалов с политическим оттенком. Он писал бытовые, спортивные, культурные информации. Каждое его выступление я старался похвалить на летучке. Буш стал чаще появляться в редакционных коридорах.

К этому времени он несколько потускнел. Брюки его слегка лоснились на коленях. Пиджак явно требовал чистки. Однако стареющие женщины (а их в любой редакции хватает) продолжали, завидев Буша, мучительно краснеть. Значит, его преимущества таились внутри, а не снаружи.

В редакции Буш держался корректно и скромно. С начальством безмолвно раскланивался. С рядовыми журналистами обменивался новостями. Женщинам говорил комплименты.

Помню, в редакции отмечалось шестидесятилетие заведующей машинописным бюро — Лорейды Филипповны Кожич. Буш посвятил ей милое короткое стихотворение:

Вздыхаю я, завидевши Лорейду...
Ах, что бы это значило по Фрейду?!

После этого Лорейда Филипповна неделю ходила сияющая и бледная одновременно...

Есть у номенклатурных работников одно привлекательное свойство. Они не злопамятны хотя бы потому, что ленивы. Им не хватает сил для мстительного рвения. Для подлинного зла им не хватает чистого энтузиазма. За многие годы благополучия их чувства притупляются до снисходительности. Их мысли так безжизненны, что это временами напоминает доброту.

Редактор «Советской Эстонии» был человеком добродушным. Разумеется, до той минуты, пока не становился жестоким и злым. Пока его не выуждали к этому соответствующие инструкции. Известно, что порядочный человек тот, кто делает гадости без удовольствия...

Короче, Бушу разрешили печататься. Первое время его заметки редактировались с особой тщательностью. Затем стало ясно, что Буш изменился, повзрослел. Его корреспонденции становились все более объемистыми и значительными по тематике. Три или четыре очерка Буша вызвали небольшую сенсацию. На фоне местных журналистских кадров он заметно выделялся.

В декабре редактор снова заговорил о предоставлении Бушу штатного места. Кроме того, за Буша ратовали все стареющие женщины из месткома. Да и мы с Шаблинским активно его поддерживали. На одной летучке я сказал: «Необходимо полнее использовать Буша. Иначе мы толкнем его на скользкий диссидентский путь...»

Трудоустройство Буша приобрело характер идеологического мероприятия. Главный редактор, улыбаясь, поглядывал в его сторону. Судьба его могла решиться в обозримом будущем.

Подошел Новый год. Намечалась традиционная конторская вечеринка. Как это бывает в подобных случаях, заметно активизировались лодыри. Два алкоголика метранпажа побежали за водкой. Толстые девицы из отдела писем готовили бутерброды. Выездные корреспонденты Рушкис и Богданов накрывали столы.

Работу в этот день закончили пораньше. Внештатных авторов просили не расходиться. Редактор вызвал Буша и сказал:

— Надеюсь, мы увидимся сегодня вечером. Я хочу сообщить вам приятную новость.

Сотрудники бродили по коридорам. Самые нетерпеливые заперлись в отделе быта. Оттуда доносился звон стаканов.

Некоторые ушли домой переодеться. К шести часам вернулись. Буш щеголял в заграничном костюме табачного цвета. Его лакированные туфли сверкали. Сорочка издавала канцелярский шелест.

— Ты прекрасно выглядишь,— сказал я ему.

Буш смущенно улыбнулся:

— Вчера Галина зубы продала. Отнесла ювелиру две платиновые коронки. И купила мне всю эту сбрую. Ну как я могу ее после этого бросить!..

Мы расположились в просторной комнате секретариата. Шли заключительные приготовления. Все громко беседовали, курили, смеялись.

Вообще редакционные пьянки — это торжество демократии. Здесь можно подшутить над главным редактором. Решить вопрос о том, кто самый гениальный журналист эпохи. Выразить кому-то свои претензии. Произнести неумеренные комплименты. Здесь можно услышать, например, такие речи:

— Старик, послушай, ты — гигант! Ты — Паганини фоторепортажа!

— А ты,— доносится в ответ,— Шекспир экономической передовицы!..

Здесь же разрешаются текущие амурные конфликты. Плетутся интриги. Тайно выдвигаются кандидаты на Доску почета.

Иначе говоря, каждодневный редакционный бардак здесь становится нормой. Окончательно воцаряется типичная для редакции атмосфера с ее напряженным, лихорадочным бесплодием...

Буш держался на удивление чопорно и строго. Сел в кресло у окна. Взял с полки книгу. Погрузился в чтение. Книга называлась «Трудные случаи орфографии и пунктуации».

Наконец всех пригласили к столу. Редактор дождался полной тишины и сказал:

— Друзья мои! Вот и прошел еще один год, наполненный трудом. Нам есть

что вспомнить. Были у нас печали и радости. Были достижения и неудачи. Но в целом, хочу сказать, газета добилась значительных успехов. Все больше мы публикуем серьезных, ярких и глубоких материалов. Все реже совершаем мы просчеты и ошибки. Убежден, что в наступающем году мы будем работать еще дружнее и сплоченнее... Сегодня мне звонили из Центрального Комитета. Иван Густанович Кэбин шлет вам свои поздравления. Разрешите мне от души к ним присоединиться. С Новым годом, друзья мои!..

После этого было множество тостов. Пили за главного редактора и ответственного секретаря. За скромных тружеников — корректоров и машинисток. За внештатных корреспондентов и активных рабкоров. Кто-то говорил о политической бдительности. Кто-то предлагал создать футбольную команду. Редакционный стукач Игорь Гасцль призывал к чувству локтя. Мишка Шаблинский предложил тост за наших очаровательных женщин...

Комната наполнилась дымом. Все разбрелись с фужерами по углам. Закуски быстро таяли.

Торшина из отдела быта уговаривала всех спеть хором. Фима Быковер раздавал долги. Завхоз Мелешко сокрушался:

— Видимо, я так и не узнаю, кто стянул общественный рефлектор!..

Вскоре появилась уборщица Хильда. Надо было освобождать помещение.

— Еще минут десять,— сказал редактор и лично протянул Хильде бокал шампанского.

Затем на пороге возникла жена главного редактора — Зоя Семеновна. В руках она несла громадный мельхиоровый поднос. На подносе тонко дребезжали чашечки с кофе.

До этого Буш сидел неподвижно. Фужер он поставил на крышку радиолы. На коленях его лежал раскрытый справочник.

Потом Буш встал. Широко улыбаясь, приблизился к Зое Семеновне. Внезапно произвел какое-то стремительное футбольное движение. Затем — могучим ударом лакированного ботинка вышиб поднос из рук ошеломленной женщины.

Помещение наполнилось звоном. Ошпаренные сотрудники издавали пронзительные вопли. Люба Торшина, вскрикнув, потеряла сознание...

Четверо внештатников схватили Буша за руки. Буш не сопротивлялся. На лице его застыла счастливая улыбка.

Кто-то уже звонил в милицию. Кто-то — в «Скорую помощь»...

Через три дня Буша обследовала психиатрическая комиссия. Признала его совершенно вменяемым. В результате его судили за хулиганство. Буш получил два года — условно.

Хорошо еще, что редактор не добивался более сурового наказания. То есть Буш легко отделался. Но о журналистике ему теперь смешно было и думать...

Тут я на месяц потерял Буша из виду. Ездил в Ленинград устраивать семейные дела. Вернувшись, позвонил ему — телефон не работал.

Я не забыл о Буше. Я надеялся увидеть его в центре города. Так и случилось.

Буш стоял около витрины фотоателье, разглядывая каких-то улыбающихся монстров. В руке он держал половинку французской булки. Все говорило о его совершенной праздности.

Я предложил зайти в бар «Кунгла». Это было рядом. Буш сказал:

— Я там должен.

— Много?

— Рублей шесть.

— Вот и хорошо,— говорю,— заодно рассчитаемся.

Мы разделись, поднялись на второй этаж, сели у окна.

Я хотел узнать, что произошло. Ради чего совершил Буш такой дикий поступок? Что это было — нервная вспышка? Помрачение рассудка?

Буш сам заговорил на эту тему:

— Пойми, старик! В редакции — одни шакалы...

Затем он поправился:

— Кроме тебя, Шаблинского и четырех несчастных старух... Короче, там преобладают свиньи. И происходит эта дурацкая вечеринка. И начинаются все эти похабные разговоры. А я сижу и жду, когда толстожопый редактор меня облагодетельствует. И возникает эта кривоногая Зойка с подносом. И всем хочется только одного — лягнуть ногой этот блядский поднос. И тут я понял — наступила ответственная минута. Сейчас решится — кто я? Рыцарь, как считает Галка, или дерьмо, как утверждают все остальные? Тогда я встал и пошел...

Мы просидели в баре около часа. Мне нужно было идти в редакцию. Брать интервью у какого-то прогрессивного француза.

Я спросил:

— Как Галина?

— Ничего,— сказал Буш,— перенесла операцию... У нее что-то женское...

Мы спустились в холл. Инвалид-гардеробщик за деревянным барьером пил чай из термоса. Буш протянул ему алюминиевый номерок.

Гардеробщик внезапно рассердился:

— Это типичное хамство — совать номерок цифрой вниз!..

Буш выслушал его и сказал:

— У каждого свои проблемы...

После того дня мы виделись редко. Я был очень занят в редакции. Да еще готовил к печати сборник рассказов.

Как-то я встретил Буша на ипподроме. У него был вид опустившегося человека. Пришлось одолжить ему немного денег. Буш поблагодарил и сразу же устремился за выпивкой. Я не стал ждать и ушел.

Потом мы раза два сталкивались на улице и в трамвае. Буш опустился до последней степени. Говорить нам было не о чем.

Летом меня послали на болгарский кинофестиваль. Это была моя первая заграничная командировка. То есть знак политического доверия ко мне и явное свидетельство моей лояльности.

Возвратившись, я услышал поразительную историю.

В Таллинне праздновали 7 Ноября. Колонны демонстрантов тянулись в центр города. Трибуны для правительства были воздвигнуты у здания Центрального Комитета. Звучала музыка. Над площадью летали воздушные шары. Диктор выкрикивал бесчисленные здравицы и поздравления.

Люди несли транспаранты и портреты вождей. Милиционеры следили за порядком. Настроение у всех было приподнятое. Что ни говори, а все-таки праздник.

Среди демонстрантов находился Буш. Мало того, он нес кусок фанеры с деревянной ручкой. Это напоминало лопату для уборки снега. На фанере зеленой гуашью было размашисто выведено:

«Дадим суровый отпор врагам мирового империализма!»

С этим плакатом Буш шел от Кадриорга до фабрики роялей. И только тут наконец милиционеры спохватились. Кто это — «враги мирового империализма»? Кому это — «суровый отпор»?..

Буш не сопротивлялся. Его сунули в закрытую черную машину и доставили на улицу Пагари. Через три минуты Буша допрашивал сам генерал Порк.

Буш отвечал на вопросы спокойно и коротко. Вины своей категорически не признавал. Говорил, что все случившееся — недоразумение, ошибка, допущенная по рассеянности.

Генерал разговаривал с Бушем часа полтора. Временами был корректен, затем неожиданно повышал голос. То называл Буша Эрнстом Леопольдовичем, то кричал ему: «Расстреляю, собака!»

В конце концов Бушу надоело оправдываться. Он попросил карандаш и бумагу. Генерал, облегченно вздохнув, протянул ему авторучку:

— Чистосердечное признание может смягчить вашу участь...

Минуту Буш глядел в окно. Потом улыбнулся и красивым, стелющимся почерком вывел:

«Заявление».

И дальше:

«1. Выражаю чувство глубокой озабоченности судьбами христиан-баптистов Прибалтики и Закавказья!

2. Призываю американскую интеллигенцию чутко реагировать на злоупотребления Кремля в области гражданских свобод!

3. Требую права беспрепятственной эмиграции на мою историческую родину — в Федеративную Республику Германию!

Подпись — Эрнст Буш, узник совести».

Генерал прочитал заявление и опустил его в мусорную корзину. Он решил применить старый, испытанный метод. Просто взял и ушел без единого слова.

Эта мера, как правило, действовала безотказно. Оставшись в пустом кабинете, допрашиваемые страшно нервничали. Неизвестность пугала их больше, чем любые угрозы. Люди начинали анализировать свое поведение. Лихорадочно придумывать спасительные ходы. Путаться в нагромождении бессмысленных уловок. Мучительное ожидание превращало их в дрожащих тварей. Этого-то генерал и добивался.

Он возвратился минут через сорок. То, что он увидел, поразило его. Буш мирно спал, уронив голову на кипу протоколов.

Впоследствии генерал рассказывал:

— Чего только не бывало в моем кабинете! Люди перерезали себе вены. Сжигали в пепельнице записные книжки. Пытались выброситься из окна. Но чтобы уснуть — это впервые!..

Буша увезли в психиатрическую лечебницу. Происшедшее казалось генералу явным симптомом душевной болезни. Возможно, генерал был недалек от истины.

Выпустили Буша только через полгода. К этому времени и у меня случились перемены.

Трудно припомнить, с чего это началось. Раза два я сказал что-то лишнее. Поссорился с Гасплем, человеком из органов. Однажды явился пьяный в ЦК. На конференции эстонских писателей возражал самому товарищу Липпо...

Чтобы сделать газетную карьеру, необходимы постоянные возрастающие усилия. Остановиться — значит капитулировать. Видимо, я не рожден был для этого. Затормозил, буксуя, на каком-то уровне, и все...

Вспомнили, что я работаю без таллиннской прописки. Дознались о моем частично еврейском происхождении. Да и контакты с Бушем не укрепляли мою репутацию.

А тут еще начались в Эстонии политические беспорядки. Группа диссидентов обратилась с петицией к Вальдхайму. Потребовали демократизации и самоопределения. Через три дня их меморандум передавало западное радио. Еще через неделю из Москвы последовала директива — усилить воспитательную работу. Это означало — кого-то разжаловать, выгнать, понизить. Все это, разумеется, помимо следствия над авторами меморандума.

Завхоз Мелешко говорил в редакции:

— Могли обратиться к собственному начальству! Выдумали еще какого-то Хайма...

Я был подходящим человеком для репрессий. И меня уволили. Одновременно в типографии был уничтожен почти готовый сборник моих рассказов. И все это для того, чтобы рапортовать кремлевским боссам — меры приняты!

Конечно, я был не единственной жертвой. В эти же дни закрыли ипподром — рассадник буржуазных настроений. В буфете Союза журналистов прекратили торговлю спиртными напитками. Пропала ветчина из магазинов. Хотя это уже другая тема...

В общем, с эстонским либерализмом было покончено. Лучшая часть народа — двое молодых ученых — скрылись в подполье...

Меня лишили штатной должности. Рекомендовали уйти «по собственному желанию». Опять советовали превратиться в рабкора. Я отказался.

Пора мне было ехать в Ленинград. Тем более, что семейная жизнь могла наладиться. На расстоянии люди становятся благоразумнее.

Я собирал вещи на улице Томпа. Вдруг зазвонил телефон. Я узнал голос Буша:

— Старик, дождись меня! Я еду! Вернее — иду пешком. Денег — ни копейки. Зато везу тебе ценный подарок...

Я спустился за вином. Минут через сорок появился Буш. Выглядел он лучше, чем полгода назад. Я спросил:

— Как дела?

— Ничего.

Буш рассказал мне, что его держат на учете в психиатрической лечебнице. Да еще регулярно таскают в КГБ.

Затем Буш слегка оживился и понизил голос:

— Вот тебе сувенир на память.

Он расстегнул пиджак. Достал из-за пазухи сложенный вчетверо лист бумаги. Протянул мне его с довольным видом.

— Что это? — спросил я.

— Стенгазета.

— Какая стенгазета?

— Местного отделения КГБ. Видишь название — «Щит и меч». Тут масса интересного. Какого-то старшину ругают за пьянку. Есть статья о фарцовщиках. А вот стихи про хулиганов:

Стиляга угодил бутылкой
В орденоносца-старика!
Из седовласого затылка
Кровь хлещет, будто с родника...

— А что,— сказал Буш,— неплохо...

Потом начал рассказывать, как ему удалось завладеть стенгазетой:

— Вызывает меня этот чокнутый Сорокин. Затевает свои идиотские разговоры. Я опровергаю все его доводы цитатами из Маркса. Сорокин уходит. Оставляет меня в своем педерастическом кабинете. Я думаю — что бы такое захватить Сереге на память? Вижу — на шкафу стенгазета. Схватил, засунул под рубаху. Дарю тебе в качестве сувенира...

— Давай,— говорю,— сожжем ее к черту! От греха подальше.

— Давай,— согласился Буш.

Мы разорвали стенгазету на клочки и подожгли ее в унитазе.

Я начинал опаздывать. Вызвал такси. Буш поехал со мной на вокзал.

На перроне он схватил меня за руку:

— Что я могу для тебя сделать? Чем я могу тебе помочь?

— Все нормально,— говорю.

Буш на секунду задумался, принимая какое-то мучительное решение.

— Хочешь,— сказал он,— женись на Галине? Уступаю как другу. Она может рисовать цветы на продажу. А через неделю родятся сиамские котята. Женись, не пожалеешь!

— Я,— говорю,— в общем-то женат.

— Дело твое,— сказал Буш.

Я обнял его и сел в поезд.

Буш стоял на перроне один. Кажется, я не сказал, что он был маленького роста.

Я помахал ему рукой. В ответ Буш поднял кулак — «рот фронт»! Затем растопырил пальцы — «виктори»!

Поезд тронулся...

Шестой год я живу в Америке. Со мной жена и дочь Катя. Покупая очередные джинсы, Катя минут сорок топчет их ногами. Затем проделывает дырки на коленях...

Недавно в Бруклине меня окликнул человек. Я присмотрелся и узнал Гришаню. Того самого, который вез меня из Ленинграда.

Мы зашли в ближайший ресторан. Гришаня рассказал, что отсидел всего полгода. Затем удалось дать кому-то взятку, и его отпустили.

— Умел брать — сумей дать,— философски высказался Гришаня.

Я спросил его — как Буш? Он сказал:

— Понятия не имею. Шаблинского назначили ответственным секретарем...

Мы договорились, что созвонимся. Я так и не позвонил. Он тоже...

Месяц назад я прочитал в газетах о капитане Руди. Он пробыл четыре года в Мордовии. Потом за него вступились какие-то организации. Капитана освободили раньше срока. Сейчас он живет в Гамбурге.

О Буше я расспрашивал всех, кого только мог. По одним сведениям, Буш находится в тюрьме. По другим — женился на вдове министра рыбного хозяйства. Обе версии правдоподобны. И обе внушают мне горькое чувство.

Где он теперь, диссидент и красавец, шизофреник, поэт и герой, возмутитель спокойствия — Эрнст Леопольдович Буш?!

Сергей Аверинцев

ОГОНЬ ОСТАЕТСЯ ОГНЕМ

В Лондоне, в русском православном соборе Успения Божией Матери и Всех Святых, в двух шагах от Гайд-парка, живет человек. Он облечен саном митрополита и ныне является правящим иерархом Сурожской епархии нашей Церкви на Британских островах; в позапрошлом году ему исполнилось 75 лет.

Я не оговорился — живет он не при соборе, а именно в соборе. Был для него церковный домик, был; но Церкви понадобились средства, и митрополит распорядился домик продать. То, что теперь он, по сути дела, бездомен, что нет у него другого места для сна, кроме закуточка над церковной лестницей, куда худо помещается кровать, нет другого рабочего стола, кроме того, что поставлен на церковных хорах,— черта его облика. Еще в Евангелии его Учитель хорошо предупредил Своих учеников: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда; а Сын Человеческий не знает, где приклонить голову». Сказано — на все времена. И в традиции православия наряду с благообразным уютом благочестивых домов и обителей есть еще просто — *нестяжательство.*

В свое время Мать Мария писала: «Искать не монастырских стен, а полного отсутствия самой тонкой перегородки, отделяющей сердце от мира, от его боли». Уж какая там перегородка — когда посмотришь, сколько людей чуть не круглосуточно требуют его пастырского участия. В дни его приездов в Москву далеко за полночь прекращается поток посетителей; и тогда в дверь номера начинают стучаться служащие гостиницы, прося поговорить и с ними. Есть нечто, что отдать труднее, нежели любую собственность, дом, добро: это минуты, которые можно прожить для себя самого, в покое. Он — отдал.

Что же о нем сказать?

Его предки по отцовской линии, выходцы из Шотландии по фамилии Блумы, обосновались в России со времен Петра Великого. Его отец был сотрудником дипломатической службы Российской империи. (В эмиграции отец переживал вину высших сословий старой России за ее крушение как личную свою вину и наказывал себя, отклоняя любую возможность заработать на жизнь иначе, как тяжелым для его лет физическим трудом. Такие были люди.) Его мать — единокровная сестра великого Скрябина. Обо всем этом думаешь, конечно, любуясь наследственным благородством его черт. Но говорить об этом в применения к нему — едва ли не запретно. По крайней мере, так не в его духе...

Разговоров о своем участии в антифашистском движении Сопротивления он тоже заметно избегает. Только тогда, когда это действительно необходимо по логике духовной беседы, опишет несколькими точными, объективными, отстраненными словами, что он чувствовал, когда гестапо устроило ему ловушку в парижском метро.

Это обладатель сильного и твердого ума, образованный в лучшем смысле слова — когда важно не то, как много человек знает, а то, что он знает, что́ к чему. Его книги о молитве и духовной жизни читают во всем мире, и не одни только православные. У английской молодежи по итогам одного обследования он вошел в тройку самых популярных религиозных авторов. Но ведь и это — не самое главное.

За годы его служения на Британских островах единственный когда-то небольшой русский приход вырос в многонациональную епархию со множеством приходов и священнослужителей. Приходская и епархиальная жизнь — пример для нас покамест недостижимый. Каждый год устраивается летний лагерь для подростков, действуют воскресная школа для детей и молодежная группа, не забыты старики и члены общины, живущие слишком далеко, чтобы регулярно присутствовать на богослужении. Но ведь и это — следствие, а не причина.

Суть дела в том, что митрополит Антоний принадлежит к тем христианам, вера которых — не уютное тепло для души, а огонь духа, как во времена пророков, мучеников, пустынножителей, когда люди были готовы на любую жертву, шли до конца и делали невозможное. Огонь — это и есть огонь, его не примешь ни за что другое. Все, что может сгореть, он просто сжигает. Не остается возможности ни для умствований сколь угодно искусных, ни для стилизации сколь угодно выдержанной, ни для условного поведения по хитроумному принципу «как если бы». С Богом можно встретиться в любом реальном месте — даже в Аду, как учит нас 138-й псалом. Но вот в воображаемом месте Бога нет, потому что Он — Сущий и не имеет общения с выдуманным. Возможности не остается и для утилитарного подхода к христианству, увы, столь распространяющегося у нас нынче, когда на веру начинают смотреть как на подсобное средство, как на механически действующий инструмент для восстановления общественной морали, русской идентичности и прочая. Но вера спасает что бы то ни было под непременным условием — что это вера, а не утилитарное допущение. Сказано: «Ищите прежде всего Царствия Божия и правды Его, и это все приложится вам». С этим хитрить нельзя.

У нас бывает искушение усомниться: а возможна ли в наши дни такая вера, как в древние времена? Даю справку как историк: византийцы XI века задавали тот же вопрос. И тогда же великий православный мистик Симеон Новый Богослов учил, что оглядываться в таких делах на время — не просто ересь, а как бы сумма всех ересей.

Современный ли человек — наш современник митрополит Антоний? В самом благородном смысле — да, современнее многих из нас: по недоверию ко всему декоративному, условному, искусственному, ко всему, без чего жить можно; по выстраданной сосредоточенности на существенном. Ни тени благочестивой позы, ни одной сладкой интонации. Стиль его проповедей выкован тяготами нищего эмигрантского отрочества, опытом фронта, оккупации, риска, да ведь и нынешней бездомности. Современного человека он способен понять изнутри, с полуслова. С другой стороны, однако, у апостола Павла сказано: «Не сообразуйтесь веку сему». Если быть современным человеком значит подлаживаться к современности, тогда Владыку Антония, как всякого христианина, заслуживающего этого обозначения, современным никак не назовешь. Он — одно из вещественных доказательств правоты Симеона Нового Богослова. Огонь веры горит в нем совершенно так же, как он горел в совсем, совсем иные времена. Все меняется, но огонь остается огнем.

Кто слушал его проповеди, каждое слово в которых поражает сердце своей прямотой, кто дожидался в одном из московских храмов своей очереди после сотен верующих, чтобы незнакомцем подойти к нему под благословение, и был — наравне с *каждым* другим — встречен таким сосредоточенным взглядом, словно во всей вселенной только и есть людей, что Владыка и он,— не забудет ни слышанного, ни виденного.

Его приезды были для христианской Москвы тайной радостью из десятилетия в десятилетие. Беззвучным праздником. Помню ликование в тембре голоса музыканта Марии Вениаминовны Юдиной, оповещающей об очередном приезде. Помню встречу с ним в трехкомнатной квартире, из которой вынесли всю мебель, оставив два стула — один для него, другой для самого старого старика; каждый сантиметр пола во всех трех комнатах был занят сидящими. Теперь можно печатать интервью с ним в литературном журнале. Слава Богу.

Может быть, ему все-таки удастся разъяснить верующим и неверующим, что вера — это не палехская поделка, и не род парапсихологии, и не направление, так сказать, параполитики, не претензия того «православного», который, как сказано у Бродского, говорит: «Теперь я главный». Вообще, это не новый вариант отмычки к вполне земным вещам и не красивая мнимость. Вера совершенно реальна; реальнее не бывает. Это — огонь, и притом, что очень важно, огонь жертвенный. А ничего иного не следует так называть.

Антоний,
митрополит Сурожский

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА «ЗВЕЗДА»

Считаете ли вы, что влияние христианства в России возросло? Если да, то почему? Если можно говорить о возрождении христианства, то что именно возрождается: доктрина, культ с обрядностью, этическое учение церкви или христианство как часть русской идентичности?

Мне трудно судить о том, насколько христианство сейчас влияет на судьбы России. Впечатление у меня такое, что интерес и отзывчивость к духовным ценностям возросли, что люди гораздо больше, чем в какой-либо минувший период, воспринимают законность этих ценностей, понимают, что можно быть культурным человеком и современным человеком, не отрицая духовную область, что не обязательно быть материалистом для того, чтобы быть человеком *нашего* времени. С другой стороны, люди еще не обнаружили того, что, если говорить о материализме, христианство — единственный совершенный материализм в том смысле, что материалист рассматривает материю как строительный материал, тогда как для нас, из-за воплощения Христа, в Котором вся полнота Божества обитала телесно (Кол. 2, 9), материя получила какое-то абсолютное значение, это святыня. И в этом смысле мы могли бы перебросить мост между христианским, православным мировоззрением и неверующими, показав им, что образ человека слишком мелкий в материализме и что самая материя ими унижена, что она имеет громадный потенциал, о котором они даже не подозревают: обожение, пронизывание — как в таинствах — Божественным реальным присутствием.

Я думаю, что причина, почему Россия открывается духовным ценностям, и в частности христианству, в том, что за семьдесят лет люди изголодались. Нельзя жить только телесностью, материальной жизнью (причем порой чрезвычайно трудной) и чисто умственными выкладками — и опять-таки, очень ограниченными ввиду того, что они должны были совпадать с определенной идеологией и не могли переступить какой-то порог. И еще (и это связано с вопросом, который вы дальше ставите, когда спрашиваете, что именно возрождается): русское православие, русское христианство с самого начала было *благочестием*, то есть способностью поклоняться Богу, который воспринят нутром. Богословие, доктрина принадлежали определенному кругу людей, но в целом русское православие — это православие молитвы, а также и богослужения, в котором сочетаются разные стихии. С одной стороны, очень большая красота; Платон говорил, что красота — это убедительная сила истины. Когда вы не можете о чем-нибудь сказать: «Как прекрасно!», это значит, что оно до вас не дошло, это объективный факт вне вас. И поэтому красота, величие православного богослужения — это не просто «инсценировка», это выражение народного духа в форме красоты вещей, воспринятых духовно нутром. С другой стороны, есть, конечно, опасность обрядоверия. Это риск большой, потому что очень легко считать обряд самодовлеющим или переживать обрядовую сторону богослужения и пройти мимо какой-то глубины содержания. Но тем не менее, мне кажется, что возрождение христианства в России связано главным образом с тем, что в России Бог, Христос, вся реальность христианства воспринималась как личный духовный опыт, которым люди делились, то есть который был и общий, и невыразимо-личный. И в этом, мне кажется, есть большая сила, потому что если бы христианство было только мировоззрением, оно не могло бы охватить любые слои народа, а только лишь привилегированный интеллектуальный или эстетический класс; а здесь это глубокий личный опыт.

Но с этим связано и другое: еще Лесков говорил в XIX веке, что Русь была крещена, но никогда не была просвещена. То есть религиозного, духовного образования не было дано, и поэтому опыт, который внутри клубится невыразимо, никогда не был — для широкого народа, я не говорю: для богословов — оформлен так, чтобы он мог, с одной стороны, быть выражен, с другой стороны — быть защищен, и еще — обогащал бы человека в другой области, нежели просто сердце. Максим Исповедник говорил, что богослов тот, у кого сердце — как пламя, а ум — как лед, то есть кто может холодно, строго думать, но — думать на основании пламенения. И вот *это* сейчас громадная проблема перед нами.

Когда вы употребляете слово «доктрина» — если это понимать как учение о Боге, о Христе, о Церкви, о таинствах, о человеке, о материи, которое выражает собой с силой и глубиной внутренний опыт — да; если это умозрение некоторых богословов, которое, можно сказать, порой бывает похоже на высшую математику, недоступную никому, или на абстрактное искусство, о котором художник-абстракционист Ланской говорил: этот язык, на котором только один человек может говорить и три или четыре человека понимать,— конечно, это не наша линия. Но нам надо все больше найти способы выражать *весь* внутренний опыт, личный и коллективный, в таких формах, которые его бы не унижали, которые были бы духовны. И это не просто доктринальное обучение.

Чем очень страдает, мне кажется, христианство везде, и в России тоже, это этическая сторона. Я говорю «везде и всегда», потому что еще апостол Павел писал в одном из своих посланий: Имя Христово порочится ради вас (Рим. 2,24). Если мы не живем в уровень того, что проповедуем, то мы просто отрицаем видимо, очевидно перед людьми правду, которую мы будто исповедуем. Я помню первого секретаря Всемирного Совета Церквей, который говорил, что можно быть еретиком жизнью, исповедуя всю истину на словах, потому что, если твоя жизнь расходится с этой истиной, ты изменил своей вере. И вот это — проблема, которая, мне кажется, стоит сейчас очень остро. Какие-то основы веры надо проповедовать, какие-то истины веры должны быть объяснены и усвоены; но, с другой стороны, как говорили некоторые древние писатели, понимание Евангелия происходит через исполнение того, что оно говорит. Если мы его только читаем и восхищаемся его красотой, то мы до истины его не можем дойти; и вот это большая проблема для современности. Это должно бы быть проповедью каждого священника, каждого епископа: *живи* согласно твоей вере. Как говорил апостол Иаков: ты мне покажи свою веру *без* дел твоих, а я тебе покажу мою веру *из* дел моих (2, 18). Если это не осуществится, если соединение духовного опыта и доступного, но чистого, хрустально-истинного умственного выражения (выражения и этого опыта, и этого понимания в красоте) не будет осуществлено в жизни, то никто не сможет поверить христианству в конечном итоге.

А о христианстве как о части русской идентичности вы, Владыко, ничего не хотите сказать?

Я просто пропустил. Я думаю, что отождествление христианства с русской идентичностью дает преувеличенное представление о русской идентичности; на самом деле христианство ее значительно превосходит. Русская идентичность была в очень значительной мере вдохновлена и оформлена христианством, но русское христианство не обязательно является полнотой христианства всего мира. Мы не можем говорить о том, что мы должны *его* привить всем странам на свете. И я думаю, что говорить о совпадении русскости и православия — это унижение Божественного, вечного, беспредельного. Еще Нестор говорил о том, что каждый народ должен внести свой голос, как бы музыкальную свою ноту в общий аккорд всего мира в явлении и прославлении Бога; и русский народ может внести свое уникальное — но это не все: мы должны научиться от других

народов тому, что они узнали благодаря тому, что они на нас не похожи. Поэтому говорить о том, что христианство было, есть и может стать в изумительной мере вдохновением, содержанием, формой русской души и жизни — это одно, но сводить христианство или православие к тому, что это — *одно из* выражений русской культуры, или русской души, или русской идентичности, было бы очень жалко.

Истины христианства неизменны, но в разных исторических ситуациях более важными становятся разные аспекты учения. Какова специфическая весть христианства для сегодняшней России?

Я совершенно согласен с этой постановкой вопроса. Думая о развитии богословской мысли в христианской Церкви, мы видим, как оно проходило постепенно. Первое поколение знало Иисуса Христа лично. Сначала Его знали, вероятно, как юношу. Ведь Кана Галилейская и Назарет на расстоянии нескольких километров: невозможно себе представить, что ребенок или подросток Иисус Христос жил в Назарете и Его не знал бы Нафанаил, который жил в Кане. Поэтому сначала Его знали просто как живого человека и, вероятно, поражались какой-то неповторимостью Его человеческой личности; а затем постепенно раскрывались перед людьми новые и новые глубины, до момента, когда они поняли, *кто* Он: Живой Бог, ставший живым человеком. Это был первичный опыт, абсолютным центром которого был живой Иисус Христос, им знакомый, известный. И когда Христос умер и воскрес, они ходили и говорили о Ком-то, Кого они лично знали. Зов апостольства был обращен к тем, кто знал Христа с самого начала, они могли засвидетельствовать все об этом. А потом стали развиваться, стали ставиться вопросы о том, Кто же Он. Да, Он — Бог; но Он о Себе говорит, что Он Сын Божий; Он говорит о Боге как о Своем Отце,— стали думать об этом Отцовстве. Сошествие Святого Духа было реальностью не богословской, а чисто эмпирической, жизненной. Апостолы стали местом вселения Святого Духа. Они о Нем могли говорить, как только можно говорить о силе, которая тобой движет конкретно и опытно. Поэтому Троическое богословие начало развиваться, делаться более и более четким. Были споры, в каком-то смысле очень хорошо. Апостол Павел говорит: у вас будут разделения, с тем чтобы наиболее мудрые себя проявили (I Кор.11,19). И православное вероучение постепенно, через искания, через полусвет и полутьму, через борьбу школ, мнений, личностей выкристаллизовало нечто, что держит в некоем равновесии то, что *можно* выразить словом или литургическим действием, и то, чего *никак* не можешь выразить, потому что в конечном итоге, когда встречаешь Бога лицом к лицу, ты только молчать можешь. Английское, немецкое слова God, Gott — от древнего корня, который значит «тот, перед которым падаешь на колени»: вот это последний шаг.

Сейчас делается наиболее насущным то, что, если история Ветхого и Нового заветов истинна, если действительно Бог стал человеком, мы можем говорить о человеке совершенно новым языком. Человек не является как бы наиболее замечательной обезьяной, которая научилась тому, чего другие обезьяны не умеют делать; человек — это существо, которое от начала несет в себе Божий образ, которое по своей глубине и широте может стать вместилищем Божества, причем вместилищем не так, как чаша хранит содержимое, а как опять-таки Максим Исповедник говорил о воплощении, что соединение Божества и человечества во Христе подобно соединению огня и железа. Если меч вложить в жаровню — ты его вкладываешь бесцветным, серым, мертвым, а вынимаешь горячим. И огонь остался огнем, и железо осталось железом, но теперь можно резать огнем и жечь железом. Человек настолько глубок, велик и таинствен, что он может *до конца* соединиться с Богом, не переставая быть человеком. И *этого* ни один материалист не может сказать.

И еще другое. Когда мы говорим о воплощении, как я раньше сказал, воплощение значит, что Божество соединилось с *материей*; это говорит о том, что материя всей вселенной способна на воссоединение с Богом в том неописуемом чуде, которое апостол Павел называет «Бог все во всем» (I Кор. 15,28). И мне кажется, что теперь надо говорить гораздо больше, чем раньше, о величии человека, о том, что мы можем *верить* в человека, верить с такой же глубиной и уверенностью, как мы говорим «я верую в Бога».

И еще можно сказать вещь — меня она очень вдохновляет: это то, что Бог не безумен. Если Он сотворяет какие-то твари, то и не в погибель, и не для того чтобы изуродовать тот мир, который Он создал. Значит, каждый раз, когда человек вступает в мир, это акт Божественной веры в него: *Бог в нас верит* — и индивидуально, и коллективно, во все человечество и в каждого из нас. И это замечательная мысль: Бог в нас верит, Бог надеется на *все* от нас. И об этом мы должны говорить гораздо больше. Потому что мы говорим о Боге вне пропорций с человеком, как будто человек малюсенький, а Бог громадный. Это мы видим на иконах, и это единственный способ выразить величие Божие. Но как часто видишь: Христос восседает, а у Его ног, как маленькие мышата, двое каких-то святых. Это не говорит о величии человеческом, а только о Божием величии. И нет у нас иконы, которая показала бы величие человека — кроме иконы Христа: смотри — «Се Человек», *это* человек: не ты, и не она, и не мы, а *Он* — Человек, единственный. Если ты хочешь быть человеком в полном смысле, вот *этим* ты должен быть. И это, мне кажется, проблема наших дней, потому что люди изверились в человеке. Человек слишком много показал темных своих сторон, и только христианин, я думаю, может верить в человека. Помню, один священник на Западе как-то написал, что когда Бог на нас смотрит, Он не видит ни наших добродетелей, ни наших успехов (которых может и не быть), но в глубине всякого человека Он видит сияющий Свой образ, который может вырасти и заполнить все — преображением. Вот, мне кажется, о чем надо говорить — в той или другой форме: я *верую* в человека, *Бог* верит в человека.

Наверное, Владыко, это не менее важно и в других странах, или вы считаете, что это специфически важно для сегодняшней России?

Это важно для всех стран сейчас, потому что мы везде потеряли сознание величия человека. Я говорю об этом на Западе, но думаю, что здесь надо говорить об этом гораздо больше. Человек стал политическим зверем, или животным высшего качества; мир превращается в муравейник. Но настоящий муравейник строится очень талантливо, мы строим наш муравейник гораздо менее талантливо. И я думаю, что христиане должны сотрудничать со всеми другими людьми, доброй или недоброй воли, без разбора, в постройке града человеческого, но прибавляя к этому граду человеческому глубины, широты и святости, чтобы он мог когда-нибудь оказаться градом Божиим, первым гражданином которого был бы Человек Иисус Христос. Это относится ко всему человечеству сейчас, во всяком случае — христианскому или псевдохристианскому.

А что именно для России специфически важно?

Для России, я думаю, сейчас важно возродить веру в человека не как раба или работодателя, не как, скажем, научного гения или муравья из муравейника, а как неповторимую личность. *Нет* человека, без которого вселенная могла бы обойтись, каждый человек — словно камушек в колоссальной дивной мозаике. Вы знаете, что бывает, если один камушек выпадает: постепенно мозаика начинает трескаться, и все камни выпадают. И поэтому каждый человек — единственный, неповторимый, не только в его знании Бога. Есть замечательное место в Книге Откровения, где говорится, что в конце времен всякий человек получит имя, которое только *он* знает и Бог знает (2,17), то есть имя, которое его выражает всецело и которое выражает то, что его соотношение с Богом неповторимо, что единственно он знает Бога так, как он Его знает.И нам надо постоянно внедрять в сознание людей абсолютную ценность *личности* — не индивида как фрагмента человечества, а именно личности, которая может творчески соотноситься с другими личностями, не теряя ничего и вместе с этим давая все. Знаете: солнце сияет — от этого светом оно не беднеет, а другие в сиянии света начинают видеть все по-иному.

Может ли безусловная преданность христианской истине совмещаться с принятием возникшего в Новое время мировоззренческого плюрализма, с серьезным отношением к чужим истинам?

Я думаю, что христианство должно себе отдавать отчет в том, что плюрализм, который сейчас существует и часто антагонистичен христианству, является результатом того, что христианство не дало мировоззрения, которое было бы откровением новой жизни и радости людям. Мы ответственны за то, что люди стали искать других мировоззрений, ибо то, что мы говорили о христианстве, их не могло удовлетворить. Это одно, первое; и в данной ситуации мы должны сознавать, что мы ответственны за все ереси, за все отклонения, за все несовершенства, мы ответственны за то, что люди обращаются и на Восток, и в самые дикие секты, и в политические и общественные мировоззрения — из-за того, что не находят полноты в том христианстве, которое мы проповедуем и которое мы проявили. С другой стороны, несомненно (то есть для меня несомненно,— конечно, это не обязательно для другого несомненно), если посмотреть на все христианское общество в его разделенности, что нет ни одной христианской группировки, которая не могла бы христианский мир в целом приблизить к полноте, которая отчасти потеряна. Это относится и к православию: у нас есть что давать, но у нас есть и чему учиться и в нравственности, и в делании, и в понимании того, что мы сами проповедуем. Так что я считаю, что плюрализм — это не оскорбление христианству, это множество голосов, которое ставит под вопрос не христианство, а христиан. Бердяев когда-то писал брошюру, которая называлась «О достоинстве христианства и недостоинстве христиан» — вот это-то и есть. Если бы христианство было христианством Евангелия, осуществленного, реального, то все бы говорили: да, это полнота жизни, этим стоит жить... Но кто может сказать это о русском православии в России, о русском православии за границей или о других вероисповеданиях? Поэтому я думаю, что существование плюрализма ставит *нас* под вопрос, и мы должны всмотреться в себя каждый раз, когда мы встречаемся со взглядами, мнениями или реакциями со стороны людей, которые знают христианство, но его отвергают. Почему я не сумел это открыть? Почему я не могу им дать то, чего они ищут и что они находят только частично?.. Вот что мне кажется очень важным. Притом диалог всегда был бы диалогом. В какой-то период истории «торжество» христианского мировоззрения достигалось мечом и огнем. Это не торжество, это просто последнее падение. Скажем, инквизиция как идея (я сейчас не делаю упрека, просто инквизиция как подход), что надо человека *сломать* и заставить думать так или иначе, это грех, это просто преступление, потому что Бог хочет Себе свободно избравших Его друзей, а не рабов. «Я вас не называю больше рабами, потому что раб не знает воли господина своего. Я называю вас друзьями, потому что Я все вам сказал» — вот что говорит Христос (Ин. 15,15). И нельзя ожидать, чтобы всякий человек *без* искания нашел бы окончательную форму истины, которая соответствует Божественной истине. А искание неизбежно бывает периодами неясно. Ставятся под вопрос вещи, которые в конечном итоге могут быть оправданы, но которые на пути искания должны быть аналитически рассмотрены, постольку, поскольку мы употребляем слова.

И еще одно я скажу. Паскаль молился Богу и говорил, кричал, что не может Его найти, и Бог ему сказал: «Ты бы Меня не искал, если бы ты Меня уже не нашел». И это я перенес бы на *все* религии мира. Бога невозможно выдумать. Я не говорю об уродливых формах, которые потом можно придать этому первичному опыту; но когда человек говорит: «Я *опытно* знаю, что есть Божественная сила», это значит, что он коснулся хоть края ризы Божественной. И поэтому мы должны относиться с глубокой вдумчивостью к тому, что люди *опытно* знают о Боге, даже если они выражают это совершенно неприемлемыми формами благочестия или мировоззренческими представлениями. И нам надо быть очень осторожными. У апостола Павла есть место, где говорится, что боги язычников — бесы (I Кор. 10,20) — постольку, поскольку они отрицали Христа. Слово «сатана», как вы знаете, по-еврейски значит «противник», это не «черти» в нашем понимании. Они противники — да, и те, кто придерживается этих мировоззрений, особенно если они придерживаются их изуверски и яростно, ошибаются, но надо заботиться о том, как им открыть бо́льшую истину.

Есть рассказ о жизни старца Силуана [1], о том, как он разговаривал с одним из православных миссионеров на Востоке и его спрашивал: «Ну как же у вас идет миссия?» — «Очень неуспешно. Китайцы такие тупые, такие невосприимчивые, ничего не воспринимают». Силуан говорит: «А как же вы с ними поступаете?» — «Ну, я иду в капище, им говорю: смотрите на свои идолы, сбросьте их, это камень, это дерево, это изуверство, это ложь!..» — «А что случается дальше?» — «Они меня из капища выкидывают и остаются при своем...» И тогда ему Силуан говорит: «А знаете что: вы могли бы пойти туда, посмотреть, как они молятся, сколько у них благоговения и благочестия, и позвать нескольких из их священников, и сказать: давайте сядем на ступеньки и поговорим; расскажите мне о своей вере... И каждый раз, когда они что-нибудь скажут близкое к христианству, вы могли бы им сказать: как это прекрасно! Но у вас чего-то не хватает. Хотите, я вам скажу? — и прибавить ту солинку, которая может превратить приторность того, что вы слышали, во что-то „вкусное", живое. Вот, если бы вы так делали, постепенно они усвоили бы очень многое из христианства; а когда вы им говорите, что все, во что они верят, неправда, они не могут согласиться, потому что опытно знают, что многое — правда...»

Я долго жил среди людей инакомыслящих, и в течение очень долгого периода у меня было такое радикальное отношение: только православие — и все. А постепенно, особенно на войне, я посмотрел, как люди инакомыслящие себя ведут: христианин, может быть, ляжет за кустом, когда стреляют, а безбожник выйдет из укрытия и принесет обратно раненого. И тогда ставишь вопрос о том, кто из них подобен доброму самаритянину и Христу Спасителю.

Знаете, меня поражает тоже притча о Страшном суде в этом контексте. Нам всегда говорят: вот, это Страшный суд: козлища туда, овцы сюда...— а какие вопросы ставит Христос? Он не спрашивает людей, веруют ли они в Бога, не спрашивает ничего о том, как они к Нему относятся. Он их спрашивает: одел ли ты нагого? Накормил ли голодного? Посетил ли больного? Не постыдился ли признать, что тюремный заключенный — твой друг? Он им ставит только об одном вопрос: ты был человеком — или ты и не человек? Если ты и не человек, то в Царство Божие тебе дороги нет, потому что обожиться может человек; если ты был человеком — вот тебе и путь-дорога.

Мне кажется, что мы так должны бы относиться ко *всем* людям, которые во что-то верят. *Даже* материалист верит в человека по-своему. У него образ человека с нашей точки зрения очень несовершенный, неполный, но он верит во что-то. И вот — слушай, во что он верит. Часто он верит в какую-то нравственную правду, цельность, которую *мы* нередко заменяем благочестием. Знаете, гораздо легче человеку, который говорит: «Я голоден», ответить: «Иди с миром, я о тебе помолюсь», чем разделить с ним то малое, что у тебя есть.

Что вы можете сказать о терпимости Русской Православной Церкви к представителям других конфессий, других этнических групп, к неверующим?

Слово «терпимость» можно понимать различно. Можно понимать так: мы их глубоко или достаточно знаем, чтобы не произносить суждение, которое не соответствует реальности; мы с уважением относимся к тому, что эти люди, придерживаясь своих убеждений, ими *живут* реально, но мы остаемся при своем убеждении, что православие является наиболее совершенным выражением Евангельского благовествования, хотя относимся к другим с полным уважением и вдумчивостью. Другая форма терпимости заключается в том, чтобы сказать: «Ну да, есть столько различных мнений,— а может быть, и мое никуда не го-

[1] Старец Силуан (Семен Иванович Антонов 1866—1938), афонский подвижник, в 1988 году причисленный Константинопольской церковью к лику святых. О нем см.: Архимандрит Софроний. Старец Силуан. Париж, 1952; А. Кырлежев. Прославление старца Силуана в лике преподобных святогорцев (Журнал Московской Патриархии, 1989, № 7, с. 50—54).

дится...» — такое компромиссное отношение. Это, я думаю, никому никогда не помогает, потому что, как апостол Павел говорит, если труба не будет звучать ясно, то никто в бой не будет готовиться (1 Кор. 14,8). И говорить: «Ну да, конечно, ваши взгляды, может быть, и завиральные, но вы хороший человек, и быть может, и мои не такие уж совершенные» — не помогает ни тому, ни другому. Диалог может быть только между людьми, которые *убеждены* в том, о чем они говорят, но готовы слушать другого: не откроет ли он им чего-то, чего они сами не нашли и не знают. Поэтому я думаю, что мы должны относиться с глубоким уважением к людям иной веры или к инакомыслящим, искать в том, что они нам говорят или что явствует из их жизни, обогащения себе и понимания *их*, и потом, вот как Силуан говорил этому миссионеру, с ними делиться тем богатством, которое у нас есть, которое, может быть, ни вы, ни он, ни она не воплощаем, но которое все равно остается реальным.

Знаете, есть люди, которые не умеют или не могут воплотить чего-нибудь, но которые могут с убедительностью сказать, что это правда. Я вам хотел бы привести пример. Когда-то нашего священника в Париже немцы арестовали. Его заменил другой священник, который бывал в церкви, но почти никогда не служил, потому что большей частью он приходил вдрызг пьяный. Я тогда был старостой, я его ставил в угол и становился перед ним, чтобы, если он упадет, то упал бы на меня и я мог бы его удержать. Многие его осуждали. Я помню даже интересный разговор, когда он говорил о себе, что он плохой священник, но кто-то другой ему сказал: знаешь, ты не плохой священник, ты плохой человек, а священник ты хороший... И вот я с этим абсолютно согласен, потому что однажды я был у него на исповеди (когда настоятеля не было). Я помню, как он слушал мою исповедь. Он слушал из глубины собственного покаяния, и он *плакал* надо мной — не пьяными слезами, он был вполне трезвый, но он плакал о том, что вот молодой человек двадцати с чем-то лет борется и может тоже разбиться. Я помню, когда я кончил исповедь, он мне сказал: «Ты же знаешь, какова моя жизнь, ты знаешь, что я не имею права говорить о том, как люди должны жить и какими людьми они должны быть, но, хотя я недостоин даже говорить об этом, я тебе скажу, что Христос сказал бы на моем месте, потому что ты молод и ты можешь не прийти в то состояние, в какое я пришел...» И он тогда мне говорил из Евангелия. И вот это человек, который для внешнего наблюдателя — ну, пьяница и только, да еще какой позор: поп — да пьет! А он мог сказать Божию правду из глубины своего *страдания*. Потом я узнал больше о нем. Он вместе с частью белой армии покидал Крым на одном пароходе, на другом пароходе была его жена и двое детей, и этот пароход утонул; у него на глазах они погибли, а он ничего не мог сделать. И запил. На это кто-нибудь может сказать: а вот Иов не запил,— ну, если вы можете сказать, смеете сказать, что Иов не запил, так вырастите сначала в меру Иова: *он* бы его не осудил. И вот мне кажется, что не нравственное совершенство, не житейское совершенство, а внутренняя правда человека играет большую роль. И поэтому иноверный, инославный, язычник по нашим понятиям, неверующий — если он всем сердцем и умом живет согласно своей вере и верит в то, что говорит, может сказать слово правды, и мы можем научиться чему-нибудь. За это меня тоже осудят, но я опять-таки скажу, что я слишком много людей видел достойных, с которыми я *никак* не могу согласиться и которыми все равно восхищаюсь: замечательные люди.

ОТ РЕДАКЦИИ:

Нам известно, что в дни Поместного Собора, когда было записано это интервью, рабочий день митрополита Антония Сурожского начинался в предутренние часы, а заканчивался глубокой ночью.

Редакция журнала благодарит митрополита Антония за то, что он нашел возможным ответить на наши вопросы, пожертвовав частью и без того короткого сна.

Благодарим также Д. А. Черняховского, взявшего это интервью.

К 100-летию Ильи Эренбурга



НЕОПУБЛИКОВАННАЯ СТАТЬЯ И. ЭРЕНБУРГА

В мемуарах Эренбурга имя Н.С. Хрущева упоминается лишь в последней (шестой) книге, если помнить, что седьмая осталась неоконченной. «Я счастлив,— писал автор,— что дожил до того дня, когда меня вызвали в Союз писателей и дали прочитать доклад Хрущева о культе личности». Эренбург, как и многие из нас, считал это главным делом нашего тогдашнего руководителя. С ним, с «его временем» связано и понятие «оттепели», которое, с легкой руки Эренбурга, обозначило целую эпоху, практически закончившуюся со смещением Хрущева.

Предлагаемая ниже статья датирована 1959 годом, когда уже стали проявляться некоторые противоречия в характере и поведении нашего лидера. Эренбург настойчиво выделяет в Хрущеве то, что отличает его от Сталина: «он никого не посылал на костер». Опыт «волевого» отношения к искусству также памятен писателю. Отсюда слова об ином отношении к сложным явлениям духовной жизни. «...Он... говорил, что... боится высказывать свои суждения об искусстве». Известно, что Хрущев все-таки начал «высказываться» на далекие от него темы уже под воздействием своего окружения, и самому Эренбургу, как и некоторым другим писателям, художникам, пришлось услышать с высокой трибуны некомпетентные суждения. Уйдя на пенсию, Хрущев сожалел об этих акциях.

У Эренбурга были основания «обижаться» на Хрущева. Вместе с Л. Ф. Ильичевым он обвинял автора книги «Люди, годы, жизнь» в том, что тот выступает за мирное сосуществование идеологий, «придумал» теорию «молчания» и т. д. Эти нападки «развивали» некоторые критики, особенно В. Ермилов и Н. Лесючевский, написавший предисловие к третьей и четвертой книгам мемуаров. Критика мемуаров на время остановила их публикацию. И лишь встреча Эренбурга с Хрущевым и некоторые разъяснения, данные автором, позволили завершить публикацию.

Мне довелось слышать от Ильи Григорьевича об этих разъяснениях. Эренбург сказал, что автором «теории молчания» является не он, а скорее сам Хрущев, который говорил, что, бывало, ехал с Булганиным к Сталину в Кремль и не знал, вернется ли домой. Значит, был в людях страх, понимание, что можно оказаться без вины виноватым. Приходилось молчать, сдерживать себя. Эренбург, например, знал, что друг его отрочества Николай Бухарин — не предатель. И вынужден был молчать. Во время той же, последней встречи с Хрущевым в августе 1963 года Эренбург сказал, что он не за мирное сосуществование идеологий, а просто за мирное сосуществование, ибо война в атомную эпоху невозможна, бессмысленна. Идеологии же должны доказывать свое превосходство в спорах — не силой оружия, а силой самих идей.

Раньше многих Эренбург понял, что уход Хрущева означал наступление иного этапа нашей жизни. В своих поздних стихах (1965) писатель снова вернулся к личности этого человека, который был «увенчан глупо, глупо и развенчан»: «Как Санчо, грубоват и человечен, хоть недоверчив, как дитя беспечен...» Есть в этих стихах и перекличка со статьей: «...то злил, то тешил и матом крыл, но никого не вешал». Слишком памятной оказалась былая беспощадность.

В том же, 1965 году, на одной из встреч с читателями московской библиотеки, Эренбург говорил с сожалением об ушедшем десятилетии. Он сказал, что на пятидесятилетних не надеется и считает, что новый общественный подъем начнется лет через двадцать... Само время располагает сегодня к прочтению давней статьи, написанной, очевидно, для заграницы. Она печатается по архиву Эренбурга в ЦГАЛИ (ф. 1204, оп. 2).

ПОРТРЕТ Н. С. ХРУЩЕВА

Нет ничего хуже портретов, которые исполняют официальные художники по фотографиям: во-первых, фотография — не искусство, во-вторых, фотография дает не сходство, а иллюзию сходства. Обычно литературные портреты государственных деятелей напоминают портреты, сфабрикованные по фотографиям. Хрущев мне не позировал: я беседовал с ним несколько раз, но я не хожу к нему в гости пить чай и никогда не наблюдал его в домашней обстановке. Поэтому я предпочитаю вместо портрета, взятого из справочников, то есть чужих фотографий, рассказать о том, что мне нравится в Хрущеве.

Хрущев мне нравится тем, что он не похож на полубога, не произносит проповедей, не изрекает афоризмов и живет на земле, а не в тех сомнительных облаках, куда любят забираться некоторые государственные деятели.

Хрущев как-то рассказал нам, что в начальной школе у него всегда были пятерки по закону божьему, хотя, с другой стороны, западные авторы полулитературных портретов пишут, что он «фанатически верует в марксизм», он не похож ни на фанатика, ни на догматика. Конечно, он убежден в преимуществах той социальной системы, которая привлекла его еще в юности. Но ведь никто не называет фанатиком или догматиком последователя Галилея. Фанатиками и догматиками были люди, которые отправляли на костер астрономов, занятых не верой, а научным расчетом. Хрущев мне нравится тем, что он никого не посылал на костер и явно не собирается этого делать.

Он умеет смотреть на вещи без предубеждения. По его убеждению, социалистический строй выше капиталистического; это ему не мешает признать, что кастрюли или пиджаки в той или иной капиталистической стране изготовляются лучше, чем у нас. Он не только может восхищаться чужими достижениями, он может их использовать.

Он любит юмор, и это мне тоже нравится: я побаиваюсь людей, которые чураются шутки,— они очень обременительны.

Он проделал всю войну, но он человек не военный, и это тоже скорее хорошо, чем плохо. Говорят, что на войне штатские люди выглядят смешными. Пожалуй, это неверно: на войне профессионалы сидят в штабах, их никто не видит, а воюют штатские, которых наряжают в военную форму. Но в мирное время слишком смешными кажутся многие военные: когда все говорят о том, как торговать или как наладить туризм, они заняты тем, как смять левый фланг воображаемого противника.

Хрущев не похож и на дипломата. Он любит говорить то, что думает, а испокон веков дипломатов учили говорить сложными намеками, а еще лучше многозначительно молчать. Хрущев не любит и читать речи по бумажке; когда ему приходится это делать, он явно недоволен: он считает, что читают глазами, а языком говорят и что язык дан не для того, чтобы скрывать свои мысли, а для того, чтобы их раскрывать.

Он занят делом: миром, промышленностью, сельским хозяйством, жилищным строительством. Он не раз говорил писателям, что он боится высказывать свои суждения об искусстве, и это мне нравится как писателю.

Он очень энергичен, деятелен: если вспомнить, что ему шестьдесят шесть лет, то можно удивиться, сколько он успевает сделать за день.

Он не поэт, он и не шахматист; он живет не только чувствами и не только расчетом. По роду своей профессии он должен семь раз примерять, прежде чем отрезать. Но при этом он очень эмоционален. Некоторые французские газеты писали, что он произнес свою речь в Реймсе, потому что решил высказаться к концу путешествия. Я думаю, что он именно так говорил в Реймсе, потому что перед этим видел могилы Верденa. Он рассказывает о канонике Кире с волнением: все знают, что мэр Дижона весьма далек от коммунизма, но его образ, его биография взволновали Хрущева.

Однако, говоря с возмущением о попытках некоторых западных кругов сорвать переговоры, он напомнил, что нельзя отдаваться стихии чувств — нужно помнить о здравом рассудке.

Он хочет добиться мира для Советского Союза. Он ездит по различным странам, встречается с главами правительств других стран, охотно говорит, во не менее охотно слушает — ищет почвы для соглашения. Повсюду он повторяет, что приходится выбирать между мирным сосуществованием и атомной катастрофой.

Один западный дипломат недавно сказал, что мирное сосуществование не доктрина, а факт. Бесспорно. Вращение Земли тоже не доктрина, а факт, но убедить догматиков и фанатиков в этом факте было нелегко. Пока нет войны, мир — факт. Пока двое не убивают один другого — они бесспорно сосуществуют. Но Хрущев хочет более прочного мира. Мирное сосуществование не доктрина, но оно может стать источником большой политической и экономической программы.

Я убежден, что на встрече «великих» в Париже Хрущев будет стремиться прийти к соглашению — и по вопросу о разоружении, и по вопросам, связанным с безопасностью в сердце Европы. Это мне нравится, и, насколько я знаю, это нравится всем советским людям.

Мне остается пожелать ему успеха в Париже. При этом я желаю успеха генералу де Голлю и другим участникам совещания — ведь когда люди дерутся, может победить один, но если они действительно хотят помириться, то все могут выйти победителями или побежденными. Я желаю четырем, чтобы в борьбе за мир они оказались победителями.

Илья Эренбург

Публикация и предисловие
А. Рубашкина

Борис Парамонов

ПОРТРЕТ ЕВРЕЯ: ЭРЕНБУРГ

«ЖИВОЙ»

Одна несомненная и неизменная истина пребудет об Илье Эренбурге: в течение всей своей литературной жизни он сумел удерживать внимание и на видимом небе советской литературы оставался звездой первой величины. Если угодно, это был советский литературный Микоян. И не только тем напоминает он удачливого кавказца, что остался цел и невредим во всех качках и чистках века, но и тем, что тоже, можно сказать, все это время оставался «у власти». Прерогативы у него были немалые и, для России, особенно почетные: властитель дум; такого и у Микояна не было! «Поднимем анкету»: самое начало двадцатых — «Хулио Хуренито» и последующие годы почти скандальной славы то ли «правого попутчика», то ли «новобуржуазного» писателя; тридцатые — «перековка» и сразу же — вхождение в «золотой фонд советской литературы» с «Днем вторым»; о годах войны и говорить нечего — Эренбург приобрел славу не меньшую той, что у нынешних «бардов»; послевоенное еврейское лихолетье — удержался на поверхности и бойко представительствовал «бастион мира» во всех заграницах; «оттепель» — тут тем более говорить нечего, сам же ее, можно сказать, и выдумал: становится на все время хрущевского десятилетия чуть ли не главным либералом; более того, умудрился «пострадать» за художников в начале 63-го, чем окончательно завоевал сердца интеллигентов.

На этом, так сказать, литературном посту он продержался чудовищно долго, почти полстолетия. Если и можно говорить об «отставке» (продолжаем параллель с Микояном), то отставка — после 63-го — была не менее почетной: с тиражами, поездками к старому другу Пикассо и пышным, по первому классу, некрологом. Конечно, *выжил* (любимое его словцо) не он один, даже и в литературе; можно назвать Федина, Леонова, Тихонова, Шкловского; эти тоже оставались в изящной словесности; и все же это были литературные мертвецы, хотя у каждого таланта было куда больше, чем у Эренбурга; кто замолчал, кто писал ерунду, кто просто скурвился. Эренбург — не только никогда не молчал, не только писал все это время (хотя бы и ерунду), но и, самое поразительное, все же *не* скурвился. Конечно, без грязнотцы дело не обошлось; но грязнотца эта была, я бы сказал, какая-то располагающая к себе, чуть ли не приятная: во всяком случае, свидетельствовавшая о жизни на том чисто подметенном кладбище, которым глядела советская литература. Многое, конечно, можно сказать об Эренбурге, одного не скажешь: что он стал при жизни мертвецом.

Итак, «Эренбург остается жить» — вот эмблема этой судьбы (такую записку выдал ему замнаркома Карахан, когда его пытались выгнать из общежития наркоминдел). За такие удачи обычно приходится платить, и дорого. Ренегат? за то и пощадили? Не будем морализировать — ведь мы говорим о предмете, который морализирования не терпит: ибо, как сказал философ, жизнь выше морали (по крайней мере — шире). В том-то и дело, что ренегатом он не был. «Живой» — вот самое подходящее слово об Эренбурге. Сам он об этом так писал в романе «Лето 1925 года». «Почему я принимаюсь на любой почве? Сказали „живи!", дали штаны и миску супа, готово — живу. Мои годы напоминают водевиль с переодеваниями, но я, ей-ей, не халтурю, я только подчиняюсь. Я могу написать „Хуренито", а в жизни исправно мычать и проделывать соответствующие триста шагов, как самый заурядный баран. Измены здесь нет — ведь никто никогда не поставил мне на сердце клейма „такой-то", просто меня перепродавали из рук в руки, измены нет, есть смена, чередование профессий, стран, так называемых „убеждений" и еще — шляп».

Слова эти какие-то очень человечные: ведь Эренбург в самом деле написал «Хуренито». Человек — именно потому, что баран, отнюдь не потому, что «звучит гордо». Кажется, это у Беккета есть пьеса, в которой герои — старик со старухой — живут в мусорных ящиках, и кто-то о них говорит: «Копошатся — значит существуют». Исчерпывающая онтологическая формула. «Измены» эренбурговские — не от «идейной неустойчивости», просто он любил жизнь в мусорных ящиках. Можно сказать, что в мусорных ящиках настоящая жизнь и происходит, это знаменитое «подполье». Когда мы говорим о ком-то: «нечистоплотность» — это моральная категория. В случае Эренбурга это попросту копрофилия. Но надо понять, что эта копрофилия была в нем — от писателя, от поэта. По-другому это называлось «Звериное тепло».

«Живой» — так был назван в одной повести неутопающий колхозный мужик. «Живой» — это слово, не менее подходящее для обозначения человека, чем классическое «смертный». «Кай (вариант — Сократ) — смертен»: мы в Афинах. Но ведь есть еще и Иерусалим! Кому же это определение — живой — пристало больше, чем евреям: сколько ни бьют — нет на них погибели! Жид — жив: словосочетание во вкусе цветаевской прозы, «корневая рифма». Философема «живости» — жизненности, жизни — наводит мысль на еврея преимущественно. Об этом писали и философы, Ницше к примеру. Даже такое течение было — «философия жизни». Кроме упомянутого Ницше вторым ее столпом был французский еврей Бергсон со своей «длительностью»: философия его — апология и апофеоз некоего органического произрастания, биология как онтология («копошатся — значит существуют»). Это та философия, которую хотели и не сумели написать наши славянофилы. И тут вспоминается, что Эренбурга однажды назвали славянофилом; сделал это Шкловский в «Zoo»:

«Прежде я сердился на Эренбурга за то, что он, обратившись из еврейского католика или славянофила в европейского конструктивиста, не забыл прошлого.

Из Савла он не стал Павлом. Он Павел Савлович и издает „Звериное тепло"».

Дальше Шкловский говорит, что Эренбург сумел собрать в роман чужие мысли, но это не недостаток его, а прием, потребный для «Хуренито»: в этой вещи Эренбург — «почти художник».

Итак, выстраиваются определения: еврей, славянофил, почти художник. Даже в католиках вроде бы побывал (об этом много интересного рассказано в старых изданиях «Хуренито»). Измены или переодевания? Я настаиваю на известной органичности.

Ключевое слово, конечно, «почти художник». Марина Цветаева сказала об Эренбурге (кажется, апокриф): циник не может быть поэтом. Но она же сказала: «в сем христианнейшем из миров поэты — жиды». Это тема Иова, но не псалмопевца Давида. Эренбург признавался в мемуарах, что продолжает почитывать Библию, но его в ней привлекает, видите ли, поэзия. Он, думается, Иова не с Давидом сопоставлял в Библии, а скорее с обаятельным проходимцем Иосифом. В этом сопоставлении — иное силовое напряжение. Предвазначено ему было не умереть, как Цветаевой, а жить — и даже пережить некоего фараона.

ЭРЕНБУРГ КАК ПИСАТЕЛЬ — I

Тынянов в «Литературном сегодня» (1924) развернул формулу Шкловского об Эренбурге, умеющем собрать в роман чужие мысли: в «спешно сделанную философию», которой Эренбург «начинил» своих героев, «вошли и Достоевский, и Ницше, и Клодель, и Шпенглер, и вообще все кому не лень».

Не меньший интерес, чем вот эта «философская система» Эренбурга, представляет составленный Тыняновым список литературных предков автора «Хуренито»:

«Какая галерея предков у Эренбурга: Достоевский, и Тарзан, и Шпенглер, и Диккенс, и Гюго, и — вот теперь Андрей Белый!»

Попробуем, в свою очередь, развернуть некоторые детали из перечня Тынянова.

Достоевский: это, конечно, сам образ героя-идеолога, каков Хуренито, только, в отличие от установленной Бахтиным диалогичности романов Достоевского, эренбурговский роман полностью и намеренно монологичен. Однако Хуренито не может быть целиком списан на Достоевского, он идет еще и от Ницше, от его Заратустры. У Достоевского открыто, так сказать, с обнажением приема заимствована глава 27 романа, выброшенная из последнего (в девятитомнике) советского издания. Глава называется «Великий Инквизитор вне легенды». Инквизитор — это некий легко узнаваемый революционер в Кремле, взявший на себя бремя насильственного облагодетельствования человечества. Кончается глава тем, что Хуренито, как и положено «зеркальному» Христу (то есть антихристу), целует его в высокий лоб.

Ницше. Мы уже сказали, что Заратустра может считаться литературным предком Хуренито: взят сам тип мудреца-парадоксалиста, романа нет вне монологов Хуренито. Но кроме этого чисто формального сходства есть и другое, неизмеримо более важное, содержательное: Хуренито трактован как метафизический тип еврея, как его чистая идея, и эта трактовка, вне всякого сомнения, заимствована у Ницше, из книги его «Антихрист». Единственной художественной выдумкой Эренбурга в романе (правда, очень удавшейся) является раздвоение авторского «я»: идейный монолог отдан «мексиканцу» Хуренито, а еврейская ипостась автора дана в его собственном биографическом облике, подчеркнуто сниженном. Тем самым мысли Хуренито приобрели некий надчеловеческий или, по крайней мере, сверхевропейский («мексиканец») масштаб. Но ничего мексиканского в монологах Хуренито нет,— Маяковский сказал или повторил чью-то глупость, что прототип

Хуренито — Диего Ривера. Это именно «ницшеански-еврейские» монологи: роман Эренбурга — воплощение той мысли Ницше, что формой существования еврейства является паразитирование на язвах чужих культур; это и есть *провокаторство* Хуренито.

Сказанное лучше всего подтверждается обращением к тексту сáмого Ницше. Выписываю здесь полностью 24-й фрагмент из «Антихриста» [1].

ЦИТАТА ИЗ НИЦШЕ

«Я касаюсь здесь только проблемы возникновения христианства. Первое положение к ее разрешению гласит: христианство следует понимать единственно в зависимости от той почвы, на которой оно выросло,— оно не есть движение, противоположное иудейскому инстинкту, оно — сама его последовательность, дальнейшее заключение в его ужасающей логике. В формуле Спасителя: „спасение от иудеев". Второе положение гласит: психологический тип Галилеянина познаваем,— но лишь в его полном вырождении, изуродованный и обремененный чуждыми чертами, может он служить для того, для чего он был использован, для типа Спасителя человечества.

Евреи — самый замечательный народ всемирной истории, ибо, поставленные перед вопросом о бытии и небытии, они прямо-таки с жуткой сознательностью предпочли бытие какою угодно ценой: этой ценой было радикальное искажение всей природы, всей естественности, всей реальности, всего внутреннего мира так же, как и внешнего. Они отграничили себя от всех условий, при которых до сих пор мог жить, имел право жить народ, они создали из себя противопоиятие естественным условиям,— они бесповоротно извратили по очереди религию, культ, мораль, историю, психологию в нечто противоположное их природе. Мы встречаем тот же самый феномен еще раз и в невыразимо увеличенных пропорциях, хотя лишь как копию: христианская церковь, по сравнению с „народом святых", лишена всякого притязания на оригинальность. Именно это и делает евреев самым роковым народом всемирной истории: в своем последействии они сделали человечество до такой степени фальшивым, что еще и теперь христианин может иметь антиеврейские чувства, не понимая, что он представляет собой последний вывод из иудейства.

В моей „Генеалогии морали" я впервые дал психологическое объяснение противопонятия аристократической морали и морали ressentiment'а [2], указав, что последняя проистекла из отрицания первой: но это и есть целиком иудейско-христианская мораль. Чтобы мочь говорить „нет" всему, что представляет собою на земле восходящее движение жизни, удачливость, мощь, красоту, самоутверждение,— ставший гением инстинкт ressentiment'а должен был измыслить себе тот другой мир, откуда это утверждение жизни являлось бы нам как зло, как негодное в самом себе. По психологическому подсчету, еврейский народ есть народ самой упорной жизненной силы, который, будучи поставлен в невозможные условия, добровольно, из глубочайшего благоразумия самосохранения принимает сторону всех инстинктов декаданса,— не как подвластный им, а потому, что он угадал в них мощь, с помощью которой можно отстоять себя против „мира". Евреи являют собою контраст всем декадентам: но они должны были казаться таковыми до ощущения полной иллюзии; проявив non plus ultra [3] актерского гения, они сумели стать во главе всех движений декаденса (христианство Павла), чтобы создать из них нечто более сильное, чем всякая говорящая „да" партия жизни. Декаданс, для стремящейся в иудействе и христианстве к власти породы людей, для жреческой породы, есть лишь средство. Эта порода людей имеет жизненный интерес в том, чтобы делать человечество больным и искажать понятия „добрый" и „злой", „истинный" и „ложный", придавая им опасный для жизни и клеветнический по отношению к миру смысл».

ЭРЕНБУРГ КАК ПИСАТЕЛЬ — II

Эти слова Ницше законспектированы Эренбургом так: Хуренито «решил (это было 17 сентября 1912 года), что культура — зло, и с ней надлежит всячески бороться, но не жалкими ножами пастухов Сапаты, а ею же выработанным оружием. Надо не нападать на нее, но всячески холить язвы, расползающиеся и готовые пожрать ее полусгнившее тело. Таким образом, этот день является датой постижения Хуренито своей миссии — быть великим Провокатором».

Персонаж, именуемый Илья Эренбург, в главе под названием «Пророчество Учителя о судьбах еврейского племени» берет слово для достаточно серьезного самовыражения: «Уничтожь „да", уничтожь на свете все, и тогда само собой останется одно „нет"!» Говорящая «да» партия жизни остается за чертой, но надо увидеть, что эту черту провел не сам Эренбург,— это у него цитата из Ницше. Заслуга Эренбурга, если угодно, его художественная дерзость,— в том, что он сумел принять и утилизировать эту провокативную трактовку, вместо того чтобы возмутиться «реакционностью» Ницше.

Необходимо вспомнить, что такое решение было исключительно трудным для тогдашнего, вполне добропорядочного русского интеллигента, каким был и сам Эренбург. Невозможно было понять *проблематичность* еврейства; попытки Розанова славы ему не прибавили.

Эренбургу помогла эмиграция: пограничная (чтоб не сказать «заграничная») ситуация, полагаемая изгнанием, дала ему возможность осознать в себе еврея, вернее, само еврейство понять как пограничную ситуацию — и провести соответствующую черту. Даже если эта «черта», как мы видели,— цитата из чужой книги, это не умаляет заслуги Эренбурга. «Париж» был тут ни при чем, вместо Парижа мог быть какой-нибудь Коламбас, Охайо. Но, конечно, в Москве он не разобрался бы ни в Ницше, ни в Розанове, для этого нужен воздух изгнания. В Москве, в России («тюрьма народов», не забудем) Эренбург не чувствовал себя евреем. А. С. Тишин вопрошал: «Учитель, разве евреи не такие же люди, как мы?» — да и не вопрошал даже, такого вопроса — не было, евреев — не было. (Ахматова в воспоминаниях Н. Роскиной: девушки, выходя замуж, думали, что у одного русского фамилия Иванов, а у другого — Рабинович.) Знание о еврействе пришло как экзистенциальный опыт. Именно так: еврейство — не «категория», а «экзистенциал», его нужно выбрать. Так, во всяком случае, было до Катастрофы. Но даже в «Хуренито» еврейство Эренбурга — эстетическая скорее позиция, нечто помогшее ему найти себя как писателя, и только. «Поэт», «художник» (хотя бы и «почти») стал получаться, когда обозначился «еврей»; Ницше не столько открыл ему «истину» (понятие, вообще отвергаемое в его философии), сколько помог найти композиционный и сюжетный ход для построения романа.

Вернемся, однако, к «философской системе» Эренбурга. Нельзя считать, что Ницше был им усвоен, так сказать, без переводчика. Здесь следует назвать Льва Шестова. Чтение Эренбурга обнаруживает очень значительные следы русского истолкователя Ницше. «Хулио Хуренито» можно при желании вести хотя бы и от «Апофеоза беспочвенности»; эренбурговский «нигилизм» идет от Шестова,— если, конечно, то, что мы имеем здесь в виду, можно назвать нигилизмом. В школе Ницше нигилизмом именовалось то, что сейчас называется «идеологией»,— нечто, иссушающее источники жизни, то есть теоретико-моральные концепции бытия. Это и называл Ницше декадансом, первым декадентом был у него Сократ. У Шестова критика идеологий (или, просто, «идей») обращалась иногда в прямую издевку; см., например, его статью о втором томе «Толстого и Достоевского» Мережковского, где Шестов сравнил «общую идею» любой книги с тем топором, из которого в русской сказке солдат сварил щи. Это уже — подход Хуренито. В «Апофеозе беспочвенности» — масса парадоксов, чуть ли не прямо воспроизведенных Великим Провокатором: «все теории и идеи — фижмы и кринолины»; «нам отрадно видеть легкомыслие молодых»; «человек волен менять свои убеждения как „перчатки"». Или вот такое высказывание: «Пока оседлые люди будут искать истины — яблоко с дерева познания не будет сорвано. За это дело должны взяться бездомные авантюристы, природные кочевники...» и так далее.

Если не знать наизусть соответствующие тексты, чрезвычайно трудно определить, кому принадлежит эта, так сказать, иудейская гносеология — эренбурговскому Хуренито или самому Льву Шестову. Эренбург тщательно выводит своего «Хуренито» по этим прописям.

Как говорит психоанализ, нет ничего тайного, что бы не стало явным. Когда человек хочет что-то скрыть (а скрывать ученичество у Шестова советскому писателю 30-х годов было необходимо), он обязательно проговаривается. Эренбург проговорился в «Книге для взрослых», один из персонажей которой наделен фамилией Шестов. (Кажется, проще было бы назвать его Шварцманом — никто бы не догадался!) Этот Шестов долженствует иллюстрировать собой излюбленный тезис настоящего Шестова: верую, ибо абсурдно. Верует он в индустриализацию; это ли не абсурд? — тайком ухмыляется Эренбург, озабоченный, однако, в этой книге тем, чтобы и самому произвести впечатление верующего.

«Галерею предков», установленную Тыняновым, можно и должно расширить. Почему-то он не назвал Замятина; между тем Замятин — писатель, подвергшийся в наибольшей степени эренбурговской имитации. Доходило до того, что Эренбург, этот остроумец с твердой репутацией, повторял замятинские остроты (например, о крольчихах и слонихах из давней статьи Замятина «Закулисы»).

Подражал Эренбург и французам, как классикам (Гюго — «Трубка коммунара»), так и современникам: «Лето 1925 года», например, списано с романа Пьера Мак-Орлана «Интернациональная Венера». Проекции его на литературу сразу обнаруживает вторичность, даже несерьезность его как писателя, недаром статьи о нем Тынянова написаны, можно сказать, юмористически, вторая статья называется «200 000 метров Ильи Эренбурга» (название указывает на кинематографическую его «легкость»). Упомянем

---

[1] В недавно вышедшем переводе А. В. Михайлова ницшевский «Antichrist» назван «Антихристианином». Правомочны обе трактовки.— *(Ред.)*

[2] Досада, рассерженность, мстительность *(фр.)*.

[3] Крайняя степень *(лат.)*.

тут кстати еще одного предка — Диккенса: под Диккенса написан роман «Любовь Жанны Ней», где по конторе сыщика бродит слепая девушка Габриэль, эквивалент Поля Домби.

Сказанное не означает, что читать Эренбурга «неинтересно», отнюдь нет! «Лето 1925 года», например, вещь очень нужная для понимания Эренбурга как человека. Но одновремеяно это — приговор литературе: когда со страниц романа лезет на вас автор, значит, книга плоха, это закон. Читая Набокова, можно, например, догадаться, что «Зина Мерц» была любовницей «художника Романова», но это не имеет значения, потому что Набоков — художник, книги его имеют сверхличный интерес. Эренбург очень интересен как человек, потому и писать о нем стоит, и его книги многое в нем объясняют, но и только, они не существуют помимо автора. Отсюда же — бо́льшая значимость у него «философской системы», яежели «галереи предков». Поэтому вернемся к «философии» — к упомянутому Тыняновым Шпенглеру и не упомянутому Муратову.

В «Хулио Хуренито» Шпенглера как раз мало; роман был написан в большой спешке сразу же по приезде автора на послевоенный Запад, и если он к тому времени успел «Закат Европы» прочесть, то вряд ли успел усвоить. Стопроцентно шпенглеровские книги Эренбурга — это «Трест Д. Е.» и, конечно, «А все-таки она вертится!». Шпенглерианство Эренбурга — чрезвычайно важная составляющая его духовного облика, то, что он пышно называл «верностью времени».

«А все-таки она вертится!», однако, не историософский трактат, это эстетический манифест, гимн конструктивизму. Он вдохновлен, может быть, одной, но зато главнейшей фразой Шпенглера: в наше время и важнее и честнее изобретать авиационные моторы, чем писать маслом или сочинять метафизические системы. Многих (на время и себя) Эренбургу удалось убедить, что XX век — великая культурная эпоха, обладающая главным признаком всех великих культурных эпох — единством стиля. Оказалось, однако, что Эренбург, воспевавший конструктивную красоту, выступил в этой книге — пропагандистом тоталитаризма:

«Стремление к организации, к ясности, к единому синтезу. Примитивизм, пристрастье к молодому, к раннему, к целине. Общее против индивидуального. Закон против прихоти. Следовательно, не уходя в рамки какой-либо секты, можно с уверенностью сказать, что на Западе новое искусство кровно сопряжено со строительством нового общества, будь то: социалистическое, коммунистическое или синдикалистское».

Или вот исчерпывающая тоталитаристская формула:

«...в целом первенствует сознание, что правильно сконструированное искусство способно существовать лишь в разумно организованном обществе».

Создается даже впечатление, что Эренбург воспевает не просто тоталитарное общество как таковое, а именно тот его вариант, который получил название немецкого фашизма. «А все-таки она вертится!» иногда начинает напоминать руководство для режиссера, организующего парад «гитлер-югенд» в Нюрнберге.

Конечно, фашистом Эренбург не был, а был он — модником. Книга Эренбурга — очередная эстетическая утопия, порождение того самого романтизма, который на ее страницах отпевается и хоронится. Это очередная романтическая попытка «перестроить жизнь по законам красоты». Но двадцатый век оказался все-таки таким, каким его описывал Эренбург в этой книге: со временем он, естественно, изменил оценки, но описания менять не потребовалось и через двадцать пять лет — их нужно было разве что продолжить, что Эренбург и сделал, например, в романе «Буря». В этой всесторонне слабой книге есть одна действительно сильно написанная сцена — как Лео Альпера убивают в газовой камере: торжество индустриального стиля.

Это был для Эренбурга провиденциальный знак — как опасно привязывать себя к колеснице времени. Но он от этой колесницы так и не отвязался. Дело в том, что у него не было альтернативы.

Ведь, помимо прочего, Эренбург в «А все-таки она вертится!» сводил счеты с искусством — с искусством в себе. Повторялась старая история: биографическая проблема проецируется на историю, то есть, как рассказал об этом сам Эренбург, горбун-приказчик идет служить в чека. Пафос «библии конструктивизма» — смерть искусства, по другому — ликвидация его как «отвлеченного начала», или, на жаргоне эпохи, растворение искусства в жизни; «самоубийство искусства», его «харакири» (Эренбург в той же книге). Конструктивизм позволял Эренбургу покончить с искусством, не становясь гоголевским Чартковым,— была найдена высокая мотивировка для достаточно низкой истины: как «идейно» не быть художником, не будучи им фактически. Человеком Эренбург был не мелким, но художником он все же не был. Автономность искусства яростно отрицалась им, потому что сам он не был автономным художником. Эта ситуация рано или поздно должна была заставить его «пойти на службу».

Посмотрите, как Эренбург расправляется с искусством:

«Еще в древней Греции говорили: национализм — это первая наивность глупца и последнее убежище плута. Да, жизнь локальна. Достоевский во Франции обрел бы гармонию: женил Митю на Грушеньке, Ивана на Кате, а Алешу на Лиз. Все ясно каждому. Детали даже не национальны, а локальны (почти уездны). „Вот, вот", подхватывает удовлетворенный шовинист, „совершенно верно, ведь важны именно детали!" Суждение, опоздавшее, как и автор его, на целый век. Идет искусство общее, обобщенное, обобществленное. ИСКУССТВО ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ».

«Шовинизм» здесь, конечно, ни при чем, это слово подпущено сюда для дискредитации той действительно бесспорной истины, что искусство локально, что живет оно деталями. («Всесильный бог деталей»,— писал Пастернак.) Эренбург от Пастернака все-таки отказаться не хочет, поэтому затаскивает его — в конструктивизм! Но вот для «местечкового ромавтизма» (Шкловский) Шагала места уже не находится... В книге «А все-таки она вертится!» «свежую струю идиотизма» Эренбург противопоставлял Бергсону и Шестову. Один из этих философов — апологет органического прозябания жизни, второй — самый яростный противник воспеваемого Эренбургом рационализма (равного здесь конструктивизму). Вспомним также самых знаменитых писателей нашего «конструктивного» века: Пруст — предельный психологизм, Джойс — реабилитация мифа, Кафка — провидец абсурдности тоталитаризма. Подлинное искусство XX века пошло против времени, никакого единого культурного стиля наша эпоха не знает. Эренбург пытался вдохновиться Блоком, принесшим себя и свое искусство в жертву времени. Но самому-то Эренбургу жертвовать было нечем. Не только Блоком — «Кавалеровым» он при всем желании стать не мог; оставалось — в позиции Андрея Бабичева произносить на коммунальной кухне речь об эстетических преимуществах индустриальных харчевен. Но конструктивизм Эренбурга — тот самый топор, из которого солдат варил щи.

«Звериное тепло», которое не удалось удержать Эренбургу, было, таким образом, не столько «славянофильством», славянофильским почвенничеством, сколько *искусством*. Искусство, к которому его всю жизнь тянуло,— не конструктивные небоскребы, а «розовые домики» старой Москвы, «мифология луж», найденная им у Пастернака, мышиные норы, стоячая зацветающая вода, в которой только и водятся бациллы флоберовской прозы. Через много лет, в Америке, он прикидывался советским простачком: откуда здесь Флобер?— как будто Америка и на самом деле существует только в декларациях конструктивистов.

Смешно думать, что Эренбург действительно уверовал в конструктивизм. «Курбов» — не что иное, как антитезис конструктивистским декларациям. Курбов, падший ангел, геометр, Спиноза Лубянки, с небес, где звезды и законы, падает яа землю, в трактир «Тараканий брод», в объятья отнюдь не математической, а вполне физической Кати. «Физически, в хрюкало», как говорится в одном рассказе Замятина. Конечно, «Жизнь и гибель Николая Курбова» не роман, а очередной манифест, на этот раз антиконструктивистский. Идея его — биология сильнее геометрии. Увы, жизнь не победила *эту* геометрию, а Курбов погиб. Но зато Эренбург вспомнил, что кроме Германии со Шпенглером есть еще Италия с Муратовым, автором «Образов Италии». Лучшая после «Хуренито» книга Эренбурга — «Виза времени», в ней он заставил спорить Шпенглера с Муратовым.

Как эссеист Эренбург идет, бесспорно, от Муратова, хотя в мемуарах он, как всегда, наводит туман и что-то говорит о Жюле Валлесе: естественно, в генеалогии советского писателя парижский коммунар предпочтительнее какого-то подозрительного эмигранта. Вот для примера фраза из «Образов Италии» (цитирую третий, в России не выходивший том): «Романским церквам часто бывает свойственна особенная деловитость и домовитость, которая уже не встречается позже в церквах готических и в церквах Ренессанса. Они созданы в ту эпоху, когда церковь еще не была ни экстазом пылких готических душ, ни академией свободных людей Возрождения». Всякий читавший «Визу времени» сразу же узнает стиль и тон.

Тема «Визы» — не столько апология времени, сколько спор с ним. Эренбург здесь только тем и занят, что, разъезжая по Европе, ищет в ней глухие углы и несговорчивых людей. Выразительнейшая антитеза современности, найденная им,— лопари, в статье под названием «Вне игры». Всяческими симпатиями автора пользуются словаки, цыгане, еще не до конца реформированные Кемаль Пашой турки, в России — батумские аджарцы и, конечно же, грузины, а во Франции — бретонцы. Так усмешка скептика делается на время позицией художника: ведь это и есть тот «колер локаль», который столь яростно отвергался в «А все-таки она вертится!». Но зато читатель обнаруживает в старых изданиях «Визы времени» цикл статей о Польше, где автор испуганно бежит от фанатичных цадиков, противопоставляя им несомненный и бесспорный прогресс евреев в СССР,— хотя убегает недалеко и ненадолго, всего лишь до «Лазика Ройтшванеца».

У Муратова Эренбург научился не только писать эссе или разбираться в живописи, но и, так сказать, научился жить: нашел в этой роскошной костюмерной одежду по фигуре. Та самая тема «канунов», постановку которой Эренбург до конца дней считал главным своим открытием,— эта тема идет у него от Муратова, можно даже сказать еще точнее — из статьи «Судьба Боттичелли» (I том «Образов Италии»). Муратов писал:

«Боттичелли разделил судьбу своего города и своего народа... Боттичелли и его друзья... жили накануне великих исторических гроз, яо эти грозы никогда не приходят внезапно. Предчувствие их задолго тяготеет в воздухе, делает бледными лица, неверными

улыбки, беспокойными взоры. Оно примешивает смутную печаль к радостям, и оттого эта радость становится еще острее... он для нас свой, в нем уже живет наша мысль, наше чувство и наше воображение. Его беспокойная душа утратила простую гармонию мира, так же, как утратили ее мы... Он был одним из первых героев нового человечества, обреченного жить под равнодушным небом и на опустошенной земле, усеянной обломками разбитых верований, пророчеств и обещаний».

А вот что писал Эренбург в мемуарах:

«Я увлекался книгой „Образы Италии". Муратов как будто заглянул мне в душу: он писал, что „Рождение Венеры" — величайшая картина в мире. Я пытаюсь теперь разобраться, чем меня подкупал Боттичелли. Вероятно, сочетанием жизненной радости с горечью, началом эпохи неверия, умением придать смятению гармонию».

Речь идет здесь не только о Боттичелли — это ретроспекция всей эренбурговской жизни. Ясное дело, что Эренбург не Боттичелли; но статья о нем Муратова — это «форма», «идея» его жизни, причем, учитывая раннее знакомство Эренбурга с этим текстом, можно сказать, что он сознательно отливал себя в эту форму. А эпоха, несомненно, способствовала такой идентификации: Эренбург застал и парижский карнавал, и Савонаролу.

Вот почему хороша «Виза времени»: в ней Эренбург достиг единства стиля и судьбы. Книга эта «экзистенциальна», но автор сумел не нарушить основного закона искусства — он избежал прямоговорения. Лиричность «Визы» прикровенна: Германия, Норвегия, Польша или те же лопари — это инкарнация душевных состояний автора.

Эссеистике Эренбурга никакие заимствования не вредили («Хуренито» тоже ведь не что иное, как беллетризованная эссеистика). И это мы говорим без всякой иронии: эссеистика — литература на литературе, подобные реминисценции требуются ее жанром. Эссеистика, даже правильно понятая литературная критика должны быть стилизацией. Никого не обманывала также подражательность Эренбурга-беллетриста, скорей даже веселила умных критиков (как Тынянов). Хуже стало, когда Эренбург начал переписывать самого себя.

Это началось отнюдь не в мемуарах «Люди, годы, жизнь» (которые чуть ли не на три четверти — разбавленные водой «Книга для взрослых» и «Портреты русских поэтов»), а значительно раньше — в конце двадцатых. «Единый фронт», например,— это второй, и ухудшенный, «Курбов». Свен Ольсен, фабрикант спичек и организатор косного человечества,— такой же бегущий женщин идеалист, что и Курбов. Конечно, интересно и в пользу автора говорит, что он понимал гомогенность технического прогресса и расстрельной практики, но иного мы и не ждали от поклонника Льва Шестова. Ирония Эренбурга как всегда на высоте: свет разума — серная спичка; он еще не знал, что эту спичку можно разжечь в водородную бомбу, несмотря на соответствующее пророчество в «Хуренито». Но что уж совсем плохо в «Едином фронте» — это некое подобие Хуренито в образе международного богача — еврея Вайнштейна, которого автор почему-то решил сделать пьяницей и гулякой.

«Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца» — еще одна попытка повторить успех «Хуренито», а также опыт реабилитации в художественной практике неосторожно обруганных польских хасидов. Эренбург еще раз попробовал себя как художник — и взял локальный материал. Это была попытка, так сказать, написать нечто на идиш. Он несомненно прочитал к тому времени «Хасидские легенды» Мартина Бубера, а кроме того, как явствует из мемуаров, познакомился в Париже с Башевисом-Зингером, нынешним нобелевским лауреатом. Но «Хуренито» нельзя делать на локальном материале, поэтому Эренбург отправил своего героя путешествовать. Получилось худшее, что может быть в искусстве,— смешение стилей: в парижских кафе не говорят на идиш.

Не нужно думать, что Эренбург перестал быть художником, когда пошел на службу в «Известия». Во-первых, строго говоря, он им никогда и не был; во-вторых, если уж мы говорим о «творческом кризисе», то таковой обозначился значительно раньше консервации Эренбурга в «золотом фонде» советской литературы. Тут нужно поменять местами причину и следствие: Эренбург пошел служить потому, что он не удался как писатель.

ЭРЕНБУРГ ИЩЕТ ЧЕЛОВЕКА

В мемуарах Эренбург рассказал, что в детстве к нему приставили репетитора, который, как выяснилось позднее, его гипнотизировал, чтобы заставить решать задачки, а в награду угощал несуществующими тянучками; эти тянучки поданы Эренбургом как некая аллегория его жизни: работать, мол, заставляли тяжко, а платили символически. Это, надо полагать, относится к его позднейшим работодателям. Но интересно, что в «Книге для взрослых» та же история рассказана по-другому, несуществующие тянучки выступают там аллегорией поэзии. Так Эренбург убеждал себя в 1936 году, что „реконструктивный период" лучше и конструктивизма, и всех Венер Ренессанса.

Мемуарные главы «Книги для взрослых» написаны так, чтобы не смутить новых

друзей Эренбурга, московских комсомольцев. Он не растерял своей иронии, ее сколько угодно и в этой книге, но нельзя думать, что, ухмыляясь втихомолку, Эренбург своих новых знакомцев презирает,— наоборот, он им как бы завидует, даже подражает, старается то ли «опроститься», то ли «воплотиться», как чорт Ивана Карамазова хотел воплотиться в семипудовую купчиху...

«Циник не может быть поэтом». Вспомним, что «циник» происходит от «киников», от того самого Диогена, который сидел в бочке. Диоген написал не дошедший до нас трактат об эстетике безобразного. Эренбург поклонялся кубизму как убийце «так называемой красоты». Кроме того, оба были тем, что позднее стало называться «хиппи». Диоген искал человека; в «Хуренито» Эренбург заставил заниматься тем же русского интеллигента Алексея Спиридоновича Тишина — и посильно это занятие высмеял, чтобы через десять лет заняться этим самому. Эренбург нашел человека на аммиачном заводе, в Москве, в эпоху второй пятилетки. Это — вышеуказанные комсомольцы.

Несомненно, Эренбург возвращался в Москву «хиппарить» или, если вспомнить фразеологию начала века, «совлечь с себя древнюю культуру». Славянофильская (романтическая) тяга к ниспадению, к «звериному теплу» всегда была ему свойственна, он, несомненно, чувствовал, что «жизнь в культуре» у него не получается так, как хотелось бы. «Лето 1925 года», в котором герой, наделенный всеми биографическими приметами автора, убегает «на дно»,— книга очень важная для понимания Эренбурга. Была тут и «регрессия» — воспоминание о юности в «Ротонде». Я не думаю, что расчет у Эренбурга был с самого начала попасть в советскую литературную элиту, хотя кое-что в активе он числил, и не столько дружбу с уже оттесненным на вторые роли Бухариным, сколько похвалу генсека, остановившего в 1924 году благосклонное внимание на рассказе «Ускомчел». История с «Днем вторым» — печатание его на свой счет в Париже и рассылка именных экземпляров в Москву — убеждает в том, что Эренбург вел кампанию вполне серьезно; но трудно отделаться от впечатления, что он сумел бы довольствоваться меньшим [1].

Эренбург потерял настолько *все*, что вряд ли его могли утешить советские триумфы. Но, конечно, жизнь устроила с ним высокопробную шутку: распрощавшись с искусством (это и значило для него — потерять все) — он был провозглашен классиком.

Годом своего «обращения» Эренбург называет 1931-й. Мы не знаем, что с ним в точности тогда произошло, знаем достоверно только одно: в этом году он ездил в Испанию. Книга об Испании была написана (авторская датировка) в декабре 1931 — январе 1932 годов. А сразу же за этим (февраль — апрель 1932-го) был написан роман «Москва слезам не верит».

Место действия романа — парижский дешевый отель «Монблан», заселенный автором различными проекциями его «я». Среди этих «я», естественно, московский парижанин художник Иван Мей; эмигрант Голубев, не умеющий понять, что же в Москве — рай или ад; жена Голубева, в конце концов этот отель поджигающая (упражнение на модную тогда тему «Я жгу Париж»); немец Купфер, то ли бывший, то ли будущий фашист, основной говорун романа; неудавшийся поэт Монфре; наконец, самое интересное,— некто Бине, коммунист, оказавшийся полицейским осведомителем, не «великий провокатор», а что-то попроще — предатель, мелкий агент. Купфер пытается оправдать Бине: «Может быть, все это и не столь просто?.. Может быть, он терзался, нарочно залезая в самую грязь?.. Только в пропастях и раскрывается душа... Он сам себя оборвал: а деньги?.. Кстати, герой получал за душевные бездны помесячно...» Силовые линии романа идут от Мея к Бине: первый, уезжая из Парижа, оставляет там все свои холсты и совершенно серьезно собирается в Москве малярничать; второй — это и есть «расплата» не только как моральный термин, но и как бухгалтерская операция — получать у кассы наличными. Но для «амбивалентности» предателем назван как раз Бине, тот, что продает коммунистов, а не Мей, что готов предать искусство. «Москва слезам не верит» — это видение Эренбургом его советского будущего, как оно являлось ему в начале 1932 года.

Откуда же появилось у Эренбурга сознание предательства? Обратимся к книге об Испании, реакцией на которую была «Москва». Эта книга — нечто прямо противоположное «Визе времени», с ее поиском патриархальных добродетелей в машинизированной Европе. Теперь, когда Эренбург попал в самую настоящую европейскую деревню, с искусством, Дон Кихотами и нищими на мадридской Гран Виа, он вдруг снова вспомнил Шпенглера: «У каждого времени свой пафос... Мы вправе предпочесть эмалированный чайник прекраснейшему из кувшинов».

Итак, Эренбург снова против кустарных промыслов, каковым ему мнится искусство. В «Визе» он спорил с временем, здесь он снова ему поклоняется. Важнейший для него в Испании город — Барселона (отнюдь не Толедо): здесь, видите ли, выслана разведка

---

[1] С другой стороны, не нужно преувеличивать независимость парижской жизни Эренбурга от советской метрополии. Чрезвычайно интересную подробность мы находим в письме Замятина Сталину, где он просит отпустить его за границу на тех же условиях, что и Эренбурга. Можно только догадываться о том, что за этим стояло.

в будущее, и даже знаменитый анархист Дуррути — за дисциплину. В 1931-м Эренбург не потерял еще ни глаза, ни пера, и его описание «испанских Хлестаковых», несмотря на наигранное негодование, пленяет читателя: ведь не хуже других Эренбург понимал, что Хлестаков — поэт. Он убегает от этих прелестных людей не потому, что они «буржуи» (видимая мотивировка), а потому, что они живут по законам поэзии. «Испания» переполнена выпадами против искусства: «порочная изощренность искусства», «самое подлое барокко», искусство «было хлебом, оно стало кокаином» и пр. В наше время «на смену советскому искусству, хилому и печальному, должен прийти новый абсолютизм». Эренбург не хочет, если уж он собрался в Москву, писать там «Цемент», он предпочитает стать маляром,— так и надо понимать ламентации Ивана Мея. Только непонятно, при чем здесь искусство — будто в это самое время в Москве, помимо Гладкова, не писали Платонов и Пастернак, а в Париже Цветаева. Вернее, слишком понятно: собственную неудачу Эренбург хочет свалить на эпоху. Потом этот «конструктивистский» запой спадет в очередной раз, и с похмелья Эренбург напишет «Москва слезам не верит».

Надо ли говорить о том, что в Испании Эренбург тоже «нашел человека»? Конечно, для этой роли не подошли кабальеро из мадридских кафе, их заменили батраки Андалузии:

«Батраки Андалузии старательно оговаривают свое право на несколько „сигар", это, конечно, не сигары — у них и на папиросы не хватает, нет, это пятнадцать минут отдыха, столько, сколько предположительно курят сигару, это право несколько раз в день не только работать на процветание графа или маркиза, но лежать на земле, глядеть вдаль или просто дышать».

Это — условие, на котором сам Эренбург соглашается ехать в Москву. Он еще не понимал, что положение у него хуже, чем у андалузских батраков, что никаких условий он ставить не вправе. Сигары его лишили. В его случае это была знаменитая «трубка» — некий нездешний символ, атрибут завсегдатая парижского кафе или, на худой конец, «Прагер Диле». Вернее, трубку оставили, но Эренбургу, как его же герою, малолетнему коммунару, пришлось пускать из нее мыльные пузыри.

Один из этих мыльных пузырей называется «Книга для взрослых». В мемуарах Эренбург упоминает эту вещь с некоторой эмфазой, она для него чем-то значима, он говорит об «увлекательности и порочности» ее замысла — именно: включить автора в число персонажей. Но что же здесь порочного, тем более, что сам Эренбург до этого уже дважды прибегал к подобному приему — в «Хуренито» и «Лете». Порочность эта, видимо, не в литературном ряду, и не отказ от искусства он задним числом ставит себе в вину, а попытку отказа от собственной природы — от еврейства. Художника в себе сейчас (в мемуарах) он больше не видит, но еврея в себе — сознал и ассимилировал.

Это может показаться странным: разве еврею нужно ассимилироваться с самим собой? Но это как раз случай Эренбурга. В «Хуренито» его еврейство было чисто эстетической позицией, игровым приемом, маской, даже цитатой,— отнюдь не «национальным самосознанием». Затем, как часто бывает, маска срослась с лицом, и Эренбург начал само еврейство воспринимать преимущественно эстетически, отождествил его с экзистенциальным статусом художника; это и было цветаевским «поэты — жиды». Оставалось убедиться в необратимости этой формулы, увидеть, что понятие «жид» шире понятия «поэт». Это произошло позднее; но в «Книге для взрослых» у Эренбурга отказ от искусства был одновременно отказом от еврейства, нечто евангелическое провозглашалось: нет ни эллина, ни иудея, ни поэзии, ни прозы.

В 1925 году Эренбург написал статью «Ложка дегтя». Тема статьи — «приток еврейской крови в литературу». Но «еврейство» и «литература» отождествляются здесь Эренбургом. Оба начала понимаются как некий противовес — современности, истории, культуре. Следом и неизбежно для обозначения тождества появляется слово «романтизм». В статье «Романтизм наших дней» (сборник «Белый уголь, или Слезы Вертера») говорится: «Вне этого никакие „школы", никакой прогресс не предохранят нас от подмены человека механическим фантомом». Здесь «это» — искусство, но в «Ложке дегтя» «это» — уже еврейство, с его генетически запрограммированной иронией, которую Эренбург с полным основанием называет романтической: «При виде ребяческого фанатизма, начального благоговения еще не приглядевшихся к жизни племен усмешка кривит еврейские губы. Что касается глаз, то элегические глаза, классические глаза иудея, съеденные трахомой и фантазией, поднимаются в жидкой лазури. Так рождается „романтическая ирония"».

В представлении Эренбурга этих лет искусство и еврейство несут сходную культуркритическую функцию. Это и есть «ложка дегтя» в медовых бочках как христианского мессианизма, так и утопий «образцового коммунального хозяйства» (так бывший большевик Эренбург назвал тогда социализм). Евреи взрастили многие лозы, но их пафос — не виноделия, а сухих губ. Появляется образ соли: «Или же концентрация самих по себе живительных свойств неминуемо ведет к смерти? Ведь без соли человеку и дня не прожить, но соль едка, жестка, ее скопления — солончаки, где нет ни птицы, ни былинки, где мыслимы только умелая эксплуатация или угрюмая сухая смерть».

И в жизни Эренбурга настал такой момент, когда он больше не мог выдержать этой

стопроцентной концентрации. Понадобились бочки уже не меда — воды. Это история его вторичного обращения, дезертирства в ту же веру. Но интересно, что в «Книге для взрослых» — своего рода исповеди новообращенного — образ соли, данный почти теми же словами, связывается уже не с еврейством, а с писательством: «Писатели обычно избегают общества людей своей профессии. Они недолюбливают художников и актеров. Они предпочитают им инженеров или химиков. Это инстинкт самосохранения. Соль необходима для живого организма, но скопление соли — солончаки, мертвый мир, без травы и без птиц».

Итак, Эренбург перешел на бессолевую диету. Причину этого решения мы знаем: он понял свою несостоятельность как художник, отказ от искусства и был отказом от «соли». Но одновременно, в силу вот этой психологической нерасторжимости еврея и художника для Эренбурга — отказ от искусства требовал отказа от еврейства, самостоятельной, осознанной, добровольной жертвы еврейством. Это он и сделал в «Книге для взрослых». Книга эта — имитация, а еще лучше сказать, симуляция веры: позиция, согласно Эренбургу, невозможная для еврея.

О «Книге для взрослых» можно было бы написать отдельную статью, так она показательна для короткой, но значимой эпохи советской жизни — примерно между 1931 и 1937 годами. Как ни дико звучит это сейчас, у нашей интеллигенции это был период либеральных иллюзий. В очередной раз появилась надежда на «термидор». «Надежду» в данном случае у Эренбурга нужно понимать буквально: это не только название романа Мальро (об испанской войне, руководимой московскими энкаведистами), но и имя эренбурговской героини — Надя. Эту самую Надю Эренбург сделал поэтессой — наделил ее своими же ранними стихами — и выдал замуж за большевика Кроля. Имя «Кроль» тоже шифр: читатель Эренбурга вспоминает, что так прозывался один эпизодический персонаж из «Рвача», коммунист не у дел, но со славным прошлым, носитель некоего высокопробного, европейского класса скепсиса: тип Радека, надо думать. Теперь, когда со скепсисом («солью») решено расстаться, Эренбург берет того же самого Кроля и всячески его «утепляет», теперь это добродушный хлопотун, сделанный по схеме, предложенной Горьким: Ленин щупает простыни у автора очень своевременной книги. Коллизия в том, что Надя (поэтесса) уходит от Кроля к киношнику Гронскому (в последнем, по обрывочным упоминаниям современников в различных мемуарах, можно узнать сценариста начала 30-х Ржешевского, который, говорят, очень хорошо *рассказывал* свои сценарии), но потом возвращается, решив, что нельзя жить с «зыбью» (то есть с искусством). Кроль эту блудную дочь революции, натурально, принимает, что должно, по-видимому, в проекции на эренбурговскую биографию, символизировать «День второй».

Наряду с этой сентиментальной линией идет линия «героическая». Эренбург во плоти якшается с упоминавшимися уже аммиачными комсомольцами, заставляя их между делом бормотать под нос Пастернака: а нынешнему читателю при этом кстати вспоминается, что Пастернак был назван свиньей не где-нибудь, а именно на съезде комсомола.

Все это нужно понимать в том смысле, что Эренбург из солончаковой пустыни, которой нынче ему мнится искусство, и вообще из всякого рода «гетто» прорвался к людям, «нашел человека». Он пишет о парижской юности: «Я думал тогда, что силен и могу жить один. Я не подозревал, что сила нужна человеку для другого: для того, чтобы жить с людьми».

Апофеоз «Книги для взрослых» — появление товарища Сталина, беседующего с ивановскими ткачихами и забойщиками Донбасса, и персонажа, в довоенной литературе именовавшегося «Клим Ворошилов». И тут читателю вспоминается картина, виденная им в детстве, кисти художника Герасимова: те же вожди в каком-то поднебесье, чуть ли не на крыше Кремля — зубчатые башни, сверкающие сапоги, ордена, привинченные к шинели, усы. Очень красивая была картина, очень красивые вожди. Я говорю вполне серьезно: в картине Герасимова были одновременно монументальность плаката и «красота» конфетной коробки. И тогда мы начинаем как-то по-другому видеть ту же «Книгу для взрослых», начинаем понимать, что в ней «что-то есть». Я долго думал, кому подражает Эренбург в этой книге, решил было, что «Нефти» Бабеля, но потом понял, что они оба идут одним путем и друг другу подражают, а имеют в виду некий предносящийся обоим стилистический образец. Это, конечно, знаменитый «социалистический реализм».

Абрам Терц первым понял, что социалистический реализм — не мертворожденный продукт канцелярского творчества, а имеющий право на существование художественный стиль. Определяющая черта этого стиля, по Терцу,— монументальная плакатность, нашедшая лучшее выражение у пореволюционного Маяковского. Вырождение стиля Абрам Терц связывает с тем, что к нему пытались искусственно привить никак сюда не идущий психологический и бытовой реализм в духе XIX века. Мы бы дополнили это наблюдение: соцреализму удавался не только монументальный плакат, но и еще один жанр — буколическая идиллия. Наиболее ярко черты стиля сказались не в литературе, а в кино: ославленные тридцатые годы на самом деле знают интересные соцреалистические работы. Плакат, с многочисленными элементами политической сатиры,— два первых фильма о Максиме (третий испорчен как раз на указанный Терцем манер). Пример буколического

жанра — «Учитель» Сергея Герасимова. Об этих фильмах можно говорить что угодно, но они имеют *стиль*, а значит, эстетически правомочны.

Но вернемся к литературе. Шедевры буколического соцреализма создал Андрей Платонов, известнейший из них — «Фро». Лучший соцреалистический поэт все же не Маяковский, а Заболоцкий в его «зверином» цикле: образы зверей, строящих социализм, призваны «остранять», то есть всячески подчеркивать миф обретенного рая. Поэтому неудивительно, что советская литература знала короткий, но плодотворный период расцвета детской литературы, и здесь главным явлением был не Корней Чуковский с его переделками с английского, а очень интересный Аркадий Гайдар. Если угодно, «детская литература» и есть парадигма соцреализма: ребенку свойственна как беспричинная радость бытия, дающая буколику как жанр, так и отсутствие какой-либо сентиментальности, известная жестокость, вполне оправдывающая плакат с его чистыми тонами, отсутствием нюансировок и примитивной моралью «кто не с нами, тот против нас», идущей не от «Капитала», а от нравов детской.

Между прочим, не кто иной, как Эренбург предсказал появление соцреализма. В одной из статей «Белого угля» есть слова о желании людей организовать уютное чаепитие на канате. Буколика требовалась в порядке психологической компенсации: люди, жившие в ГУЛАГе, не могли не сложить песню «И никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить». Ни в коем случае нельзя забывать, что «Фро» написана автором «Котлована».

Я не сомневаюсь в том, что книга Эренбурга первоначально называлась «Сказка для взрослых». Эренбург, сколько он в ней (как и в «Испании») ни открещивался от искусства, решил еще раз попробовать — и сделал заслуживающую внимания попытку написать нечто в духе социалистического реализма, стилевое задание которого он уловил вполне правильно зорким глазом и чутким ухом. Повторилась вечная эренбурговская история: большая эстетическая культура (в этом случае совершенно правильно ориентировавшая его на «сентиментальную сказку») не могла компенсировать недостатка (отсутствия) художника в Эренбурге.

Для того чтобы Эренбург перестал искать художественную идентификацию и окончательно осознал в себе еврея, потребовался Холокост — это всемирно-историческое доказательство от противного автономности еврейства, его самодостаточности, несводимости его судеб к каким угодно культурным проблемам. Оказалось, что «просто» быть евреем, вне поэзии и вне России, вне коммунизма и вне кубизма — уже достаточно высокий жребий. Эренбург нашел человека — в себе, и этим человеком был — еврей. И в дальнейшей его жизни, несмотря на все ее компромиссы, появляется некая монументальность. Сквозь лицо носителя определенной биографии проступили черты духовного *типа*.

РАССУЖДЕНИЕ ОБ ИУДЕЙСКОМ ПЛЕМЕНИ

Я не хочу, чтобы нижеследующее приняли за так называемый филосемитизм. Никакой особенной любви у меня к евреям нет. По определению: ведь евреи суть те «дальние», о которых писал Ницше, еврей — не столько человек, сколько проект человека, его *идея*. «Этика любви к дальнему» — тоже проект и тоже «идея». Более того, скажу, что пониманию еврейства способствует иногда антисемитизм,— как всякий опыт, и этот может обогатить. У Набокова в «Даре» мелькает человек, о котором сказано, что у него слишком добрые глаза для писателя. Нельзя быть слишком добрым, если хочешь понять что-то и жить с чем-то. Бердяев говорил, что ненависть, так же как и любовь, может быть методом гнозиса. Это тоже относится к теме «кризис гуманизма». С позиций отвлеченно гуманитарного мировоззрения проблемы еврейства не разглядеть, ее попросту не существует. «Учитель, разве евреи не такие же люди, как мы?» — спрашивает Алексей Спиридонович у Хуренито. И Хуренито отвечает: конечно, нет, нельзя сравнивать футбольный мяч с бомбой. То же самое говорит Мартин Бубер: «Мы не можем стать нацией, подобной другим нациям... Если мы хотим быть всего лишь нормальными, мы скоро вообще перестанем быть». То, что понимают евреи, Эренбург, должны понимать и не-евреи. И антисемитизм может быть более полезным средством предварительной ориентировки в проблеме, чем плоское, лишенное горечи и соли гуманитарное видение. Зададим вопрос: кто был умнее — Достоевский или Гюго, Великий Инквизитор или тот баррикадный трибун в «Отверженных», который вещал о светлом будущем человечества — двадцатом веке?

Если можно что-то поставить в заслугу коммунистической революции в России, так это то, что она, кажется, навсегда вывела из русского обихода тип сентиментального мечтателя и фразера, тип «просвещенного» добряка-интеллигента, который принес России неисчислимые беды. «Добро», «идеализм», «просвещение» могут стать, и стали, источником зла, скотства и тьмы. Нужно искать не добро, а Бога, говорил Лев Шестов. Религиозное возрождение в России, если оно вообще возможно, ни в коем случае не будет возрождением бытового и психологического идеализма, оно породит не мягкий, а жесткий

тип личности. Это не значит, что русский «жесткий» человек непременно должен быть антисемитом, просто у него не будет сентиментального отношения ни к каким вопросам. И такой тип человека будет ближе к самому типу еврея. Феноменология интеллигентского духа знает ступень филосемитизма, когда кажется, что «евреи такие же люди, как и мы», разве что умнее и просвещеннее. Интеллигент на этой ступени начинает идентифицироваться с евреями и «дружить» с ними. Евреи охотно возятся с такими людьми, но не уважают их. «Стать евреем» — значит стать «выше еврея», быть способным к самопреодолению, к трансцендированию, сами евреи только этим и занимаются. Это есть проблема «сверхчеловека» Ницше. Еврейство — проблема антропологическая по преимуществу, а не национальная, не социальная и не историческая, можно сказать, что это единственно значимая антропологическая проблема. Еврей антропологически репрезентативен. Еврейство — автопортрет человечества. Нельзя сказать: я люблю или не люблю евреев, как нельзя сказать: я люблю людей или не люблю их. Вот почему «проблема антисемитизма» не адекватна еврейству, это не еврейская проблема, а так называемый «еврейский вопрос». Меня этот вопрос не интересует, как Гумберта Гумберта не интересовал половой вопрос.

В мемуарах Бориса Бажанова, бывшего секретаря Сталина, рассказана одна поразительная история. Брат Якова Свердлова жил в Америке и уже сумел пустить там корни, но когда большевики захватили власть, председатель ВЦИКа позвал его в Россию и тот вернулся. Что же поразительного в этой истории? А то, что этот американский брат был *банкиром*, то есть, в коммунистической мифологии, воплощением духа капитализма, плакатным буржуем. Но этот буржуазный статус не помешал коммунисту Свердлову своего брата пригласить в революционную Россию, а того — приехать. Эту историю можно толковать с разных точек зрения. Можно сказать, что для евреев не существует классовых границ внутри самого еврейства, что соблазны власти сильнее соблазнов богатства, можно, наконец, высказаться более эмоционально: «слеталось воронье на труп России», и это последнее высказывание тоже будет с определенной, а именно русской, точки зрения верным. Только и эта точка зрения будет односторонней: так может говорить человек, у которого есть Россия. Но ведь далеко не все люди на земле обладают таким преимуществом. Что делать человеку, у которого России нет? И вообще ничего нет, кроме денег и Америки? Свердловский брат был бы не на высоте еврейского призвания, если б остался с деньгами и Америкой. Он выбрал коммунистическую Россию и смерть в ГУЛАГЕ. Он выбрал — остаться евреем. Ибо еврей ищет не только «где лучше», но и «где глубже» — интереснее, опаснее, рискованней. Как заметил один философ-еврей, там, где глубже, всегда наверное не лучше, а хуже, совсем худо. Еврей — тип «испытателя» по преимуществу.

Бабель писал («Гюи де Мопассан»):

«В ноябре мне представилась должность конторщика на Обуховском заводе, недурная служба, освобождавшая от воинской повинности

Я отказался стать конторщиком.

Уже в ту пору — двадцати лет от роду — я сказал себе: лучше голодовка, тюрьма, скитания, чем сидение за конторкой часов по десяти в день. Особой удали в этом обете нет, но я не нарушал его и не нарушу. Мудрость дела сидела в моей голове: мы рождены для наслаждения трудом, дракой, любовью, мы рождены для этого и ни для чего другого»

Это нация не конторских сидельцев, и даже не лавочников, а «землепроходцев», азартных игроков, авантюристов. Здесь один из парадоксов еврейства: евреи — люди в большинстве своем «устроенные», социально реализовавшиеся — и одновременно никак не сросшиеся со своей маской, основная еврейская добродетель — «встать и пойти», это народ не оседлый, несмотря на солидную недвижимость. И нужно понять, что такими шатунами сделал их не антисемитизм окружающего оседлого населения, но собственная их беспокойная порода обусловила антисемитизм. Антисемитизм — объективация еврейской динамичности и динамитности. Цыгане никого соблазнить не могут, их свобода мало чем приправлена, кроме тряпок и «музыкальности». У евреев же, рядом с музыкальностью, не тряпки, а меха (пресловутый «каракуль» довоенных анекдотов), не кибитка, а «роллс-ройс», не медведь, а студия Ли Страсберга. При этом они «кочуют». Это действительно может увлечь. Интересно, что антисемитизм резко ослаблен в артистической среде и совершенно отсутствует в среде преступной: оба случая указывают на пониженную социальность еврейства. Меньше всего — в своем замысле, в проекте, а не в фактическом бытии — евреи принадлежат так называемой «культуре». В них нет никакой метафизической «солидности». Я видел по телевидению документальный фильм об Эдварде Теллере. Он был чрезвычайно респектабелен, даже его немецкий акцент звучал солидно, он ехал в большом лимузине и говорил по телефону: рядом лежал портфель, и в портфеле была — водородная бомба. Разве гениальный ученый Зигмунд Фрейд — не опаснейший подрыватель основ? Хороша терапия, породившая Герберта Маркузе и сексуальную революцию! Еврей и на вершинах культуры, и на социальных верхах остается провокатором. Сфера еврейства — не культура, а гениальность, ибо, как сказал Сартр, гений это не дар, а путь, избираемый в отчаянных обстоятельствах.

Бахтин писал, что герою Достоевского, этому «человеку в человеке», свободному сознанию, невоплощенному, незавершенному и открытому, в предшествующей литературе ближе всего герой авантюрного романа. Их роднит общее отрицательное определение — отсутствие социальной прикрепленности, стабилизированных качеств, оба они не объективированы. Ясно, что в такой трактовке герои Достоевского суть персонажи экзистенциальной философии, хотя Бахтин и не произносит этого слова. И у Сартра в «Бытии и ничто» появляется определение, вносящее сюда окончательную ясность: *диаспорическое бытие* как характеристика человека, «бытия-для-себя», самого человеческого проекта. Герой экзистенциальной философии оказывается, таким образом, евреем, экзистенциализм оборачивается еврейским учением по предмету, как психоанализ — по методу. Более того, ведь и у Достоевского его «человек в человеке» или «всечеловек» его публицистики — отнюдь не русский, существующий, или воображаемый, или долженствующий быть,— а самый настоящий, ныне сущий еврей. Поклонники «Дневника писателя» никак не могут дочитаться до этого. Сатирическая подача А. С. Тишина в «Хуренито» становится вдвойне понятной: он «ищет человека», а рядом стоит еврей Эренбург и посмеивается. Русский мессианизм Достоевского указывает не на Россию, а на еврейство, потому что всякий мессианизм есть подражание еврейскому. Но сложность проблемы в том, что евреи, будучи «всечеловеками», в то же время не похожи на других, не суть «люди как люди»: всечеловечность, конкретная тотальность нереализуемы в обстоятельствах времени и места. Вспомним знаменитую «заброшенность»: кто «заброшеннее» евреев? Это — почти как у Оруэлла: все равны, но некоторые равнее, все заброшены, но евреи заброшеннее прочих. Вспоминается еще одно определение человека у Сартра: человек есть изначальный проект своего собственного небытия. Небытие, или ничто, у Сартра не есть нуль, дыра, это скорее то, что в прежней философии называлось сознанием, то, что противопоставляется им сплошности «бытия-в-себе», этой качественно неразличимой массе. Так очередное определение человека становится очередным определением еврея.

Не надо, однако, думать, что еврейство должно быть отождествлено с сознанием или, выражаясь более торжественно, «разумом», что это есть интеллект, «мозг» в мире тел. Такое представление впору разве что Максиму Горькому. Вспомним лучше писателя поострее, Василия Розанова. По Розанову, еврейство не интеллект человечества, а нечто чуть ли не противоположное: это жизненный ствол человечества, его тело, его семя, мы бы сказали сейчас — бессмертная зародышевая плазма. Завет евреев с Богом, по Розанову, это брачный союз, в котором еврейство играет роль женского начала. О женственности евреев писал Отто Вейнингер, автор нашумевшей в начале века книги «Пол и характер». Прославленная семейственность евреев, верность их роду и племени связана с женским, а не мужским началом. В еврействе сильно плотяное начало, оно выделяет крепкие бытовые испарения, еврейству близка мистика крови, в еврейской экзистенции еще не расчленились дух и душа, «пар».

«Кровь», «род»... Может быть, и «раса»? Но здесь следует говорить не о фашизме, а о Ницше. Ницше — философ как раз «еврейский», а не фашистский. Лучше всех его понимал еврей Лев Шестов, Шестова не было бы без Ницше. Первое и последнее слово философии Ницше — жизнь. (То же — у Мартина Бубера: «Только тот, кто вверяет себя одновременно духу и земле, вступает в союз с вечностью».) Заратустра призывает быть верным земле. Ницше, проповедник аморализма, оказывается на деле глубочайшим реформатором этики. Альберт Швейцер, этот несомненный святой двадцатого века, идет от Ницше, устанавливая фундаментальный принцип этики: благоговейное отношение к жизни. Евреи суть зримое воплощение этого принципа. Еврей — этот Адам, родовое имя человека; еврейство — субстрат человечества, тот бульон, в котором только и заводятся живые клетки. Убивая евреев, фашизм не утверждал, а отрицал в самой сути принцип крови. Томас Манн сказал, что, как ни дико это звучит, преступления фашизма были совершены далекими от жизни идеалистами. С этой мыслью вполне согласился бы Шестов: по Шестову, идеи, идеализм (а мы добавим — идеология, ибо все это явления одного порядка) изначально связаны с забвением человеком древа жизни, предпочтением древа познания. Идеализм, спроецированный социально,— это и есть идеология, современный Молох, требующий человеческих жертвоприношений.

Значит ли это, что еврейство и есть та надышанная берлога, хранящая «звериное тепло», та материнская утроба человечества, в которой можно отсидеться от бурь? Конечно, нет, поскольку мы уже рождены в мир и обречены жить в мире, «заброшены» в мир. Евреи немало, больше, чем кто-либо, сделали для того, чтобы перерезать пуповину, привязывающую людей к разного рода органическим мифам. Русский философ Борис Чичерин говорил, что человеческое общество не может быть органической системой, ибо всякий организм несвободен, предетерминирован в своем развитии, а в обществе существует неорганический элемент, который есть свобода. В этом простом рассуждении — приговор всем мечтам об «окончательном устроении». Вспомним самого Гегеля, коли у нас зашла речь о гегельянце Чичерине. Еврейство органично и бытийно, но это бытие настолько «чисто», настолько лишено определений, что уже равно «ничто». А единство

бытия и ничто и есть, по Гегелю, становление, процесс, история. В этом диалектическом развертывании мы и замечаем усмешку еврея, именно — знаменитую «романтическую иронию». Романтическая ирония — аналог диалектики, а диалектика есть характеристика всякой самоопределяющейся тотальности, каковой может быть, допустим, человечество. Еврейство можно назвать самосознанием человеческой тотальности. Мартин Бубер пишет: «Идея и стремление к цельности в национальном характере основывается на том, что еврей более способен усматривать связь между явлениями, чем отдельные явления. Он видит лес более подлинным, чем деревья, море более подлинным, чем волны, общину более подлинной, чем людей». Это и есть романтическая ирония или диалектика.

Теоретическое осознание и формулировка подобного миропонимания произведены отнюдь не евреями, но то, что у иенских романтиков и у Гегеля было специфически эстетическим или философским, у евреев выступает как всеобщая характеристика.

Подобные «совпадения» и заставляют говорить о всеобщности, антропологической представительности евреев, о еврее-всечеловеке. Тот же Бубер говорит: быть евреями значит быть абсолютными людьми. Но, с другой стороны, в каждой нации существуют люди, живущие вне социальных определений, осуществляющие в своем индивидуальном существовании некий микрокосм: я говорю, конечно, о художниках, именно о гениальных художниках, то есть о гениях как таковых. Строго говоря, понятие «гений» неприложимо ни к какому роду деятельности, кроме художественной, об этом писал еще Кант. Есть гениальные философы, но люди понимающие уже давно догадались, что философия есть род художественной игры, что строится она не на поиске истины, а на создании мифа. Означает ли сказанное, что евреи — художники по преимуществу, или, что то же самое, гении, что еврейский народ гениален в своей массе? Думаю, что никто не решится сказать такое, тут не нужна философия, достаточно статистики. Однако какой-то соблазн в этой теме существует, и не зря Эренбург в «Ложке дегтя» пытался отождествить литературу с еврейством как таковым. Я бы решил эту проблему так: нельзя говорить, что всякий еврей гениален, но зато в каждом гении есть что-то еврейское.

В литературе степень гениальности лучше всего определять степенью близости к Библии, а кто ближе к ней, чем Шекспир? Несомненный «еврей» — это Гете, и недаром Наполеон назвал его «человеком», выраженность в нем антропологической природы и есть еврейское у Гете. Говорят, что в нем было много филистерского, мещански пошлого, обыденного. Похоже, что за филистерское принимают то, что свидетельствует о беспредельной широте его натуры: этот человек полностью и во всем удался, он включал в себя буквально все человеческие типы. Я не ощущаю пошлости, когда творец «Фауста» истово описывает в «Поэзии и правде» коронационные торжества какого-то захудалого курфюрста или когда автор «Избирательного сродства», книги, в которой, кажется, запутался бы сам Фрейд, советует молодым людям учиться играть в карты, чтобы быть в обществе приятными компаньонами. Гете, присутствующий при операции слезного мешочка у Гердера,— в этой картине есть нечто зловещее (впрочем, может быть, только в ретроспекции: синхронно, это был, вероятно, только штрих бытового стиля, вроде домашних родов). Чуть ли не каждое еврейское дитя считается вундеркиндом, потом, как водится, из вундеркинда вырастает дантист или посредственный музыкант. Гете — удавшийся вундеркинд, удавшийся «еврей» — удавшийся человек.

Но «абсолютность» еврейства, ген гениальности, ему свойственный, делает его, с другой стороны, «кошмаром наций». Это слова Мартина Бубера. Два высказывания Бубера: «До сих пор нашего существования хватало лишь на то, чтобы сотрясать троны идолов, но не на то, чтобы воздвигать трон Господень. Именно в силу этого наше существование среди народов столь таинственно. Мы претендуем на то, чтобы научить абсолюту, но в действительности лишь говорим „нет“ другим народам, или, пожалуй, мы сами являем собой такое отрицание и ничего больше. Вот почему мы стали кошмаром наций». Второе высказывание: «В течение прошлого века еврей с его способностью к критике, сотрясая кумиры, не приготовил места Богу, а постарался самого Бога лишить какого бы то ни было места на земле. Вместо того, чтобы научить народы служить правде, а не фикции, еврейский критицизм внес свою лепту в то, чтобы заклеймить идею правды как непозволительную фикцию».

Далее Бубер говорит, что в этой деструктивной установке евреи поддались нигилизму современной культуры, он приводит слова Достоевского: цивилизованный человек я не должен веровать в Бога, указывает на частичность, абстрактность нынешнего цивилизаторского стиля, не знающего целостного человека и не нуждающегося в нем, то есть, в общем, пытается еврейский критицизм списать на внешнее окружение. Он даже говорит о евреях нечто удивительно напоминающее Константина Аксакова, говорившего о русских, что общечеловеческое является у них как народное, потому что они обставлены народами в узком смысле — «языками». Этой теме посвящена статья Бубера «Национальные боги и Бог Израиля». Как и всякое идеологически оформленное славянофильство (а сионизм и есть еврейское славянофильство), этот тезис уязвим. У нас нет иного пути указать на Абсолют, кроме разрушения идолов, низвержения ложных кумиров. Это проблема так называемого апофатического богословия. Всякое положительное высказывание

об Абсолюте грозит обратиться в идеализм, стать идеологией, теоретической абстракцией — тема Льва Шестова. Идеализм, по Шестову,— это теоретическое искривление культуры, власть идей в жизни, то есть идеологии в современном понимании. Во враждебности к идеологиям сказывается первичное содержание еврейства, а не навязанный ему культурный климат. И если оно само создает идеологии, то для того, чтобы опровергнуть их. Это — род игры, еврейский Glasperlenspiel [1]. (Эренбург в «Ложке дегтя»: «Критицизм — не программа. Это — состояние. Народ, фабрикующий истины вот уже третье тысячелетие, всяческие истины — религиозные, социальные, философские, фабрикующий их миролюбиво, добросовестно, не покладая рук, истины оптом, истины сериями, этот народ отнюдь не склонен верить в спасительность своих фабрикатов... Мир был поделен. На долю евреев досталась жажда. Лучшие виноделы, поставляющие человечеству романтиков, безумцев и юродивых, они сами не особенно-то ценят столь расхваливаемые ими лозы».) Здесь обнаруживается коренной романтический характер еврейского мироощущения. Это не значит, конечно, что все евреи — эстеты, это значит, что романтизм был идеей, далеко выходящей за круг эстетического, он был своеобразной антропологией, а всякая антропология прежде всего описывает еврея. Мы уже видели это на примере экзистенциализма. Сходство романтизма с экзистенциализмом во многих пунктах сомнений не вызывает. В еврействе четко прослеживаются оба полярных элемента романтической структуры, «обладание» и «томление», статика органического произрастания (Бергсон) и экстаз бунта (Маркс).

Ошибка Бубера в этом вопросе — стремление еврейский критицизм объяснить порчей еврейства в культурной диаспоре, а не его природой. Сам Бубер был идеалистом-догматиком. Он был идейный сионист, жаловался на то, что «мы вернулись на нашу землю не через те ворота». Думается, что если б дело сионизма велось такими людьми, как Бубер, евреи не вернулись бы в Израиль вообще.

Здесь мы подходим к теме, очень остро сформулированной Артуром Кестлером. Он ставит евреев перед альтернативой: или возвращение в Израиль, или ассимиляция. Но если исходить из тезиса о всечеловечности еврейства, эта альтернатива неверна. Сегодня сами сионисты говорят, что создание государства Израиль не решило еврейских проблем. Да и неверно было бы думать, что абсолютная проблема еврейства, вопрос о человеке и его путях в мире, может быть решена такими домашними средствами. А Кестлеру кажется, что человеческие проблемы вообще разрешимы,— так рационализм очередной раз оборачивается утопией. Еврей в диаспоре — загадка и тайна человечества. Если угодно, в истории есть только одна тайна, и эта тайна — еврей. Еврейство нельзя сводить к «национальному вопросу» или к антисемитизму. Бубер приводит слова Морица Геймана: «То, что еврей, занесенный на необитаемый и никем не посещаемый остров, представляет себе как „еврейский вопрос",— только это и есть еврейский вопрос». Не ясно ли, что еврей на необитаемом острове размышляет о «заброшенности»? Но это и есть вопрос человеческого бытия по преимуществу. Но то, что у других народов заслонено и замаскировано социоморфными образованиями культуры, государственности, церковности, у евреев звучит чистой нотой, явлено открыто.

Интересные слова о евреях произнес Ибсен в письме Брандесу от 17 февраля 1871 года: «Взять, с другой стороны, иудейский народ, аристократов человечества. Благодаря чему он сохранил свою индивидуальность, свою позицию, вопреки всякому насилию? Благодаря тому, что ему не приходилось возиться с государственностью. Оставайся он в Палестине, он давно бы погиб под тяжестью своего государственного строя, как и все другие народы». Аристократизм евреев, о котором говорит Ибсен,— их историческая и социальная неприкрепленность, свобода, «человеческое в человеке». Такая жизнь, несомненно, рискованна. Предлагая евреям диаспоры ассимилироваться, Кестлер хочет соблазнить их мыслью о гарантированном существовании, свести к минимуму элемент специфического еврейского риска. Но не существует гарантированного существования, и еврейский риск — это риск быть человеком. О Нормане Подгореце однажды было сказано: это, несомненно, Гек Финн, но он не уплыл на плоту с Джимом, а остался у вдовы. И действительно, Подгорец из либерала сделался «неоконсерватором». Как знать, может быть, со временем он подожжет дом вдовы. У Славомира Мрожека есть рассказ о мальчике-хулигане, ставшем пай-мальчиком. Он сделался «первым учеником», увлекся химией и в один прекрасный день изобрел динамит и взорвал родительский дом: аллегория «культурного прогресса».

Откуда же этот масштаб абсолютного, этот аристократизм, эти дары? Ответ один: от Бога. В еврействе мы сталкиваемся с явлением Божественного произвола. Это основная тема философии Шестова. Бог не выбирает благо потому, что это благо, но благо то, что выбирает Бог. Об этом же много размышлял Томас Манн, в его формулировке это тема заслуги и дара. Дар — это то, что задаром, то, в чем нет заслуги, аристократизм — это дар. Таково еврейство. Нужно понять, что «избрано» оно отнюдь не за свои заслуги. Если бы

[1] Игра стеклянных бус, игра в бисер *(нем.)* — название романа Г. Гессе.— *Ред.*

Бог избрал курдов, мы имели бы курда Эйнштейна, курда Маркса, курда Фрейда. В дарах еврейства, таким образом, нет ничего объективно значимого. Чудо потому и чудо, что выходит за рамки закономерности и нормы, чудо есть произвол. Любая гениальность не закономерна, а произвольна. Такова не перестающая волновать тема Моцарта и Сальери. С точки зрения разума, Сальери «лучше» Моцарта, но Бог избрал Моцарта, гуляку праздного. Когда пушкинский Сальери догадывается о том, что «правды нет и выше», он ставит тему философии Шестова: Бог — это не правда и не добро, Бог это Бог.

При таких заданиях и дарах ассимиляция становится прямым нарушением воли Бога. Степень ассимилированности еврея — степень его бездарности. Бездарность здесь нужно понимать как богооставленность. Если ассимилированный еврей сохраняет гений, он становится русским, польским, французским гением. У нас это Борис Пастернак, в котором, кроме крови, не было ничего еврейского. Главная среда еврейской ассимиляции — не Россия и не Америка, это — *культура.* Культура искажает изначальный лик еврея. Культура, по Бердяеву,— «срединное царство», а значит, царство посредственностей. Гений всегда сверхкультурен. Отказываясь от гения, еврей становится посредственностью, посредником, то есть «торговцем». Это не обязательно мануфактура или москатель, но любая «культурная деятельность». Самый сомнительный комплимент для еврейства — назвать его нацией культурной, нацией культуры: культура есть падение евреи. Поскольку евреи создают культуру, постольку они отказываются от себя, сфера еврейства — это гений, а не культура, несомненно, евреи чувствуют это. Можно заметить игровое, ироническое отношение евреев к их собственной культурной деятельности. Когда еврей со всей серьезностью углубляется в культурную работу, отождествляет себя с ней, он перестает быть евреем. Я не могу заметить ничего еврейского в Б. М. Эйхенбауме или в Эдмунде Гуссерле. Но я чувствую еврейское в Викторе Шкловском, хотя он не чистый еврей,— потому что в нем заметен гений, и потому, что ему мало теории прозы, ему нужно еще портить броневики гетмана Скоропадского.

Естественно, что индивидуально не всякий еврей гениален, поэтому инстинктивное стремление сохранить национальное лицо создает у еврея игровое отношение к культуре. За культурной деятельностью еврейства ощущается некая дыра, метафизический ноль, ничто. В культуре еврейство, как Павел Иванович Чичиков, торгует мертвыми душами. По Мережковскому, Чичиков — абсолютная посредственность, это он называет чортом. Посредственность — одного корня с посредником, медиатором. Mass media — сфера еврейства в культуре. Но гоголевский чорт чрезвычайно обаятелен, это главное социальное свойство Чичикова. Блок говорил, что Гоголь влюблен в Чичикова. Здесь мы обнаруживаем истину дворницко-лакейского понимания культуры: «культура» — это манеры, умение высморкаться. Действительно, что еще можно сказать о культуре? Павел Иванович сморкался чрезвычайно солидно. Высшая реализация типа Чичикова — библейский Иосиф, один из архетипов еврейства. Иосиф — носитель самой идеи успеха, потому что он пустой малый, наделенный обаянием и элементарной толковостью. Ничего другого для успеха и не надо. Впрочем, нужен еще Египет. Такой Египет у нынешнего еврейства — Америка, «Голливуд».

Высокий еврейский тип — это не Иосиф, а Иов. «Скрытая болезнь, темный рок лишенного корней еврейского народа,— пишет Бубер,— заключается в том, что его абсолютная и его относительная жизнь раскололись». Но Иова с Иосифом и невозможно примирить, в их расколе нет ничего специфически еврейского, вернее, это еврейская проблема именно потому, что она общечеловеческая проблема: раскол культуры и гения. В христианской традиции эта тема называется Марфа и Мария. Жизнь в культуре отнюдь не означает прогресс в еврейской судьбе. Точнее, это как раз и будет «прогресс», но не еврейский, а «всемирно-исторический». Повышенная самооценка Иосифа — то, что в быту справедливо называется еврейским самохвальством,— это самосознание культурного человечества, идеология прогресса, *гуманизм* в самом точном смысле слова, как миф о человеческой автономности и мощи. Это — «Всемирная выставка в Монреале». Даже в бытовых своих характеристиках еврейство представительно.

Ибо все происходящее с евреями происходит с миром. Взять тот же прогресс: этих азиатов (Бубер решительно настаивает на азиатской природе еврейства) он хочет сделать европейцами и американцами. Но ведь прогресс и всех хочет европеизировать и американизировать, европеизация и американизация и есть прогресс. И евреи отвечают на это уходом из Европы, возвращением в Азию, восстановлением Израиля. Таков сверхгосударственный и сверхсионистский смысл этой реставрации: «прогрессу» противопоставлен «регресс», возвращение к истокам. Идея сионизма родилась, когда Теодор Герцль понял, что либеральный прогресс ничего не дает еврейству. Но это значит, что он ничего не дает никому, что сама идея прогресса ложна. Вот этот сверхеврейский смысл еврейских путей и нужно понять. Холокост — это не просто жертвы войны или расового фанатизма, но знак обращенности человечества к самоуничтожению, следующим шагом должна была стать, и стала, атомная бомба. Такой же смысл должен быть усмотрен и в участии евреев в коммунистической революции, такова короткая, но необыкновенно значимая история их доминирующего влияния в коммунистической России. Я решусь сказать, что главным

в этой истории было не то, что евреи уничтожали русских, но то, что они уничтожали евреев же, что евреи зачастую сидели по обе стороны чекистского следовательского стола. Несомненно, это был апофеоз ассимиляции! Но одновременно это было самоубийство — и не еврейства, а человечества. Убийства и войны, в том числе гражданские, бывали всегда, но никогда евреи не убивали евреев. Когда это случилось, это означало, что человечество от практики войн перешло к практике самоуничтожения. Такова символика еврейских судеб.

Такой же символический смысл имеет отношение еврейства к христианству. В этом отношении нужно видеть сильнейшее доказательство всечеловечности еврейства. Оно не приняло христианство потому же, почему его не принял мир в целом. Существуют различия культурно-исторических типов. Христианство связано с одним, максимум с двумя из них. Еврейство же не связано ни с одним, ему нет нужды выбирать ничего, кроме самого себя. Христос для Бубера — «один еврей». Еврейству глубоко чужда идея окончательного воплощения Божественной истины, говорит Бубер. Может быть, такая идея чужда и самому Богу. Многообразие культур указывает на проблему не только историческую, но и религиозную, это проблема бесконечности Божественых ликов. Такая мысль есть у Шестова. В термине «иудео-христианская культура» первый член сомнителен, еврейству незачем отождествлять себя с какой бы то ни было локальной культурой — с культурой вообще. Может быть, завтра христианская цивилизация падет, тогда еврейству, которое неуничтожимо по определению, придется уживаться с другими культурами или с другим варварством. Здесь груз культурного прошлого будет не помогать, а мешать.

Бесконечно важно не только то, что еврейство не приняло христианства, но и то, что оно родилось в среде еврейства. Нельзя буквально понимать мысль Ницше о христианстве как орудии еврейского выживания. Нельзя, наконец, само выживание полагать последней целью: в жизни, помимо жизни, существует если и не «смысл», то тайна, не раскрываемая в самой жизни. Прославление витальной силы у Ницше тоже было симуляцией и имитацией, это был его вариант чаепития на канате, его индивидуальный миф. Ницше по себе знал, что жизнь может быть не менее холодным чудовищем, чем государство. Amor fati [1] было позой — чтобы не закричать. Кьеркегор в этом пошел дальше Ницше, он отказывается от позы, он кричит, как библейский Иов.

Но проблема Иова, по Шестову, это проблема не морального удовлетворения, а реального восполнения. Иову во плоти были возвращены жена, дети и скот. Бог сделал однажды бывшее небывшим. Это есть проблема еврейского хилиазма, реального царства Бога. Создав понятия совести, вины, греха, породив христианство, евреи не идинтифицировались с ними, не подчинились им. Евреям Шекспир ближе, чем Достоевский. Шестов говорит, что герои Шекспира выше героев Достоевского, Макбет выше Раскольникова, потому что шекспировских героев могут раздавить обстоятельства, но они не подчиняются им как «норме». О психологическом механизме образования норм писал Ницше: «Что такое иудейская, что такое христианская мораль? Случай, лишенный своей невинности, несчастье, загрязненное понятием „греха"; благоденствие как опасность, как искушение; физиологическое недомогание, отравленное червем совести...» «Мораль господ» у Ницше — это преодоление нормативной морали. Но «господство» здесь нельзя понимать как социологический термин, Ницше под видом морали господ описывает романтическую структуру духа, гениальное сознание. В гениальном творчестве мы всякий раз встречаемся с этой проблемой. У Толстого, когда он художник, а не моралист, Шестов находит впечатляющие образчики самого настоящего «ницшеанства». Таков же весь поздний Ибсен. Но пример еврейства показывает, что гениальное сознание может быть не только эстетическим феноменом, но и реальным жизненным опытом. Бубер, описывая хасидизм, выделяет тему «греховности самоистязания»: греховно само понятие греха. Герский цадик оказывается предшественником Ницше, он говорит, как Заратустра: «Согрешил я или не согрешил,— что от этого Небесам? Чем терять время, предаваясь размышлениям о грехе, лучше мне нанизывать жемчужины к вящей радости Небес... Человеку, который не думает о себе, даны все ключи». Принципиальные лапсердачники еще в восемнадцатом столетии создали мораль господ — преодолели нормативность, законничество в морали. Этическая философия нашего времени только об этом и думает. Эренбург так увлекся хасидизмом и написал «Лазика Ройтшванеца» не в последнюю очередь потому, что, прочитавши Бубера, увидел поразительную близость учения Баал-Шема к пленившему его в молодости Ницше. И сам Эренбург интересен тем, что, не удавшись как художник, он удался «вообще», то есть удался как еврей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ЭРЕНБУРГЕ

В жизни Эренбурга был человек, оказавший на него ни с чем не сравнимое влияние: это, однако, не Модильяни, не Пикассо и не Замятин. Это был жандармский полковник Васильев, ведший следствие по делу ученической организации большевиков, в которую

[1] Любовь к судьбе *(лат.)* — выражение Ницше.— *Ред.*

входил Эренбург. В мемуарах Эренбург останавливается на нем слишком подробно для эпизодической фигуры и, думается, не для того, чтобы расписать свое революционное отрочество. «Порой он льстил мне, порой изводил иронией пожилого и неглупого циника... Разумеется, я ненавидел полковника Васильева, но он казался мне интересной фигурой, хитрым следователем из романа — я ведь думал, что все жандармы глупые и невежественные держиморды». В «Книге для взрослых» можно найти образцы его шуточек: «Следовательно, вы против объединения с большевиками? Что же, в принципе я с вами согласен, но что вы предлагаете взамен?» Такие уроки не забываются, от жандарма Эренбург узнал то, чего не могла ему дать интеллигентная субкультура: злодеев зачастую нет на том месте, где их думаешь встретить. Словам о «ненависти» как-то не веришь, скорее всего, Васильев просто понравился Эренбургу. Надо думать, что после этого он взглянул другими глазами и на праведников подполья. Он пишет, что это Париж научил его не говорить ни «да», ни «нет»; естественно, не мог же он в подцензурных мемуарах написать, что научил его этому жандармский полковник Васильев.

Париж умножил опыты, в Париже Эренбург встретился, к примеру, с Борисом Савинковым. Савинков на всех производил колоссальное впечатление, даже на вдоволь опытного англичанина Сомерсэта Моэма. В мемуарах Эренбург очень подчеркивает котелок Савинкова: в этом котелке появился перед Эренбургом Учитель Хулио Хуренито. И научился Эренбург у Савинкова не фанатизму бомбометателя, а скепсису и оппортунизму зарабатывающего на жизнь пером газетчика. «Однажды я спросил у него, верит ли он в то, что пишет, он усмехнулся, сказал, что я еще очень молод. Я вышел из себя: „Но тогда нужно выть, как собака..." Он опустил свои чугунные веки: „Нет, выть не нужно. Можно написать еще одну статью, вы уже умеете это делать..."». Савинков описан в «Жизни и гибели Николая Курбова». Потрясло Эренбурга не то, что революционер Савинков пишет стихи и романы, а то, что он пишет газетные корреспонденции, прославляющие воинскую доблесть царских солдат.

«Лжа разъедает душу», говаривал чеховский Редька. Не всегда и не у всех. Напрашивается парадокс: иногда она душу закалинает. Конечно, для этого необходимо одно отрицательное условие: не мучиться чувством вины, не отождествлять себя со своим грехом. В одной пьесе Ибсена есть слова о «дюжей совести». Вот это и есть то, что Ницше назвал моралью господ. Но это же — и высокая традиция, и повседневная практика еврейства, и Иаков семь лет работал на Лавана, но это не значит, что он предал Рахиль: для нее и работал.

Сравним Эренбурга хотя бы с Константином Фединым. Ведь первый славословий товарищу Сталину написал куда больше, чем второй. В какое-то прирожденное злодейство Федина не верится: судя по письму Твардовского, еще в 1954 году он вел себя вполне прилично. «Скурвился» он как раз тогда, когда жить действительно стало лучше и веселей. Очевидно, что он не выдержал всего лишь какого-нибудь одного прегрешения, сломался, ушел в грех, как в невроз. И лицо корректного русского писателя стало лицом порочного волка.

Вспомним фединскую игру в классики. Классика из него не вышло, и, по-видимому, он был уже готов простить себе это, найдя приличное объяснение («эпоха не та» или что-нибудь в этом роде), как вдруг перед ним, живой, во плоти, с потертым портфелем под мышкой и, по случаю жаркой погоды, в рубашке «апаш», предстал русский классик — Пастернак. И тогда в Федине заговорил Сальери. Интересно, что в Эренбурге, при всем старании, нельзя обнаружить никаких следов сальерианского комплекса. В молодости он пытался стать поэтом; не вышло. И вот в семнадцатом году в Москве он встречается с Маяковским. Эренбург не позавидовал и не озлобился, он написал о Маяковском восторженную статью и включил ее в «Портреты русских поэтов». Я настаиваю на том, что это у Эренбурга не личное достоинство, а национальное качество. Чувство зависти, обиды, униженность, стремление отомстить, одним словом, то, что Ницше назвал ressentiment,— характеристика лакейского, смердяковского сознания, мораль рабов. А евреям близка мораль господ, мы это видели даже на социальных низах, у каких-нибудь брацлавских хасидов. Отождествление еврейства с ressentiment — моралью — ошибка Ницше. Естественная реакция евреев на высокое — не снизить, не забросать грязью, а включить в себя, ассимилировать. Можно сказать, что не ассимиляция евреев миром происходит, а ассимиляция человеческого гения еврейством. Инстинкт еврейства, так сказать,— женить гения на еврейке, и эта еврейка в девяноста восьми случаях из ста — отнюдь не Юдифь.

Я не хочу сказать, что ressentiment совсем уж чужд еврейству. Ничто человеческое ему не чуждо. Куда же в таком случае девать пресловутых еврейских комиссаров! Гришка Зиновьев отвратителен. Ягода, стреляющий в предбаннике по иконам, ужасен, да и родственник его, «вождь РАППа товарищ Авербах», не многим лучше. В революции было сколько угодно еврейских Смердяковых. Но секрет еврейства в том, что оно необыкновенно быстро облагораживается. Если у Ягоды остались потомки, то стали они — докторами наук, выбрали чистую работу. Секрет этих успехов прост: евреи не казнятся «грехами» отцов, в отличие от какой-нибудь Светланы Аллилуевой, которой нужно непременно

сменить фамилию (отсюда — все ее замужества и побеги). А внучка какого-нибудь Мехлиса спокойно гуляет по Москве или Тель-Авиву и со спокойной совестью сотрудничает в «русскоязычной» прессе одного из указанных городов.

Говорят, что святость есть преображенная энергия зла. Говорят это, разумеется, христиане. У евреев есть другие резоны: умение быть самими собой, не каяться и не казниться, принимать все — как в мире, так и в себе. Говорят также, что чувство вины у евреев ослаблено, потому что уж очень мир перед ними виноват. Я этому не верю. Еврейская жестоковыйность — не реактивное образование, а первичное качество. Ницше напрасно думал, что евреи, создав мораль и христианство, ушли навсегда в «декаданс»: в еврейском сознании (не только в генетической памяти) сохраняются все пласты предшествующего опыта, как у эренбурговского Эрколе Бамбучи тряпье всех его «эпох» на теле.

Я вижу, что «заключения об Эренбурге» не получается, заключение опять же о евреях. Но это не ошибка композиции, а суть дела. Еще и еще раз следует повторить: Эренбург не был гением, но гениальность в нем заменяло еврейство, наконец-то сознанное, усвоенное, ассимилированное. Он не был Моцартом, но не стал ни Сальери, ни Фединым.

Февраль — март 1982



РЕЦЕНЗИИ О. Э. МАНДЕЛЬШТАМА

Шесть рецензий Осипа Эмильевича Мандельштама из собрания М. С. Лесмана, которые печатаются ниже,— последние из еще не публиковавшихся творческих текстов поэта (из числа учтенных нами).

О. Э. Мандельштам писал внутренние рецензии преимущественно на книги французских и немецких авторов, намечавшихся издательствами к переводу на русский язык. Большинство из них написано для ленинградского Госиздата (ГИЗа) и издательства «Прибой», для которых Мандельштам работал наиболее интенсивно в 1925—1927 гг. Одна из рецензий, включенная в нашу публикацию, написана на уже вышедшую в русском переводе книгу Бласко Ибаньеса «Земля для всех» и, по-видимому, предназначалась для печати (в «Красной газете»?). а возможно, и была напечатана.

Три внутренние рецензии из собрания М. С. Лесмана, не включенные в настоящую публикацию, помещены в книге «Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана», М., 1989, с. 372—374; в примечаниях указаны литература о месте внутренних рецензий в творчестве поэта и публикации рецензий из других архивов. В дополнение укажем подборку внутренних рецензий для издательства «Время» из готовящегося к печати «Мандельштамовского сборника» (ИМЛИ).

1. RÉCITS DE LA VIE AMÉRICAINE[1]

Это новеллы писателей *Латинской* Америки, главным образом аргентинцев. В литературной манере этих авторов замечается некоторая старомодность, словно они испытывают непосредственное влияние Мериме. Почти все — очень хорошие рассказчики, с сильной фабульной пружиной. Их привлекает колониальное прошлое с его гражданскими войнами и живописным беззаконием. Очень хотелось бы составить небольшой оригинальный сборничек, *но, к сожалению, то, что подбирается, лишено центра тяжести.* Книга *неполная:* несколько рассказов вырезано. Из остающихся приемлемы:

1) Alvarez[2]. *Охота на кондора* — хрестоматийно-совершенная вещь: редкое чувство меры в сопоставлении человека и природы.

2) Payro. *Capuche d'éte*[3]. Яркий социальный мотив: вор-префект преследует крестьянина.

[1] Рассказы из американской жизни *(фр.).*
[2] Альварез *(порт.).*
[3] Пайро. Летний капор *(фр.).*

3) Legrizamod. *Le coup de grace*[1]: эпизод одной из бесчисленных гражданских войн (40-е годы). Расстрел пленников. Чисто формальные достоинства.

4) *Остров Робинзона:* посещение колонии островитян; фрегатно-парусная эпоха; проблема цивилизации с отзвуками Руссо; чудесный ландшафт.

5) *Primitif*[2]. Злоключения простака-крестьянина — скотонода. Быт прерий в середине прошлого века. Социальный мотив заслонен темой *рока.*

Прочие рассказы построены на литературной обработке суеверных преданий и мистике ужаса.

Из поименованных пяти вещей можно составить книжку. Но хотелось бы выбрать лучше и тщательнее.

О. Мандельштам

[1] Легризамоб. Расстрел *(фр.).*
[2] Простак *(фр.).*

2. LES OEUVRES LIBRES, RECUEIL LITTERAIRE MENSUEL, LXIII[1]

Содержанием своим настоящий сборник *подрывает доверие ко всей серии* «Les oeuvres libres». Это беспринципный подбор частью банально-добродетельного, частью гривуазного материала, рассчитанный на консьержку и коммивояжера.

1) *«Серьезная» повесть.* Знаменитый художник вспоминает на старости своих любовниц. Италия. Эстетическое обрамление.

2) *Перевод с румынского.* Священник воспитывает в своем доме незаконного сына. Мелодрама. Кончается детоубийством.

3) *Салонная комедия.*

4) Остроумный, но абсолютно *неприличный скетч:* автомобильная катастрофа: американская star[1] и ее спутник, выловленные крестьянами из пруда, в постели деревенской гостиницы.

5) Лучшая вещь в сборнике. Рассказ о маленьком импотентном чиновничке — любителе биллиарда, который прослыл в своем квартале фавном и вынужден был бежать, удрученный тяжестью этой репутации.

В «Monsieur Papanoik»[2] (5) есть элементы сатиры: это неплохая юмореска на тему, если можно так выразиться, о парижском «жакте». *Если б не гривуазность,* годилась бы для юмористической летучей библиотечки.

О. Мандельштам

3

Детективный[2] роман осложненного типа; весьма остроумное построение, сближающее капиталиста с профессиональными мошенниками; ставка на внешнюю занимательность.

Детективный роман — остроумный, даже блестящий, без грубой бульварщины, *но и без какой бы то ни было идеи,* если не считать морали; «круглые жулики-биржевики, банкиры — остаются, увы, безнаказанными».

Фабула следующая:

Амстердамский банкир симулирует ограбление с убийством в экспрессе, рассчитывая сыграть на биржевой панике. «Режиссером» комедии является знаменитый «гостиничный» вор. Сыщик Дюпор, случайно оказавшийся в экспрессе и сразу не опознавший вора, осложняет его задачу. Внимание Дюпора законтрактованные банкиром мошенники отвлекают следующей диверсией: одурманивают пассажирку с фальшивыми бриллиантами, выбрасывают куклу в окно поезда и добросовестно выполняют «заказ» биржевика. Все разъясняется в конце книги: банкир объявляется в живых и просит считать историю «невинной инсценировкой, вызванной семейными обстоятельствами». Книга изобилует вставными эпизодами и забавными кинематографическими моментами, она иронична, подчас пародийна. Полиции (Дюпору) отведена скорее положительная роль — «умной ищейки». Следует еще отметить фигуру дурковатого писателя, арестованного по ошибке. В общем, симпатии автора распределяются равномерно между мошенниками (очень ярок, фламандски жизнерадостен Ян Бульи) — и профессионалом детективом. Такого рода книги, как бы хорошо они ни были написаны, отвечают нездоровому спросу на прямую занимательность; киноромантика заслоняет социальную перспективу. В данном случае эти недостатки сведены к минимуму, но книга, несмотря на внешнюю занимательность, сомнительна.

Заключение: книга в своем роде хороша, но сомнительна, как всякая «детективная» литература.

О. Мандельштам

4. РОЗА КОГЕН. АМЕРИКАНСКАЯ НОЧЬ

Книга «Роза Коген»[3] — любопытнейший памятник массовой еврейской эмиграции в Америку и, безусловно, один из основных документов по этому вопросу. По форме это увлекательная повесть, по содержанию — глубокий и непреднамеренный социальный памфлет.

Еврейская местечковая семья перебрасывается в Нью-Йорк. (Характерная подоплека — непорядок в воинских делах отца.) Трагически назревающие сборы. Тайный переход границы в контрабандных фурах, под охапками соломы. Рассказ ведется от лица девочки, которая несколько позже последовала за отцом. Повесть отталкивается от впечатлений «черты оседлости». Эмигрантская станция в Гамбурге и само плавание показаны кратко и напряженно. Доминирует инстинкт жизни и жажда новизны. В дальнейшем книга складывается как стройная биография девушки-работницы с резким предрасположением к американизации. Постепенно перевезенная, вернее, с громадными усилиями перетащенная в Нью-Йорк, семья немедленно закабаляется как рабочая сила. Наблюдения кристаллизуются вокруг бытовых явлений. Еврей-торговец, например, для уличной безопасности берет в провожатые девочку, ибо в Америке «уважают женщин». Вежливые «полу-погромы». Подкуривание еврейских домов. Из первой части мы узнаем, как живет и хозяйничает в Нью-Йорке семья, считающая на десятки долларов, узнаем с такой яркостью и подробностью, как если бы говорилось о Белостоке или Балте. Центральная часть почти всецело посвящена условиям труда: портновские, закройные, плиссировочные мастерские, женский, детский труд, синдикализация, локауты. Полутемная квартира мелких американских дельцов, где живут и обедают при электрическом свете. Спанье на стульях в кухне, «совсем как дома». Центральный эпизод — неудачное сватовство 16-тилетней героини. Отвергнутый жених — бакалейщик. Основная черта Розы Коген — отвращение к плаксивому и обличительному тону и непобедимое жизнелюбие. В последней части освещена своеобразная филантропически-миссионерская деятельность американского капитала в еврейской массе. Пресвитерианский госпиталь. Благотворительный спорт. Дама-патронесса, читающая из роскошной золотообрезной книги поэму... о ритуальных убийствах. Вообще книга «Роза Коген» необычайно богата материалом по американскому лицемерию: на бельевой фабрике работницам, по случаю возвращения хозяина из Европы, раздают в конвертиках золотые безделушки, стоимость которых вычитается из заработной платы, и т. д.

Книгу, с некоторыми сокращениями, можно рекомендовать массовому читателю: она органически вводит в быт современной Америки, заинтересовывая в то же время личностью самой рассказчицы.

О. Мандельштам

[1] Свободные труды, ежемесячный литературный сборник, LXIII *(фр.)*.

[2] Названия и имени автора рецензированного произведения установить не удалось.— *Прим. публикаторов.*

[3] Не исключено, что имя автора взято Мандельштамом в кавычки по причине того, что он знал: это псевдоним.— *Прим. публикаторов.*

[1] Звезда *(англ.)*.

[2] «Господин Папапоик» *(фр.)*.

5

От литературных салонов Парижа, где чудовищные рыжие поэтессы мучают гостей стихами, где русские княгини румынского происхождения ищут мужа-американца, где монументальные торты взяты в кондитерской напрокат, а голодную богему кормят сухариками,— в Аргентину.

Так перебрасывается действие в последнем романе Бласко Ибаньес «Земля для всех». Писателя-эмигранта потянуло к Латинской Америке.

Испанский инженер с фаустовскими планами орошения прерий, влюбленные подрядчики, выписывающие в степную глушь цилиндры и духи из Буэнос-Айреса, франты, щеголяющие в цирковых фраках с толстыми шелковыми шнурами, сумасброды, разбивающие английский парк на раскаленной безлесной земле,— все это, пожалуй, больше похоже на киносценарий, чем на обычный роман.

Эта книга насыщена юмором и буйством жизни. Недаром трактирщик в странном поселке, где разбогатевшие самцы, как бизоны, сражаются за обладание парижанкой, расцветил свою хижину всеми флагами — и признанными, и не признанными Лигой Наций.

«Земля для всех» вышла в «Прибое».

6. GUSTAV MEYRINK. GOLDMACHERGESCHICHTEN[1]

Три повести Густава Мейринка об алхимиках, затрагивающие эпоху курфюрста Фридриха III Бранденбургского, Марии-Терезии и Польшу начала XVII в., окрашены вялым и непоследовательным романтизмом. Стилизуя ⟨сло⟩жные исторические отношения, автор упро⟨щает⟩ их до анекдотических интриг. Лишенный живости Дюма, он равняется по нему в изображении характеров.

Действительность врывается в условную ткань «исторического» романа в виде экономической и политической мотивировки тогдашнего увлечения алхимией, но мотивировка эта очень слаба.

Исторический фон — картонный. Читается — не легко.

[1] Густав Мейринк. История золотых дел мастера *(нем.)*.

Публикацию подготовили Н. Г. Князева и А. Г. Мец

Виктор Кривулин

ОТ НЕМОТЫ К НЕМОТСТВУ

Маяковский и Мандельштам

В 1924 году Ю. Н. Тынянов писал: «Говорить о стихах теперь труднее, чем писать стихи...» Это было сказано как раз в ту пору, когда поэзия перестала быть «ХЛЕБОМ И ВИНОМ» эпохи и постепенно приобретала все более явственный уксусный привкус и сухарный скрип.

Впрочем, сухарей для будущих Соловков или Колымы тогда еще в массовом порядке не сушили, и тот же Тынянов, разрабатывая в «Проблеме стихотворного языка» новую концепцию функционирования поэтического слова, достаточно откровенно проецировал исторический опыт времен революции и гражданской войны на такую особую область, как «говорение о стихах».

Он впервые обратил внимание на радикальное различие словоупотребления в поэзии и в прозе. В отличие от прозы, которая использует каждое отдельное слово в его основном, главном значении, поэзия, по Тынянову, возникает там, где слова берутся в периферийных, факультативных, второ- и третьестепенных словарных значениях. Иначе говоря, поэтический смысл возникает там, где кончается асфальт центрального, однозначно информативного смысла, где обозначается антагонизм между «лексической провинцией» и традиционными «смысловыми столицами». Эта «лексическая провинция» обладает мощной революционизирующей силой. Отсюда один шаг до утверждения, что поэзия по самой своей сути революционна. Социальный контекст 20-х годов приводил это высказывание к неизбежной инверсии, и оно — в устах лефовцев — звучало почти людоедски: Революция по самой своей сути есть Поэзия; однако вскоре и такая присяга на верность показалась недостаточной. Практический вывод из теории Тынянова приобрел вид следующей формулы: ТОЛЬКО РЕВОЛЮЦИЯ ЕСТЬ ВЫСШАЯ И НАИБОЛЕЕ СОВЕРШЕННАЯ ФОРМА ПОЭЗИИ.

Но к 1924 году само понятие Революция как бы перерождается. Провинция, хлынувшая в старые столицы и затопившая традиционные культурные центры, начинает принимать охранительные меры по утверждению и упрочению своей власти. Слово «РЕВОЛЮЦИЯ» звучит все более метафорически, наполняясь содержанием, противоположным первоначальному.

Случайность ли, что именно в 1924 году Ю. Тынянов смог ясно сформулировать свои идеи в работе «Проблема стихотворного языка», и в этом же году Маяковский окончательно переходит от кустарного к промышленному способу производства стихов? И случайность ли, что все в том же 24 году замолкают на несколько лет Мандельштам и Ахматова, чье тогдашнее положение в литературе подобно было сомнительной социальной роли нэпманов-ювелиров, имеющих дело с драгоценными камнями (занятие по тем временам не менее опасное, нежели конспиративно-фракционная деятельность)? И, наконец, случайность ли, что Пастернак ощущает себя в середине 20-х годов раздираемым между социальным заказом и внутренней потребностью говорить совсем не о том, о чем — по его мнению — *надобно* говорить?

В 1924 году русскую поэзию поражает болезнь, которую Б. Пастернак по спасительной для него восторженности назвал «высокой», но которая на самом деле предвещала грядущий в недалеком будущем речевой паралич — онемение и оглушенность.

Итак, когда у теоретиков ОПОЯЗа возникла потребность «говорить о стихах», современные русские стихи уже молчали, а поэтическое слово из предреволюционного инструмента обнаружения и обнажения смыслов, украденных или сокрытых «старым миром», как-то внезапно превратилось в грозное орудие умолчания и сокрытия Истины, какой она является каждому человеку, оказывающемуся перед лицом последнего экзистенциального выбора.

Трагедия В. Маяковского, который предпринял практически суицидную попытку заговорить «ВО ВЕСЬ ГОЛОС» о том, что обрекало на немоту всякого, кто попытался бы обозначить через слово наиболее уязвимые, интимные, иррациональные точки человеческого существования,— трагедия эта понята была в последующие десятилетия как человеческая слабость, и только. Слабость до какой-то степени даже простительная, поскольку стихи Маяковского легко и услужливо отслаивались и от его реальной биографии, и от реальной истории: гигантизмом страдал не только отлитый из словесной бронзы монумент Великой эпохе, созданный поэтом, но и сама фигура ПОЭТА, выступающая вровень с вавилонскими зиккуратами сталинской Москвы.

Владимир Маяковский действительно, следуя футуристическим заветам, шагнул в Грядущее, которое оказалось всего-навсего ближайшим будущим или, иными словами, все более ухудшающимся настоящим, где попытка поэта стать вровень с теряющими человеческую сомасштабность строениями обернулась уничижением личности, не знающим равных в истории.

Пресловутая площадная громогласность поэта именно тогда, уже к середине 20-х годов, обозначилась как некая форма потери голоса и прогрессирующей немоты: ведь чем шире площадь и чем гуще толпа, тем более нуждается говорящий в искусственно-технических средствах усиления высказывания, где доля участия собственно человеческого голоса уменьшается в пропорции, обратной к возрастанию мощности динамиков и совершенствованию радиоаппаратуры.

Пройдет всего несколько лет — и самый смысл поэтического высказывания будет определяться технической, а не содержательной стороной дела. Это и есть та паучья немота, когда понятие «поэт» полностью покрывается словом «мастер» (вспомним Сталина, который допытывался у Пастернака, *«мастер»* ли Мандельштам?).

Осип Мандельштам не был *«мастером»*, хотя именно готическое мировидение, идущее от глобальной идеи Мира как Собора (см. статью «Франсуа Виллон»), именно архитектурно-ремесленное переживание пространства определяло его отношение к слову. Подобно средневековому ремесленнику, акмеист Мандельштам вкладывал в понятие *мастер* не только технический, но и духовно-нравственный смысл, не отделимый от незыблемой шкалы ценностей.

Эта заповеданная от века «незыблемая скала» ни в коем случае не могла быть подверженой инверсиям.

Мандельштам, острее других ощущавший наступление эры *глухоты паучьей*, мучимый тем, что в окружении *враждебной страны* его речи *на десять шагов не слышны*, не знал, не хотел или не мог принять этой новой, сугубо технической функции слова как ячейки в тенетах *паучьей немоты*, как минус-высказывания, когда говорится одно — подразумевается же нечто не просто другое, но прямо противоположное.

Если один предмет изображается при помощи другой вещи и одно (как правило, более абстрактное) понятие выражается через другое (более доступное восприятию) — это не что иное, как метафора, с древнейших времен ставшая основой языка поэзии и мифопоэтического способа познания мира.

Маяковский сделал метафору главным приемом воздействия на слушателя, видя в ней прежде всего мощное техническое средство власти, пусть недолгой и эфемерной, лишь на время работы — так он предпочитал именовать свои авторские вечера,— но все же вполне ощутимой власти над залом.

Для двадцатидвухлетнего футуриста единственной целью этой власти было подростковое, садо-мазохистское самоутверждение, тогда как созревшему *полпреду советской поэзии* власть над залом нужна была (так, по крайней мере, казалось ему самому) не ради себя самого, но ради блага слушателей — ради подлинного блага, с точки зрения поэта, зачастую не совпадающего с укорененными в человеческом сознании представлениями о том, *«что такое хорошо и что такое плохо»*. Единственным нравственным критерием зрелого Маяковского оставался «принцип сделанности».

Но что значит слово как сделанная вещь? Прежде всего это значит, что слово обладает силой непосредственного действия. Оно должно «работать», как работает заклинание, непосредственно и прямо приводящее в движение механизмы физического воздействия на мир и на человека. «Работая», слово разрушает любые формы опосредования человеческого бытия, ибо оно единственное обеспечивает реальную власть над людьми и вещами. Вряд ли сам поэт понимал, какое оружие он дает в руки правящей и набирающей силу логократии, но в том, что суть поэтического слова в его орудийности, Маяковский не сомневался («Вы с удовольствием ощупываете их ‹стихи›, как старое, но грозное оружие...»).

Соотнесение слова с оружием само по себе настолько банально и повсеместно, что не заслуживало бы внимания, если бы в поэзии Маяковского после 24 года милитарная метафора не повторялась бы с настойчивостью, вовсе не отвечающей «требованиям исторического момента». В этом повторении было что-то от первобытного обряда, имитирующего накануне охоты или военных действий те события, какие неизбежно должны произойти.

Бесконечная повторяемость ритуала требовала применения все более и более сильных средств словесного воздействия, чтобы хотя бы орнаментально обогатить скудное интеллектуально-душевное содержание складывавшегося в 20-е годы нового мифоритуального комплекса.

Именно орудийная метафора служила Маяковскому оглушающим громкоговорителем, а точнее, первым самодельным источником инфразвукового шока, направленного в подсознание совокупного СЛУШАТЕЛЯ-МАССЫ.

Атмосфера поэтических вечеров, где выступал Маяковский, всегда была накаленной, но после 24 года слово поэта начинает со все большей очевидностью искать гибели. «Умри, мой стих, умри, как рядовой...» Этот, на грани истерики, поиск врага, пули, штыка превращается в бесконечно повторяемый ритуал выявления противников в зале, в плохо скрываемую жажду контрверсы, полемики, возможности быть опровергнутым, а точнее, ниспровергнутым. Авторские чтения стихов Маяковским все более напоминают некое коллективное ритуальное действие, где волчья стойка поэта на сцене уже очерчивает контуры будущей зловещей фигуры Врага

Народа, приносящего публичное покаяние в чудовищных преступлениях и умоляющего суд расстрелять его, как бешеную собаку.

Сталин знал это, и трудно не уловить специфической для генсека иронии, когда мы читаем, что «Маяковский был и остается лучшим и талантливейшим поэтом советской эпохи».

У Маяковского есть необыкновенно точное сравнение поэзии с добычей радия. Сравнение это имеет скорее провиденциально-биографический, нежели общеэстетический смысл.

Полемически рассматривая поэзию как особый род человеческой производственной деятельности (что в постфутуристической среде стало общим местом), Маяковский выбирает именно тот род индустрии, где работающий подвержен наибольшему, смертельному риску.

У Бориса Пильняка, писателя, близкого к кругам ЛЕФа, есть рассказ, написанный, кстати, тоже в середине 20-х годов, где герой, геолог, коммунист-энтузиаст, брошенный на добычу урана для нужд Республики, переживает состояние необыкновенного, лихорадочного внутреннего подъема, как бы заражается психически энергией радиоактивного полураспада и затем гибнет. Нечто похожее произошло с Маяковским. Чтобы предельно усилить орудийное звучание слова, он обращается к атомарным, скрытым силам языка, к тем подспудным энергиям, которые действуют не на уровне сознания, но на уровне до- или подсознательного восприятия слова. Пока эти силы были в связанном состоянии, сфера их действия ограничивалась эстетикой, но как только поэт начал манипулировать словесным материалом на уровне «ядер» — корней, морфем, переразложенных лозунгов и языковых штампов,— он сам сделался первой жертвой высвободившейся неуправляемой энергии.

Трагедия Маяковского есть своего рода первый литературный Чернобыль, первая советская культурно-экологическая катастрофа, после которой стало возможно массовое саморазрушение русской культуры.

Глобальную катастрофичность гибели Маяковского острее других ощутил не Пастернак, эстетически близкий к Левому фронту искусств, но «правый», консервативно ориентированный Мандельштам — фигура архаическая и дорежимная в глазах левого советского авангарда. Гибель Маяковского заставила Мандельштама прервать семилетнее молчание: с 1930 года начинается последний период его поэтического творчества.

В либеральной критике Мандельштам и Маяковский — явления враждебные, антагонистические. Их оппозиция (как идеологическая, так и эстетическая) настолько самоочевидна, что еретической выглядит любая попытка обнаружить между ними нечто общее. Классический пример такой концепции — книга Карабчиевского «Воскресение Маяковского», вызвавшая среди московской и ленинградской интеллигенции много споров в той части, где речь шла, скажем, о генеалогии Бродского, которая возводилась автором к Маяковскому. В то же время главная концепция книги — последовательное противопоставление конформизма и эгоцентризма Маяковского стоическому мужеству и художественной правоте Мандельштама — казалась бесспорной. В эпоху перестройки и гласности Маяковский стал самым не популярным из крупных русских поэтов.

Но вернемся к 1930 году. В «Воспоминаниях» Н. Я. Мандельштам можно найти любопытный эпизод. На цековскую дачу, где отдыхали Мандельштамы, приходит известие о том, что в Москве покончил самоубийством поэт Владимир Маяковский. Это известие получено во время вечеринки. После некоторого замешательства общее веселье возобновляется как ни в чем не бывало. Осип Мандельштам в ярости. Он взбешен равнодушием советских чиновников высшего ранга, которые продолжают развлекаться, узнав о гибели «агитатора и главаря», самого громогласного из трибунов революции. До этого момента Маяковский оставался наиболее серьезным литературным противником Мандельштама: громогласная немота Маяковского 20-х годов противостояла голосовому ступору, который после 1924 года поразил Мандельштама-поэта.

Теперь Маяковского не стало. Теперь дальнейший путь Осипа Мандельштама, если рассматривать его с точки зрения литературной эволюции, делает резкий зигзаг, приобретает то гибельное ускорение, какое неостановимо приведет поэта к стихам о Сталине, к суицидному проникновению в его поэзию новой лексики, к почти хлебниковской зауми последних стихов, к бессознательному проборматыванию строк, действующих на слушателя (одиночного, отверженного от себе подобных в отличие от СЛУШАТЕЛЯ-МАССЫ Маяковского) подсознательно, за счет высвобождения тех же самых атомарных энергий слова, с какими в 20-е годы работал Маяковский. Когда читаешь «Воронежские тетради» или «Стихи о неизвестном солдате», создается впечатление, что Мандельштам сменил Маяковского на руднике, где без соблюдения должных правил техники безопасности добывается «словесный радий».

Здесь начинается суицидный путь поэта в недра языка, знакомое уже нам стремление активизировать «ядерные энергии» корней, сближенных зачастую по настолько далеким и прихотливым ассоциациям, что атомарные смысловые связи рвутся, создавая некий микроаналог ядерного взрыва, уничтожающего классически ясную картину мира, укорененную в русском

языковом сознании, которое было сформировано литературой прошлого века.

Парадоксально, что хотя активация внутренней энергии слова, при всей схожести технических приемов, служит у Мандельштама и у Маяковского целям полярно противоположным, но есть очень существенная точка, где эти цели совпадают.

Слово у Мандельштама 30-х годов столь же орудийно по своей функции, как у Маяковского в 20-е годы, так что иногда возникает впечатление сознательной цитации (ср. «Умри, мой стих, умри, как рядовой...» у Маяковского и «Мы умрем, как пехотинцы...» у Мандельштама или «Застыла кавалерия острот, поднявши рифм отточенные пики...» у Маяковского и «Пронесла пехота молчаливо Восклицанья ружей на плечах...» у Мандельштама). Точкой приложения орудийной метафоры у Мандельштама, как и Маяковского, является та будущая опасность, которой надо будет противостоять.

Небо, «беременное будущим», нависает как над патетическими императивами Маяковского, так и над горькими вспышками мандельштамовского сарказма. Сейчас все более очевидным становится скрытое содержание восторженных реплик Маяковского типа: «Ленин жил! Ленин — жив! Ленин будет жить!» Здесь есть желание «заговорить», остановить мгновение, предотвратить наступление Будущего. Здесь ощущается грань, за которой футуристический восторг перед будущим оборачивается плохо скрываемым ужасом, страх оказывается единственной подлинной подоплекой истерических славословий, и чем глубже и необъяснимей этот страх, тем громче звучат здравицы.

Трудно представить себе более ненатуральные и болезненные стихи, нежели те, с помощью которых Мандельштам попытался заявить о своем безоговорочном приятии нового порядка, устремленного к лучезарному будущему. Будущее обнаруживается в них как область, где до чудовищности искажены пропорции тел, предметов и явлений. Последние стихи Мандельштама — это отчаянная попытка высказаться именно о том, о чем, по выражению Витгенштейна, дóлжно молчать: искаженным языком сказать об искореженном мире неосуществленной утопии. Но не будучи естественным носителем нового утопического языка, поэт неизбежно совершает насилие над своим языковым чувством, мучительно вживляя себя в изначально неприемлемую языковую реальность, и центром его высказывания становится почти непроизвольная речевая гримаса ОТВРАЩЕНИЯ к тому, как и что он говорит.

Так жестикуляция, сопровождающая речь поэта, изломанная и дерганая артикуляционная графика значат больше, нежели традиционные средства поэтического воздействия — метафора и ритм. В начале 20-х годов Мандельштам писал о «жалости к культуре, отрицающей слово». Теперь он испытывает ужас перед культурой, обожествляющей слово,— и прежде всего способность слова к переносному, метафорическому бытованию. Любопытно, что сухие и рациональные положения марксистской идеологии впервые были высказаны в метафорической форме. Что́, как не метафора, ключевая фраза «Коммунистического манифеста»: «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма»?

Именно богатая и развитая метафорика давала Маяковскому возможность пышно орнаментировать жесткий, бесчеловечный и нищенский каркас новой идеологии, которая стремительно, на его глазах и не без его помощи, превращалась из системы понятий в систему метафор, пока наконец и сама судьба поэта не слилась с тотальной метафорикой советской речи, так что даже фамилия «Маяковский» как-то естественно занимает определенное место в ряду таких привычных для советского уха названий, как совхоз «Маяк коммунизма» или птицефабрика «Красный маяк».

Произнося имя «Мандельштам», рядовой носитель советского языкового сознания чувствует какое-то речевое неудобство, неловкость, как бы подсознательную опасность вторжения чужой языковой стихии. Этот эффект был замечен — не без иронии — и самим поэтом: вспомним воронежские стихи об улице Мандельштама, которая «криво идет, а не прямо». (Кстати, нынешние воронежские власти в связи с последними веяниями всерьез обсуждают вопрос о переименовании одной из улиц города в «улицу Мандельштама» — правда, где-нибудь подальше от исторического центра, на окраине.)

И действительно, в отличие от Маяковского, Мандельштам до сих пор занимает в советской культуре периферийное положение. Его существование до сих пор — несмотря на либерализацию и гласность — как бы призрачно. Осторожность литературных властей объяснима не столько страхом перед чуждой эстетикой, но прежде всего тем, что обнаружил в советском языке поэтический опыт позднего Мандельштама: стыд перед любым высказыванием, поскольку оно легко может быть подвергнуто метафоризации, способно стать объектом нечистых манипуляций, полярно изменить значение. Это был опыт поэтической речи, говорящей за пределами словесных масс. Это был опыт немотствования языка, опыт активного сопротивления наступившей «ПАУЧЬЕЙ НЕМОТЕ».

Опыт, усвоенный и развитый новой русской поэзией, которая до последнего времени так же последовательно, как и стихи Мандельштама, исключалась из официальной картины того, что в СССР принято называть «текущим литературным процессом».

Елена Тагер

О МАНДЕЛЬШТАМЕ

Честолюбивый сон он променял на сруб
В глухом урочище Сибири...

О. М.

Не вспомню точно — была ли я в последнем классе гимназии или уже на Бестужевских курсах, когда на каком-то литературном концерте мне показали худощавого юношу среднего роста с острыми чертами лица, с недоверчивым быстрым взглядом из-под длинных ресниц. Подруги-стоюнинки пояснили:

— Мандельштам, тенишевец. Пишет стихи.

Тоже мне, сенсация! Да какой тенишевец в начале десятых годов не выступал со стихами?

Писал стихи мечтательный сероглазый Виктор Жирмунский [1], поклонник лирики Владимира Соловьева и знаток (уже в те годы) раннего романтизма. Он восклицал печально:

Не может быть, что нет тебя со мной,
Что я один остался в вихре бала.
Я все цветы отдам тебе одной
И все отдам, что только сердце знало...

Писал стихи начинающий критик Юрий Никольский [2] — нескладный, сутулый, некрасивый, как гадкий утенок. И глаза у него загорались голубым огнем, когда он читал:

Все полно тихими снами,
Закат стал пурпурный,
И протянулся меж нами
Сказочный мостик ажурный.
Только неслышно дремали
Под мостиком темные воды,
Звали в какие-то дали,
Ждали какой-то свободы...

И длинноногий Миша Пергамент [3], «как денди лондонский одет», с тщательной укладкой гладких черных волос, небрежно грассировал с эстрады:

В тишине вочных полей ждет моя могила,
Принеси мне орхидей с Голубого Нила...

А мы слушали. И не спрашивали — цветут ли орхидеи в дельте Голубого Нила и зачем потребовалось Мише Пергаменту это редкое растение. Совершенно искренне мы принимали данные упражнения за поэзию. В самом деле, рифма налицо, метр соблюдается,— что же тут придираться?

И у многих, многих моих подруг братья, родные и двоюродные, проходившие последние семестры Коммерческого училища княгини Тенишевой, писали стихи — то чуть получше этих, то чуть похуже, то совсем хорошо, то совсем плохо. И вот еще этот остроглазый Мандельштам — тоже тенишевец и тоже пишет стихи. Подумаешь, удивил!

Только он действительно удивил — и очень скоро, и очень глубоко. Появилась книжка, тонкая, как революционная брошюра. Серо-зеленая обложка и на ней прямые черные буквы: «Камень». Обыкновенный камень, не самоцветный жемчуг-маргерит, не «кусок сбереженного кварца», как у Бальмонта, как у Брюсова, а просто-напросто камень — неотесанный, негранёный, и, должно быть, тяжелый. Странное название для первого сборника молодого поэта...

Елена Михайловна Тагер (1895—1964) — писатель. Родилась в Петербурге. Окончила гимназию Стоюниной и Высшие женские курсы. В годы первой мировой войны публиковала стихи под псевдонимом «Анна Регатт». Была дружна с Ю. Н. Тыняновым, Н. В. Измайловым, Ю. Г. Оксманом... В 1929 году опубликовала книгу рассказов «Зимний берег». В 1939 году репрессирована. Вернулась в Москву в 1954 году. В 1957 году переиздала книгу рассказов, в 1961 году опубликовала воспоминания о Блоке («Ученые записки Тартуского университета»).

Отрывки из воспоминаний о Мандельштаме впервые напечатаны (без указания имени автора) в первом томе Собрания сочинений Осипа Мандельштама под редакцией Г. П. Струве и Б. А. Филиппова (Вашингтон, 1964). Полный текст воспоминаний опубликован в «Новом журнале» (№ 81, Нью-Йорк, 1965), а в 1966 году издан Г. П. Струве отдельной брошюрой. Извлечения из воспоминаний печатались также в журнале «Наше наследие» (1988, № 6). Мы публикуем текст по исправленной Е. М. Тагер машинописи, хранящейся у ее дочери М. Н. Тагер. Текст сверен также с авторизованной машинописью, хранящейся в архиве Е. М. Тагер в ГПБ.

Читаю страницу за страницей — и удивляюсь все больше. Кое что из этих стихов уже мне встречалось в журналах. Но собранные вместе они бьют по сердцу с неведомою силой. Ничего изысканного. Никаких голубых орхидей и ажурных мостиков. Все слова — общеизвестные, все взяты в их прямом и строгом значении. До чего это просто, Боже мой, до чего это просто!

В кустах игрушечные волки
Глазами страшными глядят...

Да, страшными, воистину страшными, хоть и игрушечные... Или еще: «Кинематограф. Три скамейки...» Точно — до прозаизма. А дальше — нарастающий гул урагана:

Разлука. Бешеные звуки
Затравленного фортепьяно.

Или это:

Над желтизной правительственных зданий
Кружилась долго белая метель.
И правовед опять садится в сани,
Широким жестом запахнув шинель.

Как непринужденно сменяются эти ясные образы! Нет, этот не будет звать «в какие-то дали», ждать «какой-то свободы». Он точно знает — КАКИЕ дали и КАКАЯ свобода. Он безошибочно назовет их, если будет нужно. Но — будет ли?!

Ни о чем не нужно говорить,
Ничему не следует учить,
И печальна так и хороша
Темная звериная душа...

Нет, после Пушкина нам еще не встречалось такого пристального, такого сильного зрения. И такого совершенства в определении, в назывании предмета. Каждое явление высмотрено, понято, уложено в памяти, отпечатано в сознании,

Как на фаянсовой тарелке
Рисунок, вычерченный метко...

Казалось бы, после творческого акта — как не оглянуться, как не залюбоваться сотворенным, как не сказать себе, что «это хорошо»? Нет — ЭТОМУ оглядка не свойственна. Он сотворил, осознал, дал имя — и вот уже отошел, отвернулся.

И плывет дельфином молодым
По седым пучинам мировым.

Он совсем не дорожит достигнутым. Он даже согласен, чтобы оно — увиденное, осознанное — снова стало небывшим:

Останься пеной, Афродита,
И слово — в музыку вернись...

И, углубляясь в его открытия мира, я удивлялась все больше, все больше — и ему, и миру, и себе, как это до сих пор этого не знала.

Самое глубокое удивление, самое знаменательное открытие оказалось для меня связано со стихами.

Сегодня дурной день,
Кузнечиков хор спит...

Я знала пушкинские ямбы, знала блоковские паузники, и с ТАКОЙ мелодикой еще не встречалась. Обычно стихи я читала себе вслух. Но — неискушенная в античных метрах — прочитала их не мудрствуя, как трехстопный ямб. Получилась бессмыслица. Так эти стихи не существовали. Попробовала так и эдак, и набрела на догадку: подчеркивать голосом удары ритма, не смущаясь тем, что два ударных слога приходятся рядом. И стихи Мандельштама зазвучали! Зазвучали как псалом, как торжественная музыка!

Явлений раздвинь — грань,
Земную разрушь — клеть
И яростный гимн — грянь,
Бунтующих тайн — медь!

Какой-то толчок в сознании, какая-то минута просветления — и мне стало ясно, что значит ритм как основа поэтической речи. И это было уже навсегда. А в мое восхищение стихом Мандельштама проник — и тоже навсегда — оттенок признательности за то, что он мне это открыл.

Познакомиться лично с поэтом было для меня неизбежно. Мы с ним принадлежали к одному поколению. Мы происходили из одного слоя петербургской русско-еврейской интеллигенции. У нас имелись общие друзья. Нас учили одни и те же учителя. Мы были одного поля ягоды. Мы непременно должны были встретиться.

Как нередко бывает в больших городах, первое знакомство состоялось по телефону. Вот как это случилось.

Стояла чудесная солнечная весна, сверкающая весна 1916-го года. Я вздумала отпраздновать мой день ангела (21 мая) новым способом. Отменив обычную именинную вечеринку, я пригласила двух-трех моих близких подруг и несколько знакомых студентов провести целый день за городом, в Павловске. Мы сели в утренний поезд, запаслись большим тортом и надлежащим количеством конфет.

В полдень добрались до дворцовой павловской фермы. Там, в ожидании кофе со сливками, кормили тортом великолепного павлина и читали хором стихи, преимущественно ранние гумилевские: «Орел летел все выше, все вперед...», «Он поклялся в строгом храме...», «Юный маг в пурпуровом хитоне...».

Нашим хором дирижировал очень милый юноша В. Г. Р. [4], у него тоже была неистощимая память на стихи; на строфах Блока и Гумилева и завязалась в те дни

наша дружба. Может быть, для придания себе весу в девичьих глазах, а может быть, и от чистого сердца Р. не раз упоминал своего хорошего знакомого, молодого поэта Осипа Мандельштама и даже вызвался пригласить его на наш пикник.

Много стихов было прочитано, много кофе выпито, пышный торт заметно поубавился, когда я напомнила Р. его намерение:

— А где ж ваш Мандельштам?

— Он как раз вчера приехал из Москвы... Я ему звонил, он хотел примкнуть к нам... Наверное, все забыл или перепутал. Чудак рассеянный... вот будет жалеть...

Я сложила в коробку остатки торта.

— Передайте это ему. Чтоб еще больше жалел...

На другой день меня попросили к телефону. Я не узнала голоса, но узнала интонацию: где-то я слышала эту напевную, скандирующую речь...

— Говорит Мандельштам... Я вам благодарен. Я искренне тронут. Подумать только, мне было страшно открыть коробку. А вдруг там — какой-нибудь ужас? Вдруг — лягушка? Вдруг — крыса? И что же я вижу — роскошный торт! Ах, как жалко! Ах, как жалко!

Напевные интонации переходят в патетические.

— Жалко — чего? — спрашиваю.— Что вам оставили мало торта?

— Ах нет! Что я не попал на ваш праздник! Нет, я не мог... Ах, я не мог! Но мы еще увидимся с вами...

Мы и вправду увиделись — и очень скоро. Еще не прошла сверкающая, залитая солнцем весна. На Елагином в молодой траве еще мелькали белые ветреницы, а на Невском уже продавали сирень. И курчавые летние облачка уже разгуливали «на бледно-голубой эмали, какая мыслима в апреле...» В такое лучезарное утро меня «вызвонили» с Тучковой набережной на Саперный переулок к Анне Яковлевне Т.[5] С этой чудесной женщиной я была связана работой по организации Детского городка. Это было нечто вроде клуба для детей воинов, ушедших на фронт, и вообще для безнадзорных детей городской бедноты. Мне там приходилось быть затейницей, сказительницей, экскурсоводом и лектором — все это, разумеется, в порядке чистого энтузиазма. Я с увлечением работала и сердечно привязалась к руководительнице и вдохновительнице всего дела. Анна Яковлевна была примерно вдвое старше меня, «но как-то трогательно-больно моложава» [6]. Неотразимо привлекали ее лучистые глаза, ее музыкальная, с легкой запинкой речь. Муж ее был крупным адвокатом с внушительной внешностью русского богатыря. У них подрастали две хорошенькие дочки. Несмотря на разницу лет и состояний, Анна Яковлевна держалась со мной как подруга. Вскоре приехала из Москвы ее младшая сестра Лиля [7] и стремительно подружилась со мной. Красивая, темпераментная Елизавета Яковлевна была, видимо, причастна к революционному движению; похоже было, что кто-то близкий ей отбывал тюремное заключение; она все время хлопотала о передачах, писала письма в «Кресты» и с трогательным вниманием вкладывала в них то цветочный лепесток, то стрекозиное крылышко. Мне это бесконечно нравилось. Мы с ней часами разговаривали о Блоке, с которым нам обеим страстно хотелось познакомиться, и о Максимилиане Волошине, с которым Елизавета Яковлевна была давно и дружески знакома. И, конечно, потоком лились стихи. Случалось, что поздно вечером Ел. Яковлевна звонила мне: «Прочтите „Что же ты потупилась в смущеньи“»,— и я читала ей по телефону одно, другое, десятое и вешала трубку лишь далеко за полночь...

Обе сестры с нежностью говорили про своего брата Сережу. Часто упоминали его замечательную жену Марину, своеобразные стихи которой, наделенные неистовой силой, печатались в петроградских и московских журналах. Сестры рассказывали, как Сергей и Марина, встретившись у Волошина в Коктебеле, поженились, к изумлению и недовольству родных, хотя им было всего по 18 лет; как из-за этого раннего брака Сережа оставил гимназию и, женатый уже, сдавал экстерном на аттестат зрелости. Рассказывали и о том, как неумело и по-ребячьи беспомощно Сергей и Марина «рожали» свою первую девочку. Словом, я была уже заочно знакома с этой юной четой. Так что не удивилась, когда меня позвала по телефону Анна Яковлевна: «Сережа приехал. Приходите скорей». А Елизавета Яковлевна добавила: «И еще один его приятель сейчас придет. Погуляем все вместе. Вы смотрите, какое дивное утро!»

Утро дивное. И очарователен синеглазый стройный Сергей Эфрон, с отпечатком духовного изящества в каждом движении, в каждой черте. И как подкупает эта его сердечная манера, когда с первого слова человек вступает в наш мир на правах старого друга. И весь он искрится шуткой, сверкает весельем. Так бывает лишь в начале жизни, только в юности, неугнетенной и неискушенной...

А вот и приятель Сергея. Но ведь я видела уже, где-то уже видела! — этот быстрый недоверчивый взгляд, и этот высокий лоб, и этот задорный петушиный хохолок надо лбом, и эту манеру, закинув голову, будто сверху вниз разглядывать собеседника...

Сергей Эфрон называет своего друга:

— Это — Осип Эмильевич Мандельштам. Он вчера приехал из Москвы...

— Да? А мне еще на прошлой неделе говорили, что Осип Эмильевич вчера приехал из Москвы...

— Но ведь это хроническое состояние Мандельштама, что он вчера приехал из Москвы,— поясняет Эфрон.— Вы, видно, мало его знаете...

— Мало? Совсем не знаю. Мы только раз говорили по телефону...

Мгновенно Мандельштам впадает в пафос и, закинув голову, становится как будто выше ростом.

— Как, это — вы? Ах, это вы! Как я рад! Это было так грустно!.. Так неудачно!..

— Что случилось? — недоумевает Эфрон.— О чем он скорбит?

— Он опоздал на празднество Елены [8],— подсказываю я.

— Да... да! Да! Я опоздал на празднество Елены! Ах, как жалко! Ах, как жалко!

— Опоздал? Это его второе хроническое состояние,— сообщает Сергей Яковлевич...

И хохочет, и по-мальчишески дразнит угрюмого Мандельштама. Но кто сказал, что Мандельштам угрюм? Он светел и добр, он смеется вместе со своим веселым другом. На них обоих играет золотой отблеск этого весеннего утра. Какое прелестное, воистину доброе утро! Какая прелестная добрая юношеская дружба! Это чувства подлинные, это мир, очищенный от злобы, от гнева, от недоверия...

Елизавета Яковлевна тормошит нас и торопит:

— Одевайтесь! Одевайтесь! В такую погоду сидеть дома? Грех, грех незамолимый!

Вчетвером шагаем по Невскому. Солнце, весенний воздух, торопливый поток прохожих, оживленных, нарядных, несмотря на то, что идет уже второй год войны.

Заходим в кафе «Ампир». Занимаем уютный столик. Здесь, в кафе все еще пытаются жить довоенным духом. Все так же крепко варится кофе, все так же гладки пирожные, услужливы официанты, элегантны дамы. И дамские шляпы так же огромны, и все так же колышутся на шляпах «траурные перья» — это донашиваются громоздкие моды последних предвоенных лет.

Но приметы времени проникли и сюда. С бодрым возгласом: «Он бросил на стол кипу ассигнаций!» — Эфрон оставляет у своего прибора чаевые: несколько миниатюрных синих чеков на плотной бумаге, с рисунком почтовой марки и со штампом, на обороте: «Имеет хождение наравне с разменной монетой». Это «имеет хождение» настраивает нас на современную тему. Вспоминаем популярную формулу «Прапорщик имеет хождение наравне с офицером», и некоторое время разговор вертится около офицерских школ, прапорщиков и земгусаров. Я рассказываю услышанную накануне новость:

— Говорят, Блок ушел на войну добровольцем...

— Не может быть! — срывается Елизавета Яковлевна.— Это было бы ужасно!

— Почему ужасно? — вдруг помрачнев, возражает ее брат.— Быть может, нам всем следует идти на войну?

— Я не вижу, кому это следует. Мне — не следует.— Мандельштам закидывает голову; сходство его с молодым петушком увеличивается.— Мой камень не для этой пращи. Я не готовился питаться кровью. И не готовил себя на пушечное мясо. Война ведется помимо меня.

— Война проигрывается,— зловеще шепчет Елизавета Яковлевна.— Идти сейчас на фронт — безумие, бессмыслица...

— Война проигрывается,— повторяет Сергей.— Тем больше оснований нам идти сейчас на фронт...

— Как, Сережа! Ты пойдешь защищать самодержавие?! — У Елизаветы Яковлевны даже слезы в голосе задрожали.

— Есть многое помимо самодержавия, что я пойду защищать. Еще есть. Быть может, скоро не будет.

— Неудачные войны всегда ведут к переворотам,— заявила непреклонно Елизавета Яковлевна.

Мы все знали, что она хочет сказать. Кто-то из нас вымолвил — или мы все сразу произнесли — слово «революция». Это слово жгло нам губы. Оно висело в воздухе. «Революция будет!» — говорили солдаты в госпиталях. «Революция готовится»,— рассказывали «милосердные сестры», побывавшие на фронте...

«Революция назревает!» — утверждали приехавшие в отпуск молодые офицеры — прапорщики из студентов. Да, она близилась, мы слышали ее голос и, словно блоковские мистики, окликали друг друга; «Ты ждешь?» — «Я жду».— «Уж близко прибытие...»

Мы верили — оно близко. Мы не представляли и не предполагали, КАК оно произойдет и ЧТО, какие страшные конкретности, какие потоки огня и крови польются на нас вслед за этим. Мы знали одно: это неизбежно. Близится животворящая буря, не останется камня на камне от старого мира, привычного нам с рождения. И мы радостно — да, радостно! — приветствовали ее, эту бурю, это великое преображение жизни.

В то светлое утро мы четверо говорили о близости страшных событий, и речи наши были сдержанны, слова подобающе серьезны, а голоса помимо воли звенели восторгом, как будто в канун великого праздника. Потому что мы все были в таком расцвете юности, в таком победном и радостном состоянии духа, когда не пугает никакая катастрофа, никакой поворот не страшен. В это время пугает только ровный путь без катастроф, страшно только прожить жизнь без переворотов.

Никто не предвидит своего будущего. Какое счастье!

А днесь... О, если бы тебе тогда
приснилось,
Что будущность для вас обоих
берегла...

Могли ли мы подозревать, какие удары обрушатся на нас всех, и как скоро, и как беспощадно. И как мало, какие жалкие крохи дано будет нам уберечь от нашего душевного богатства, от нашей молодой искренности, от бескорыстия наших сердец.

Гоголь учил: «Забирайте с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет, забирайте с собою все человеческие движения — не оставляйте их на дороге». И я, пускаясь в долгие скитания, захватила с собой все светлые впечатления моих ранних лет. В ряду этих светлых впечатлений — солнечный день петербургской весны и освещенные душевным горением молодые лица Сергея Эфрона и Осипа Мандельштама.

* * *

Это я провожала мою последнюю девичью весну. Осенью 1916 года я вышла замуж [9]. Мы с мужем были однолетки, оба студенты и оба филологи.

Мы встретили новый, 1917 год в «Привале комедиантов», в модном подвале у Марсова поля. В «Привале» было людно и шумно и очень красочно. Абстрактного искусства тогда еще не было, но самые видные из левых художников приложили руки к сводчатым стенам подвала, покрытым смелой и необычной живописью. На столиках вместо скатертей лежали деревенские цветные платки. Электрические лампочки загадочно струили свет сквозь глазные отверстия черных масок. Столики обслуживали арапчата в цветных шароварах. Подобно гению этого места, улыбалась гостям хозяйка — молодая брюнетка восточного типа, в эффектнейшем платье, где сочеталось белое, красное и золотое. Ее муж, директор подвала Б. К. Пронин, ходил между столиками, а за ним брела какая-то беспородная шавка, изображая или символизируя «Бродячую собаку» — предшественницу «Привала комедиантов».

Мы с мужем заняли отдельный столик. Нам никого не было нужно, нам нравилось «одиночество вдвоем». У нас не хватило денег на вино, но мы опьянели от этой причудливой обстановки.

Поблизости от нас, между стриженой белокурой головкой Марии Лёвберг [10] и темной высокой прической Маргариты Тумповской [11], обозначился острый профиль Мандельштама, его высокий лоб. Пронин наклонился к Мандельштаму, что-то ему прошептал. Мандельштам сердито закинул голову, его длинные густые ресницы дрогнули — он упорствовал, но обе соседки, справа и слева, взяли его под руки и заставили встать. Пронин своим приятным певучим голосом поздравил гостей с Новым годом и объявил, что сейчас мы услышим новые стихи Осипа Мандельштама.

И мы услышали их. В то время все поэты, читая стихи, более или менее соблюдали законы ритма, но чтение Мандельштама было больше, чем ритмично. Он не скандировал, не произносил стихи, он пел, как шаман, одержимый видением.

Мандельштам пел, не сдерживая сил, он вскрикивал на ударениях, и, вероятно, эти донельзя насыщенные, эти предельно эмоциональные стихи невозможно было бы донести до слушателей иными средствами. Прочитанные обветшавшим «выразительным» способом, эти стихи выглядели бы как пародии. У Мандельштама они звучали, как заклинание. В ту новогоднюю ночь он пропел нам стихи о войне — о европейской войне, что длилась с ранней осени 1914 года и теперь готовилась захлестнуть 1917-й. Патриотический лексикон военных стихов того времени начисто отсутствовал. Не было в этих ямбах ни коварных тевтонов, ни наших непобедимых штыков и ядер, ни даже сверхсовременных, не вполне еще освоенных дирижаблей и цеппелинов. Поэт пропел о том, как вступают в битву лев, петух, орел. Не лев из зоопарка, не петух из курятника, а существа мистической силы; ведущие начала европейской истории в гриме геральдических зверей. Стихи были фантастичны, страшны, неотразимы. Они, кажется, никогда не появились в печати. Было в «Tristia» нечто похожее («Зверинец»), но не то. Впрочем, он не раз переделывал стихи до неузнаваемости; нередко и возвращался к прежним замыслам.

Он пропел до конца; горящие глаза погасли, темные ресницы почти сомкнулись. Экстаз кончился. Осип Эмильевич сел рядом со мной — уже будничный, уже не вдохновенный.

Я спросила — будут ли опубликованы эти стихи. Он ответил: «Во всяком случае, не теперь. Может быть — после войны». И добавил: «Боюсь, что мы все долго не будем появляться в печати. Идут времена безмолвия».

Я только повела на него изумленным взглядом. Ничего я не поняла. А над городом уже стояла голубая морозная полночь — первая ночь первого революционного года.

Мы расстались на несколько лет.

* * *

Новая веха жизни и новая встреча с Мандельштамом. И так причудливо получилось, что опять мы встретились в святочный вечер на переломе 1920 и 1921 годов.

Три года я провела на Поволжье, видела гражданскую войну, голод, разруху. В последний вечер 1920 года я, как из другого мира, возвратилась в Петроград. Поезда ходили вне графиков и расписаний, и никто не встретил меня. Извозчиков не было. На Московском вокзале нашелся бойкий Гаврош с салазками. Я привезла родным неслыханный дар: три пуда муки. Мой мешок улегся на салазки, а я пошла за ним, направляясь к Летнему саду. Я шла, как оглушенная, едва узнавая пустые неосвещенные улицы с их наглухо запертыми парадными, с их сугробами снега до вторых этажей.

И вот я на родине — но в чужой квартире, в незнакомой обстановке. Неуверенно спрашиваю о людях, мне дорогих, — и безрадостно звучат ответы. Мало кто уцелел из моих гимназических подруг, из университетских друзей. Одни покинули страну Советов, другие ушли из жизни. Страшные годы пронеслись над Россией.

По приезде я разыскала Рождественских — Всеволода [12] и Инну. Они жили на углу Невского и Мойки — в Доме Искусств (бывшее Благородное собрание — «Сумасшедший Корабль» Ольги Форш).

Вечером в «Корабле» толпился народ. Туда запряталось все, что еще уцелело от литературы, и туда прибилось все новое, что в ней зарождалось (за исключением, разумеется, искусства Пролеткульта). Анфилада гостиных сияла огнями. Женщины удивляли развязным тоном. Для меня новостью были густо накрашенные рты — они кроваво рдели, а поблекшие лица выдавали всю горесть, все напряжение голодных и трудных лет. В кипучем людском движении я различила элегантный облик Николая Оцупа [13], милое лицо Кати Малкиной [14], гордый профиль Анны Радловой [15], узнала Акима Волынского [16], Я. Н. Блоха [17] и, наконец, Мандельштама. Все, все осунулись, все постарели, все смотрели беспокойно и невесело, и, глядя на каждого из них, я думала: «Живым, живым казаться должен он» [18]. Люди усердно старались казаться живыми, а я не могла отделаться от ощущения, что брожу среди призраков. Уж очень не совпадали мои поволжские впечатления с этими нарядами, с этими яркими губами, с псевдобеззаботными разговорами.

У меня завязалась тихая беседа с Мандельштамом. Мы углубились в какие-то давние воспоминания, когда перед нами возникла блистательная Лариса Рейснер [19]. В живописном платье из тяжелого зеленого шелка, в широкой шляпе со страусовым пером, цветущая, соблазнительная и отлично это знающая, она стояла, как воплощение жизненной удачи, вызывающего успеха, апломба. Какой контраст с тем, что я видела в глубине России! Какой невыносимый контраст!

Я что-то сказала Мандельштаму относительно этого контраста, этого страшного разрыва между социальными группами, между теми неимоверными трудностями, с которыми борется русская провинция, русская деревня, и этим привилегированным, пресыщенным, беспечальным существованием.

Мандельштам из-под густых ресниц рассматривал великолепную Ларису и внушительно говорил:

— Совсем недавно еще она была в нашем положении. И, надо сознаться, она его переносила неплохо. А теперь...

— А теперь — она блистает в вашем кругу.

— Мы приняли ее в наш круг не потому, что она занимает блестящее положение, а несмотря на то, что она его занимает.

Подошли Рождественский, Оцуп; наш разговор снова прервался — надолго, надолго...

* * *

«В Петербурге мы сойдемся снова...»

Почти семь лет прошло в жизненных битвах. Только в конце 1927 года я обосновалась опять в моем родном городе, теперь уже принявшем имя Ленинград. Литература стала моей профессией.

Конец двадцатых годов прошел у меня без встречи с Мандельштамом. Он был то в Москве, то на Кавказе; если приезжал в Ленинград, то ненадолго и без широкого общения с людьми. Даже слухов о нем до меня не доходило. Или доходили самые невнятные.

Люди большой литературной культуры (Стенич [20]) говорили о Мандельштаме, не боясь слова «гениальность»; называли Осипа Эмильевича в ряду лучших русских поэтов. Литературные прихлебатели, которых в Доме печати было хоть пруд пруди, повторяли анекдоты насчет его заносчивости, неуживчивости и даже невменяемости. По-видимому, друзей у него было немного.

Тон в литературных организациях задавали вожаки РАППа (у нас — ЛАППа). Возникли высочайшие салоны, династически и идеологически связанные с органами госбезопасности. На этой почве культивировалась литература — в небольших количествах и авантюра — в количествах чрезвычайных. Возникали убийственные методы литературной полемики. Судя по всему, в одном из таких высоких московских салонов зародилась формулировка «внутренний эмигрант» применительно к Мандельштаму. Спущенная сверху, формулировка эта вскоре докатилась до литературных коридоров. В условиях культа личности писатель с таким штампом мог смело считать себя обреченным.

Имя Мандельштама из печати почти исчезло. В 1928 году вышел сборник «Tristia» [21] — книга великой скорби и высокого мастерства. И опять этот трагический голос умолк. Изредка на страницах журналов мелькали строфы, полные музыки, свежести и силы. Короткий праздник для тех, кто

любил, кто лелеял Слово, а потом глухое молчание. Только по рукам ходили шедевры: «За высокую доблесть грядущих веков», «Жил Александр Герцович, еврейский музыкант...» Их потаенно переписывали и с тщательной оглядкой читали.

В 1932 году мы дожили до ликвидации РАППа. То ли в порядке некоторой естественной оттепели, то ли по счастливому стечению случайностей, но в начале 1933 года стало известно, что Ленинградский Дом печати предоставил свою трибуну для творческого выступления Мандельштама. Не было ни анонсов, ни афиш — никакой рекламы. Но довольно вместительный зал оказался набит битком. Молодежь стояла в дверях, толпилась в проходах.

Мандельштам читал, не снижая пафоса; как всегда, он стоял с закинутой головой, весь вытягиваясь, как будто налетевший вихрь сейчас оторвет его от земли. Волосы, сильно уже поредевшие, все так же непреклонно вздымались над крутым и высоким лбом. Но складки усталости и печали легли уже на этот чистый лоб мыслителя.

«Он постарел! — говорили в толпе.— Облезлый какой-то стал! А ведь должен быть еще молод...»

Мандельштам читал о своем путешествии по Армении — и Армения возникала перед нами, рожденная в музыке и свете. Читал о своей юности: «И над лимонной Невою, под хруст сторублевый, мне никогда, никогда не плясала цыганка» [22],— и казалось, что не слова сердечных признаний, а сгустки сердечной боли падают с его губ. Его слушали, затаив дыхание,— и все росли, все усиливались аплодисменты.

Но по залу шныряли какие-то недовольные люди. Они иронически шептались, они морщились, они пожимали плечами. Один из них подал на эстраду записку. Мандельштам огласил ее: записка была явно провокационного характера. Осипу Эмильевичу предлагалось высказаться о современной советской поэзии. И определить значение старших поэтов, дошедших до нас от предреволюционной поры.

Тысячи глаз видели, как Мандельштам побледнел. Его пальцы сжимали и комкали записку... Поэт подвергался публичному допросу — и не имел возможности от него уклониться. В зале возникла тревожная тишина. Большинство присутствующих, конечно, слушали с безразличным любопытством. Но были такие, которые и сами побледнели. Мандельштам шагнул на край эстрады; как всегда — закинул голову, глаза его засверкали...

— Чего вы ждете от меня? Какого ответа? (Непреклонным певучим голосом.) Я — друг моих друзей!

Полсекунды паузы. Победным, восторженным криком:

— Я — современник Ахматовой!

И — гром, шквал, буря рукоплесканий...

* * *

Жизнь, как калейдоскоп, меняла свои стеклышки. Совершенно неожиданно я встретила Осипа Эмильевича на отчетном выступлении Гептахора.

Студия художественного движения Гептахор в тридцатых годах в Ленинграде имела хорошую репутацию. Работа Гептахора сливалась с ритмической школой Делькроза и со школой античного танца Айседоры Дункан. Ученики студии — преимущественно молодежь школьного возраста, одетые в античные хитоны, с обнаженными руками и ногами — иллюстрировали вольными движениями классическую музыку. Это делалось с большим вкусом; детские тела, проникнутые музыкальными ритмами, выглядели очаровательно. Я была связана с Гептахором родственными отношениями — моя старшая дочь, которой в то время было лет 14—15, с увлечением, переходящим в энтузиазм, уже несколько лет участвовала в занятиях студии. К сегодняшнему концерту Гептахор хорошо подготовился; были показаны и сольные, и массовые, тщательно срепетированные этюды.

Возле меня оказался Мандельштам. В перерыве моя дочка подошла к нам — радостная, возбужденная. «Хорошо?» — спрашивала она всем своим видом. «Мило, приятно,— сказал Мандельштам,— но насколько все же искусство классического балета сильнее и глубже...»

На лице у девочки изобразился ужас.

— Вы — за классический балет?! А Гептахор, по-вашему, не искусство?..

У нее было свое кредо. В студии «свободного музыкального движения» начисто отвергали классический балет, отвергали с отвращением, с негодованием.

Осип Эмильевич стал объяснять:

— Я не говорю, что Гептахор чужд искусства. Но в искусстве танца, как и во всех искусствах, есть первая ступень изучения, есть азбука, алфавит. И вот, если Гептахор усвоил пять-шесть первых знаков этого алфавита, то классический балет — особенно русская школа балетного танца — знает все тридцать или тридцать пять знаков. Судите сами, кто же свободнее и за кем мне больше хочется идти?

Он посмотрел на девочку, на ее негодование, ее волнение — и остановился.

— Кажется, вы обиделись? Тогда — простите меня. Простите меня,— повторил он бережно, мягко.— Я не хотел порочить то, что вы так любите. Но, видите ли, искусство не знает полуправды... А вы останетесь на второе отделение? — спросил он меня.— Я, к сожалению, должен идти.

Он сердечно простился с нами. Дочка смотрела ему вслед.

— Мама! — сказала она, обратив ко мне свои серьезные глаза.— Ты знаешь, он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО большой человек.

* * *

Не все хочется вспоминать. Но из песни слова не выкинешь.

В течение зимы 1832—33 г. г. все чаще говорилось о каких-то недоразумениях вокруг Мандельштама, о вечных ссорах, вспыхивавших по пустяковому поводу, с преувеличенным болезненным раздражением с его стороны. Он держал себя как человек с глубоко пораженной психикой. Литературные деятели Москвы держались с ним как недруги, как чужие люди. К тому же в это время Мандельштам и материально был очень стеснен.

И вот пронесся слух, что московский писатель Саркис Амиджанов (Сергей Бородин) [23] учинил дебош в квартире Мандельштама и оскорбил Надежду Яковлевну — его «нежняночку», его драгоценного друга. Товарищеский суд под председательством А. Н. Толстого вынес какую-то очень двусмысленную резолюцию, вроде того что Мандельштамы сами виноваты.

Приблизительно в середине 1934 года Мандельштам с женой опять посетили Ленинград. Я увиделась с ними у нашей общей приятельницы Л. М. В.[24]. Добрая Л. М. обращалась с Мандельштамом, как с больным ребенком. В силу этого разговор прошел сравнительно мирно. Но общий тон его беседы был невозможно тяжел. Чувствовалось, что желчь в нем клокочет, что каждый нерв в нем напряжен до предела.

Мы расстались, условившись завтра утром встретиться в Ленинградском Издательстве писателей. Оно тогда помещалось внутри Гостиного двора.

В назначенный час я приближалась к цели, как внезапно дверь издательства распахнулась, и, чуть не сбив меня с ног, выбежал Мандельштам. Он промчался мимо; за ним Надежда Яковлевна, через секунду они скрылись из виду. Несколько опомнившись от удивления, я вошла в издательство и оторопела вконец. То, что я увидела, напоминало последнюю сцену «Ревизора» по неиспорченному замыслу Гоголя. Среди комнаты высилась мощная фигура А. Н. Толстого; он стоял, расставив руки и слегка приоткрыв рот; неописуемое изумление выражалось во всем его существе. В глубине, за своим столом застыл С. М. Алянский [25] с видом человека, пораженного громом. К нему обратился всем корпусом Гриша Сорокин [26], как будто хотел выскочить из-за стола и замер, не докончив движения, с губами, сложенными, чтобы присвистнуть. За ним Стенич — как повторение принца Гамлета в момент встречи с тенью отца. И еще несколько писателей, в различной степени и разных формах изумления, были расставлены по комнате. Общее молчание, недвижимость, общее выражение беспримерного удивления — все это действовало гипнотически. Прошло несколько полных секунд, пока я собралась с духом, чтобы спросить: «Что случилось?» Ответила З. А. Н.[27], которая раньше всех вышла из оцепенения:

— Мандельштам ударил по лицу Алексея Николаевича.

— Да что вы! Чем же он это объяснил? — спросила я (сознаюсь, не слишком находчиво).

Но уже со всех сторон послышались голоса: товарищи понемногу приходили в себя. Первый овладел собою Стенич. Он рассказал, что Мандельштам, увидев Толстого, пошел к нему с протянутой рукой; намерения его были так неясны, что Толстой даже не отстранился. Мандельштам, дотянувшись до него, шлепнул слегка, будто потрепал по щеке, и произнес в своей патетической манере: «Я наказал палача, выдавшего ордер на избиение моей жены».

Издательство наполнилось людьми. Откуда ни возьмись появился М. Э. К.[28] и со всех силенок накинулся на Толстого.

— Выдайте нам доверенность! — взывал он.— Формальную доверенность на ведение дела! Предоставьте это дело нам! Мы сами его поведем!

— Да что я — в суд на него, что ли, подам? — спросил Толстой, почти не меняя изумленного выражения.

— А как же? — кричал К-в.— Безусловно в суд! В народный суд! Разве это можно оставить без последствий?

— Миша, опомнись, побойся Бога! — увещевал его Стенич.— При чем тут народный суд? Разве это уголовное дело?

— Это дело строго литературное,— изрек своим тоном философа Гриша Сорокин. И с тихой ехидцей добавил: — На чисто психологической подкладке.

— Нет, и не буду подавать на него в суд,— объявил Толстой.

— Алексей Николаевич! Да что вы? Алексей Николаевич! Да разве можно?!

Уж не один К., а двое-трое товарищей бросились убеждать Алексея Николаевича. Все жаждали крови, всем не терпелось как можно скорее, как можно строже засудить Мандельштама. Никто не вспомнил о его больных нервах, о его трудной жизни, о его беспримерном творчестве.

Суд этот, насколько я знаю, не состоялся или кончился ничем. Мандельштама ждали другие испытания. Он очутился в поле воздействия мрачных сил.

Дальнейшая жизнь его — это цепь репрессий. Осип Эмильевич прошел тяжелую ссылку в Чердынь, потом — несколько легче — ссылку в Воронеж.

Всюду, куда только было можно, его верная спутница Надежда Яковлевна следовала за ним.

Летом 1937 года они вдвоем заглянули ненадолго в Ленинград. Мандельштам приехал с тетрадкой стихов «Воронежского цикла», покорил друзей их взволнованной музыкой... По инициативе Стенича была сделана небольшая складчина — друзья со-

брали немного денег, белья, вещей, ибо Мандельштам был без копейки, он обносился, ходил чуть ли не босиком.

Настала минута прощанья. Несколько близких собрались на Московском вокзале. Мандельштам со своей «нежняночкой» спешил навстречу лишениям, навстречу, быть может, гибели. Имущество Осипа Эмильевича было увязано в неказистый узелок. В ожидательном зале возвышалась искусственная пальма трактирного типа. На ветвь этой пальмы Мандельштам повесил свой скудный узелок и, обратившись к Стеничу, сказал: «Странник в пустыне!» Друзья смеялись и плакали. Бедный узелок в пальме — в этом образе вдруг сконцентрировалась судьба поэта, его страническая неумолимая судьба. И как было тут не вспомнить вещие слова другого великого русского поэта:

Странником в мире ты будешь!
В этом — твое назначенье,
Радость — Страданье твое! [29]

В скором времени в Ленинграде узнали, что Мандельштам находится в заключении. И вот слухи о нем прекратились.

* * *

Литературный быт трещал под ударами сталинских мероприятий. Уже гораздо больше друзей моих находилось по ТУ сторону решеток, чем по эту. Катастрофа приближалась, почва уходила из-под ног.

В марте 1938 года компетентные органы пристально мною занялись, а осенью 1939 года я была доставлена на берег Охотского моря.

Там, в лагпункте «Балаганное», я встретила очень доброжелательную — не там будь помянута! — очень путаную Е. М. Н.

Рассказывая мне свою страдальческую повесть, она упомянула, что в 1936 году работала в Чердынской тюремной больнице; в это время там содержался один писатель.

— Как его звали?

— Иосиф Мандельштам.

Я ухватилась за эту ниточку, стала разматывать. Приметы, в ее описании, как будто совпадали.

— Чем он болел?

— Абсолютным психозом.

— На какой почве?

— А на такой почве, что сегодня в шесть часов его расстреляют. И каждый день к шести часам он начинал психовать. Забьется в угол, трясется весь, кричит, что сейчас его возьмут на расстрел. Ну — трахнутый абсолютно, что вы будете делать?..

— А лечили его?

— Лечить было нечем. Просто — переводили часы на два часа вперед. Он видит — восемь часов, а за ним никто не приходил. Посмотрит-посмотрит — и успокоится.

— Стихов он не писал?

Этого Е. М. не знала... Из Чердыни его куда-то увезли. Куда — неизвестно.

Такую сбивчивую информацию я получила в конце 1939 года. Летом 1943 года меня перевели в Магадан. Там я связалась с товарищем моей пушкиноведческой юности Ю. Гр. О.[30] Началась наша «переписка из двух углов». В первом же письме Ю. Гр. упомянул о смерти О. Э. Мандельштама! Я не могла поверить, просила подтверждения. Ю. Гр. ответил:

«К несчастью, это верно. Я говорил с товарищами, бывшими при нем до конца, говорил с врачами, закрывшими ему глаза. Он умер от нервного истощения на транзитном лагпункте под Владивостоком. Рассудок его был помрачен. Ему казалось, что его отравляют, и он боялся брать пайку казенного хлеба. Случалось, что он съедал чужую пайку (чужой хлеб — не отравлен), и Вы сами понимаете, как на это реагировали блатари. До последней минуты он слагал стихи; и в бараке, и в поле, и у костра он повторял свои гневные ямбы. Они остались незаписанными — он умер.

Он умер

За музыку сосен Савойских,
За масло парижских картин».

На этом кончалось письмо. В подслеповатом свете дежурной лампочки я разбирала кружевной почерк О-на. Разобрать было нелегко: прежде чем дойти до меня, письмо побывало и в потных подмышках, и в грязных ботинках. Зловонный барак распирало от человеческих испарений. На двухэтажных нарах «вагонной системы» копошились жалкие женщины, навязанные судьбой мне в подруги. Они вели свои бесконечные разговоры — разговоры, в которых каждое второе слово было проклятие, каждое третье слово непристойность.

А у меня из подспудной глубины сознания выступали бессмертные строки:

Ничего, голубка Эвридика,
Что у нас суровая зима!
. . . .
Чтобы вечно ария звучала:
— Ты вернешься на зеленые луга! —
И живая ласточка упала
На горячие снега.

Ленинград
1962 г.

КОММЕНТАРИЙ

1. *Жирмунский* Виктор Максимович (1891—1971), один из ведущих русских филологов XX века.

2. *Никольский* Юрий Андреевич (1893—1921?), филолог, автор статей о Достоевском и Тургеневе, Полонском и Фете.

3. *Пергамент* Михаил, поэт, выпустил (совместно с Л. В. Берманом) сб. стихов «Пепел» (СПб, 1912).

4. *Ромм* Владимир Георгиевич, журналист-международник. Репрессирован в 1937 г.

5. *Трупчинская* (урожд. *Эфрон)* Анна Яковлевна (1883—1971), сестра С. Я. Эфрона, всю жизнь проработала учителем.

6. Цитата из стих. И. Северинина «В ожиданье» (1912).

7. *Эфрон* Елизавета Яковлевна (1885—1976), актриса.

8. Иронический парафраз строки «Я опоздал на празднество Расина» из стих. О. Мандельштама «Я не увижу знаменитой Федры...» (1915).

9. *Маслов* Георгий Владимирович (1895—1920), поэт, пушкинист, автор поэмы «Аврора» (Пг., 1922).

10. *Лёвберг* Мария Евгеньевна (1864—1934), поэт, переводчик, драматург, автор сб. стихов «Лукавый странник» (Пг., 1915).

11. Участница Студии издательства «Всемирная литература», руководимой Н. С. Гумилевым.

12. *Рождественский* Всеволод Александрович (1895—1977), поэт. *Рождественская* Инна Романовна (урожд. *Малкина*), в то время жена В. А. Рождественского, репрессирована в 1930-е годы.

13. *Оцуп* Николай Авдиевич (1894—1958), поэт.

14. *Малкина* Екатерина Романовна (?—1945), филолог.

15. *Радлова* (урожд. Дармолатова) Анна Дмитриевна (1891—1949), поэт, переводчик.

16. *Волынский* (наст. фамилви — *Флексер*) Аким Львович (1863—1926), критик, искусствовед.

17. *Блох* Яков Ноевич (1892—1968), руководитель издательства «Петрополис».

18. Цитата из стих. А. Блока «Как тяжко мертвецу среди людей...» (1912).

19. *Рейснер* Лариса Михайловна (1895—1926), писатель, журналист.

20. *Стенич* (наст. фамилии — *Сметанович*) Валентин Иосифович (1898—1938), переводчик, критик.

21. Вторая книга стихов О. Мандельштама «Tristia» вышла в свет в 1922 г., в 1928 г. издан последний прижизненный сборник «Стихотворения».

22. Из стих. О. Мандельштама «С миром державным я был лишь ребячески связан...» (1931).

23. *Бородин* Сергей Петрович (псевд. до 1941 г.— Амир *Саргиджан*, 1902—1974), прозаик, автор произведений о Средней Азии и Дальнем Востоке.

24. *Варковицкая* Лидия Моисеевна.

25. *Алянский* Самуил Миронович (1891—?), владелец издательства «Алконост», редактор Издательства писателей в Ленинграде.

26. *Сорокин* Григорий Эммануилович (1898—1954), поэт, прозаик, в 1928—1935 гг. сотрудник Издательства писателей в Ленинграде. Репрессирован, умер в лагере Абезь (Коми АССР).

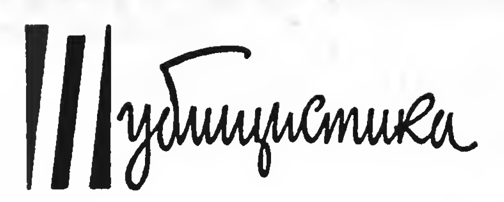
27. *Никитина* Зоя Александровна — жена писателя М. Э. Козакова.

28. *Козаков* Михаил Эммануилович (1897—1954), писатель.

29. Цитата из пьесы А. Блока «Роза и крест» (1912).

30. *Оксман* Юлиан Григорьевич (1895—1970), литературовед, критик.

Подготовка текста и комментарий М. Н. Тагер и Б. Г. Венуса



Сергей Ачильдиев

ДЕТИ ВОЙНЫ

ОТ АВТОРА

По официальной статистике 1 миллион 800 тысяч детей погибли в нашей стране во время второй мировой войны. Это примерно каждый пятый из десяти миллионов гражданского населения, которое — по свидетельству все тех же официальных данных, которые, впрочем, сейчас историки склонны значительно увеличить,— было уничтожено в ходе войны в СССР.

Но таковы лишь прямые потери. По расчетам демографов из-за резкого падения рождаемости в 1946 году в Советском Союзе было на 26 миллионов детей меньше, чем если бы в предыдущие годы царил мир.

Десятки тысяч мальчиков и девочек война оставила инвалидами, свыше миллиона — сиротами. Она породила взрыв подростковой преступности, на несколько лет оторвала от учебы более 3 миллионов школьников, затормозила физическое развитие почти каждого ребенка (к примеру, в 1944 и 1946 годах четырнадцатилетние московские мальчишки оказались на 6,1 сантиметра ниже и на 5,5 килограмма легче своих сверстников середины тридцатых — далеко не самых сытых — годов).

Больше всех пострадали дети, оказавшиеся на оккупированной территории. Им руководители рейха уделяли особое внимание как потенциальному будущему России.

Характерно, что Гиммлер ежемесячно получал сводку о количестве детей, поступивших в концлагеря. Такое внимание сказывалось на повседневной жизни и здоровье каждого ребенка, оставшегося в оккупации. Как отмечалось на совещании у Розенберга 18 декабря 1942 года, в Эстонии, где нормы снабжения продуктами были значительно выше, чем в других районах, детская смертность выросла с началом боевых действий против СССР в 8 раз.

Из 82 тысяч советских школ, в которых занимались весной 1941 года 15 миллионов учащихся, оккупанты оставили — и то далеко не везде — лишь начальные классы. В одном из директивных гитлеровских документов указывалось: «Для ненемецкого населения восточных областей не должно быть высших школ. Для него достаточно наличие четырехклассной народной школы. Целью обучения в этой народной школе должно быть только: простой счет, самое большее до 500, умение расписаться, внушение, что божественная заповедь заключается в том, чтобы повиноваться немцам, быть честным, старательным и послушным».

...«Детям дано забывать. Это великое счастье»,— писал Илья Эренбург в 1942 году. Приближались самые роковые дни сражений, исход их был далеко еще не очевиден, люди жили надеждой. Оттого, наверное, и в этих словах больше веры, чем уверенности. Нет, они не забыли ничего. Как признавались мне мои собеседники — рабочие, инженеры, служащие Ленинградского текстильного объединения «Возрождение»,— они и рады были бы все это забыть, это было бы счастьем, но память беспощадна.

[1] Сергей Игоревич Ачильдиев (р. в 1952 г.) окончил филологический факультет ЛГУ, с 1973 г. работал в газетах производственных объединений. Член Союза журналистов СССР. Отрывок из документальной повести «Мы родом с войны» — первая публикация в «Звезде».

ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА АКИМОВА.— Дата начала войны пришла годы спустя, а тогда только одно: воскресенье, все нарядные, возвращаются из церкви, и вдруг дикий вопль на всю деревню: «А-а-а-а!!!» — на одной высокой ноте. Душераздирающий крик. Бежит женщина во всем праздничном и кричит, будто на нее напал бандит. Дикая сцена! Тем более только что кругом царило радостное легкое настроение. И сразу все — по домам. А следом тишина. Словно в каждом доме покойник.

И это в нашем Лаптеве, где всегда было столько любителей поболтать на завалинке, попеть песни! Даже когда вечером пастух пригнал стадо с поля, оно показалось мне не таким, как обычно, другое какое-то: чужие коровы, не наши. Даже солнце другое.

Что было потом? Не помню. Следующее событие — в деревню пришли партизаны. Начали уговаривать: «Надо уезжать, прятаться, не сегодня-завтра нагрянут немцы». Посадили нас в машину, повезли в Вязки. Я сижу в кузове, пристаю к маме: «Почему это так называется — Вязка? Там что, вяжут?» Все молчат, даже не улыбнутся. Сидят напуганные, женщины прижимают к себе детей. Полный грузовик.

В Вязках прожили мы до самой осени. А потом те же партизаны перебросили нас в лес. Видимо, фашисты были уже совсем близко. Приказали нам рыть землянки: две рядом, а следующие две — не ближе чем за километр. Чтоб если появятся немцы, то большинство все же успело убежать.

Землянки свои мы называли окопами, потому что они были длинные и узкие. Наш получился метров семь в длину и три в ширину. Копали его мама с дедушкой, а мы с сестрами таскали с болота мох в корзинах — на крышу. Крыша чуть-чуть выступала над землей конусом. Получился самый обыкновенный дом, только в земле и без окон: печка-буржуйка, по стенам лавки для спанья, сундук с тряпьем, свечи... Но это все только похоже на дом, внутри темно, сыро, как в могиле. Потому в окопе мы лишь спали и ели, а все остальное время — на воздухе.

Для взрослых, особенно женщин, лесное житье было истинным мучением, проклинали они все на свете — и немцев, и неустроенность бытовую, и свой окоп, и холода... А ребятишкам лес — одно удовольствие! До сих пор слышу, как скрипят, качаясь, деревья в тишине, как хрустит на морозе снег под ногами. А снег-то какой — искристый, бело-синий! Никогда больше не видела я такого цвета снег. Или его таким только в детстве и можно увидеть?.. Еще нравилось очень продираться по сугробам: заберешься по самую шею и — у-у-у-у-у! — как медведь.

Далеко ли находился тот лес от деревни? Наверно, не очень. Потому что женщины ходили в деревню печь хлеб. Возвращались с большими корзинами, от которых на морозе валил пар. Значит, близко: хлеб даже не успевал остыть. У окопов ждали этого хлеба партизаны, они забирали его почти весь.

Как-то под вечер загремела канонада. Да совсем рядом. Грохот, земля дрожит. Мама велела нам ложиться спать, но не раздеваясь. Едва уснули — уснули, конечно, только мы с сестрами, а мама с дедушкой и глаз не сомкнули,— дверь в нашу землянку распахивается, и страшный крик с порога: «Сталину подчиняетесь, а Гитлеру — нет?!» — на чистом русском языке.

Выкинули нас наверх. А там уже бабы, старики, ребятишки из многих землянок, и гонят еще из самых дальних. Мало кто догадался, как наша мама, не раздеваться в ту ночь. Иные были чуть не в исподнем, едва успели накинуть поверх нижнего белья пальтушку или фуфайку.

Я забыла сказать, что в свое время всех коров из деревни тоже забрали в лес. Они стояли в большом окопе, который взрослые сообща вырыли в самой лесной глубинке. Вот к этому окопу и подогнали нас немцы. Коров выпихивают из окопа прикладами да палками, деловито, будто на приемном пункте. Коров угнали куда-то в ночь, а нас, человек тридцать,— на их место. Заперли и поставили часового.

Что происходило там, в подземелье, в остаток ночи? Ждали ли все смерти? Или, наоборот, надеялись, что отпустит нас фашист? Потому что если расстреливать, так это можно было сделать сразу, а но тянуть до утра. Ревели? Молились? Ничего не могу сказать. Провал в памяти. Это было настолько жутко, что должно было запомниться обязательно. Но не запомнилось. Может, страх сковал память?

Но видите — сижу перед вами: не расстреляли нас немцы ни в ту ночь, ни утром. И сразу улетучился у меня страх перед ними. Они ходят по своим делам взад-вперед, ездят на санях, а я стою и гляжу на них во все глаза. Люди боялись смотреть на фрицев. Знаете, как с пьяными — лучше не привлекать внимания, не то еще привяжутся. А я смотрела. Без опаски. Мне было любопытно. Такие же парни, как наши,— веселые, шутят, смеются, поют песни...

После той первой ночи немцы отобрали не только коров, но и вообще всю живность, все продукты. Однако больше мирное население не трогали. Наоборот: сварили котел картошки и сказали — это детям. Даже не приставали к женщинам.

Думаю, все дело в том, что попались мы не эсэсовцам, а обычной пехотной части. И главное — видели-то фрицев всего-навсего три дня. Мы даже не успели толком привыкнуть к незваным гостям, как вечером заявляется в нашу землянку парень в немецкой

форме: «До свидания, русские. Мы уходим». Все землянки обошел, со всеми зачем-то попрощался. Причем по-нашему говорил безо всякого акцента. Кто после утверждал, что он русский, кто — что поляк, потому что слышали, будто он обращался к женщинам «пани», кто — что. Но как бы то ни было, а наутро встали — немцев и вправду след простыл.

Кинулись, конечно, со всех ног в родную деревню. Только три дома торчат, остальные разрушены снарядами во время боя. И один из уцелевших домов — дедушкин! Однако радость наша была преждевременной. Вошли, а там... Повсюду навалено сено, и на сене наши бойцы, перевязанные бинтами, тряпицами, но до единого мертвые. Отчего умерли — от ран ли, от голода или заморили их фашисты — так никто и не узнал.

Всей деревней вместе с той частью, что освободила нас, хоронили мы этот бывший госпиталь на сельском кладбище. Ревели над огромной братской могилой, бросали в яму комья земли, а думали-то о своих — мужьях, братьях, отцах. Где они? Как? И мы, конечно, плакали не только о погибших в нашем доме, но и о папе.

...Из трех оставшихся в Лаптеве домов дедушкин был самый большой, и в нем поселились офицеры нашей части. С первого дня появления немцев все мечтали, как придут обратно свои. Вот они и пришли. Вечно пьяные, мат-перемат — просто страсть! И это офицеры!

К женщинам приставали в наглую. Один как обхватит маму. Рядом стояла кочерга, так она его этой кочергой и: «Ну, кто следующий?!» Мы, малышня, и не поняли, что произошло. Испугались, шепчем между собой: «Ох ты, мамка-то разбушевалась! Как фашистка!»

А мама схватила ухват, которым достают из печки чугуны, да того офицера по спине, по спине! Ручка длинная от ухвата — пополам. Мы забились под стол, ни живы ни мертвы: а ну как она следом примется и за нас? Ни разу не видали мы еще нашу маму такой.

Когда в доме немного поутихло, я к тому офицеру: «Дяденька, ты чего мамке сделал, что она тебя так? Скажи, а то она и нас за это...»

С нами в доме еще жил военный врач. А многие из наших деревенских, особенно дети, болеют: ослабели после зимы в окопах да нервотрепки — у кого ангина, у иных чирьи, нарывы. Но давать лекарства местным было строго-настрого запрещено, только бойцам. Кто отдал такой приказ, мне неведомо [1]. Но наш военный врач не мог стерпеть такой несправедливости, лечил деревню тайком. А меня взял в свои помощницы. Он меня прозвал «Маленька-чуть-повыше-валенка». Пока никого из офицеров поблизости нет, скажет: «Ну-ка, Маленька-чуть-повыше-валенка, бери эти банки».

Я выскользну из дома, а он через некоторое время следом. Храбрый человек. До сих пор помню его фамилию: Янковский.

МАРИЯ МИХАЙЛОВНА ВАСИЛЬЕВА.— Война началась с бомбежек и обстрелов. И едва ли не первый обстрел — сразу несколько смертей.

В доме у нас оставались женщины, дети: моя мачеха (мама умерла, когда я была еще совсем маленькой, и папа вскоре женился снова), ее мать, а также Люся и годовалый ребеночек — это уже дети мачехи и папы, мои сводные. Обязанности на случай бомбежки были распределены строго: на мне годовалый ребенок, я — девятилетняя — должна была сразу его хватать и бежать в окоп, который вырыт на огороде рядом с забором, а мама, то есть мачеха — я уж привыкла ее называть мамой,— вела в окоп бабушку и трехлетнюю Люсю.

В общем, в тот день вдруг страшный обстрел! Схватила я грудного и — бегом к окопу. Только подбежала к этой яме — как рванет! И совсем близко, по другую сторону забора, как раз где соседский окоп. Соседская семья тоже была большая: муж с женой, их дочь с сыном да еще сестра соседа, приехавшая из Ленинграда. Сосед с сынишкой были уже в окопе, а женщины бежали сзади. И снаряд — прямо в них! Их — на куски и в небо. Но я только мельком успела это заметить. Меня вместе с малышом — я его, несмотря ни на что, не выпустила, крепко прижимала к себе — подняло взрывной волной и швырнуло в наш же окоп.

А мои-то мама с бабусей — сзади. Вокруг рвутся снаряды, но бабуся не может быстро идти. Мама тянет ее: «Скорей! Скорей!»

Та выбивается из сил, но все еле-еле. И тут вот такой осколок — длинный, с рваными зубьями, острыми, как коса,— прямо им под ноги. Если б они шли чуть быстрей, их бы тоже в клочья.

Обстрел продолжался несколько суток подряд. Чуть утихнет и снова. Но есть-то хочется. Мама посылала меня как старшую за едой. Я ползком пробиралась по траве к дому. Прихвачу чего-нибудь съестного и ползу обратно.

---

[1] Весной 1944 года в освобожденных районах Ленинградской области, где и происходили описываемые события, оставалось всего 40 врачей и 59 фельдшеров, запасы лекарств и вовсе сводились к нулю. Между тем потребности Красной Армии и Флота в продукции медицинской промышленности в том году удовлетворились уже полностью.

Но гораздо больше снаряда я боялась ночью, что поползу и наткнусь в темноте на какое-нибудь полено, а это оторванная рука или нога тех женщин, которых разнесло снарядом. Это было какое-то помешательство, честное слово!

МАРИЯ ТИХОНОВНА МЕРГАЗЫМОВА.— Мама посадила нас с братишкой на крыльцо — ему шесть, мне около четырех годиков — и говорит: «Немцы пойдут, кричите: масла, яек, шпику — нет!»

Сидим. Вдруг улица вымерла. По всей деревне тишина. И в этой тишине видим: идут двое. Не то мы прежде увидели их, не то услышали даже, потому что на них все как-то гремело, звякало — котелки, ремни на оружии,— бренькало еще что-то, даже сапоги, кажется, звенели как-то металлически.

Ни одной души на улице: только эти два немецких солдата и мы с братом. Мы сразу давай кричать, как мама наказывала: «Масла, яек, шпику — нет!» Они тут же повернули к нам, поднялись на крыльцо, скинули нас обоих ногой на землю и — в дом. Все там вверх дном перевернули. Унесли сколько могли.

А чего у нас было нести-то? Мама с папой никак не успевали забогатеть: сначала жили на хуторе, после перебрались в деревню, после — в колхоз. Строиться пришлось несколько раз. А тут одна война — финская, потом — вторая, Отечественная, и папа не успел вернуться с первой, как ушел на другую.

АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ НИКОЛАЕВ.— Я думал, немцы такие, как рисовали в газетах,— с большими носами, кособокие, в касках с длинными рогами. Каски у них и вправду оказались хоть и с небольшими, да рожками. А в остальном... Я когда их увидел, сперва даже не понял, кто такие. Мне говорят: «Как кто?! Фашисты!»

Я обсмотрел их, правда, издалека: вроде такие же нормальные люди, только форма не наша.

ЗОЯ ФЕДОРОВНА ЩЕЛКУНОВА.— Мы оказались на оккупированной территории и полями, глухими проселочными дорогами вместе с такими же несчастными, как мы, стали пробираться в дальние деревни Ленинградской области. Лишь бы подальше от фронта.

Однажды начали переходить какое-то шоссе, а на нас — колонна грузовиков. Мы все врассыпную — отбежали в поле, лежим, боимся поднять голову. И вдруг с последнего грузовика летит на обочину дороги буханка хлеба. Хлеб у немцев был сухой, в целлофановой обертке.

Питались мы в те дни в основном капустой да картошкой, что сумеем накопать в полях. Голодали сильно. Одна буханочка на несколько десятков человек, конечно, капля в море. Но не это важно. Мы уже видели, и как немцы расстреливают наших на месте, и как презирают все русское и русских, а тут — подарок! И хоть скромненький — опасный: тот солдат, наверно, мог здорово поплатиться за жалость к мирным жителям. До сих пор помню и саму ту буханку, и вкус чужого хлеба.

Это было осенью сорок первого. Больше за всю войну не встречала я добрых немцев.

КИРА ТИМОФЕЕВНА РОМАНОВА.— Когда старшей сестре исполнилось двенадцать, немцы выдали ей паспорт и стали готовить к отправке в Германию. Мама думала-думала и решила обмануть немцев. Вместо старшей повела на медицинский осмотр младшую. А я в свои девять лет была маленькая, щупленькая... Да еще перепугалась сильно, плачу, слова вымолвить не могу, не отвечаю ни на один вопрос. Они поглядели и плюнули: убирайтесь отсюда!

Но следом — новая беда: и маму решили угнать в Германию. Тут уж не подменить. Так мама что сделала? На ночь приложила к коленной чашечке какое-то ядовитое растение, вызывающее ожог. Наутро — язва. Мучилась мама с этой болячкой не один год. Зато в Германию ее не увезли [1].

МАРИЯ ИЛЬИНИЧНА ГЛАДЫШЕВА.— Они появились под вечер. Наш дом стоял с края деревни, самый ближний к лесу, наверно, поэтому они и решили остановиться у нас. Оба во всем гражданском, кто такие и зачем пробираются в сторону фронта, не говорили. Но мы и так догадались: разведчики. Один, представляясь, сказал: «Сергей. Из Ленинграда». Мама объяснила, как им лучше идти, где немцы не бывают вообще, а где — редко. Они переночевали и утром отправились дальше. Перед уходом оставили деньги, наши советские рубли.

Это был сорок второй. Мы уже целый год под немцем, фашисты то и дело кричат о своих новых победах, до Волги дошли, и такое у нас было в ту пору подавленное состояние, что бабушка сказала: «А понадобятся ли когда-нибудь эти деньги-то?..»

---

[1] На каторгу и рейх были угнаны с оккупированной территории СССР 4 миллиона 978 тысяч советских граждан.

М. Т. МЕРГАЗЫМОВА.— Как-то проснулись утром в поле под телегой. Где это было, когда? Знаю только, что немцы выгнали нас из деревни, и мы всем селом кочевали несколько лет на телегах.

Короче, проснулись, просим с братом у мамы поесть. А она отвечает: «Что ж, ешьте меня, а больше ничего нет». Сколько лет прошло, а я все думаю: каково было нашей маме сказать такое своим детям?! Но тогда я была настолько мала и так плохо помнила довоенную жизнь, что все окружающее воспринимала как должное, будто так и надо. Даже интересно: ездим везде — по дорогам, лесам, деревням...

К. Т. РОМАНОВА.— Немцы как нагрянули в нашу деревню, так облюбовали нашу избу и устроили в ней свой штаб. Нас, хозяев, выгнали в самую маленькую комнатенку. Какие вещи им были не нужны, кинули нам, себе оставили только кое-что из мебели. На стене со своей стороны повесили плакат на немецком языке: «Осторожно! За стеной слушает враг!» Враг — это мы: мама, Валя, которой тогда было десять, да я, семилетняя.

Ну, ничего, мы их считали за еще бóльших врагов. На кухне стояли два стола, один — наш, голый совсем, второй — их, вечно уставленный продуктами. И вот я как-то залезла к ним в банку с повидлом...

Мы ведь как питались при немцах? Лебеду ели, картофельные очистки, картошку, которая оставалась в поле с сорок первого года и в сорок втором уже превратилась в кучки крахмала. Выкапывали какие-то коренья. Как определяли, ядовитое или нет? На вкус: горькое — значит, нельзя. Ели даже такие трубчатые растеньица, из которых мальчишки обычно плюются бузиной. Эти трубочки варили. Еще брали полевой хвощ: весной он только вылезет пупышками, мы его тут же и обрывали. Ну и, само собой, варили крапивные щи. Крапиву рвали только у своего забора, к чужому не суйся, отгонят: «Это моя крапива!»

Короче, забралась я в их банку с повидлом. Денщик обнаружил пропажу и — к маме. Мама выдрала меня. Во-первых, за воровство, во-вторых, потому что в следующий раз денщик может меня наказать и без мамы, а это, неровен час, окажется пострашней. Но мне-то было так обидно! Ведь я взяла повидло не у кого-нибудь, а у *врага!*

М. И. ГЛАДЫШЕВА.— Вот так ручей и мостик через него, а тут горка. И мы с Геной — это мой двоюродный брат — скатились с этой горки на санках да прямо на мостик. Только остановились, а навстречу — немецкий почтальон на мотоцикле. Гена и шепчет: «Не уйдем! Не уступим фашисту!» Настырные оба: сидим, ни с места. Немец подъехал, ругается по-своему на чем свет стоит. Дядюшка подбежал и оттащил нас. Как он потом кричал, дядюшка-то: «А если б он застрелил вас!» Застрелил? Нам это даже в голову не приходило. Нам главное было не уступить фашисту дорогу. Хоть в чем-то ему навредить.

А. Г. НИКОЛАЕВ.— Был такой солдатик, шофер на грузовике, возил бревна из леса. Звали этого солдатика Адольф. Ну, мы, само собой, тут же прозвали его Гитлером. А раз немец, да еще Адольф, да еще Гитлер — надо с ним воевать. Зароем ему с ребятами в песок доску с огромным гвоздем или булыжник — точнехонько чтоб в колее. Адольфов грузовик узнавали по звуку за километр. Заложим, значит, «мину» — и в лес, прятаться. Наверняка наш Адольф догадывался, откуда столько гвоздей да булыганов на дороге. Но не пойман — не вор.

А потом пропал наш Адольф. Видно, перебросили куда-то. Ну, пропал и черт с ним. Однако проходит сколько-то времени — едет. Это было так неожиданно, что мы с пацанами даже не успели шагу шагнуть с дороги. Остановился, вышел... Думаем: все, сейчас отвезет в комендатуру, всыпят нам. И точно: показывает — забирайтесь в кузов. Забрались, куда денешься? Привез в нашу же деревню, высадил, загрузился лесом и... уехал.

М. Т. МЕРГАЗЫМОВА.— Немцы выкинули нас из деревни, и пошли мы скитаться по белу свету. Докатилось даже до того, что мы с братом стали побираться. Брат был на два годочка старше и хотя еще не ходил в школу, но уже сумел придумать, как лучше просить. Постучим в какой-нибудь дом, только откроют — брат втолкнет меня, а сам спрячется снаружи.

Люди понимали, зачем я к ним, такая худенькая, оборванная... И просить не надо было. Так давали. Но сколько могли давать люди? Беженцев тьма, а местные сами еле тянут. Сунут тебе краюху — и спасибо. Но ведь вот что: не было случая, чтоб мне сказали хоть в одном доме: нет. Пусть крошечку, а все-таки выкроят. Бывало, с собой не дадут ни капельки, зато покормят немного прямо здесь.

М. И. ГЛАДЫШЕВА.— Немецкая часть поселилась в нашей деревне незадолго до прорыва блокады Ленинграда. Видно, их командование понимало, что вот-вот русские пойдут в наступление, и решило укрепить тылы.

Прямо на улице появились несколько полевых кухонь. К обеду и мы, ребятишки, бежали вместе с немецкими солдатами к этим кухням. У кого плошка, у кого котелочек, у кого кастрюлька. Прибежим, встанем в очередь вместе с немецкими солдатами, в самом хвосте, и повар, как правило, нам тоже бросит что-нибудь. Чаще всего давали сладкий суп и пудинг. Бывало, конечно, что отгонят. Но никогда не били. Наступал уже сорок четвертый год, и немцы стали другими.

А совсем неподалеку от нас поселился немецкий офицер. Мы раз катались на санках с горки. И вдруг он мимо. Остановился, попросил, чтоб мы его тоже прокатили. Дали мы ему санки, и он съехал с горки разок. А потом позвал нас всех к себе, угостил яичницей со сковородки и конфетами. У них были конфетки наподобие нашего «Спорта»: набор кругленьких леденцов в тюбике. Вкусные ли? Так нам в ту голодуху все было вкусно!

А. Г. НИКОЛАЕВ.— Главным снабженцем в семье был я. Маме из дома выходить было нельзя: какое рванье ни надень — молодость и привлекательность от фашистских солдат не укроешь. А Генка, мой братишка, еще маленький. Летом я ходил из нашей деревни в Лугу напрямик, через лес. Но зимой идти по лесу было равносильно смерти: с дороги тебя видно на белом снегу издалека, а немцам всюду мерещились партизаны, могли пальнуть на всякий случай, и поминай как звали. Между тем путь до Луги неблизкий — десять километров. Пока доберешься, пока по самой Луге дотопаешь до рынка, такого насмотришься, такого натерпишься!.. Кругом офицеры, патрули. Молодые партизаны, комсомольцы, повешенные на столбах. Чуть кто покажется немцам подозрительным, тут же: «Партизан!» — и волочет в комендатуру. Там разберутся.

Меня сколько раз так чуть не взяли. Идешь себе, а какой-нибудь вдруг: «Партизан!» Но я мгновенно: «Нет, господин офицер!» И быстренько достаю из-за пазухи свою метрику, в которой написано, что я с тридцать первого года, еще маленький. Ну, а уж если завидел полицейского с бляхой на груди — бежишь без оглядки, только бы с его глаз долой. Этим лучше вообще не попадаться, не отвертишься.

Или — облава. Трижды попадал я в нее прямо на рынке. Они что делали? Когда полный рынок народа, закрывают ворота и хватают всех, кто им нужен. Особо охотились за подростками. Напихают целую колонну, потом на станцию, в телятники, а там — в Германию, на каторгу. Два раза я проштыгнул, чудом ушел. А в третий — некуда. И вдруг гляжу: заборина отбитая, и пацан какой-то шасть туда. Я, недолго думая,— за ним.

Короче, пока в этой Луге продашь что-нибудь, сколько раз рискуешь попасть в Германию или на тот свет — не сосчитать [1].

А уж дороговизна была на рынке! Краюха хлеба с детскую ладошку стоила десятку или одну марку. Сперва-то были наши, советские деньги, а потом — марки, но не рейхсмарки, а оккупационные, специальные [2]. Продавали же на рынке в основном всякую ерунду — яйца, молоко, картошку, разные обноски. Во-первых, потому, что ничего ценного и не было, а во-вторых, глухое это дело: чуть что получше — немец приметит и отберет.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА ПУСИНА.— Конечно, деревень по России не сосчитать, но наша довольно известная: Рамушево. Село старое, большое, стоит на берегу Ловати, в начале древнего пути из варяг в греки. Перед войной было дворов триста, свой Дом крестьянина, больница, в самом центре высокая церковь. Но после Победы все пришлось отстраивать заново. Бои в наших местах шли жестокие, долгие — не уцелело почти ничего.

Большую часть войны мы прожили в глубоком тылу. Но, как и многим миллионам людей, туда нам надо было еще добраться.

Летом сорок первого дом наш в Рамушево сгорел. До основания. А баня еще стояла, она маленькая. Но однажды загорелась и баня. Мы с Наташкой как раз сидим на полке, молимся Богу, как нас научила бабушка:

— Господи, помоги, пожалуйста (главное — *пожалуйста*, смех, мы ведь прежде-то никогда не молились, не знали, что надо говорить), помоги, пожалуйста, чтобы наш папочка вернулся с войны целый и невредимый!

И в этот самый миг как ударит! И баня загорелась.

Бабушка кинулась тушить огонь, ее тут же ранило осколком. В живот, самое мучи-

---

[1] В нацистской полиции и жандармерии на оккупированных территориях служило 18 тысяч человек.

[2] О соотношении зарплат и цен на оккупированных нацистами территориях Советского Союза дают представление следующие данные. Заработок квалифицированного рабочего на Украине составлял 400 рублей в месяц, бухгалтера — 500, машинистки — 400 рублей. Специалистам из числа интеллигенции гитлеровцы платили от 900 до 1500 руб. Между тем в частных столовых и ресторанах (а других просто не было) в Киеве, Курске и некоторых других городах чай без сахара стоил 2 рубля, второе блюдо, в котором подавалось 50 граммов мяса,— 12 руб. По распоряжению Курской городской управы были установлены твердые рыночные цены: 1 килограмм ржаной муки — 55 руб., пшеничной — 70—100, 1 кг масла — 300 руб., сахара — 200, пачка махорки — 30 руб., дамские туфли — до 2 тысяч руб., мужские сапоги — 4 тысячи руб.

тельное ранение. Двое суток она страдала, а потом умерла. Надо хоронить. Но до кладбища километра полтора, бои идут страшные, не прекращаясь. Какие там похороны...

Мама положила бабушку — у нас на глазах! — рядом со сгоревшей баней, завалила первым снегом осенним, и бабушка пролежала там с неделю, пока не утихли бои. Через неделю мама откопала бабушку, поместила на санки, привязала к ним веревкой и повезла на кладбище. Без всякого гроба. Где было его взять?

Страшно ли нам было с Наташей, что бабушка лежит мертвая в снегу? Нет. Мы еще как-то не понимали всего этого, ну смерти-то. Мы больше боялись обстрела, бомбежки, потому что грохот жуткий, земля трясется, будто сама вздрагивает от ужаса.

Когда бабушку удалось наконец похоронить, мы сразу побежали из деревни в лес, в окопы. Отошли уже порядочно — снова обстрел. Мама бежит и несет на руках двухлетнюю Наташу, я, четырехлетняя, семеню сзади, ору, потому что не поспеваю, да еще одна галоша теряется у меня постоянно. Мама немного пронесет Наташу, посадит на землю и обратно за мной. Едва она возьмет сестру и помчится вперед, я прямо захожусь вся: «Мамочка! — кричу.— Не оставляй меня! Я тоже хочу жить!» Мама в очередной раз хотела посадить Наташку, чтоб вернуться за мной, наклонилась, и тут пуля ей — раз! — оторвала кусок пальто вместе с пуговицей. На маме была плюшевая такая пальтушка, какие носили тогда все деревенские бабы. Эта пуля, в общем, как вырвет ей кусок пальто, она так и села на землю от испуга. Ведь еще бы чуть-чуть, и в нее б угодило.

Ну и конечно, потеряла я обе галоши. А галоши — это была такая ценность! Маленькая-маленькая, но уже соображала. Дай, думаю, поищу. И страх жуткий, и боязнь за свое богатство — все сразу. Мама заметила, что я ползаю в поисках галоши, заорала на меня: «Не смей! Беги!» В общем, когда мы все втроем свалились в окоп, он показался нам родным домом. Все-таки надежное укрытие.

В окопе жили долго. Он был большой, и набилось туда людей, как селедок в бочке. Матери, старухи, дети... Неподалеку оказалась немецкая часть. Если затишье, немцы приходили по лесу к нам, просили попить, и женщины наливали им кружечку молока — коров ведь тоже перетащили из деревни с собой.

Никаких зверств или обид со стороны немцев мы не знали. У нас даже появился среди немцев свой знакомый — худенький маленький солдатик, мальчишечка еще совсем. Звали его Ганс. Придет, сядет и объясняет маме: «Мутер... Я бы тоже хотел на рождество к своей матери. Война ист нихт гут». Это я так, больше по-русски передаю его слова, а на самом деле он изъяснялся главным образом на немецком и жестами, по-нашему знал всего несколько слов.

Однако понимали мы его хорошо. Чего ж тут не понять? Простой парнишка, такой же, как мы, и мечты у него были самые простые, естественные.

Мама ему: «Молочка хочешь парного, Гансик?» — «Я, я,— кивает.— Данке». А если получит посылку от родных, угощает шоколадом, еще там чем-нибудь. Мирный-то мирный, но мама все равно относилась к Гансу настороженно: мало ли что. А Наташка, та быстренько записала Гансика в свои закадычные друзья. Только он объявится, заберется к нему на колени и давай расспрашивать: «У тебя мама хорошая? А папа у тебя какой?» Он ей в ответ лопочет чего-то, все больше: «Гут. Гут». Мы с мамой плохо разбирали, а эта малявка так скоро запомнила многие немецкие слова, что не только понимала почти все, но даже стала болтать на ломаном немецком.

Но вдруг однажды наш Гансик пропал. Не приходит и не приходит. Как раз перед тем развернулись сильные-пресильные бои, наши стали наступать, пошли лупить из пушек, из «катюш». И мы решили: погиб наш Гансик. Сколько их там полегло, немцев!.. Сколько лежало их убитых в лесу! Шагу не ступить. Уже после войны пойдешь в лес по малину и — по черепам, по косточкам прямо... Местные в конце концов не выдержали, стали собирать эти останки, закапывали. Останки немцев закапывали просто так, в яму и все, а ведь там и наших полегло будь здоров. Сейчас вокруг Рамушева целое кладбище братских могил! Это наши лежат, а над немцами и бугорка нет. Что наделала война...

Да, нас немцы не трогали, но врезалось в память, как шли длинной колонной солдаты. День и ночь. Наши пленные. Вот над ними фашисты зверствовали: расстреливали сотнями на берегу Ловати, и потом по реке текла красная вода. Может, немцы принялись бы и за женщин, ребятишек, да выручила Красная Армия. Весной сорок второго ворвались наши солдатики и отправили нас всех в тыл, далеко на восток.

Нашу корову Зорьку приказали сдать советскому командованию. Взамен выдали бумажку, что такого-то числа от таких-то получена корова. Все как полагается. Эту расписку мама хранила вместе с остальными нашими документами, в ней была самая большая наша ценность. И представьте: в эвакуации нам действительно выдали по той бумажке другую корову!

Везли нас сперва на подводах до Старой Руссы, а там погрузили в теплушки. Тащились на поезде еле-еле, большей частью стояли, пропускали встречные эшелоны с танками, пушками, войсками, попутные — с ранеными. Иногда загонят куда-нибудь в тупик, и стоим несколько дней кряду. Ни помыться, ни постираться. У всех вши, у ребятишек вдобавок чесотка. Да холодно, потому что мы за зиму в лесу окончательно пообносились,

а до лета еще далеко. У многих ноги были обернуты просто какими-то тряпками. Если останавливались на станциях или около селений, то местные помогали хотя бы детям. Вот и мне подарили лапти. Я сама, хоть и деревенская, но до того никогда не носила лаптей, у нас в Рамушеве это было не принято. А тут обулась, и так мне в них понравилось! Специально детские лапоточки. Пела и приплясывала:

Трам-ба-були! Трам-ба-були!
Зинку в лапотки обули!

И счастье было такое, какого, наверно, потом мало довелось испытать в жизни.

Долгое путешествие очень нравилось всем ребятишкам в нашем вагоне. По стенам полати, в середине вагона — чугунка, а между досками — щели, через которые можно смотреть, что проезжаем — леса, поля, речки, мосты, станции... После целой зимы в лесном окопе этот вагон казался отличным домом.

Только раз мы смертельно перепугались. Остановили нас где-то посреди поля, и разнесся слух, что неподалеку стоит амбар и в нем льняное семя. А есть-то нам было уже совсем нечего, голодали. И наши матери решились обокрасть тот амбар. Только напихали они свои торбы доверху, тут их и засекли. Заарестовали всех до единой. Сказали: гиблое ваше дело. Потому что война и законы военного времени: за кражу государственного имущества, что является подрывом боеспособности страны,— самая суровая кара.

Мы сидим в вагоне своем, ждем-ждем — никого. Изаелись аконец. А ну как эшелон тронется?! Что мы тогда одни, без наших мамок?! Плач, крик стоял в вагоне страшный. Выли, как зверюшки. Будто режут нас. А ведь и резали, потому что одним нам в такой дороге неминуемая смерть. Потом уже мама рассказывала, что и они там, матери наши, закатили такой концерт! И Богу молились, и просили прощения, и объясняли, что ребятишки ждут одни... Насилу уговорили, отпустили их. Из-за детей, конечно. Даже не взяли никакого штрафа. Впрочем, какой мог быть штраф, все уже забыли, как они выглядят, деньги-то. Ну, а наворованное, само собой, отобрали назад, до семечка.

Два месяца тянулись мы до Омска. Выгрузились на Омском вокзале. Взрослые думали: все, приехали, слава тебе, Господи. Но нет, посадили нас на открытую платформу и снова повезли — в область, в самую глубинку. Это было ночью. Матери укрывали детей чем только могли. С себя кое-что поснимали. Едем: ночь, укачивает, стали задремывать. И тут дикий вопль: «Горим!» После того, как у нас сгорел дом, потом — баня, от одного этого слова «горим!» останавливалось сердце. Глянули, и точно — пожар! Искры с паровоза попали на одежду, а она ветхая, занялась мгновенно, да еще раздувает огонь встречным ветром. Тушить, естественно, нечем, пришлось все, что из одежды загорелось, побросать с платформы. Когда мы наконец добрались до нужной станции, то окоченели на ночном ветру так, что нас уже можно было скидывать на землю, как дрова. Да вдобавок покрытые коростой грязи, чесоткой, исхудавшие, в лохмотьях...[1]

А. Г. НИКОЛАЕВ.— В начале сорок четвертого погнали немцев из-под Ленинграда. И вот, когда уже стали слышны наши пушки, ночью двое обходят избы — один из власовцев, а другой не помню кто. С приказом: рано утром собраться всем до единого у бывшего правления колхоза, придут грузовики и деревню эвакуируют в немецкий тыл.

Начали взрослые судить-рядить. Большинство за то, что с фашистами смерть не слаще, но если уж помирать, так на своей земле. Однако есть и сомневающиеся. Но один старик сказал твердо: «Всем в лес!» И ушли всей деревней, до единого. Там уже заранее были приготовлены землянки, на всякий случай. Сами наши деревенские копали их в свое время. Вот он, этот случай, и приспел.

Только пришли, устроились, мама хватилась: все документы в спешке да волнении оставила дома. «Сбегай,— говорит.— Только осторожно». Что делать? В войну без документов никак нельзя. Прибежал обратно, разыскал документы. Уже как раз светало. Чуть-чуть, еле брезжит. Сунулся на улицу — немцы. Успели оцепить деревню, не пускают. Я им объясняю: «Мне на Псков надо!» А Псков — это в противоположной стороне от фронта. И еще, для верности, с опаской махнул рукой назад: «Там русские!» — «Я, я»,— отвечают. Дескать ладно, дуй. Доверчивость? А может, просто пожалели: черт с ним, пусть живет. Хоть этот запомнит, что мы, немцы, не звери, что и у нас есть сердце. Спускаюсь с горы, гляжу: прет немецкая самоходка. Прямо на меня! Я — в снег, зарылся под кустом. Ну, думаю, сейчас накроет. ...И — самое удивительное: полнейшее безразличие во мне, даже какое-то отупение. Огромная самоходка летит на меня, а я лежу совершенно равнодушно, даже будто сонливость напала. Почему?! Ведь это чудо, что немец проскочил совсем рядом, не по мне!

---

[1] Многие дети, вывезенные из освобожденных городов и деревень, были тяжело больны. Например, в Приволжском районе Саратовской области в детском доме № 1 из 320 воспитанников 103 были больны туберкулезом. В детском доме № 4 города Туркестана Казахской ССР в 1944 году 100 из прибывших с оккупированной территории 480 детей были истощены до полного упадка сил.

ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ ЕФИМОВ.— Канонада все ближе, наши подступают. И вот в один, как говорится, прекрасный день — и вправду прекрасный! — немцы быстренько собрались, сели в свои машины и уехали. А один офицер перед тем зашел к нам на двор и объясняет: мы уходим, но, пока рус придет, будут еще другие немцы, и эти все пожгут, мешок зерна (у нас как раз стоял небольшой мешок зерна) прячьте в землю, а то и его сожгут. По-русски он не умел, только по-немецки да знаками. Но мы поняли. Все ж таки немцы стояли у нас три года, было время научиться.

И верно: следом появились шестеро. Один — офицер в черной форме, остальные — власовцы. У нас там лес рядом с деревней, они сперва постреляли по лесу — никто не отзывается. Тогда... сноп соломы зажигают и бегом от одной избы к другой. Крыши соломенные, так они сунут под стреху и — дальше. Сельсовет покрыт дранкой, его так не зажжешь, один власовец забрался наверх, раздолбал там прикладом в одном месте и пихнул огонь внутрь. Еще подождал, когда разгорится, чтоб не лазать два раза.

А мы, вся деревня, сидели в окопах. Это все у нас на глазах! Было б у меня оружие, я б их прямо из этого окопа, всех шестерых. Но у нас в окопе только бабы да детишки, откуда оружие? И потом — страх был жуткий. Боялись, не только деревню — нас самих пожгут или расстреляют. Ведь они как эта зондеркоманда? Сперва обходили по дворам: стреляли скот, выгоняли людей. У нас овцы бежали, теленочек бежал — всех расстреляли (корова-то была спрятана в лесу). Я вывел отца на порог. Немец нацелил в нас автомат, а перед ним кто? Мальчонка маленький — мы всю войну сидели впроголодь, и в свои тринадцать я, наверно, тянул лет на десять. А еще — слепой: отец в первую мировую войну после газовой атаки лишился зрения. Подержал этот немец автомат и пошел.

...Вот так мы сидели в окопе, а наша деревня пылала, пока не сгорела дотла. И вдруг — уже ночью — слышим: повозки едут, разговаривает кто-то. По-русски говорят-то! И такая радость сразу! Прямо не знаю, как передать. Такая радость, и вылезти из окопа боимся, потому что темно, не видно — ну как снова какие-нибудь власовцы? Но вот рассвело, видим: наши! наши едут! Тут такое началось: и смех, и слезы — все вперемешку. Один командир подъехал верхом на лошади, мальчишку нашего поднял, посадил к себе и даже провез немного. Дедушка был совсем старенький, стоял в лаптях по колено в грязи, мокрый — осень ведь,— так ему выдали тут же сапоги. Понимаете: встретились родные! Да еще после такого, после всего...

И тут приводят тех, что жгли вчера нашу деревню, стреляли нашу птицу, скот. Не успели сбежать, сволочи. Хотели их, наверно, только показать народу, чтоб удостовериться — те или не те. Но у наших было столько зла на этих выродков! Женщины как набросятся: кулаками лупили, ведрами, чем попало. Если б не наши бойцы, забили бы насмерть.

М. Т. МЕРГАЗЫМОВА.— От нашей деревня после немцев осталось одно пепелище [1]. Жили в землянках. Нам досталась крохотная-крохотная. Днем в ней еще ничего, а ночью... Не спали почти, забудешься немного и снова... Мама так вообще не смыкала глаз. Потому что столько было крыс! Полчища! Они нас донимали хуже фашистов, ей-богу!

Мама нашла какое-то растение с длинными колючками и развесила его в нашей земляночке наверху по бревнам. Вечером или ночью пойдет крыса, наколется и — шмяк! — на нас. Ужас прямо! Мама по ночам всегда держала при себе молоток. Так она эту крысу сразу молотком, молотком!

В. Н. ЕФИМОВ.— Мать стянула мне иголкой брючишки из какого-то полотна, белые такие. Еще пиджачишка была у меня рваная. А на ногах лапти. Что было, мы все сносили за войну, а новое в оккупации где купишь? Когда наши вернулись, взрослые хоть могли достать что-нибудь у бойцов, а детям где возьмешь? Вот и ходили, как пугалы.

М. Т. МЕРГАЗЫМОВА.— В школе ведь нельзя без того, чтобы не писать. А чернил после оккупации было не сыскать по всей Белоруссии днем с огнем. Придумали делать их из свекольного сока. Пишешь, пишешь, а они уж закисли, чуть не бродят — выльешь и готовишь новые. Темно-красные такие, жиденькие...

Другая проблема — на чем писать. Тут тоже был целый производственный процесс. Находили в старых окопах всякие коробки. Сперва этот коробочный картон размачивали, потом каждый слой аккуратно отдирали друг от дружки и высушивали на печке. Выглаживали и мастерили из серых обрывков тетради [2].

К. Т. РОМАНОВА.— Мама у нас умерла в тридцать седьмом от чахотки. Папа остался с двумя девчонками на руках: Вале пять, а мне два годика. Поехал он с нами из Луги, где мы жили, на свою родину — в деревню Зайцево Гатчинского района. Там ему и сосватали вдову, которая была старше его на одиннадцать лет.

Через два года как раз началась финская война, и папу призвали. Он даже не успел демобилизоваться после ее окончания, как началась новая, с немцами. Только заехал к нам попрощаться. Все, что помню о папе,— это как мы его провожали до Гатчины: я сидела у папы на руках, и он был абсолютно лысый. Уже после войны зашел случайно разговор, и мама (мы с Валей привыкли так называть мачеху) говорит, что у папы были черные волосы. Я удивилась: «Как черные? Он ведь был совсем лысый!» А оказывается, он просто брил голову, так было принято в ту пору среди военных.

Когда нас уже освободили из-под немцев, мама писала, пыталась узнать, что с папой, где он. В конце концов ответили его однополчане: умер от ран и похоронен в лесу северо-западнее чего-то. А чего северо-западнее? В каком лесу? Не знаю. Потому что мама сожгла все наши документы, в том числе и то письмо, а мы с сестрой были еще малы, чтобы разбираться в таких вещах, запомнить что-нибудь из написанного папиными однополчанами.

Сожгла мама документы и письмо по случайности. После войны ведь ничего не было, и замков — тоже. Поэтому, когда мы уходили куда-нибудь, мама на всякий случай сумку с бумагами прятала в дымоход. Как-то раз вернулись, и она, забыв, затопила печку. Когда хватилась, было уже поздно.

Мама была женщина суровая. Ласки мы не видели от нее. За провинности — иногда даже совсем невинные — била нас. По хозяйству мы с сестрой всегда работали много, поднимались ровно в четыре утра. Но любила нас мама по-настоящему, как родных. В годы оккупации, в такое голодное время, растила, кормила, обеспечивала чем только могла, боролась за нас... И после войны, в той-то нищете, несладко ей с нами приходилось, с двумя девчонками. Если задуматься, у нее судьба была очень тяжкая. После первого замужества не осталось детей, зато второй раз вышла практически за двух девчонок-малолеток, потому что нового мужа почти не видела — сперва ушел на одну войну, потом сразу на другую, погиб, а ей вот наследство.

ЕФРОСИНЬЯ ИВАНОВНА ДЕГТЯРЕВА.— К июлю деревня опустела: мужчины, парни ушли на войну. Из нашей семьи — двое: папа и мой старший брат Виктор. А когда фронт стал подкатывать к Ленинграду, остались и вовсе дряхлые старики да детишки: трудоспособных женщин отправили под Кириши на оборонительные работы.

Вернулись женщины в августе, потому что немец прорвался. Вышел приказ: срочно эвакуировать колхозный скот. Только потом, наконец, дошла очередь и до нас самих. Но пока складывались, грузились, запрягались — упустили последнее время. Притащились мы на станцию, а там уже все дома заколочены и дороги перерезаны немцами. Пришлось повертывать в свою деревню Липовик. До войны она была довольно большая, но сейчас ее нет совсем: дома сгорели в боях, большинство женщин и детей поубивали фашисты, а мужчины полегли на фронтах. Некому было поднимать нашу деревню после Победы. Пять деревень в округе исчезли, как не бывало! Недавно — в восемьдесят пять лет — мама подхватилась: «Поеду, погляжу, а вдруг найду чего». Съездила, ничего нет — голое место.

В общем, вернулись к себе, а следом и немцы. Заявились, будто в свою вотчину. Согнали население к сельсовету, и первая команда: выметайтесь из домов в бани! Вой поднялся жуткий. Но у них без разговоров: не хочешь — ступай на тот свет! Нашу семью выкинули чуть не первыми, мама едва успела прихватить самое необходимое. Потому что дом-то отец поставил на хорошем месте, на пригорке, и сам домяга был добротный, видный, хоть и деревянный, в один этаж, но построен капитально — фундамент на самородных камнях. Слава Богу, баня была у нас прочная, большая. Семья папиного родного брата жила рядышком, а баня общая. Вот мы и поселились в ней вместе: нас четверо ребятишек, да еще шестеро двоюродных братьев и сестер, да обе наши мамы. Всего — двенадцать человек.

Со всех дворов немцы вывели коров подчистую, два дня гонялись за курами, пока не переловили всех до единой. Так что осенью ели мы что росло на ближайших грядках — картошку, лук, морковку, а зимой — что сумели запасти, то есть вдобавок к тому же рожь. Они б не только скот и птицу, но и остальное поотбирали, да больше нечего было у нас грабить, деревня до войны жила бедноватенько. К тому же, когда припер фашист к самой Ленинградской области, те, кто был хоть чуток посостоятельней, закопали свое добро. Оно лежит в земле по сей день. Поумирали хозяева-то в сорок втором — сорок третьем, некому выкапывать.

---

[1] К концу войны 25 миллионов человек в стране остались без крова. В землянках приходилось не только жить. Так, в Псковской области в последний военный учебный год в землянках работали 23 школы.

[2] 82 тысячи советских школ, бо́льшинство из которых имели свои библиотеки, кабинеты физики, химии, биологии, оснащенные приборами и инструментами, захватчики разграбили, разрушили или сожгли. В 1945 году Министерство просвещения РСФСР отправило школам Белоруссии 1 млн 200 тыс. учебников и более 3 млн. тетрадей, но эта экстренная помощь не могла коренным образом улучшить положение: в том, победном году в Белоруссии сели за парты 1 млн.337 тыс. школьников, значит, на каждого в среднем было получено меньше трех тетрадок и меньше одного учебника.

Немцы относились к нам, словно к приблудным собакам. Только и слышишь: «Рус — швайн!» Что не по-ихнему — сразу плеткой: старуха, женщина, малый ребенок — им все равно. А если заподозрят в связях с партизанами — верная смерть. На всю деревню оставался у нас один мужик — лет сорока пяти, инвалид, негодный к военной службе. Так они вмиг посчитали его за партизана: раз еще молодой и не взят в Красную Армию, значит оставлен специально, в подполье. Согнали всю деревню и повесили у нас на глазах. И опять: не плач, а именно вой стоял над деревней. Но выли уже в платок, а кулак. Боялись.

Мы ведь всю первую зиму носа не высовывали из бани! Только мамы наши — за водой. Выйдешь подышать хоть немного на порог, а по всей деревне какое-то цоканье — то ли у них подковки железные, то ли оружие так заякало... Все они были какие-то металлические, немцы.

...Нет, вру — выходили мы из бани. Редко, правда, но выходили. Неподалеку от деревни работали наши пленные. Что уж там заставляли их фашисты делать — не знаю. Помню только, что запускали нас, ребятню, к пленным, и мы совали им узелочки — картошечки чуть-чуть, хлебца, варежки, носки самодельной вязки. Женщин охрана не пускала, а на детей смотрела сквозь пальцы.

Была и еще нужда для дальних вылазок. Мама вместе со старшими девочками — я была младшая, меня не брали — ходили хоронить наших солдатиков [1]. Срезали смертные медальоны. Чего только не пришлось пережить нам в следующие несколько лет, а все равно мама каким-то чудом схоронила где-то все эти «смертники». В самом конце войны и уже после нее мама со старшими сестрами каждый вечер писали по адресам тех погибших: ваш такой-то, пал, защищая Родину, и похоронен рядом с деревней Липовик Киришского района Ленинградской области.

Ну да и немцев набили в наших местах немало. Только не в сорок первом, а уже в сорок втором. Ой, что тут у нас началось тогда! Зиму ютились в банях, у фашистов под каблуком, и не чаяли, не гадали, что выпадет нам еще худшее. Да и куда, казалось, хуже-то! А как пришла весна...

Партизаны и по снегу еще частенько налетали на нашу деревню. Выскочат, как из-под земли: бах-бах! — пронеслись вихрем и скрылись. Но чем ближе к теплу, тем чаще стали эти набеги, уже не только с винтовками, но с пулеметами да целые бои, подолгу. И партизаны, и весь фронт готовились к попытке прорвать блокаду Ленинграда. Мы узнали об этом из листовок, которые сбросил ночью наш самолет. В листовках было сказано: уходите из деревни, прячьтесь в лесах, эта местность будет подвергнута бомбардировке. Надо сказать, что партизаны всегда очень заботливо относились к местному населению во время боев. Дома, где жили гитлеровцы, были изрешечены пулями, осколками, как сито, а наши баньки стояли здоровехоньки. Однако бомба — не граната, ее так точно не кинешь. Надо уходить. Но немцы тоже грамотные, они тоже прочитали эти листовки. Враз оцепили всю деревню, никого не выпускают. Ждем с часу на час, все наготове, спать ложимся, не раздеваясь. Нервы у всех на пределе. Ну, когда же? И вдруг однажды посредь ночи, ближе к утру,— гул самолетов. Земля сразу — ходуном. Выскочили из своих банек и — в поле. А за нашими спинами полыхает уже вся деревня. Один сплошной пожар! Лежим в поле, вжались в землю, а она твердая, еще ледяная, будто мертвая. Это было второго мая сорок второго года.

Сидим на поле, и никто не знает, что делать дальше. В лес уходить — немцы заметят, перестреляют. Обратно в бани — так там не осталось ничего, одни руины.

Фашисты решили за нас. Подняли прикладами и погнали, как скот, на станцию. Там напихали в товарняки, привезли в Тосно и оттуда гнали по дороге километров десять. Некоторые надеялись, что нас поместят в какую-нибудь опустевшую деревню, из которой люди — не то что мы — успели летом сорок первого уйти на восток. Пустые мечты! В лагерь нас гнали! На смерть!

Там было большое поле, опутанное четырьмя рядами колючей проволоки, и посредине на поле дощатые бараки. Внутри колючки — женщины, старые да малые, а снаружи — охрана с автоматами и пулеметами [2]. Раз в сутки привозили еду: баланду и хлеб. Баланда — прокипяченная с картофельными очистками вода. Хлеб — маленький кусочек, едва ли больше спичечного коробка, пополам с песком.

---

[1] За первые три недели боев, то есть уже к середине июля 1941 года, из 170 советских дивизий более 70 потеряли половину своего состава.

[2] В оккупированных странах Европы, а также в самой Германии имелось 55 концлагерей и лагерей уничтожения, 1082 их филиала, 7205 трудовых лагерей, 371 переселенческий и транзитный лагерь, 2071 тюрьма, 506 гетто, 2663 лагеря для военнопленных и 80 лагерей военно-строительной организации Тодт. Всего 14 033 пункта. В заключении содержались 18 миллионов человек, 11 миллионов из них погибли, 7 миллионов из этих одиннадцати были советскими мирными гражданами.

Голод не тетка. На окраине поля виднелась вдалеке деревенька. Собралось нас пять-семь ребят и отправились ночью туда. Мы маленькие, худенькие, нас фашисты не заметят. Тайком подлезли под проволоку и ползком-ползком. Насобирали на огородах всякой мелочи, что оставалось после того, как хозяева осенью копали картошку, и назад. Да такие радостные, увлеченные своей добычей, что забыли про осторожность, стали подлезать под проволоку все вместе, гурьбой. Тут и засекла нас охрана. Как дали по нас строчку с автомата! Одного мальчика тяжело ранило в живот, он закричал диким голосом, совершенно нечеловеческим, и тут же затих. А мы, как бисер, скорей-скорей-скорей — прошмыгнули под оставшимися рядами колючки и по своим баракам.

Всё, больше матери нас не отпускали. Первое время кое-кто из ребят еще рвался в новый поход за картошкой, но очень скоро и эти успокоились. Мы превратились в тень: никто не мог ходить, ползали на четвереньках, словно нам и годика еще нет. Ослабели с голодухи — не встать. И тогда одна молодая женщина — у нее была маленькая дочка — решилась пойти сама. Ей удалось выскользнуть наружу незамеченной, она даже насобирала какую-то милостыню и уже почти пробралась обратно, но тут ее заметил патруль. Заорали что-то по-своему, до нас только доносилось: «Хальт! Хальт!» И тут же из автомата по этой женщине! На виду у всего лагеря.

Вторую военную зиму помню совсем смутно. Мы отупели от истощения, находились в каком-то полусне. Лежали, прижавшись друг к другу, чтобы хоть немного было теплей. Лежали, обессиленные, неподвижно. По нам копошатся полчища вшей, кусают, лезут в уши, в нос. Вдобавок начался тиф.

К следующей весне почти весь лагерь был мертв. Из нашей деревни уцелела дай бог чтоб десятая часть. В том числе и наша семья, да причем целиком! Но и мы бы наверника поумирали в конце концов, если б не понадобились немцам. Блокада к тому времени была уже, как известно, прорвана, и дела у них под Ленинградом шли хуже некуда, требовалась рабочая сила. Вот тут мы, видно, и пригодились. Нам прибавили паек. Появились пакеты не то с маргарином, не то с каким-то жиром. Хлеба стало побольше. Баланду варили уже из конины, верней — из лошадиных костей. А там пошли первая травка, первая крапивка... В общем, ожили понемногу.

Едва немцы заметили, что мы вновь способны кое-как передвигаться, принялись гонять нас на лесопильный завод. Взрослым работу потяжелей, а детям — перетаскивать доски, опилки. Поскольку работали мы отдельно от матерей, то и охрана была у нас своя — Юзеф и Вилли. Юзеф — тот еще ничего, а Вилли — вылитый садист. Утром ворвется и плеткой со всего маху — направо, налево: «Рус! Вставай!» И потом на работе лупил почем зря. Лицо злое-презлое, сам высокий, белобрысенький, худенький такой, а силища в руках... Или нам казалось, что он сильный, ведь, ослабевшие, мы даже не могли толком увернуться от его плетки.

Ни газет, ни радио никто из нас, конечно же, не видел и не слышал, но и без них к осени сорок третьего всем было ясно: немцу скоро конец! Потому что в небе их самолетов все меньше, а наших — наоборот: стаями так и летают, так и летают, не таятся, смело. И тогда у нас появилась надежда.

Но в октябре охрана неожиданно выкинула всех опять на дорогу и тем же путем погнала в Тосно. Там забили в товарняк — нас и оставалось-то человек тридцать-сорок,— и снова в путь. Выгрузили неподалеку от Великих Лук. И опять барак, опять страх, гаданье: убьют ли, повезут ли дальше, как спасаться? Вдруг темной ночью осторожный стук в стену барака. Открыли тихонько: молодой парень, видный такой — яловые сапоги, ватные брюки, телогрейка, шапка теплая с красной полосой спереди... Партизан! И в руках — буханка хлеба, настоящего, домашнего ржаного хлеба! «Нате,— говорит,— ешьте, товарищи! Только не шумите так. Завтра освободим вас, тогда поставим на постоянное довольствие». И все это по-деловому, буднично. Мы, само собой, сразу: «Как освободим? Когда?» А он успокаивает: «Тихо! Тихо! Завтра как пойдет бой, чтоб никто отсюда не выходил, пока сами не скажем. Такой приказ командира».

Наверно, никогда — ни до того, ни после — каждый из нас не ждал следующего дня с таким нетерпением. В бараке были маленькие зарешеченные окошечки, так их все облепили еще затемно, не пробиться. Следили с самого рассвета, а все равно не успели заметить, как буквально рядом с нами, по другую сторону проволоки, выросли два партизана. Да как побегут, как начнут строчить с автоматов! А за ними по дороге пехота. Следом — танки. На первом танке — красный флаг! Рев танковых моторов, пальба из всех видов оружия, но громче всего — крик: «Ура-а-а!» И мы тоже закричали: «Ура!» Невозможно было молча наблюдать все это после того, что мы пережили.

Бой быстро откатывался куда-то дальше. Дверь в наш барак распахнулась настежь, и мы очутились в объятьях партизан. Рослые, плечистые, щекастые парни. Никого из них мы не знали раньше, но целовали, обнимали, как самых родных на свете. Да так оно и было. Ведь благодаря им мы заново родились.

А вокруг-то что! Батюшки-светы! Гитлеровцы убитые валяются, как сжатые снопы на поле. Шагу не ступить. ...Но не все, оказалось, убитые. Один лежал легко раненный, не заметили, как он осторожно вытянул из кобуры пистолет и ба-бах! Ранил одну из наших

девушек, ей было всего восемнадцать. Прямо в живот, смертельное ранение. Ну, немецкого офицера того, конечно, пристрелили на месте. Но разве этим можно было хоть что-то изменить? Как плакала, заходилась в крике мать той убитой девушки! Совсем недавно рядом умирали родные, и это не вызывало никакой реакции, потому что отупели от безнадежности. Но после оккупации, лагерей, каторги — и такая нелепая гибель!

Деревня, рядом с которой немцы держали нас в лагере и которую теперь освободили, была разбита до основания. Жить в ней было абсолютно негде. Выдали нам со склада хлеб, американскую колбасу в высоких жестяных банках, сказали: «Идите на Великие Луки». И началась новая эпопея. Шли, качаясь от слабости, как трава от ветра. В истлевшей, разорванной одежде, полуголые. Хлеб, колбасу подъели быстро, а больше негде ничего взять — кругом настоящая пустыня.

Я ж ведь о чем мечтала тогда все время? «Господи, неужели когда-нибудь все станет на свои места!» Это не образно, а в самом прямом смысле, потому как у меня почти всю войну кружилось от голода перед глазами, постоянная карусель.

В Великие Луки дотащились на одном желании жить. А там... То же самое: от города не осталось камня на камне, все порушено в боях. Войска живут в окопах, рядом, в окопах же,— мирные жители. И вот эти люди стали брать нас к себе. Сами ютились, как мыши по норам, голодали, но готовы были делить с нами последнее.

Через несколько дней нас посадили на военные грузовики, потому что идти сами мы уже явно не могли, и повезли еще дальше в тыл — в Торопец. И там сплошные развалины. Что делалось на земле! Ни городов, ни сел — руины! И нет людям нигде места. Мне казалось тогда — везде так, на всей земле [1].

Кто-то из начальства связался с Калинином. Он тоже был освобожден недавно, но калининцы ответили: «Привозите, разместим!» И ведь разместили! Выделили для нас — на тридцать-сорок человек — две большие комнаты. Как сейчас вижу: стоит мужчина в сапогах, галифе, гимнастерке без погон и говорит: «Вы, товарищи, не волнуйтесь! Пайки усиленные мы вам дали — это главное. А жилье... Поможем. Дайте срок. Впрочем, это и от вас зависит. Направим вас работать на стройку. Как будете строить — так и новоселье справите».

Точно: всех почти отправили на стройку. Кроме таких маленьких, как я. Меня поставили в столовую мыть посуду. Лет-то мне было к тому времени уже тринадцать, но с оккупационной кормежки я, наверное, не тянула и на десять. Какой-то мужчина поглядел на меня и сказал: «Эту — в столовую, хоть отъестся немного».

Ну, и одели нас. Я вошла в Калинин в огромных ботинах. Не в ботинках, а именно в *ботинах*! Мужские сапоги сорок какого-то размера. Причем не они на мне, а я в них. А тут выдали ботинки, правда, тоже, что называется, на вырост — тридцать седьмой размер, но плевать: тряпочку, бумагу напихаешь в носки и хоть пляши! Выдали еще пальтишко из солдатского шинельного сукна. А остальное — платье, белье — американское. Немало было тогда американского добра: обувь, продукты, автомобили...

Новая одежда, сапожки, столовая, в которой так замечательно пахло и всегда можно было есть сколько влезет, американский шоколад — все это было сказочное счастье после наших мытарств! А тут вдобавок еще одна великая радость... Наш столовский повар как-то спрашивает: «Фрося, как твоего отца-то зовут?» — «Иван Алексеич,— говорю.— А что?» — «А вот и то, что тебе от него письмо». И протягивает треугольник. Я растерялась. «Так он же у нас,— говорю,— погибший». Боюсь поверить, что отец живой, и в то же время тяну руку за этим треугольничком. Я ведь считала, что папы нашего нет уже. Война вокруг шла такая жестокая, столько людей гибло на наших глазах запросто, буднично — от шальной пули, осколка, от голода, тифа, оттого, что фрицу какому не приглянулся, и маме стало казаться: на фронте уж наверняка косит всех подряд. Она часто при виде чужой смерти, моментально вспомнив папу с Виктором, твердила: «Погибли! Погибли родименькие!» И вместе с ней в то же самое уверовала и.

А тут — письмо! Первое удивление — отец жив! Второе — как же это он разыскал нас? После выяснилось: едва папа узнал из сводок Совинформбюро, что освобожден Киришский район, сразу принялся бомбардировать письмами райисполком, райвоенкомат, райком партии: где моя семья? Ему сперва отвечали: деревня ваша полностью уничтожена, судьба семьи неизвестна. А потом вдруг весточка: они в Калинине! Потому что когда всех нас опрашивали, где мы в дальнейшем желаем жить, мама ответила: на родине, и об этом, видимо, известили Киришский райисполком, а тот уже на очередной отцовский запрос и сообщил наш адрес. Но почему папа написал именно мне? Это загадка. Может, потому, что я была самая младшая, а самых младших обычно больше всего любят родители? Вот ведь и прощался-то папа, уходя на фронт, со мной последней. Мы стояли около леса, он меня поднял, прижал к себе крепко-крепко, даже перехватило дыхание, и резко

[1] В Ленинградской области было полностью или частично уничтожено 20 городов, 3135 сел, деревень и других населенных пунктов, 90 процентов предприятий, разрушено 2,7 миллиона квадратных метров жилой площади и еще свыше полумиллиона сильно повреждено. В освобожденных районах области оставалось 442 тысячи жителей, примерно в четыре раза меньше, чем было до войны.

поставил снова на землю. У меня при этом упала шапочка, так он ее подхватил и нацепил мне обратно на голову. Тут же повернулся, зашагал от нас, а вперед не смотрел — назад смотрел, в нашу сторону, и махал, махал, махал нам рукой...

В общем, в июле сорок четвертого получили мы от папы первое письмо. Потом еще несколько. Отец воевал на Ленинградском фронте. Был зенитчиком, разведчиком. Ему было уже за сорок, но, деревенский, всегда отличался силой, здоровьем, даже три ранения не смогли сломить это здоровье.

В последнем письме папа рассказывал, что просился у командира в отпуск и тот обещал, но после того, как они захватят еще один плацдарм. «Сейчас,— сказал,— отпустить вас, Иван Алексеевич, не могу, вы только что отдохнули немного в госпитале после ранения. Но после успешного завершения предстоящей боевой операции я вас не только отправлю в отпуск, но буду ходатайствовать о вашей демобилизации, поскольку три ранения не шутка». Однако не было у папы ни отпуска, ни демобилизации: в том самом бою наш папа и погиб...

Долгие годы мы не знали, где его могила. Потому что бои тогда шли затяжные и павших было столько, что некому уже было вспомнить, кто где лежит. Неоднократно писала я в военкомат в Нарву — никаких результатов. Потом вдруг ответ: советуют написать в Кохтла-Ярве. Я — туда. И вот — уже в семидесятом году! — утром в понедельник иду на работу, открываю почтовый ящик: конверт! Да большой, с отпечатанным штампом учреждения, официальный. Вскрыла тут же. Глаза по строчкам пляшут: «Ваш отец Балдин Иван Алексеевич героически погиб за Советскую Родину. Похоронен...» И внизу подпись: полковник такой-то. Печать. У меня все плывет перед глазами. А из конверта сыплются фотографии... Мне стало дурно. Дворник как раз убирала лестницу, кричит мне: «Что с вами?!» Я стою, не могу ничего сказать, только слезы градом.

...А старший брат Виктор прошел всю войну, от корки до корки, Берлин брал. Вернулся живой. Но с нервами у него не в порядке. И у старшей сестры — тоже. Я считаю: война кого не убила, тех покалечила, пусть не пулей, не осколком, руки-ноги на месте, шрамов никаких, но сам человек весь как натянутая струна.



Димитрий Панин

«ЛУБЯНКА — ЭКИБАСТУЗ». ЛАГЕРНЫЕ ЗАПИСКИ

Главы из книги первой*

Судьба Димитрия Михайловича Панина в какой-то мере похожа на уже известные нам трагические судьбы российских интеллигентов его поколения, и все же читатель этой исповедальной книги многое прочтет в ней впервые.

Д. И. Панин родился в 1911 г. в Москве в семье адвоката. Во время первой мировой войны отец его стал армейским офицером. Предки Панина со стороны отца были стрельцами, мать принадлежала к старинному дворянскому роду. Путь в институт Д. Панину как «лишенцу» был закрыт из-за его происхождения, и по окончании техникума он с 17 лет работает на цементном заводе в Подольске рабочим. Однако параллельно он заканчивает заочно Московский институт химического машиностроения с дипломом инженера-механика и заканчивает аспирантуру. В 1940 году, перед защитой диссертации, его арестовали по доносу человека, которого считал другом и с которым вел доверительные разговоры в своей коммунальной квартире. Особое Совещание осудило его на пять лет исправительно-трудовых лагерей. Уже в лагере добавили еще десять «за подготовку вооруженного восстания». По окончании нового срока он был отправлен на вечное поселение в Кустанай, но в 1956 году, после смерти Сталина, вернулся в Москву и до пенсии работал главным конструктором в одном из НИИ.

Мы уже знаем, что сталинская машина порабощения не раз оказывалась бессильной перед людьми, сильными духом. Д. Панин — один из них. На каторге он не только не сломался, но, напротив, вышел на волю с твердым намерением помочь своим соотечественникам осознать, под каким прессом духовной угнетенности они живут, и помочь им обрести внутреннюю свободу. В своей книге Димитрий Михайлович подчеркнуто трезво оценивает свою жизнь, свои поступки, чтобы доказать, что атмосфера террора и деспотии неизбежно деформирует даже честных и порядочных людей. Его воспоминания — это беспощадный суд над собой и в то же время это лицо эпохи.

С 1972 года Д. Панин жил и продолжал писать за рубежом. В первой книге воспоминаний, главы из которой публикуются в журнале, он рассказывает о лагерном быте военных лет и о годах, проведенных в Воркуте, в «шарашке», в Останкино под Москвой. Д. М. Панин какое-то время находился там вместе с А. Солженицыным и стал прототипом одного из героев романа «В круге первом» — Сологдина. Он умер в Париже в 1987 году.

ВСТУПЛЕНИЕ

Я решил написать эти «Записки», ибо вижу, что мой долг не только довести до сведения людей результаты своих многолетних размышлений, но и показать условия, способствовавшие их созреванию и становлению. Это имеет смысл, потому что мое поколение попало в гущу развала, ломки традиций, уничтожения сословий и целых классов населения, когда сокрушали Церковь, добивали старые авторитеты, а на их место пытались поставить вновь созданных кумиров...

Ошибки и преступления моего поколения нашли свое отражение и в моей жизни, несмотря на то, что своим воспитанием — хотя бы до 1917 года — я был значительно лучше защищен от них, чем многие мои сверстники, пришедшие в жизнь из дымящихся развалин деревень, нищенского быта городских низов, местечек, железнодорожных полустанков и глухих окраин.

В каждом факте, как в живой клеточке, содержится — и часто это удается разглядеть — что-то яркое, интересное, поучительное или загадочное...

Даже голые факты тех жутких лет производят сильное впечатление и помогают иногда разобраться в обстановке не хуже, чем когда дано их подробное истолкование. Но для меня они, главным образом, отправная точка в стремлении осмыслить эту эпоху и вынести ее на суд современного читателя.

Краски я никогда не сгущаю, но называю вещи своими именами, так как не смею ничего сглаживать, прикрывать, замалчивать.

В этих «Записках» я буду стараться писать только правду. В отношении самого себя я считаю это обязательным и выполнимым, в отношении других сделаю все возможное, чтобы избежать ошибок.

Человеку, пожелавшему изложить перипетии своей жизни, полагая, что этим он сумеет принести пользу людям, придется для их объяснения передавать различные точки зрения своих собеседников и делиться своими размышлениями. Моим судьей будет читатель.

По приезде в свободный мир новые друзья посоветовали мне отложить издание моей основной книги, написанной еще в Советском Союзе, и предварить его этими «Записками», с тем чтобы:

— изложить современному читателю некоторые страницы пережитого, которые могут представлять общий интерес;

— рассказать об участи рядовых тружеников после катастрофы 1917 года, имевшей последствия не только для России. Я заслужил право считать себя выразителем и защитником интересов этих людей, так как сорок лет отработал по найму и принуждению; испытал все виды советской эксплуатации; подвергался уничтожению в сталинских лагерях; видел, как рядом погибали тысячи. Я обязан поделиться опытом и рациональными решениями, возникавшими в ходе борьбы за жизнь — свою и близких.

Первая книга охватывает тринадцать лет тюрем, лагерей, каторги из шестнадцати проведенных мною в заключении. Во второй книге этих «Записок» я постараюсь рассказать о своей жизни до ареста в 1940 году, о трехлетнем пребывании в ссылке и о периоде после возвращения в Москву в 1956 году.

Иногда мне самому кажется невероятным, что я выдержал выпавший на мою долю жребий. Но мой тяжелый путь был все-таки не из худших. В тюрьмах и на этапах я пробыл три года. Благодаря специальности механика я сумел сократить пребывание на общих работах до шести месяцев. В лесном лагере я не попал на лесоповал, в угледобывающем не спускался в шахты. Меня не заслали ни на строительство дорог, ни в медные рудники, ни на Колыму. И тем не менее, уже не говоря о пережитом, достаточно было одного сталинского пайка в течение тринадцати лет, чтобы загубить здоровье очень крепкого и выносливого человека.

Но следует сразу предупредить, дабы не создалось ошибочного мнения, что лагерь — приволье для инженеров, место диспутов и споров. Огромное число людей с высшим техническим образованием погибло. Лишь совпадение внутренних качеств и везения могли помочь выдержать: надо было быть двужильным и тянуть воз на ничтожном пайке.

События тридцатилетней давности врезались в сознание и стоят перед глазами, как будто произошли вчера. Но фактор времени благоприятно повлиял на два обстоятельства:

— ничто больше не мешает объективному восприятию, исчезли личные переживания и накал обид. События отстоялись, и я давно спокойно взираю на происшедшее;

— выводы и решения, приводимые в ходе повествования, прошли суровую проверку.

Глава 15

ДОРОГОЙ В МОСКВУ

Расстрел блатарей [1]

В начале сентября сорок седьмого года мне было объявлено, что я должен распрощаться с Воркутой. Это — большое событие в жизни каждого заключенного, и, естественно, я бросился выяснять, куда идет этап. Поскольку я работал в управлении, удалось узнать,

* Печатается по изданию: Франкфурт-на-Майне, «Посев», 1973, где книга называлась «Записки Сологдина». В дальнейшем, по воле автора, название было изменено.

что отправляют в Москву, видимо, в распоряжение Четвертого главного управления Министерства внутренних дел, которое ведало специальными работами инженеров в закрытых конструкторских бюро, получивших позднее название «шарашек». Уезжать мне не очень хотелось, я даже предпринимал некоторые шаги, чтобы остаться. Но потом решил, что надо испытать судьбу, и перестал упираться.

Из Воркуты этапируют всех с одного пересыльного лагпункта, куда я и еще двое заключенных прибыли с утра. Накануне убили там пять блатарей, хотя в мае этого года Сталиным был издан указ об отмене смертной казни и замене ее двадцатипятилетним сроком тюремного или лагерного заключения. Весть о расстреле без суда взбудоражила всех нас. Заключенные, обслуживавшие лагпункт, ничего не скрывали, и мы выяснили, что это были «воры в законе». За лагерные преступления они должны были быть отправлены на штрафной лагпункт, так называемый известковый завод, который находился в руках «сук»[2], их непримиримых врагов. Многие происходившие события становились известными остальным заключенным, поэтому не могло быть сомнений, и воры это знали наперед, что, если они туда попадут, их ожидает мучительная и немедленная смерть. Естественно, они отказались ехать, тем более, что смертная казнь им теперь не угрожала, и забрались в пустой барак, где разворотили кирпичную печь. Когда их нашли и хотели уже «брать», они начали бросать кирпичи в надзирателей и в перепалке ушибли одного или двух. Тогда их заперли в этом бараке. Начальство обратилось в управление Воркутлагеря, оттуда по радио снеслись с министерством в Москве, где приказали произвести расстрел блатарей. Это была не официальная казнь, а мера пресечения вооруженного сопротивления властям. Но существенно ли для убитых, как в них выстрелили — в затылок или в висок? Вызванная опергруппа была вооружена огнестрельным оружием. А что можно сделать кирпичом, когда в тебя стреляют из автоматов? И, конечно, всех застрелили. Мы имели возможность видеть этот барак, когда его еще не привели в порядок: печь была разворочена, оставались следы крови, но трупы были уже вынесены.

Для меня был ясен ход мыслей блатарей, перед кровью которых я все же снял шапку. Они думали так: мы кидаем, в нас стреляют, кого-то убьют наповал, большую часть только ранят. Раненых как «друзей народа» отвезут в больницу. Пройдет время, и, глядишь, решение об отправке забудется. Расчет вполне реальный именно для воров, то есть для социально близких режиму, для его «друзей». Если бы такое сопротивление оказали мы, контрики, то нас тут же добили бы из пистолетов и не подумали бы испрашивать разрешения.

Это кровавое событие мы восприняли, в общем, как рядовое явление. Нельзя сказать, чтобы оно нас слишком омрачило. К этому времени мы уже достаточно огрубели. Нравы были кругом жестокие; жизнь человеческая ни в грош не ценилась. Поэтому каждый из нас только усмехнулся лишний раз насчет «законности» этой системы. Мы знали, что они делают все, что им нужно, и так, как им хочется. Советские путаные, противоречивые законы и нарушающие их указы — лишь «руководство к действию», простор для произвола и должностных преступлений. В них заглядывают только для оформления «дел» и для того, чтобы оградить себя от происков со стороны своих же «товарищей» по «органам», партии, надзору... Способность пожирать друг друга, как это делают крысы в железной клетке, и создавала видимость наличия каких-то действующих юридических норм. Впрочем, сказанное относится к бытовым и уголовным преступлениям. В делах же политических царил голый произвол, так как знаменитая пятьдесят восьмая статья давала следствию возможность возводить любую нелепость в обвинение, что и было продемонстрировано созданием нескольких десятков миллионов выдуманных дел.

Предтеча «шестидесятников»

На пересылке скопились дивчины с Украины, где тогда был очередной голод. На вопрос «за что?» мы получали стандартный ответ: «за колоски». За сорванные на колхозном поле колосья их осуждали на десять лет. Нам было ясно, что как только их распихают по шахтам, они попадут в лапы блатарей и пройдут через все муки унижений.

Здесь же я встретил одного грузина. Он удивительно вольно разговаривал, хотя ясно было, что не провокатор и не стукач. Он сообщал мне такие неожиданные вещи, которые бросали только в лицо следователю, когда запираться уже нет никакого смысла и сводишь счеты с властью, тем самым ее обличая. В обычной обстановке об этом беседовали не с первым встречным, а когда были хорошо друг с другом знакомы. Особенно запомнились два его положения. Во-первых, он соединял христианство и демократию, доказывая необходимость совмещения в человеке обоих качеств. Во-вторых, он уверял, что Сталин — наше, российское, создание, и хотя он грузин по происхождению, Грузия его не признает, от него отказывается, а возвеличиваем его мы, русские. К грузинам у нас не может быть никаких претензий, сами во всем виноваты. Если бы мы, русские, были грузинами, то Сталин никогда не имел бы такой власти.

Во времена сталинизма такое открытое выступление, подобное вышеописанному, означало самоубийство. Чекисты обязательно сделали бы такого отчаянного человека главарем целой организации террористов. А это означало бы убийство еще нескольких неповинных людей и вполне возможную гибель его семьи.

К тому времени со мной произошла уже большая эволюция. Я, человек правдо- и вольнолюбивый, под влиянием непрерывной борьбы за жизнь в столь сверхтяжелых условиях как-то настолько припал к земле, и нее въелся, с ней сцепился, приспособил свой духовный и умственный склад к ежедневной схватке, что уподобился жителю первобытных джунглей, где каждый шорох предвещает смерть, гибель, чей-то прыжок. Так и тут, ты должен каждую минуту остерегаться лишнего слова, неверного движения, жеста. Тебя может продать, оклеветать человек, которому ты даже ничего не сказал. Любой материал принимался, все пускали в ход — ведь шло истребление людей. Естественно, что после того, как я прошел суровую семилетнюю школу лагерей, столь открытое выступление грузинского профессора показалось мне невероятным — я не мог себе представить, что можно так вольно разговаривать.

Наша беседа была прервана довольно оригинальным способом. Один из нарядчиков с пересылки подошел к нему и сказал: «Хватит! Будешь еще разговаривать, в карцер посадим». Он стушевался, пошел в свой барак, лег на нары, и больше я его не видел. Видимо, перспектива побыть в карцере ему не улыбалась. Я же не имел возможности выяснить, как сложилась дальше его судьба. Через пересылки проходит много народа, пути заключенных расходятся, редко удается кого-нибудь потом встретить. Иногда, спустя много-много лет, что-нибудь о ком-нибудь узнаешь. Об этом грузине мне ничего больше услышать не удалось, но встреча с ним засела в моем сознании. Такая страшная обстановка и приспособление к ней приводит к появлению рабского комплекса. Одни становятся рабами, другие, покрепче, настолько изощряют свои мысли и чувства, боясь сказать лишнее, заронить в ком-либо подозрение, что теряют способность к свободному и открытому волеизъявлению. Но нужно ли так себя ломать? Не заявить ли просто, как этот грузинский профессор, о своих убеждениях, а там — будь что будет?..

Грузины, которые чем-то перешли дорогу Сталину или Берии, истреблялись с полной беспощадностью на общих основаниях. В войну у нас на лагпункте было небольшое грузинское землячество. Его ядро состояло из бывших грузинских меньшевиков. Один из них, кладовщик мехмастерской Вашекидзе, мыкался по лагерям с 1924 года. В памяти моей они остались твердыми, мужественными, надежными людьми. Было в них что-то от рыцарства. «Моя честь — это все, что у меня осталось!» — сказал однажды Вашекидзе.

На лесоповалах, в мареве северных синний, при страшных морозах, в глубинах шахт, на обледенелых заполярных стройках, на прокладке чудовищно ненужных дорог изощренная в страшных схватках мысль нащупывала методы борьбы с системой в этих, казалось бы, совершенно невозможных условиях. А через четыре года удалось так тряхнуть это рабовладение, что режиму от него пришлось отказаться, вернее, сильно сократить его масштабы.

Мой собеседник-грузин на пересылке опередил почти на пятнадцать лет средства своей эпохи. В тех условиях он отважился высказать свои идеи и дать критику Сталина. Поэтому в моем сознании он представляется предтечей открытых борцов за демократию шестидесятых годов, провозгласивших стремление к свободе и элементарным демократическим формам жизни.

В шестидесятые годы, когда сам режим в лице своей высшей инстанции осудил Сталина, хотя традиции сталинизма продолжают жить и поныне, произошел прорыв полувекового молчания. Первым героем этого прорыва был, конечно, А. Солженицын.

Прекрасно, что есть такие люди, но в условиях диктатуры партийной олигархии средства внешнего прорыва должны не заменять, а отражать глубинную работу, ведущуюся в недрах общества.

Снова на Кировской пересылке

Я снова попал на Кировскую пересылку, где уже останавливался на пути в Воркуту. Там недавно попытались разделить заключенных. Дело в том, что с окончанием войны и без того большой поток их резко увеличился. Теперь он состоял в основном из бывших военных. Многие из них прошли штрафные батальоны, ходили в разведку боем, участвовали в рукопашных схватках... Некоторые советские вояки остервенели от позорной сталинской амнистии 1945 года, когда выпустили всех дезертиров, а их, попавших в плен, в окружение или посаженных за какую-то вражескую листовку, гнали в лагеря. До указа об отмене смертной казни им давали 10 лет, после отмены стали лепить 25. Этапировали их в лагеря вперемешку с блатными и бытовиками. Стихийно или, может быть, по какому-то сговору ребята сообразили такую шутку. Парень со сроком «25» осторожненько узнает, у кого осталось мало лет до конца срока. Затем подсаживается к «малолетке», выспрашивает его установочные данные, то есть фамилию, имя, год рождения, статью, срок, или запоминает их на перекличке. Далее зорко следит за дверью и во время вызова на этап,

когда слышит фамилию, которую решил присвоить, быстро проговаривает все полученные сведения и уезжает вместо разини. Это явление достигло гомерических размеров. В камерах оказались люди с маленькими сроками, а в конторе пересылки — чужие формуляры тех, кто имел 10 и 25 лет. И теперь, когда на этап вызывали «тяжеловесов», никто не откликался. Потребовалось несколько месяцев, пока навели порядок, но под «шум волны», вероятно, несколько десятков, а может, и сотен дошлых вояк все же успело выскочить на волю. Даже я, у кого оставалось впереди целых шесть лет, был осторожен.

В результате этого тюремного бедствия начальство решило разделить потоки. Сделано это было достаточно халтурно, так как этапировались по-старому все вместе, но на пересылке сортировали по отдельным камерам. Контрики количественно резко преобладали, поэтому в их камеры втискивали сверх всякой меры. Человек лежал на человеке. Днем каждый сидел на полу, на своем мешочке, а ночью, так как деваться было некуда, ложились просто один на другого, и ноги оказывались на голове у соседей. Пройти к параше было невозможно, приходилось шагать по людям. Жара была дикая. Сидели раздетые, потные. Приносили только кипяток, и от него становилось еще жарче. Помню, что когда нас выводили на оправку, мы жадно набрасывались на холодную воду в умывальнике и думали только о том, чтобы скорей напиться.

Известно, что в камере существует какая-то очередность, когда вновь прибывший постепенно перемещается от параши к окну или к нарам, где можно лечь. Зная эти порядки, я ни на что не претендовал и расположился у параши. Ночь прошла тяжело; воняло и часто будили.

Перед отправкой с меня сняли более или менее щегольскую робу и выдали одежку двадцать первого срока: живописный латаный-перелатаный бушлат, старые стеганые брюки, фуражку, которая на обысках выдавала свои дары — кусочки бритв, ножей, спичек, зашитые в нее целым поколением блатарей. На моей рубашке, на груди и спине, были цифры, чтобы не перепутать белье в бане. Номера носили также каторжники, которые были на некоторых лагпунктах Воркуты, и поэтому я в своей живописной одежде был принят за одного из них. К тому же на груди у меня висел крест. Новички, которые в лагерях еще не были, решили, что я какой-то страшный бандит, из тех, кто часто украшает грудь крестами — не во имя религии, а по какой-то языческой страсти, из стремления себя разукрасить, выделить. К тому же на этот раз я был в хорошей форме и даже загорел под скупым солнцем Крайнего Севера. Во всяком случае, моя наружность говорила о том, что я старый лагерник, прошедший огонь, воду и медные трубы, и держался я соответственно.

Смотрю: к двери, около которой я находился, подходит староста. Верней, не подходит — пройти было невозможно,— а пробирается. Был он не из новичков и, увидя мои доспехи и внешность ветерана, сказал: «Ты чего здесь остался? Давай, иди на нары. Ведь оттуда ушел человек». Я это тоже заметил. В пересылке к нашей группе воркутян присоединили с другого этапа молодого латыша. Но вместо того, чтобы ночь провести рядом со мной, он куда-то исчез. И вдруг вижу, что этот новичок уже лежит на нарах, а я — ветеран — провел отвратительную ночь. Я всегда согласен был подчиняться законам, которые одинаковы для всех, но счел неверным, что привилегии дают молодому здоровому парню. «Что ж, староста, у тебя порядки такие?» — спросил я, присовокупив для полновесности соответствующую ругань. К этому времени я уже отучился от нормальной речи, находясь все время в смешанной зэковской среде, и не обходился без блатных оборотов. «Порядок — порядок, а беспорядок — беспорядок». Староста был не против. «Человек ушел, можешь занять его место».

Пожалуй, я даже не пошел бы, это не в моем характере. Не люблю лезть, нарываться. Но я понял, что латыши пригласили к себе этого малого и посадили у себя в ногах. Утром, когда человека с нар взяли на этап, они положили его туда. По справедливости это место следовало занять тому, кто уже полтора месяца не спит по-человечески и чей черед настал. Моя решимость еще не созрела; думаю и пока что продолжаю разговор: «Почему у вас не выполняются правила?» — «Да там какие-то „мужики" сидят».— «Ну, они мужики, им, может, хорошо в углу и нравится на полу, а мне нет. Я с этим малым приехал, а он уже лежит там. Если у вас нет твердого порядка в камере, считаю, что это мое место».

Староста был парень, видно, не очень инициативный: «Ладно, я не против. Иди, ложись, если можешь»,— сказал он.

Настроение у меня было воинственное. С бравым видом продираюсь к ним и говорю этому малому: «Давай слезай! Это мое место». Сперва, конечно, спросил мужиков: «Не хотите здесь лечь? Вам что, хорошо на полу?» Они молчат. Латыши же были из национальной дивизии «СС». Парни белокурые, здоровые, в шрамах. Видимо, это и остановило очередников; боялись с ними связываться. Тогда я сказал парню: «Скидайся-ка отсюда! Ты со мной приехал, лагеря еще не нюхал». И положил свои пожитки на это место. Смотрю, парни приподнялись и ощетинились. Каждый из них, наверное, был сильней меня. Они были не истощенные, их только везли на правеж, и я понял, что без драки ничего не выйдет. Мне, собственно, терять было нечего; развернулся — дал одному, дал другому. Думал, они меня просто сотрут в порошок. Ничего подобного. Они даже боятся ударить.

Ах, боитесь ударить! Ну, тут я уже дал как следует по зубам. Вижу, сопротивление прекратилось, парень уползает на свое место, а я ложусь на нары. Победа была одержана очень просто и без каких бы то ни было кровопролитий.

Об этом случае не стоило бы рассказывать, если бы он не имел продолжения. Изложу свои соображения о причинах легкости одержанной мной победы. «СС» на нарах было слишком много, теснота им мешала, они стояли вплотную друг к другу, на коленях, размахнуться не могли, а только тыкали руками. Столкновение разыгралось сразу же после оправки, когда большинство еще не уселось на пол. Возле нар было относительно свободно, и у меня оставалась возможность двигаться и как-то маневрировать. Если бы двое «СС» слезли с нар, то одержали бы надо мной победу. Но, возможно, они боялись, что меня поддержат сокамерники, а также предполагали, что в голенище сапога у меня нож и что я владею страшными блатными приемами близкого боя, когда, сближаясь почти вплотную, бьют в подбородок или лицо противника маковкой своего черепа, превращая их в кровавую массу...

Я лежал на своем месте, мысленно восстанавливая картину столкновения, и стремился найти изъян в своем поведении. При хладнокровном рассуждении он немедленно обнаружился. Изложенные выше соображения моих действий были по-лагерному просты и вполне понятны. Особенно придраться в тех условиях было не к чему. Но тут меня как стукнуло. Я вспомнил седого как лунь, семидесятилетнего старика немца, сидевшего около бака с кипятком, привстал и посмотрел на чистые изможденные черты его красивого лица. Он находился как бы в полузабытьи, сил не было, дни его были сочтены... «Вот,— сказал я себе,— пойди, положи его на свое место, и сделаешь доброе дело. Этим загладишь свое поведение, ибо ты начал как поборник справедливости, а окончил как лагерный пес, отлаявший себе местечко получше». Я стал размышлять о возможности исполнить мелькнувшее намерение. Нереальность его осуществления проявилась сразу. В камере этот зэк недавно, поскольку сидел у стены с входной дверью. Отношение к немцам тогда уже значительно смягчилось, но все же из «фрицев» они не вылезали. Ослабленные люди были и кроме него и могли загалдеть, закричать, что пришли в камеру раньше или что-либо в этом роде. Все это еще можно было превозмочь... Но размышления были прерваны: я почувствовал, что мое тело начинают все больше и больше сдавливать с обеих сторон. Оказывается, соседи по нарам решили дать мне реванш, для чего по сигналу все напряглись и продвинулись в моем направлении. Я не стал дожидаться конца сеанса и, ни слова не говоря, двинул сапогом по голым ногам своих соседей, так как не разулся, не ощутив еще прочности завоеванного положения. Они перекинулись на своем языке, раздвинулись и больше ко мне не приставали. Положи я сюда старика немца, он сразу заохал бы и запросился обратно к стенке. Видимо, поэтому очередники не стремились занять освободившееся место на этих нарах: наверное, кто-то из них уже попробовал. «СС» зря переносили ненависть к советскому государству на зэков. Так поступать не следовало.

Князь Святополк-Мирский

Случай слегка загладить свое поведение представился мне уже через сутки. Вечером в нашу переполненную камеру, когда стемнело, а свет не зажгли — видно, была какая-то неисправность,— втолкнули все же еще человек пять. Только что приехал этап из Москвы. И вот, в темноте раздается хороший чистый русский голос, и кто-то спрашивает, не хочет ли честная компания его послушать. Рассказы любят все, начиная от блатарей и кончая высокообразованными людьми. Когда человек сидит в тюрьме, у него появляется жажда впечатлений, и хороший рассказчик — всегда лучший друг. «Романиста» сразу препроводили в центр камеры, там уж потеснились, как могли, и начались дивные повествования. Мы, лагерники,— озверелые, грубые, в нашей интонации бесчеловечные нотки, бесшабашность какая-то. Один перед другим выхвалялся. А в таких старых зэков, как я, это въелось, стало второй натурой, по крайней мере, во внешних проявлениях. У него же был совершенно не наш голос. Он был человеком из другого мира. Таких людей я потом, по приезде на Запад, встретил в Риме. Мне он казался ангелоподобным. Князь Святополк-Мирский не скрывал, кто он. Подцепили его где-то в Польше. С белыми эмигрантами расправа была короткая, и хотя во время гражданской войны он был еще мальчиком и участия в ней не принимал, достаточно было одного его происхождения для отправки на Воркуту.

Князь оказался интереснейшим человеком. Мы добрых полночи не спали и слушали его, как завороженные. Особенно мне понравился его рассказ об Америке. В двадцатые годы, еще совсем молодым, он отправляется туда, и его принимают очень приветливо. Американки по нему с ума сходят. Если ему верить, то каждая третья американка — привлекательна, каждая четвертая — просто хорошенькая, каждая пятая — красавица. Словом, это было яркое, здоровое, жизнерадостное сказочное королевство. Он спел хвалу американской женщине.

Он поведал нам и о других своих похождениях. Для меня это было просто духовное пиршество, от которого мы уже все давно отвыкли.

Передо мной был принц из книг моего детства. Ему было лет тридцать пять. Роста он был хорошего. От природы бледноватое лицо было теперь мертвенным, истощенным, изможденным. Несмотря на короткую стрижку, можно было различить цвет светло-русых волос. Его голубые большие глаза были прекрасны. Кажется, что-то у него было с ногой — то ли она у него болела, то ли он хромал.

Описал он и Польшу времен истребления евреев гитлеровцами. Он сумел кого-то спрятать и защитить, а когда пришли красные, его тоже укрыли оставшиеся в живых евреи. Одним словом, он был настоящий аристократ духа — по своей сущности, а не только благодаря титулу.

Я отнесся к нему с большим сочувствием. Сначала я не мог понять, почему он так же потянулся ко мне и как-то меня пожалел. Оказывается, он, как и другие, решил, что я каторжник; его сбили с толку мои номера. Я объяснил ему, что номера банные. Мы посмеялись, а через несколько минут меня и еще нескольких заключенных выдернули на этап. Пока одевался, сообразил, что положить на свое место князя вполне реально: во-первых, «романист», во-вторых, нога больная. Обрядившись, я тут же безапелляционно предложил это сделать. Возражений не последовало. Помог князю перебраться, попрощался.

Жалость князя меня слегка развеселила. В набитой битком камере на меня ее следовало расточать в последнюю очередь. Я был «на коне»: огромный лагерный опыт, нужная в этих условиях специальность, умение работать в обстановке «доходиловки», возможная передышка впереди, а главное, крепкая вера в Бога и потому неисчерпаемая бодрость духа... Но я смотрел с какой-то скорбью на тех, кто, по-моему, не мог долго вытянуть в гиблых местах, куда они могли попасть, и в первую очередь с болью в сердце подумал о князе. Мир их праху!

«Григорий Грязнов»

Из Кировской пересыльной тюрьмы нас привезли в «черном вороне» к железнодорожному составу и посадили в столыпинский вагон. Поток заключенных двигался в лагеря на север и восток страны. В обратном направлении к Москве везли лишь на переследствие, для того чтобы использовать по специальности или заменить лагерь тюрьмой... Поэтому в «купе» было всего человек десять. Мы ехали и блаженствовали, так как не сидели на голове друг у друга. Народ подобрался занятный, разговоров хватало.

Во всей нашей компании только один казак-кубанец, который без конца рассказывал о своих охотничьих и военных похождениях, вякал что-то в защиту власти. При содействии других помогавших и вторивших мне попутчиков я стремился докопаться до корня его настроений, приводил множество доводов. Он немедленно соглашался, но через пару часов его мозги возвращались в исходное состояние. Вскоре причина аномалии стала мне ясна. Он принадлежал к разряду расплодившихся в безбожном силовом поле людей, думающих только о себе и плюющих на всех остальных. Принадлежал он к семье казаков, которые поддерживали советскую власть во время гражданской войны и благодаря этому были оставлены на Кубани. Отец его был председателем показательного колхоза, и в целях пропаганды райком не обдирал их как липку, оставляя на трудодни достаточно для пропитания. Кроме того, так как сынку не обязательно было целый день вкалывать, он вовсю пользовался богатствами своего края: охотился в плавнях на кабанов, подстреливал фазанов, уезжал на рыбалку. Семья, в сравнении с другими, жила до какого-то времени в достатке, но раскулачивание и непрерывные репрессии не обошли и ее, и большая часть его родни погибла. Ему же важно было, что он сам уцелел...

Я понял, кто он, довольно быстро, и мне стало противно: «Ты живешь приятными воспоминаниями и пока что лагеря не вкусил,— сказал я ему,— так как из дому получаешь посылки с салом в пять пальцев толщиной. Сейчас ты едешь за новым, на сей раз двадцатипятилетним сроком. Вот попробуешь других лагерей, тогда вспомнишь наши разговоры. А славословием ты занимаешься в надежде, что это тебе как-то поможет на новом следствии. Мечты твои тщетны. Двадцать пять лет уже выписаны, и ты получишь их, невзирая на просоветские настроения. Трибуналу же будь благодарен: он делает все, чтобы ты поумнел».

Я был врагом ненавистного мне режима, поэтому непорядки и притеснения были для меня обязательными его атрибутами. В препирательства с лагерным начальством и конвоем я вступал в редких, из ряда вон выходящих случаях дикого произвола. Обычно же мы посмеивались, повторяя за Максом Бородянским: «Все нормально!» Но люди, считавшие себя советскими, находили тысячу поводов для столкновений. Вскоре, во время вечерней оправки, наш кубанец «завелся», надерзил конвоиру и был посажен в карцер, где на него надели специальные наручники да хорошенько избили. Применяемые тогда наручники перещелкивались от малейшего движения, затрудняя кровообращение и вызывая сильную боль, и кубанец дико орал. Такая расправа служила лучшим лекарством и содействовала прозрению.

Во время путешествия я чувствовал себя крайне уверенно, держался воинственно, открыто верховодил, ибо понял, что этапы и пересылки — места безбоязненного обмена мнениями, где риск, что тебя продаст стукач, невелик, поскольку в такой обстановке последний лишен защиты и старается, чтобы никто не догадался об его тайной профессии.

В ходе наших разоблачительных речей бледный, чахоточного вида армянин, до той поры молчавший, вдруг как бы с цепи сорвался. С южной горячностью, быстро тараторя, он выплеснул, что среди чекистов есть замечательные люди. «После моего ареста на полное содержание мою жену и двух детей взял ее брат, крупный чекист, и она даже имеет возможность высылать мне иногда посылки». Подобная ситуация была еще возможна в Армении или Грузии, у народов в прошлом крепко сплоченных.

«Но вы ведь знаете, что ваш случай исключительный, а на моей памяти единственный,— отпарировал я.— У нас одна цель — установление правды. Насилие, угнетение и террор нужны тем, кто идет против истины, разума и глубинных законов жизни. Мстить мы никому не собираемся и не будем. Я человек верующий и твердо знаю, что расправа за содеянное будет на том свете, где каждый получит по заслугам. Перевесит ли доброе дело твоего зятя все зло, которое он вершил на „работе“? Сие нам не известно. Но в своей оценке ты должен учитывать обе стороны деятельности человека».

Запомнился и здоровенный, мордастый парень родом со Смоленщины. Он провоевал года два и, вернувшись, не пригласил на попойку районного прокурора, своего соседа. Вскоре он совершил ничтожный проступок, и по злобе, сводя личные счеты, на него завели уголовное дело. Тогда он уехал на Воркуту, к брату, начальнику охраны лагеря. История последнего, в свою очередь, типична для людей такого рода. Он провоевал всю войну, дослужился до погон, был увешан орденами и пожил года полтора в Германии на правах оккупанта. Здесь он вкусил прелесть настоящих сигар, виски, французского шампанского и награбленное у немецкого населения отправлял домой в меру своих способностей и чина. К сожалению, подоспело время его демобилизации. На родине был голод, незыблемые колхозы, раздетые люди, многие из которых жили в землянках... Работать он отвык, да и профессии по возрасту приобрести до войны не успел. И пришлось принять предложение отправиться в Хановей, маленькую одинокую железнодорожную станцию — ворота в бассейн Воркуты. Там были только лагерь, охрана, да дули ветры, которыми славилось это место. В темное, непроглядное время оставалось одно — пить спирт. В простоте душевной наш спутник рассказывал, как его допившийся до чертиков братец в мороз и пургу выскакивал раздетый из избушки на двор, палил из автомата в северный сполох, ругал в крест, в мать свою проклятую рабью жизнь, бушевал дома, бил, что попадало под руку, и, обессиленный, сваливался в тяжелом пьяном сне.

Когда через пару месяцев парня нашли и прислали ордер на арест, то брат посадил брата в изолятор, а оттуда передал его конвою для препровождения в тюрьму по месту жительства, где должны были устроить судебную расправу.

Как бы высеченное из каменной глыбы, нерусское лицо крупного широкоплечего шведа, добровольца финской армии, притягивало к себе. После окончания второй мировой войны его арестовали на улице в Гельсингфорсе советские автоматчики, а финская полиция почему-то не вмешалась.

Он получал от родных из Швеции прекрасные посылки и поэтому имел справный вид в иноземной одежде военного образца. Ехал он во Владимирскую тюрьму из лагеря Инты, расположенной южнее Воркуты. Он развязал свой мешок, вынул оттуда яства и преспокойно стал грызть вкусные вещи, после того как вместе с нами съел казенную пайку. Мы были поражены, так как хотя и не существует твердых правил на этот счет, но любой из нас на его месте роздал бы остальным по одному печенью или по галете на троих... Все находились в состоянии вечных недостач, хотя голода в ту пору не было, и такой жест был бы воспринят с чувством живой благодарности, а авторитет его бы поднялся. А так — много косых взглядов было брошено в его сторону. Обидно, что герой, доброволец, мужественный человек, пример доблести для любого из нас, оставил тяжелое впечатление. Когда потом мы шли с ним рядом по улице до горьковской пересылки, я объяснил ему на русском языке, так как он без затруднений его понимал, что зря он так обидел своих спутников. «Если бы в купе были блатные, вы остались бы без мешка и хорошей одежды. В нашей компании вам было неплохо. Как же вы добровольно жертвовали жизнью, спасая других, а тут не догадались подарить людям десяток крохотных сластей?!»

Размышляя по этому поводу, я вспомнил и понял простую евангельскую истину:

— Будь ты безмерно хорош, но если нет в тебе любви к людям, то нет в том для тебя пользы истинной.

— Если ты пошел помогать людям из высоких побуждений долга и покрыл себя славой и доблестью, честь тебе и хвала.

— Но если ты сделал то же самое, движимый любовью и жалостью к людям, когда они в смертельной беде, да будет жертва твоя трижды благословенна во имя Господне. Ведь этим ты создаешь фундамент всемирного человеческого братства. И хотя ты не всегда будешь чувствовать любовь даже к достойным людям, встречающимся на твоем пути, но всегда сможешь отнестись к ним как если бы уже их полюбил. А из таких действий твоих

иногда возникнут ростки любви — сначала односторонней, а потом, возможно, и обоюдной.

Выгрузили нас из вагона у моста через железнодорожные пути. Для конвоя хуже места не придумаешь: бесконечный поток пешеходов, все глазеют. Какая-то тетушка в платке и допотопном салопе остановилась на ступеньках почти над нашими головами и давай причитать: «И куда же их, касатиков, гонят! Да какие ж все худые!..» Мы, как положено в таких случаях, сидели на своих вещичках, шаед подле меня; на него особенно обращают внимание. Начальник конвоя, лейтенант, русский малый, нервничает, стыдится своей работенки. По-волжски окая, он гонит набожную старушку: «Иди, иди, проходи, здесь стоять нельзя. Зря не сажают. За хорошие дела сюда не попадают, значит, разбойничали». Мы посмеиваемся, из задних рядов доносится: «Смотри, завтра сам к нам попадешь. Не зарекайся». Лейтенант отлучился куда-то, все томятся. Наконец раздается: «По пятеркам разобраться. Шаг вправо, шаг влево рассматривается как побег. Конвой применяет оружие без предупреждения». Следуют другие угрозы и заключительное: «Марш!»... Время самое людное, улицы полны народу. Большинство проходит мимо, но кто-то останавливается и сочувственно смотрит на шествие. Нас ведут по мостовой конвоиры, все как один киргизы и узбеки. Они взяли наперевес карабины с примкнутыми штыками и злятся.

Вот мы поравнялись со светло-русым двадцатипятилетним парнем с открытым красивым лицом. Голубые глаза полны симпатии и жалости. «Как не узнать Григория Грязнова?» — поется в русской опере, которую часто передавали по радио. Передо мной и впрямь был оживший удалый добрый молодец, символ великорусов. Не дойдя нескольких шагов до нас со шаедом, он бросил в колонну заключенных пачку папирос. Конвоир кричит, ругается, трясет штыком перед его животом. «Григорий» и в ус не дует, зэки подымают пачку. Его рослая фигура закрывала собой такую же русую, как и он, голубоглазую прелестную девушку. Вслед за братом или мужем она кинула булочку четырнадцатилетнему мальчику в наших рядах. Опять переполох, замешательство: парнишка кинулся подбирать хлеб. Родными и близкими были мне юноша и девушка. Они принадлежали к породе, которую все годы этого кошмара безжалостно искореняли.

В приемных камерах горьковской пересылки была страшная теснота. До нас уже там находились два этапа и мальчики от двенадцати до шестнадцати лет, собранные из разных камер предварительного заключения всей Горьковской области с целью их водворения в какую-то колонию для малолетних преступников. У большинства ребятишек вид был смышленый и отнюдь не испуганный: видно, тюрьма для них стала чем-то привычным. Но некоторые из них были оглушены тем, что с ними произошло. Неподалеку от меня лежал бледный, как бумага, мальчонка с виду лет десяти, не больше. Его рвало, он тихонько стонал, иногда звал маму. «Вызовите врача!» — крикнул я тем, кто был ближе к выходу. За дверью что-то буркнули, но никто не появился. Тогда я пробрался через тела и стал барабанить. Женщина-надзиратель, которой перевалило за пятьдесят, отговаривалась тем, что уже поздно, врача нет. «В санчасть возьмите, хоть чем-то помочь сумеют, а здесь он умрет». В ответ — молчание, видимо, она ушла. Я снова требовать, пока она не подошла к волчку. И тогда — в голос, по-блатному, благо вид у меня был подходящий: «Слушай, тетя, что ж вы творите-то? Ладно, мы взрослые, но вы детей убиваете. Где только заерег таких находят? Ты думаешь... с тобой ничего не случится?» Через пару минут нам крикнули: «Давайте больного!» — и мы его вытащили в коридор.

Дети, как и женщины в сталинских тюрьмах, были для меня живыми иллюстрациями к видениям из Апокалипсиса.

Наступило утро. Продрав глаза, осматриваюсь. В предварительной камере всех держали вместе. Под окном — человек пять блатных: молодые ребята с неприметельными лицами из породы «сталинских воров», то есть дети раскулаченных, сироты после первых посадок родителей, беспризорные военных лет. Сбоку оказался малый лет тридцати, которого я сразу не приметил, со страшно знакомой внешностью. Мы встретились глазами, и он замахал мне рукой: «Эй, начальник!» Начало ничего хорошего не обещало. На пересылках принято «права качать» и сводить личные счеты, но я за собой ничего подлого против блатных не знал, враждовал с ними всегда не из-за угла, а открыто. Поэтому следовало не уклоняться, а выяснить, в чем тебя обвиняют; идти навстречу судебному разбирательству, коль скоро оно началось. Пробравшись поближе к окну, я узнал слесаря-инструментальщика из цеха Линдберга, первостатейного профессионального вора-рецидивиста. Мы мирно начали разговаривать; я припомнил, как ему пришло «освобождение» с зачислением в армию и он долго прятался под нарами, но все же попал к Рокоссовскому. Он рассказал, как дезертировал, затем попал под амнистию, украл, оказался в тюрьме, бежал и теперь снова за решеткой. У «судей», приготовившихся к драке, интерес явно пропал, когда они увидели, что мы не ругаемся. Один из них спросил моего обвинителя, не обижал ли я воров, и так как тот его успокоил, то к этому не возвращались. В другой обстановке, при другом «составе суда», с преобладанием садистов и злобных выродков, те же самые обстоятельства могли привести к тяжелой тюремной драке и даже окончиться смертью.

Встреча с Копелевым [3]

Наконец я прибыл в Москву, в Бутырскую тюрьму. Наша камера была заполнена людьми вроде меня, приехавшими для отправки на шарашки. Народ подходящий, все больше инженеры-механики, электрики, радисты — попадались и химики. Были и осужденные недавно, которых ждал лагерь. Прошло только дней десять, но я уже успел перебраться к окну, так как народ быстро сменялся.

И вот, глубокой ночью, я вдруг просыпаюсь от какого-то шума. Вижу, стоит посреди прохода черноокий, черноволосый красивый мужчина в расцвете лет, гвардейского роста. Конечно, я имею в виду не теперешних советских гвардейцев, а представителей старой русской гвардии. Он шумел, волновался, что-то рассказывал. Я понял, что его только-только осудили и дали десять лет. Он кипятился, не признавал себя виновным, кричал, что будет добиваться освобождения. Такое возбуждение для новичка в общем понятно. Я снова заснул, хотя он продолжал еще довольно долго разоряться. Перед самым утром меня опять разбудили: кто-то лез на меня. А так как я был сторонником свежего воздуха, кислородником, то ринулся на виновника с лагерной бранью: дескать, «что тебе здесь нужно, зачем закрывать окно».

— Да нет, я просто прикурнуть...— ответил он.

— А,— говорю,— ну, это другое дело. Давай забирайся, ложись. Только ты уж очень много орешь.

Утром, когда продрал глаза, познакомились. Это был Лев Копелев. Здесь, на нарах, завязалась наша дружба, непрерывно пресекаемая враждебными стычками и длительными «военными действиями», происходившими из-за неизменной приверженности Льва к режиму. За все годы нашего знакомства его установка сводилась к следующей формуле: «если что-то у нас сегодня плохо, значит, надо исправлять». В те годы в тюрьме и на шарашке он вообще не шел ни на какие уступки, все считал замечательным. Шарашку и наши споры описал позднее А. Солженицын в своем «В круге первом», где Лев Копелев — прототип Рубина.

Советский режим перманентно связан с голодом, он не может или не хочет накормить людей. Казалось бы, война кончилась, неужели и тут надо людей морить? Но все равно у них то недостачи, то «узкие места», то «трудности роста»... Нам раздали наши паечки, какой-то чай. Смотрю, Лева подходит к котомке и достает целый настоящий белый батон, да к тому же еще свежий, ломает его пополам и протягивает половину мне. За эти семь лет я не то что вкус, но даже и вид белого хлеба забыл, и меня пленило бы, если он отделил бы только маленький кусочек. А тут — целая половина батона! Его царственная щедрость произвела на меня то же впечатление, что и рассказ грузинского профессора, звучавший еще в ушах, или новеллы князя. Широта натуры и душевное благородство выделяли Льва. Я очень люблю таких людей, но по своим воззрениям мы были полной противоположностью. Лев защищал с пеной у рта все, что делалось в этой стране. Надо сказать, что в то время такое поведение в тюрьмах было уже редким. О режиме мало кто мог сказать положительное. Было ясно, что это — логово барсуков, которые понастроили норы и живут теперь за счет других. Он считал, что я — ископаемое, чему виной — вера в Бога, мои оценки «февральской и октябрьской революций» в России и резкая критика действительности. Для меня, наоборот, он был допотопным чудищем, когда вдруг начал убеждать нас, что все, наоборот, замечательно, а мы не понимаем, какие на воле прекрасные порядки, так как давно здесь сидим и ничего не знаем. Допустим, я семь лет сижу, но из остальных ведь многие тоже только что с воли. Мне нравится живой обмен мыслями, по натуре я спорщик и рад был встретить подобного оппонента. Ведь я успел уже забыть, когда таких и видел. А если они и попадались, то сразу было видно, что это стукачи, которые надели на себя личину. Но сейчас передо мной был фанатичный человек, который заблуждался как-то не противно; во всяком случае, старался отстоять свои убеждения, ища доводы...

В общем, я воспринимал все как какое-то безобидное чудачество, но за него он мог в лагере поплатиться головой. Настроение среди заключенных было очень определенным. Их состав к тому времени уже резко сменился. Это был не сороковой год, когда преобладали люди советского режима, которые пресмыкались перед оперуполномоченным и лагерным начальством. Тогда мы жили в царстве стукачей. Сейчас народ был другой: фронтовики, власовцы, настроенные очень воинственно и не считавшие себя побежденными. «Мы их с горчицей схаваем!» — кричал Лев о фронтовых победах прошлых лет. Выступления Льва в такой обстановке были не совсем безопасными. Но Лева был молодец, он не считался ни с чем. К концу дня он предложил устроить какой-то вечер и на нем закатил два стихотворения Пушкина: «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». Надо сказать, что выбор был неудачен и несвоевремен и декламация была встречена крайне холодно.

Тем не менее это не помешало мне, несмотря на его нарочитую приверженность к режиму, разглядеть в нем замечательного человека. Необычайно эрудированный филолог-германист, знавший уйму языков, он был всегда душой общества.

Поскольку меня уже вызывали представители Четвертого главного и было известно,

что отправляют на какую-то шарагу, я сказал Льву, что приложу все старания, чтобы его туда тоже выцарапать в качестве переводчика или, скажем, библиотекаря, раз к технике он никакого отношения не имел.

Попав на шарашку, я пошел, не теряя времени, к начальнику и стал доказывать, что надо вызвать заключенного Льва Копелева. В этом деятельное участие принял Александр Солженицын, невзирая на то, что тогда ведал библиотекой и мог по приезде Левы потерять место.

Матрос из Освенцима

В этой камере я обратил внимание на молодого человека лет тридцати с малопримечательной внешностью: нос пуговкой, белесый, крепкого телосложения. Над левым соском у него был вытатуирован шестизначный номер, который мне бросился в глаза в бане. Он объяснил, откуда такое украшение. Потом мы разговорились, и он подробней рассказал о своих приключениях. Звали его Виктор Трушляков. В начале войны из матросов с потопленных кораблей составили морскую пехоту. Ребята подобрались молодец к молодцу. К тому времени тупоумие и зверства Гитлера проявились уже в полной мере, и поэтому они крепко дрались не то под Севастополем, не то под Керчью, ходили в рост в атаку, словом, сражались по-настоящему. Его ранили, в беспамятстве он попал в плен, раза два убегал и наконец угодил в Освенцим, оставивший клеймо на его груди. Одним словом, хлебнул неазгод сравнимо с тем, что выпало на нашу долю зэков военных лет.

Через день-другой я мельком услышал короткую фразу из его разговора с одним химиком, когда они прогуливались по центральному проходу бутырской камеры, длиной метров в двадцать. Я в это время стоял возле нар. Мысль показалась мне очень знакомой в своей основе, но гораздо глубже и дальше разработанной, чем мои предположения и модели 1933 года. К тому времени я уже научился молниеносно соображать в критических обстоятельствах. В обычной обстановке я не люблю такую быстроту из-за грубости и однолинейности получаемых решений. Но в данном случае стремительность, с которой я выхватил центральную идею из услышанной мною фразы, объясняется тем, что, томясь в бездействии в камере, я мысленно восстанавливал в памяти свою гипотезу тридцать третьего года. В ней я рассматривал Вселенную как систему сгущений различного вида частиц, а их взаимодействия — как совокупность сгущений и разрежений. Целомудренный трепет охватил меня, и я приказал себе ничего не спрашивать у Трушлякова, а дойти до всего самому, благо неожиданно я получил подтверждение справедливости своих тогдашних мыслей. С Виктором мы попали на одну шарашку. Он с самого начала понял, что ему тут делать нечего. Его голова была полна изобретений. Так, он возился с идеей управляемого по радио танка, для чего были необходимы коробки скоростей с огромными передаточными числами, и я помогал ему в подборе и расчете планетарного редуктора. У него были и другие научные идеи; я же для него сделал десяток переводов с французского и немецкого, которыми занимался в надежде как-то восстановить свою память. Отношения между нами были хорошими, однако я поставил ему условие никогда не излагать мне эту концепцию.

Я не взялся тут же за разработку своей идеи, так как чувствовал себя еще недостаточно подготовленным. Уж очень много пробелов образовалось. Поэтому незадолго до отправки Виктора из шарашки у меня состоялся с ним краткий разговор. Я просил в самых общих чертах изложить его мысли. Он говорил крайне невразумительно, может быть, сознательно темнил. Тогда я задал ему вопрос о природе силы при соударении двух тел. Ответ был идентичен евангельскому определению (Марк, 5:30). Обнаружил я это много лет позднее, так как, конечно, никакого Евангелия в ту пору у меня не было. Я предполагаю, что эти взгляды ему изложил перед смертью один из католических монахов или священников в Освенциме.

Глава 16

НА ШАРАШКЕ (1947—1950) [4]

Встреча с Солженицыным

Шарашка, куда поздно вечером в октябре сорок седьмого привезли меня и Трушлякова, находилась на окраине Москвы рядом с Останкинским парком, в помещении бывшей духовной семинарии. Это была та самая шарашка — один из конструкторских и научно-исследовательских объектов, использующих труд заключенных,— которой посвящен роман Солженицына «В круге первом». Ее обитатели блестяще им описаны. Когда мы приехали на шарагу, она была в стадии организации, серьезные работы еще не начинались. Режим для заключенных был сравнительно легким: подъем в семь утра, отбой в десять вечера, выходить из помещения можно было в любое время.

Умывальник временно стоял внизу у входной двери. Статный мужчина в офицерской шинели спускался по лестнице, когда на следующее утро я вытирал лицо выданным мне казенным полотенцем. Мне сразу понравилось открытое лицо, смелые голубые глаза, чудесные русые волосы, нос с горбинкой. Это был Александр Солженицын. После этапа и месяца в Московской Бутырской тюрьме я изголодался по воздуху и через несколько минут тоже выскочил за ним. Всего несколько зэков гуляли под старыми редкими липами обширного двора, заросшего травой. С меня не успели снять еще бандитские доспехи, поэтому я сразу оказался окруженным старожилами. Солженицын гулял один поодаль, но когда любопытство остальных зэков было удовлетворено, подошел ко мне и предложил пройтись вместе. Первый краткий наш разговор запомнился. «Когда я глянул вниз, спускаясь с лестницы,— сказал мне Солженицын,— в темноте площадки я увидел лик нерукотворного Спаса». Об изумительном человеке Солженицыне теперь пишут книги. Мне хочется сказать только, что Солженицын изобразил самого себя исключительно правдиво и точно в главном персонаже романа — Глебе Нержине.

Восьмая заповедь зэка

К тому времени, когда Лева Копелев прибыл на шарашку, мы были с Саней Солженицыным уже в дружеских отношениях. Лев тоже коротко сошелся с Саней, так как у них было много общего: оба воевали на одном фронте, учились в одном институте, имели ярко выраженную склонность к изящной словесности... Лев — кладезь литературной эрудиции, был необыкновенно осведомлен также в вопросах истории, политической жизни страны; их дружба вполне понятна и оправдана. Труднее объяснить, как я затесался в их компанию, тем более, что со Львом мы расходились по всем главным вопросам современности и прошлого. Я думаю, что в то время вошел а их единство как антитеза и возмущающая сила. Не в упрек автору «Круга», который вовсе не обязан был дать фотографию действительности, следует сказать, что описанные там споры Рубина и Сологдина — лишь бледная тень того, что было на самом деле. Как нападающая сторона, Сологдин вынужден был называть вещи своими именами и громить сталинский режим совершенно бескомпромиссно. Это вызывало ярость и резкие возражения Рубина, так как невозможно было защитить эту систему по существу. За любой спор один мог заработать срок в двадцать пять лет за «клевету», а другой — десять лет за недоносительство. Вряд ли следовало описывать эти споры в романе, написанном для московского журнала «Новый мир», и в «Круге» они даны в очень смягченном варианте.

Кроме того, несдержанность Льва объяснялась тем, что по сравнению со мной, старым, испытанным дуэлянтом, он спорить не умел. Впервые здесь, на шарашке, он узнал, что представляет собой обмен мнениями внутренне свободных людей. До этого в своей среде он встречался лишь с теми, кто был со всем согласен или помалкивал, поскольку откровенный разговор в партийных компаниях был чрезвычайно рискованным. Более того, я убедился, что борьба мнений как средство отстоять истину была незнакома Льву. Ему казалось достаточным одержать временный тактический успех, поэтому, постоянно чувствуя, как почва уходит из-под ног, он начинал горячиться, кричать и даже ругаться. Порой мне казалось, что он готов меня убить, но через день-два все входило в норму, и вскоре при первом удобном случае споры возобновлялись. Обычно наши столкновения происходили с глазу на глаз, но иногда мы прибегали к Солженицыну как к арбитру.

Первые полгода, когда работа шарашки только налаживалась, мы провели много прекрасных вечеров в помещении библиотеки. Лев рассказывал о своих фронтовых похождениях и делился богатыми наблюдениями о немцах, с которыми встречался как переводчик. До сих пор мне жаль, что только несколько вечеров были посвящены чтению стихов. Оба — Лев и Солженицын — декламировали изумительно. Однажды я упросил их почитать раннего Маяковского. Лев выбрал отрывки из поэмы «Облако в штанах», а Саня — «Флейту-позвоночник». Оба не жаловали поэта, но читали все равно его стихи с большим пониманием. На мой взгляд, пальма первенства принадлежала Сане, так как, обладая артистическим талантом, он мимикой дополнял звучание и смысл стихов.

В двадцатые годы я не разделял переживаний моих сверстников, увлекавшихся Есениным, Маяковским, Пастернаком. Первый казался мне простоватым и непоследовательным; второй был ненавистен ярой советской политической направленностью; третий вызывал зевоту. До «Доктора Живаго» ему предстояло тогда еще повариться в советском котле лет тридцать. Однако в лагере я впервые взял как следует в руки Маяковского, и в ту веху жизни он затронул струны моей души грубой силой и наглостью, гармонируя с окружающим нас лагерным зверством. Впоследствии, в ссылке, я основательно разобрался в его творчестве и неразрывно связанной с ним личности, но на шарашке нас забавляли его ранние стихи периода увлечения футуризмом и хождения в желтой кофте.

Солженицын — человек уникальной энергии, и сама природа создала его так, что он не

вал усталости. Он частенько терпел из вежливости наше общество, про себя жалея часы, пропавшие из-за такого времяпрепровождения, но зато когда был в ударе или разрешал себе поразвлечься — мы получали истинное наслаждение от его шуток, острот и выдумок. В таких случаях румянец Сани усиливался, кос белел и становился как бы вылепленным из алебастра. Но часто выходило наружу и другое его качество — присущий ему юмор. Он умел подметить тончайшие, ускользающие обычно от окружающих штрихи, жесты, интонации и артистически воспроизводил их комизм, так что слушатели буквально катались от хохота. Но разрешал он себе это, увы, крайне редко, в самом узком кругу и только тогда, когда видел, что это не идет в ущерб его занятиям.

После шарашки нам пришлось просидеть в Бутырках тридцать пять дней, ожидая отправки в спецлагерь, и большую часть времени мы провели только вдвоем. По вечерам Саня по свежим следам разыгрывал импровизированные сценки, имитироал различных собеседников, чаще всего — диалоги между начальством и зэками. Коронным номером была передача телефонного разговора начальника акустической лаборатории и оперуполномоченного Шикина, и я часто упрашивал Саню повторить их беседу в его интерпретации.

В свои произведения, принадлежащие мировой литературе, Солженицын сумел вложить тонкий юмор в великолепной дозировке; как жемчуг, он рассыпан и в романе «В круге первом». В русской литературе почти отсутствует мягкий смех, так как бичующая сатира — иной природы, и для меня по этой причине Солженицын занимает, бесспорно, первое место.

Гораздо чаще организатором вечеров был Лев, и первые месяцы прошли преимущественно под его знаком зодиака. Как-то я поведал своим литературным друзьям, что не очень люблю русские стихи, поскольку не нахожу в них призывов к рыцарству, благородству, подвигам... и привел строфу скаутского гимна: «Не страшись работы и опасности, помни, что ты молод и силен». «Это не поэзия!» — разом воскликнули они. Тогда я попросил указать мне поэта, где подобные мысли отражались бы в подлинно поэтической форме. За обветшалостью мы не стали трогать восемнадцатый век. В девятнадцатом самые известные поэты насмехались, издевались, низводили, но не воспевали рыцарства: переводные баллады Жуковского были лишены динамизма и выглядели пресными, остальных эта сторона вообще не трогала. В двадцатом веке Лев обнаружил не совсем то, что мне хотелось, но по духу близкое и созвучное: на память он читал Гумилева, которого любил и почитал. Расстрелянный Лениным в 1921 году, поэт не только не был издан при советской власти, но всячески замалчивался, и для нас его стихи были очередным открытием. Саня в ту пору любил Есенина, прочел нам как-то несколько лучших его стихотворений, но поклонников в нас не нашел.

С годами я несколько изменил свою оценку: я стал считать, что удачно подобранный сборник стихов Есенина сможет возжечь любовь к земле и нормальной крестьянской доле в тех, у кого эти чувства специально вытравливались в колхозные десятилетия. Лев пробовал приучить нас к Багрицкому, но не преуспел: не пленила ни форма, ни содержание. Зато Лева покорил нас исполнением романсов Вертинского. Он не только с большим чувством воспроизводил мелодию и слова, но удачно копироал характерные жесты, и, глядя на него, я охотно извинял все его увлечения марксизмом-ленинизмом-сталинизмом.

Друзья всюду были моей семьей. Так было и на шарашке: восьмая заповедь зэка подтверждала свою правильность [5].

Язык предельной ясности

Язык, на котором мы говорили, я прозвал птичьим. Он содержал в себе множество иностранных заимствований, непонятных или малопонятных большинству на нем говорящих, и мои обличения сопровождались восхвалением «языка предельной ясности», на котором я будто бы уже разговаривал. Реализация моей гипотезы вносила в нашу жизнь оживление, шутки, смех. Лев был великолепный филолог и лингвист. Саня уступал ему в знании иностранных языков, но по глубине понимания русского он уже тогда не имел себе равных. Поэтому мои нападки и утверждения встречали доводы блестящих оппонентов. Я приводил следующие доказательства.

— Огромное число слов в современном русском языке иностранного происхождения. Они инородны, непонятны, со славянскими корнями не связаны. Употребляя их, мы жертвуем точностью как в передаче своих, так и в восприятии чужих мыслей и создаем мираж кажущейся ясности. Поэтому нас захлестывают волны неточности, двусмысленности, скрытой неразберихи. Наше мышление и деловой обмен мыслями напоминают телеграфную связь, которая превращает слова в точки и тире, но допускает при этом постоянные промахи. В нашем разговорном обыденном «птичьем» языке мы себя затрудняем еще менее и точности выбора слоа, быстро их выговаривая и часто ошибочно вкладывая в них не совсем тот смысл, который имеем в виду. В результате — открывается дополнительная возможность подмен, подтасовок, искажений, обманов.

— Язык «предельной ясности», по моему замыслу, должен был состоять из нескольких сот элементарных слов, ясных еще с детства. Несколько тысяч более сложных понятий возникает из них, поэтому должны быть переданы многослоговыми составными словами или целыми фразами. На первых порах понадобятся словари, но поскольку корни обжитые и знакомые, символы запомнятся быстро.

— В научной сфере язык предельной ясности незаменим, так как дает возможность наиболее точных определений применяемых понятий. Но для рабочих манипуляций и связи с другими языками он допускает и даже рекомендует международные термины, объединяющие многословные выражения.

— Такой язык создать возможно. Я, не будучи лингвистом, один, кустарным путем слепил его живую модель. Конечно, это было лишь жалким подобием настоящего языка предельной ясности, который должны были разработать знатоки и специалисты своего дела.

Много раз я предлагал Льву заняться разработкой этой проблемы, и, на мой взгляд, он напрасно отказывался. При его громадных познаниях, великолепной памяти, работоспособности, живости ума он один вчерне за несколько лет справился бы с этой задачей и на воле мог бы продолжить свои изыскания. Много людей сказали бы ему спасибо. Используя изложенные принципы, тщательно разработав свою терминологию и непрерывно ее уточняя, мне удалось приподнять завесу над загадочными величинами физического мира — пространством и временем, что нашло отражение в книге, которую я надеюсь вскоре опубликовать на Западе.

От моих предложений Лев, конечно, открещивался, поскольку они исходили от человека с чуждой ему идеологией, и напоминал мне в этом отношении коммунистов первых годов захвата власти. У этих темных и малоразвитых людей ничего в арсенале, кроме «классового чутья», не было: население они делили на тех, кого надо поставить к стенке немедленно, и тех, кого следует только ограбить. Естественно, к «чуждым» у них никакого доверия не было, и то, что им говорили и предлагали, рассматривалось как вражеская буржуазная вылазка. Все становилось таким образом предельно простым; думать не требовалось. Не мог Лев также примириться и с тем, что рекомендация исходила не от профессора или равного ему доцента, а от безвестного человека без ученой степени и звания. Кроме того, Льву, всю жизнь утопавшему в пучине кажущейся ясности, а силу направленности самой задачи надо было бы переборить в себе многолетние привычки и перейти к точному мышлению. Конечно, это принесло бы ему огромную пользу, но одновременно пришлось бы поступиться частичкой своей гордости и самолюбия, а главное — расстаться с грудой заблуждений относительно коммунизма и способов его достижения. Но Лев, наоборот, питал фанатическое доверие к постулатам марксизма и лишь из цитатника ожидал направляющих идей для своих будущих работ.

Этому настроению, наверное, содействовало также бурное наступление мичуринцев на «буржуазную» генетику, открытия Лепешинской — предложение создать живые клетки из гидр, перемолотых в ступе,— объяснение происхождения мира Опариным... Марксистские открытия, которые полностью вдохновлялись цитатами из Энгельса, оказались, как и следовало ожидать, вопиющим безграмотным шарлатанством и очковтирательством. Но тогда это еще не обнаружилось в открытом, понятном для рядовых людей виде, и Лев, со свойственным ему увлечением, принялся разрабатывать знаменитую по своему верхоглядству мысль Энгельса, в которой утверждается, что человек произошел от обезьяны, коль скоро она начала своими лапами производить осмысленный труд. Лев схватился за это место и стал нас заранее уверять, что все языки мира произошли от слова «рука». Много смеха принесли нам его изыскания и открытия. Карманы Льва разбухли от самых разнообразных иностранных словарей, и всюду он находил подтверждение гениальной идеи Энгельса, ставшей теперь как бы его собственной. Но замыслы Льва претерпели удар судьбы. Солженицын правильно отметил в «Круге», что добрые чувства испытывали ко Льву только его идейные враги, а от единомышленников он получал лишь пинки и неприятности. Так произошло и в данном случае. Корифей наук, генералиссимус всех учений Сталин своей сверхгениальной работой в области языкознания ниспроверг учение Марра о классовой природе языков. Тем самым уничтожался и замысел Льва, поелику Марр тоже питался схожими цитатами из Энгельса и преследовал цель доказать их справедливость.

Мы были благодарны Льву за веселые минуты, которые он нам доставил своими «открытиями». Язык предельной ясности забавлял нас дольше, так как я в нем упражнялся все два с половиной года нашего совместного пребывания. Рациональное его зерно нашло применение в служебных работах того же Льва, когда в разрабатываемой им теории артикуляции появлялись обозначения новых терминов, выраженные понятными, родными словами, как, например, «звуковиды», «стрежень», «видимая речь»...

В годы, когда мы ломали копья в спорах, а я из кожи лез, чтобы подтвердить важность языка предельной ясности, в Риме умирал необыкновенный поэт-мыслитель Вячеслав Иванов. По приезде на Запад я познакомился с его повестью о Светомире Царевиче и был очарован не только глубиной и силой этой вещи, но, в первую очередь, языком, каким она

была написана. Это был для меня праязык предельной ясности, созданный из истоков мудрости и всеобъемлющего взгляда на жизнь. Мой язык мог бы рассматриваться как один из лучей его сияния.

Реабилитация Сологдина

Первое время на шарашке мне поручили разобраться в станочном оборудовании, вывезенном главным образом с предприятий немецкой фирмы Лоренц. Я был предоставлен самому себе, свободного времени хватало. Сначала я сделал попытку вернуть память, разучивая правила немецкой грамматики, потом занялся переводами из технических немецких и французских журналов. В результате я понял, что механическая память утеряна мною безвозвратно: мне надо было сто раз повторить слово, чтобы его запомнить, вскоре оно все равно забывалось. Но то, на чем сильно концентрировалось внимание или заставляли бессознательно сосредоточиться события жизни, оставалось накрепко в памяти, и эта особенность дает мне возможность составить эти записки. Я утешал себя тем, что если у слепых обостряется осязание, то при отсутствии памяти у меня усилится интуиция. К тому времени главная моя цель — сделать свой скромный вклад в общее дело людей доброй воли — начала отливаться в определенную форму. Я должен был:

— способствовать выполнению людьми воли Бога;

— защитить в первую очередь рядовых тружеников от обрушиваемых на них злодейских козней.

В технике я привык использовать законы механики и физики. Вступая на зыбкую почву истории, социологии, философии, я понял, что не смогу сделать ничего полезного, если не сумею опереться на универсальные законы, действующие не только в физическом, но и примыкающем к нему трансфизическом мире, формирующем души людей и связанные с ними закономерности в жизни общества. На исполнение этой задачи я затратил, правда, с большими вынужденными перерывами, десять лет жизни, с 1948 по 1958 гг.

В начале сорок восьмого я начал обдумывать вопрос, давно занимавший мое воображение. Со студенческих лет у меня создалось двойственное отношение к законам диалектики Гегеля, над которыми Маркс произвел свою жульническую операцию переворачивания с ног на голову. Занимаясь техникой, я не имел возможности разобраться в этом раньше. Но ошибка Маркса для меня была очевидной, поскольку на основании одного и того же закона он устанавливал одновременно два взаимоисключающих положения. Он утверждал, что антагонизм между классами капиталистов и пролетариев представляет собой движущую силу общества, то есть признал, что в нем действует закон развития единства как борьбы противоположностей. Но, по Марксу, эта борьба заканчивалась безраздельной победой пролетариата: оставался один класс. То есть он, видимо, считал, что капиталисты истреблялись, а крестьяне, ученые, инженеры и прочие исчезали или сливались с пролетариями. При этом развитие должно прекратиться, а общество — развалиться, коль скоро для образования единства требуются борющиеся противоположности, следовательно, минимум две вместо одной оставшейся. Иначе остается признать, что законы диалектики — придуманный вздор, не имеющий реальных корней в жизни общества. Пятнадцать лет я прожил с этой загадкой и наконец решил выяснить ценность этих законов. Мне было ясно, что они должны управлять явлениями в технике и в точных науках, если являются универсальными законами природы. Если они там не приложимы, то место им — в мусорном ящике. Я стал на точных примерах изучать методы приложения трех законов диалектики Гегеля. Начал я с процессов термодинамики: изотермическое расширение-сжатие, цикл Дизеля...

Главная ценность законов развития, как я их величал на языке предельной ясности,— их применение в сферах, где еще слабо изучено действие законов природы: в социологии, биологии, науке о мироздании, в богословии...

Во время споров со Львом я переходил к процессам обыденной жизни, таким, как мытье кастрюли, изготовление стола, покраска пола... Я считал, что когда просто подымаешь руку, то все универсальные законы должны сказываться на этом действии, и, при желании, они могут быть описаны. Лев бушевал, клеймил презрением мои столь низменные примеры, кричал, что это профанация, что законы диалектики приложимы к центральным явлениям бытия... В силу такого настроя, верней, полной неподготовленности к их инженерной трактовке он не извлек из наших споров той большой пользы, которая помогла бы ему разобраться в его мировоззрении.

Я не поклонник философии Гегеля, так как его общая схема ошибочна в центральном своем положении: абсолютный дух познает себя в своем развитии. Такой слепорожденный дух не может существовать даже в аду. У меня не вызывало сомнений, что Бог творит в полную силу Своего сверхвеликого гения, создает развивающиеся миры, наблюдает их становление, корректирует, исследует объекты со свободной волей... Бог — это любовь, истина, свобода, а они требуют ясного сознания с самого начала творчества.

С другой стороны, открытые гением Гегеля законы развития делают его равным

Ньютону и Эйнштейну, и удивительно, что он их извлек в метафизических высотах и лишь впоследствии наметил их приложимость также к соотношениям земной жизни.

Мои упражнения в освоении законов развития нашли отражение в разговорах Нержина с Сологдиным и в спорах последнего с Рубиным в романе «В круге первом».

Весной сорок восьмого шарашку передали в распоряжение Министерства государственной безопасности (МГБ). Я попал в конструкторское бюро, Саня и Лев — в акустическую лабораторию. Я постарался занять место, дававшее мне наибольшую самостоятельность и наименьшую занятость. В то время у меня возник план объяснения мира из одного истока, и я поставил себе цель — понять физические основы механики. Иными словами, я хотел выяснить мучившие меня несообразности, как, например: почему время, помноженное на силу, равно массе, помноженной на скорость, или почему сила равна массе, помноженной на ускорение. Ведь с детства еще остались правила недопустимости умножения пудов на аршины... В механике все это оказалось возможным, а главное — совершенно правильным, и для меня начали проясняться некие единые первичные образования. Для поисков требовалось время и спокойствие. Первое было в моем распоряжении, так как я широко применил седьмую заповедь зэка: «мораль рабов — чекистам»; второе я черпал в молитве, а впоследствии, частично, и в иогине.

В бюро было два вида работ: нужные чертежи панелей с комплектованием их в стенды и разработка механических шифраторов [6]. Вторая работа была недопустима, так как я ее осудил как укрепляющую режим сталинизма. На первых порах она нам казалась все же чисто гражданской, и я не сопротивлялся, когда мне поручили разработать один из вариантов: я смастерил примитивную конструкцию, чтобы поскорей отвязаться. Профессор-математик несколько раз подходил ко мне во время работы и расспрашивал о моем первенце. Опытному дешифровщику была очевидна слабость моего решения, но он не подал вида, не предупредил меня, хотя, как порядочный зэк, обязан был это сделать. На защите моего проекта коварный математик без труда доказал, что раз все устройство представляет систему колес, то применение гармонического анализа позволяет без труда снять шифрующие помехи, и время на это требуется небольшое... Разгром был сокрушительным. За такую неудачу меня могли сразу отправить в лагерь, но, видимо, к этому времени администрация взяла в толк, что нельзя без необходимой подготовки немедленно требовать результатов. Я решил сыграть ва-банк и заявил о своем несогласии заниматься шифраторами, пока не будет возможности отказаться от колес как их основы, а тем временем предложил выполнять расчеты и составлять расчетные методики. Подумав, начальство согласилось, и таким образом у меня образовались все возможности для реализации задуманного плана.

В мастерской производился ремонт какого-то механизма. Как обычно, в таких элементах связи мощность привода была ничтожной — измерялась в ваттах, а зубья колес были сильно сработаны. Я заинтересовался этим явлением и высказал предположение, что износ определяется множеством микроударов, возникающих от неточности изготовления зубчатых колес. Наиболее подходящим оказался способ расчета Бекенгейма, который мне удалось переработать для передачи ничтожно малых мощностей с помощью зубчатых зацеплений различного типа. Получаемые в ходе расчетов размеры колес — модули — отвечали нормам, нащупанным вслепую в ходе эксплуатации схожих систем. Эти соображения в какой-то мере компенсировали мой провал с шифратором. В бюро мой небольшой и малозаметный авторитет был установлен достаточно прочно, но внутренне я, конечно, был собой страшно недоволен. Зная наперед, что никакого решения от меня чекисты не получат, я исподволь принялся обдумывать схему механического шифратора с единственной целью — восстановить нарушенное к самому себе доверие. Позже, ознакомившись с иоговским учением, я понял, что интуитивно нащупал основной прием раджа-иоги: приближаешься к теме, формулируешь задачу и, начав над ней работать, отстраняешься; тогда продолжает ее решать надсознание; при новом приближении что-то еще проясняется, ты опять отстраняешься и этот прием используешь много раз — до полной победы. Проблема оказалась достаточно сложной и, применяя свой метод поиска, я через год нашел решение, которым, кроме меня, остался доволен высший авторитет в области дешифрации профессор Тимофеев, прекрасно выведенный Солженицыным под именем Челнова. Совсем без колес обойтись, конечно, не удалось, но я спроектировал механизм, воспроизводящий шатунные кривые высших порядков. При этой схеме сложнейшая кривая, вычерчиваемая тремя последовательно связанными шатунами, может повториться только через десятки тысяч лет. Механизм, конечно, не воспроизводил хаотического движения, но при том состоянии техники расшифровка потребовала бы многих лет работы. По моей просьбе удалось провести экспертизу в полной тайне, поэтому никаких объяснений с начальством у меня не было. Профессор предложил совместное оформление моей идеи, рассматривая это как шанс досрочного освобождения. Я изложил ему свою точку зрения о недопустимости вооружать этот режим и в один из дней, когда производили периодическое уничтожение черновиков и ненужных бумаг, сжег все материалы, связанные с шифратором.

Однако ни шифратор, ни текущие работы не отрывали меня от основной задачи

в области понимания существа механических явлений. В 1933 году мне показалось правильным рассматривать вселенную как совокупность сгущений-разрежений различного вида вещества и силовых полей. На основе этой гипотезы я довольно удачно находил объяснение явлений в электрических и гидравлических машинах. Мне следовало бы перейти на физический факультет университета, если бы не любовь к технике. Так или иначе, но через пятнадцать лет мне снова пришлось вернуться к моей старой гипотезе. Помог и разговор с Трушляковым. Результаты не заставили себя ждать, и уже к концу сорок девятого я вчерне сформулировал «Закон движения вещей», который позже изложил в работе «Механика на квантовом уровне».

Я спокойно и успешно продолжал работать на шарашке вдали от авралов и штурмовщины. В семь был подъем, после зарядки я пилил и колол под открытым небом дрова, с девяти до часу и с двух до восьми работал, причем в основном не на «органы», а с девяти до половины одиннадцатого устраивал ежедневное вечернее бдение опять — на себя. Для укрепления здоровья я спал всегда под открытым окном, в воскресенье, кроме дров, никакой работой не занимался. Питание я получал по низшей категории, кроме того, выдавали на теперешние деньги три рубля в месяц; отношение начальства ко мне было в лучшем случае прохладное, и на досрочное освобождение никаких надежд не было. Но зато, занимаясь гимнастикой, я распределял свое время таким образом, что мог читать несколько книг в месяц и беседовать с друзьями.

Внезапно четвертого ноября нормальный ритм был нарушен, и человек двадцать зэков, в том числе профессора Тимофеева, Льва и меня, отвезли в Бутырки, где мы просидели целую неделю. Строго говоря, обижаться было не на что: мы жили, по сравнению с лагерниками, в свое удовольствие, в ничего страшного не было в том, чтобы недели две в году провести в закрытке. Я легко переломил бы в себе обиду, если бы не досадовал так на стукачей, которых расплодили в невозможных количествах при полной безнаказанности. В атмосфере усиливающегося психоза бдительности постоянные стычки на чужих людях со Львом и мое пребывание после десяти лет отсидки на явной заметке у оперуполномоченного показывали, что держаться за шарашку резона не было. К тому же я стремился закончить лагерное образование пребыванием в спецлагерях, о которых мы, со слов очевидцев, составили к тому времени достаточно верное представление, и для меня это было не последним соображением.

Несколько месяцев я уединялся от друзей на дневных прогулках, взвешивал все «за» и «против», молился, просил Бога меня надоумить. В спецлагерях, в которые я потом попал, мне было отнюдь не сладко, но я ни разу не пожалел, что не остался на шарашке. Я получил под конец тот опыт, которым не в состоянии была меня снабдить внешняя жизнь, и, в свою очередь, мне предоставилась возможность отдать многолетние накопленные знания и размышления зэковскому братству, что в условиях шарашки делать не имело смысла.

Придя к такому решению, я с марта месяца приступил к его осуществлению: демонстративно не желал работать, задания всячески затягивал и сдавал только после нескольких напоминаний, часто огрызался, вечером иногда не выходил на работу. Когда весной на поверке вызывали желающих на уборку двора, обращаясь, естественно, только к работягам, я нагло изъявлял желание и целые дни загорал на весеннем солнце. Никто из инженеров, дорожащих своим положением, о таком времяпрепровождении не смел и помыслить.

У Солженицына были свои соображения, чтобы уехать, и он раза два присоединялся к моим вылазкам. 19 мая мы мирно беседовали, сгребая листья, как вдруг к нам подошел знакомый читателю «Круга» младшина и извиняющимся тоном сообщил: «Панин и Солженицын, собирайтесь с вещами!» В тот же день нас отправили в Бутырки, откуда через тридцать пять дней этапировали в Казахстан, в Экибастуз. Когда я подошел к окошечку, чтобы сдать записанный на меня измерительный инструмент, секретарь парторганизации, числящийся конструктором, а потому хорошо меня знавший, предложил мне написать заявление, чтобы меня оставили. Я поблагодарил и ответил, что в этом не нуждаюсь. Скорей всего, это была злая шутка чекистов в инженерных погонах, которых мой независимый вид и слишком самостоятельное поведение раздражали, и они решили посмотреть, как я стану хвататься за соломинку, а затем просто посмеяться над обнадеженным человеком. Возможно, что постаралась дама, выведенная в «Круге» под именем Еминой, с которой у нас были шутливо-влюбленные, но абсолютно платонические отношения.

Следует реабилитировать Сологдина и за его чудачества. Колка дров была в высшей степени разумна и необходима для здоровья, так же, как приоткрытое окно ночью, дававшее приток свежего воздуха в камеру; некоторые фразы в спорах могли быть сказаны Сологдиным только в шутку.

В интервью, данном американским корреспондентам в 1972 году, Солженицын объяснил, что существует вторая подлинная версия романа «В круге первом». Я надеюсь, что, когда она будет издана, Сологдин будет реабилитирован самим автором и превратится из бабника и карьериста в нечто более достойное и близкое своему прообразу.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Блатной, блатарь — уголовный преступник, уголовник *(жарг.)*.

[2] Сука — вор, нарушивший воровской закон *(жарг.)*.

[3] Лев Копелев — писатель, с 1980 г. живет в ФРГ.

[4] Шарашка, шарага — конструкторское бюро в тюрьме, в котором работали заключенные.

[5] Заповеди зэка, которые выработал для себя Д. Панин и которыми руководствовался в лагерной жизни, звучат так:

1. Смерть стукачам.
2. Удар за удар.
3. Помогай достойному.
4. Не суй нос в котелок соседа.
5. Не задирайся.
6. «Кровный костыль» — тебе одному.
7. Мораль рабов — чекистам.
8. Друзья — твое семейство.
9. Раб снаружи — внутри воин.
10. Спасешь душу — сохранишь тело.

[6] Механический шифратор — устройство, которое по определенной схеме сознательно искажает информацию, переданную по каналу связи, чтобы ее невозможно было понять постороннему человеку. На другом канале связи такое же устройство возвращает информации первоначальный вид.

Продолжение следует



«Звезда» вводит новую рубрику «Уроки изящной словесности». Мы исходим из убеждения, что искусство не имеет отношения ни к занудству, ни к унылости. И в этом смысле — «помогает жить». Та жвачка, которой нас кормят с детства различные учебники отечественной литературы, отбила охоту у большей части населения читать великие — на самом деле великие — произведения российской словесности. В открываемой постоянной рубрике мы хотим напомнить нашим читателям — как юным, так и взрослым,— что классика наша жива и может увлечь каждого. И что смысл ее всегда актуален и неисчерпаем.

Мы приглашаем принять участие в этом разделе всех — писателей, литературоведов, критиков, читателей. Всех тех, кто поможет открыть какие-то неизвестные доселе, яркие, оригинальные грани известнейших образцов нашей литературы.

Объем материалов — 10—12 страниц на машинке.

«Звезда» открывает рубрику главами из работы американских критиков Петра Вайля и Александра Гениса «Родная речь» с предисловием Андрея Синявского.

Андрей Синявский

ВЕСЕЛОЕ РЕМЕСЛО

Кто-то решил, что наука должна быть непременно скучной. Вероятно, для того, чтобы ее больше уважали. Скучное — значит, солидное, авторитетное предприятие. Можно вложить капитал. Скоро на земле места не останется посреди возведенных до неба серьезных мусорных куч.

А ведь когда-то сама наука почиталась добрым искусством и все на свете было интересным. Летали русалки. Плескались ангелы. Химия именовалась алхимией. Астрономия — астрологией. Психология — хиромантией. История вдохновлялась Музой из хоровода Аполлона и вмещала авантюрный роман.

А ныне что? Воспроизводство воспроизводства?

Последний приют — филологии. Казалось бы: любовь к слову. И вообще, любовь. Вольный воздух. Ничего принудительного. Множество затей и фантазий. Так и тут: наука. Понаставили цифры (0,1; 0,2; 0,3 и т. д.), понатыкали сноски, снабдили, ради научности, аппаратом непонятных абстракций, сквозь который не продраться («вермекулит», «груббер», «локсодрома», «парабиоз», «ультрарапид»), переписали все это заведомо неудобоваримым языком,— и вот вам, вместо поэзии, очередная пилорама по изготовлению бесчисленных книг.

Уже в начале столетия досужие букинисты задумывались: «Иной раз дивишься — неужто у человечества на все книги мозгов хватает? Мозгов столько нет, сколь книг!» — «Ничего,— возражают им наши бодрые современники,— скоро читать и производить книги будут одни компьютеры. А людям достается вывозить продукцию на склады и на свалки!»

На этом индустриальном фоне, в виде оппозиции, в опровержение мрачной утопии и возникла, мне представляется, книга Петра Вайля и Александра Гениса — «Родная речь». Название звучит архаически. Почти по-деревенски. Детством попахивает. Сеном. Сельской школой. Ее весело и занятно читать, как и подобает ребенку. Не учебник, а приглашение к чтению, к дивертисменту. Не восславить предлагается прославленную русскую классику, а заглянуть в нее хотя бы одним глазком и тогда уже полюбить. Заботы «Родной речи» экологического свойства и направлены на спасение книги, на оздоровление самой природы чтения. Основная

задача формулируется так: «Книгу изучали и — как часто бывает в таких случаях — практически перестали читать». Педагогика для взрослых, в высшей степени, между прочим, начитанных и образованных лиц.

«Родную речь», журчащую, как ручей, сопровождает ненавязчивая, необременительная ученость. Она предполагает, что чтение — это сотворчество. У всякого — свое. В ней масса допусков. Свобода трактовок. Пускай наши авторы в изящной словесности собаку съели и выдают на каждом шагу вполне оригинальные повелительные решения, ваше дело, внушают они, не повиноваться, а любую идею подхватывать на лету и продолжать, иногда, быть может, в другую сторону. Русская литература явлена здесь в образе морского простора, где каждый писатель сам себе капитан, где паруса и канаты протянуты от «Бедной Лизы» Карамзина к нашим бедным «деревенщикам», от повести «Москва — Петушки» к «Путешествию из Петербурга в Москву».

Читая эту книгу, мы видим, что вечные и действительно незыблемые ценности не стоят на месте, приколотые, как экспонаты, по научным рубрикам. Они — перемещаются в литературном ряду и в читательском сознании и, случается, входят в состав позднейших проблематичных свершений. Куда они поплывут, как повернутся завтра, никто не знает. В непредсказуемости искусства — его главная сила. Это вам не учебный процесс, не прогресс.

«Родная речь» Вайля и Гениса — это обновление речи, побуждающее читателя, да будь он семи пядей во лбу, заново перечесть всю школьную литературу. Прием этот, известный издревле, называется — остранением. Чтобы им воспользоваться, нужно не так уж много, всего лишь одно усилие: посмотреть на действительность и на произведения искусства непредвзятым взглядом. Как если бы вы их читали впервые. И вы увидите: за каждым классиком бьется живая, только что открытая мысль. В нее хочется играть.

Петр Вайль, Александр Генис

РОДНАЯ РЕЧЬ

НАСЛЕДСТВО «БЕДНОЙ ЛИЗЫ»

Карамзин

В самом имени Карамзин — звучит некая жеманность. Не зря Достоевский переврал эту фамилию, чтобы высмеять в «Бесах» Тургенева. Так похоже, что даже не смешно.

Еще недавно, до того, как в России начался бум, произведенный возрождением его «Истории», Карамзин считался всего лишь легкой тенью Пушкина. Еще недавно Карамзин казался элегантным и легкомысленным, вроде кавалера с полотен Буше и Фрагонара, воскрешенных потом художниками «Мира искусства».

А все потому, что про Карамзина известно, что он изобрел сентиментализм. Как все поверхностные суждения, и это справедливо, хотя бы отчасти. Чтобы читать сегодня повести Карамзина, надо запастись эстетическим цинизмом, позволяющим наслаждаться старомодным простодушием текста.

Тем не менее, одна из повестей — «Бедная Лиза», благо там всего семнадцать страниц и все про любовь — все же живет в сознании современного читателя.

Бедная крестьянская девушка Лиза встречает молодого дворянина Эраста. Уставший от ветреного света, он влюбляется в непосредственную, невинную девушку любовью брата. Однако вскоре платоническая любовь переходит в чувственную. Лиза последовательно теряет непосредственность, невинность и самого Эраста — он уходит на войну. «Нет, он в самом деле был в армии, но вместо того, чтобы сражаться с неприятелем, играл в карты и проиграл почти все свое имение». Чтобы поправить дела, Эраст женится на пожилой богатой вдове. Узнав об этом, Лиза топится в пруду.

Больше всего это похоже на либретто балета. Что-то вроде «Жизели». Карамзин, использовав расхожий в те времена сюжет европейской мещанской драмы, перевел его не только на русский язык, но и пересадил на русскую почву.

Результаты этого незатейливого опыта были грандиозными. Рассказывая сентиментальную и слащавую историю бедной Лизы, Карамзин — попутно — открыл прозу.

Он первый стал писать гладко. В его сочинениях (не стихах!) слова сплетались таким правильным, ритмическим образом, что у читателя оставалось впечатление риторической музыки. Гладкое плетение словес оказывает гипнотическое воздействие. Это своего рода колея, попав в которую уже не следует слишком заботиться о смысле: разумная грамматическая и стилевая необходимость сама его создаст.

Гладкость в прозе — то же, что метр и рифма в поэзии. Значение слов, оказавшихся в жесткой схеме прозаического ритма, играет меньшую роль, чем сама эта схема.

Вслушайтесь: «В цветущей Андалузии — там, где шумят гордые пальмы, где благо-

ухают миртовые рощи, где величественный Гвадалквивир катит медленно свои воды, где возвышается розмарином увенчанная Сиерра-Морена,— там увидел я прекрасную». Столетия спустя с тем же успехом и так же красиво писал Северянин.

В тени такой прозы жили многие поколения писателей. Они, конечно, избавлялись понемногу от красивостей, но — не от гладкости стиля. Чем хуже писатель, тем глубже колея, в которой он елозит. Тем больше зависимость последующего слова от предыдущего. Тем выше общая предсказуемость текста. Поэтому роман Сименона пишется за неделю, читается за два часа и нравится всем.

Великие писатели всегда, а в XX веке особенно, сражались с гладкостью стиля, терзали, кромсали и мучили его. Но до сих пор подавляющее большинство книг пишется той же прозой, которую открыл для России Карамзин.

«Бедная Лиза» появилась на пустом месте. Ее не окружал густой литературный контекст. Карамзин в одиночку распоряжался будущим русской прозы — потому, что его можно было читать не только для того, чтобы возвыситься душой или вынести нравственный урок, а для удовольствия, развлечения, забавы.

Что бы там ни говорили, а в литературе важны не благие намерения автора, а его способность увлечь читателя выдумкой. Иначе бы все читали Гегеля, а не «Графа Монте-Кристо».

Итак, Карамзин «Бедной Лизой» угодил читателю. Русская литература захотела увидеть в этой маленькой повести прообраз своего светлого будущего — и увидела. Она нашла в «Бедной Лизе» беглый конспект своих тем и героев. Там было все, что ее занимало и занимает до сих пор.

В первую очередь — народ. Опереточная крестьянка Лиза с ее добродетельной матушкой породила бесконечную череду литературных крестьян. Уже у Карамзина лозунг «правда живет не в дворцах, а хижинах» звал к тому, чтобы учиться у народа здоровому нравственному чувству. Вся русская классика, в той или иной степени, идеализировала мужика. Кажется, что трезвый Чехов (рассказ «В овраге» ему долго не могли простить) был едва ли не единственным, кто устоял перед этой эпидемией.

Карамзинскую Лизу можно и сегодня обнаружить у «деревенщиков». Читая их прозу, можно быть заранее уверенным, что прав всегда окажется человек из народа. Вот так в американских фильмах не бывает плохих негров. Знаменитое «под черной кожей бьется сердце тоже» вполне применимо к Карамзину, который писал: «И крестьянки умеют любить». Есть тут этнографический привкус колонизатора, мучимого угрызениями совести.

Эраст тоже мучается: он «был до конца жизни своей несчастлив». Этой незначительной реплике тоже суждена была долгая жизнь. Из нее выросла заботливо лелеемая вина интеллигента перед народом.

Любви к простому человеку, человеку из народа, от русского писателя требуют так давно и с такой настойчивостью, что нам покажется моральным уродом любой, кто ее не декларирует. (Есть ли русская книга, посвященная вине народа перед интеллигенцией?) Между тем это отнюдь не такая уж универсальная эмоция. Мы ведь не задаемся вопросом — любил ли простой народ Гораций или Петрарка.

Только русская интеллигенция страдала комплексом вины в такой степени, что торопилась отдать долг народу всеми возможными способами — от фольклорных сборников до революции.

У Карамзина все эти сюжеты уже есть, хотя и в зачатке. Вот, например, конфликт города и деревни, который продолжает питать русскую музу и сегодня. Провожая Лизу в Москву, где та торгует цветами, мать ее говорит: «У меня всегда сердце не бывает на месте, когда ты ходишь в город, я всегда ставлю свечу перед образом и молю Господа Бога, чтобы он сохранил тебя от всякой напасти».

Город — средоточие разврата. Деревня — заповедник нравственной чистоты. Обращаясь тут к идеалу «естественного человека» Руссо, Карамзин, опять-таки попутно, вводит в традицию деревенский литературный пейзаж, традицию, которая расцвела у Тургенева и с тех пор служит лучшим источником диктантов: «На другой стороне реки видна дубовая роща, подле которой пасутся многочисленные стада, там молодые пастухи, сидя под тению дерев, поют простые, унылые песни».

С одной стороны — буколические пастухи, с другой — Эраст, который «вел рассеянную жизнь, думал только о своих удовольствиях, искал их в светских забавах, но часто не находил: скучал и жаловался на судьбу свою».

Конечно же, Эраст мог бы быть отцом Евгения Онегина. Тут Карамзин, открывая галерею «лишних людей», стоит у истока еще одной мощной традиции — изображения умных бездельников, которым праздность помогает сохранить дистанцию между собой и государством. Благодаря благословенной лени, лишние люди — всегда фрондеры, всегда в оппозиции. Служи они честно отечеству, у них бы не оставалось времени на совращение Лиз и остроумные отступления.

К тому же, если народ всегда беден, то лишние люди всегда со средствами, даже если они промотались, как это случилось с Эрастом. Безалаберное легкомыслие героев в де-

нежных вопросах избавляет читателя от мелочных бухгалтерских перипетий, которыми так богаты, например, французские романы XIX века.

У Эраста в повести нет дел, кроме любви. И тут Карамзин постулирует очередную заповедь русской литературы: целомудрие.

Вот как описан момент падения Лизы: «Эраст чувствует в себе трепет — Лиза также, не зная отчего — не зная, что с нею делается... Ах, Лиза, Лиза! Где ангел-хранитель твой? Где — твоя невинность?»

В самом рискованном месте — одна пунктуация: тире, многоточия, восклицательные знаки. И этому приему было суждено долголетие. Эротика в нашей литературе за редкими исключениями (бунинские «Темные аллеи») была книжной, головной. Высокая словесность описывала только любовь, оставляя секс анекдотам. Об этом и напишет Бродский: «Любовь как акт лишена глагола». Из-за этого появятся Лимонов и многие другие, пытающиеся этот глагол найти. Но не так-то просто побороть традицию любовных описаний при помощи знаков препинания, если она родилась еще в 1792 году.

«Бедная Лиза» — эмбрион, из которого выросла наша литература. Ее можно изучать как наглядное пособие по русской классической словесности.

К сожалению, очень долго у основателя сентиментализма читатели замечали одни слезы. Их, действительно, у Карамзина немало. Плачет автор: «Я люблю те предметы, которые заставляют меня проливать слезы нежной скорби». Слезливы его герои: «Лиза рыдала — Эраст плакал». Даже суровые персонажи из «Истории государства Российского» чувствительны: услышав, что Иван Грозный собирается жениться, «бояре плакали от радости».

Поколение, выросшее на Хемингуэе и Павке Корчагине, эта мягкотелость коробит. Но в прошлом, наверное, сентиментальность казалась более естественной. Ведь даже герои Гомера то и дело заливались слезами. А в «Песне о Роланде» постоянный рефрен — «рыдали гордые бароны».

Впрочем, всеобщее оживление интереса к Карамзину, может быть, свидетельство того, что очередной виток культурной спирали инстинктивно отрицает уже приевшуюся поэзию мужественного умолчания, предпочитая ей карамзинскую откровенность чувств.

Сам автор «Бедной Лизы» сентиментализмом увлекался в меру. Будучи профессиональным литератором почти в современном смысле этого слова, он использовал свое главное изобретение — гладкопись — для любых, часто противоречивых целей.

В замечательных «Письмах русского путешественника», написанных в то же время, что и «Бедная Лиза», Карамзин уже и трезв, и внимателен, и остроумен, и приземлен. «Ужин наш состоял из жареной говядины, земляных яблок, пудинга и сыра». А ведь Эраст пил одно молоко, да и то из рук любезной Лизы. Герой же «Писем» обедает с толком и расстановкой.

Путевые заметки Карамзина, изъездившего пол-Европы, да еще во времена Великой французской революции,— чтение поразительно увлекательное. Как и любые хорошие дневники путешественников, эти «Письма» замечательны своей дотошностью и бесцеремонностью.

Путешественник — даже такой образованный, как Карамзин,— всегда в чужом краю выступает в роли невежды. Он поневоле скор на выводы. Его не смущает категоричность скороспелых суждений. В этом жанре безответственный импрессионизм — вынужденная и приятная необходимость. «Немногие цари живут так великолепно, как английские престарелые матрозы». Или — «Сия земля гораздо лучше Лифляндии, которую не жаль проехать зажмурясь».

Романтическое невежество лучше педантизма. Первое читатели прощают, второе — никогда.

Карамзин был одним из первых русских писателей, которому поставили памятник. Но, конечно, не за «Бедную Лизу», а за 12-томную «Историю Государства Российского». Современники считали ее важнее всего Пушкина, потомки не переиздавали сто лет.

И вдруг «Историю» Карамзина открыли заново. Вдруг она стала самым горячим бестселлером. Как бы этот феномен ни объясняли, главная причина возрождения Карамзина — его проза, все та же гладкость письма.

Карамзин создал первую «читабельную» русскую историю. Открытый им прозаический ритм был настолько универсален, что сумел оживить даже многотомный монумент.

История существует у любого народа только тогда, когда о ней написано увлекательно. Грандиозной персидской империи не посчастливилось родить своих Геродотов и Фукидидов, и древняя Персия стала достоянием археологов, а историю Эллады знает и любит каждый. То же произошло с Римом. Не было бы Тита Ливия, Тацита, Светония, может быть, и не назывался бы американский сенат сенатом. А грозные соперники Римской империи — парфяне — не оставили свидетельств своей яркой истории.

Карамзин сделал для русской культуры то же, что античные историки для своих народов. Когда его труд вышел в свет, Федор Толстой воскликнул: «Оказывается, у меня есть отечество!»

Хоть Карамзин был не первым и не единственным историком России, он первый

перевел историю на язык художественной литературы, написал интересную, художественную историю, историю для читателей.

В стиле своей «Истории Государства Российского» он сумел срастить недавно изобретенную прозу с древними образцами римского, прежде всего, тацитовского лаконического красноречия: «Сей народ в одной нищете искал для себя безопасность», «Елена предавалась в одно время и нежностям беззаконной любви и свирепству кровожадной злобы».

Только разработав особый язык для своего уникального труда, Карамзин сумел убедить всех в том, что «история предков всегда любопытна для того, кто достоин иметь отечество».

Хорошо написанная история — фундамент литературы. Без Геродота не было бы Эсхила. Благодаря Карамзину появился пушкинский «Борис Годунов». Без Карамзина в литературе появляется Пикуль.

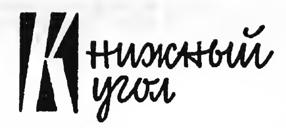
Весь XIX век русские писатели ориентировались на историю Карамзина. И Щедрин, и А. К. Толстой, и Островский воспринимали «Историю Государства Российского» как отправную точку, как нечто само собой разумеющееся. С ней часто спорили, ее высмеивали, пародировали, но только такое отношение и делает произведение классическим.

Когда после революции русская литература потеряла эту, ставшую естественной, зависимость от карамзинской традиции, разорвалась долгая связь между литературой и историей (не зря вяжет «узлы» Солженицын).

Современной словесности так не хватает нового Карамзина. Появлению великого писателя должно предшествовать появление великого историка — чтобы из отдельных осколков создалась гармоническая литературная панорама, нужен прочный и безусловный фундамент.

XIX век такой основой обеспечил Карамзин. Он вообще очень много сделал для столетия, о котором писал: «Девятый на десять век! Сколько в тебе откроется такого, что мы считали тайной». Но сам Карамзин все же остался в восемнадцатом. Его открытиями воспользовались другие. Какой бы гладкой когда-то ни казалась его проза, сегодня мы читаем ее с ностальгическим чувством умиления, наслаждаясь теми смысловыми сдвигами, которые производит в старых текстах время и которые придают старым текстам слегка абсурдный характер — как у обэриутов: «Швейцары! Неужели можете вы веселиться таким печальным трофеем? Гордясь именем швейцара, не забывайте благороднейшего своего имени — имени человека».

Так или иначе, на почве, увлажненной слезами бедной Лизы, выросли многие цветы сада российской словесности.



Раздел ведет Ив. Толстой

«ЧИСЛА»

Если «Современные записки» были для эмигрантской литературы символом традиционного российского толстого журнала, то *Ч* поставили себе задачей реализацию эстетических потребностей *молодого* поколения в своем печатном органе, проводящем только их эстетические воззрения. Говоря словами Виктории Андреевой, «рядом с уверенным парижским Петербургом и под его лучами, хотя и отталкиваясь от него и — вопреки ему, на Монпарнасе без деклараций и манифестов появилось лохматое и разношерстное бездомное племя молодых литераторов. Это племя жило и писало вопреки тяжелому столичному респекту и авторитетам. Их зачеркивал русский Париж, им не позволяли быть литературные метры, но они встречались, говорили, думали, искали, писали».

Хронологически *Ч* (1930—1934, 10 номеров) возникли между «Зеленой лампой» Д. С. Мережковского и З. Н. Гиппиус и альманахом «Круг», издаваемым И. И. Фондаминским. В мировоззренческом плане с Мережковскими *Ч* были породнены своим переживанием гибнущей цивилизации, с участниками журнала «Новый Град» (также издаваемого Фондаминским) — идеей «внутреннего преодоления катастрофы в категориях христианской нравственности. Посему идея Нового Града, повернутая к числовцам своей внутренней эзотерической стороной, позже смогла стать местом общей встречи».

Центральным ощущением числовцев было «обостренное ощущение катастрофы»; центральной темой — напряженная медитация о «цели жизни и смысле смерти».

Помимо литературной памяти о Петербурге (давшем монпарнасцам «метафизическое беспокойство») у них был Париж с его победой «дешевых идей над интеллектуально-духовным бескорыстием», бескорыстием, которое они вослед св. Франциску Ассизскому предпочли «рабству вещам».

Объявляя себя сборниками по преимуществу литературными, инициаторы *Ч* заявляли на открытие 1-го номера: «По тем или иным причинам, в русской культуре, как она развивалась в XIX и XX вв., почти вся тяжесть ее самых ответственных вопросов и решений легла на писателей и поэтов. Едва ли не виднейшие русские мыслители, едва ли не самые одаренные политические деятели — писатели. Литература в России всегда была проводником ко всем областям жизни.

Вот почему и вот в каком смысле „Числа“ задуманы как сборники по преимуществу литературные.

Не навязывая писателям каких бы то ни было других задач, лежащих вне литературы, „Числа“ будут все же стремиться через нее и ее методами затронуть все, что сейчас совершается в мире. Отзывы писателя не только о литературе, философии, общественных идеях, но и о живописи, музыке, театре, кинематографе и проч., перемешиваясь с отзывами специалистов, должны, по нашему замыслу, дать какой-то единый уровень всем отделам „Чисел“».

Ч возникли в ту самую пору, когда разворачивался второй акт эмигрантской полемики вокруг возможности и плодотворности существования литературы в изгнании. Этот второй акт характеризовался резкой поляризацией сил на группу сторонников литературного мастерства, литературы как искусства слова (Владислав Ходасевич), и на тех, кто ценил прежде всего непосредственность чувства, защищал литературу «лирических дневников», «человеческих документов» (Георгий Адамович, Георгий Иванов; постоянным примером, своего рода единицей измерения было творчество поэтессы Лидии Червинской).

В этой атмосфере и возник в Париже журнал (или сборники — как они себя называли) *Ч*, посвященный литературе, искусству и философии. *Ч* пользовались финансовой поддержкой (в частности, со стороны г-жи Ирмы де Манциарли). Редактором *Ч* был поэт Николай Оцуп; в редактировании первых четырех номеров участвовала г-жа Манцварли и через нее — редакция теософского журнала «Cahiers de l'Etoile». Самой меценаткой были напечатаны несколько коротких материалов — путевые очерки по Индии и заметка о Кришна мурти.

За полные пять лет существования в *Ч* появились прозаические вещи Г. Газданова, И. Одоевцевой, Б. Поплавского, С. Шаршуна, З. Гиппиус, Д. Мережковского, В. Варшавского, В. Яновского, Б. Сосинского, Ант. Ладинского, Юрия Фельзена, М. Агеева (начало его «Романа с кокаином», названного здесь «Повестью с кокаином»).

Поэзия была представлена подборками Зинаиды Гиппиус (ею и открывался, после программного заявления, первый номер *Ч*), Георгия Иванова, Георгия Адамовича, Николая Оцупа, Марины Цветаевой, Игоря Северянина (в том же номере — резко критический отзыв о его стихах эмигрантского периода Н. Оцупа), Раисы Блох, Михаила Горлина, Юрия Иваска, Бориса Зайцева (отрывок из его перевода «Ада» Данте).

Необычайно представительным для эмигрантского журнала был в *Ч* раздел искусства. Свои статьи о музыке дали здесь Артур Лурье и Николай Набоков (кузен писателя), о балете — Сергей Лифарь, о живописи — Борис Поплавский и ряд известных французских художественных критиков и художников. Юрий Фельзен писал о Прусте и Джойсе, М. Цветаева — о Гете, Г. Федотов — о Вергилии, В. Вейдле — о Ренуаре.

Ч печатали многочисленные рецензии, некоторые получили скандальную известность (например, нападки Георгия Иванова сперва на В. Набокова, затем — на В. Ходасевича).

В *Ч* напечатан ряд анкет: о месте Пруста в новейшей литературе и его значении для русской литературы; мнение писателей о собственном творчестве; об упадке современной русской литературы; о современной живописи; о месте Ленина в истории. На анкеты откликнулись, среди прочих, И. А. Бунин, И. С. Шмелев, М. А. Алданов, М. А. Осоргин, В. В. Набоков, Г. В. Иванов, но участие Набокова ограничилось прустовской анкетой.

«„Числа" вызвали много откликов, как приветственных, так и поносительных. О них писали, им посвящали собрания не только в Париже, но и в Праге, в Таллинне, в Шанхае и Харбине. Приветствовали их по преимуществу как „молодое" начинание, открывающее дорогу молодым. Обрушивались на них за их „упадничество", за их „снобизм", за их „аполитичность", за „распущенность" их прозы. ⟨...⟩ Но едва ли правильно было говорить о каком-то едином литературном лице „Чисел" ⟨...⟩ Единой положительной программы, идейной или литературной, у „Чисел" не было. ⟨...⟩ Критики потом говорили, что о смерти говорилось в „Числах" гораздо больше, чем о цели жизни» (Г. П. Струве).

Каждый номер *Ч* был богато иллюстрирован, по 20—25 воспроизведений в тексте и на отдельных листах, иногда в 3—4 краски (Н. Гончарова, М. Ларионов, И. Пуни, М. Шагал, А. Яковлев, Вламинк, Делакруа, Дерен, Люрса, композиции Цадкина).

«И внешне и по содержанию „Числа" не похожи были на другие зарубежные издания. Они печатались на хорошей бумаге, не скупились на поля, заботились о красивых шрифтах и вообще о внешности ⟨...⟩ Критиками не раз эта красивая внешность ставилась „Числам" в вину ⟨...⟩ В эстетизме „Чисел" была немалая доля снобизма ⟨...⟩ Эта изысканно-эстетическая внешность „Чисел" плохо вязалась с их проповедью простоты и „человечности"» (Г. П. Струве).

Этой проблеме в № 4 посвятил свою статью Г. П. Федотов. Он говорил, что если поначалу имена многих авторов, связанных с петербургским акмеизмом, и внимание, уделяемое вопросам искусства, заставляли смотреть на *Ч* как на воскресший «Аполлон», то 2—3 номера *Ч* сделали «окончательно невозможным такое представление»: «Если хотите, генеалогическая линия несомненна. Но дитя акмеизма не может повторять своего отца. Более того, как все русские дети, оно от него отрекается. Двадцать лет — и каких лет! — только для мертвого проходят бесследно. А в „Числах" люди, слава Богу, еще живые, хоти и много говорят о смерти. Но вот в этом-то все дело: свою жизненность „числовцы" доказывают волей к смерти, свое рождение на Парнасе — отрицанием культуры.

Признаюсь, последнее мне кажется более всего удивительным. Мы привыкли к тому, что люди, живущие искусством, пресыщенные им, кокетничают со смертью.

В старое время это приблизительно называлось декадентством или, по крайней мере, входило в него прямым ингредиентом. Но культура? Стоит ли столько трудиться над „красой ногтей", над обложкой, шрифтом и клише, когда знаешь, что наступит момент „капитуляции" искусства, что „оно становится недостаточным и *ненужным?*" или еще лучше: когда „всякая красота зловеще отвратительна в своем совершенстве" и отвратительна даже „дивная музыка Баха"? Я, может быть, не вправе выдавать парадоксы Б. Поплавского за голос ответственной группы: но слова о „ненужном искусстве" принадлежат редактору. Столь непохожие, идущие из разных углов, голоса Г. Адамовича, Н. Оцупа — все об одном. Г. Адамович роет, сверлит, закладывает мины, Б. Поплавский неистово кричит, Н. Оцуп рассудительно, по-хозяйски расставляет вещи по местам, и все эти столь чуждые темпераменты сходятся в одной воле. Воле, которая пока проявляет себя отрицательно: взрывая смысл культуры, а за культурой — чего еще? не всей ли жизни?»

На этот вопрос Г. П. Федотов отвечал, развивая мысль Поплавского: мы, потерявшие родину, униженные и обнищавшие вконец, «оказываемся в лучших условиях, чтобы ловить радиоволны с тонущего „Титаника"». Говоря: «Смерть есть, бесспорно, тот основной факт, из осмысления которого вырастает религия да, вероятно, и вся культура», Федотов утверждает, что «сложность смертоощущения неизбежно лежит в основе ложной религии ⟨...⟩ И я боюсь — хоть и хотел бы ошибиться,— что тема смерти оборачивается в „Числах" темой нирваны». Поэтому искусство *Ч*, по Федотову, декадентское.

«На недоверие Федотова,— пишет В. Андреева,— Поплавский ответил своими дневниками». Добавим, что он ответил и самой смертью, а скоро и все поколение — трагическим участием в мировой войне, отчего числовские предощущения навсегда преодолели свою литературность, подобно тому как ненарисованными оказались в свое время чаемые зори для числовских литературных отцов.

Лит.: Глеб Струве. Русская литература в изгнании. Изд. 2-е, испр. и доп. Париж, ИМКА-Пресс, 1984; Г. П. Федотов. О смерти, культуре и «Числах».— В кн.: Федотов Г. П. Лицо России. Париж, ИМКА-Пресс, 1988; Виктория Андреева. Время «Чисел». Гнозис, № V, Нью-Йорк, 1979.

Ив. Т.

«РУССКИЙ БЕРЛИН». 1921—1923

Сборник *РБ*, выпущенный в 1983 г. в Париже издательством ИМКА-Пресс, посвящен яркому и неповторимому периоду в истории русской эмиграции. Экономическая ситуация в Германии начала 20-х гг. и признание ею Советской России привели к концентрации в Берлине русских культурных и особенно литературных сил. Несмотря на резко враждебное отношение к большевизму некоторых из них, мало кто окончательно смирился с невозвращением в Россию. Перспектива продолжить литературное дело в Петрограде и в Москве особо поддерживала издательскую инициативу. В какие-то месяцы в Берлине выходило больше наименований русских книг, нежели в ту же пору в России. Такие издательства, как «Эпоха», «Слово», Гржебина, Ладыжникова, «Геликон», «Грани», «Мысль» и др., а также периодические издания (газеты «Руль», «Голос России», «Дни», «Накануне» и др., журналы «Русская книга», «Беседа» и др.), многочисленные альманахи и сборники — все это создало живую атмосферу разнообразных литературно-политических интересов, исчезнувшую в результате центробежных тенденций (отъезд кого на Запад, кого — в Россию) и экономического спада с бешеной инфляцией.

Этой краткой, но важнейшей эпохе и посвящен сборник *РБ*, вышедший под редакцией Лазаря Флейшмана, Роберта Хьюза и Ольги Раевской-Хьюз. *РБ* по жанру и составу больше всего напоминает наши «Ежегодники Рукописного отдела Пушкинского дома» и «ставит во весь рост задачу осмысления послереволюционной русской литературы как некоего целостного, единого организма».

РБ основан на архиве двух берлинских журналов, издававшихся А. С. Ященко,— «Русская книга» (РК) и «Новая Русская книга» (НРК). «Материалы архива журнала НРК, публикуемые нами,— отмечали составители *РБ*,— позволяют представить не только закулисные стороны его деятельности, но и многие факты культурной жизни, до настоящего времени не попадавшие в поле зрения историков. Архив этот сохранен был Б. И. Николаевским и, вместе со всей его громадной архивной коллекцией, теперь находится в Гуверовском институте в Стэнфорде (Калифорния)... В этом отношении... материалы, вместе с комментариями к ним, служат своего рода приложением к НРК, этому своду справок по русской литературе двадцатых годов».

Материалы *РБ* воссоздают ряд важных моментов и событий тогдашней литературной жизни: историю напечатания «Стихов о терроре» М. А. Волошина, роль визита Бориса Пильняка в Берлин в процессе оформления берлинского сменовеховства, скандал вокруг публикации Алексеем Толстым письма Корнея Чуковского в Литературном приложении к «Накануне», влияние Ильи Эренбурга на литературно-критическую позицию журнала Ященко, нереализованный проект совместного «метропольно»-эмигрантского сборника по религиозно-философским вопросам, предполагавшийся для только что созданного издательства YMCA, неизвестные стороны деятельности М. Горького в «берлинский период», материалы о деятельности издателя журнала «Сполохи» Александра Дроздова (он же основатель берлинского кружка «Веретено»), вернувшегося в конце 1923 г. в Москву; об Алексее Толстом, с приложением двух статей о нем А. С. Ященко и М. А. Алданова, предназначавшихся, по-видимому, для немецкого издания его сочинений; письма к Ященко Ильи Эренбурга, относящиеся ко времени его активного сотрудничества с РК и НРК, то есть к эпохе, наименее освещенной советскими исследователями; два письма М. Цветаевой первых недель ее эмигрантской жизни; письма Давида Бурлюка японского и раннеамериканского периода; письма и неопубликованная автобиографическая статья А. М. Ремизова; представительные корпусы писем Георгия Чулкова и Вениамина Белкина, а также материалы к биографии Глеба Алексеева, Юрия Ключникова, Ивана Соколова-Микитова, Конст. Федина, Сергея Соколова, Нины Петровской, Юргиса Балтрушайтиса, Льва Карсавина, Николая Лосского, Ивана Шмелева, Игоря Грабаря, Федора Сологуба, Марка Азадовского, Николая Ашукина и др.

Тщательность и щедрость комментариев сделала *РБ* незаменимым пособием для всех, изучающих русскую литературу начала XX века.

Ив. Т.

СОДЕРЖАНИЕ

К 70-ЛЕТИЮ А. Д. САХАРОВА

К 100-ЛЕТИЮ ИЛЬИ ЭРЕНБУРГА

К 100-ЛЕТИЮ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА

ПУБЛИЦИСТИКА

МЕМУАРЫ XX ВЕКА

УРОКИ ИЗЯЩНОЙ СЛОВЕСНОСТИ

КНИЖНЫЙ УГОЛ